ПРЕДИСЛОВИЕ

Революция в России в 1917 году и ее дальнейшее течение представляют собой явление столь исключительное в жизни народов, столь отличное от того, что переживают другие государства после Великой войны, и столь роковое для дальнейшей судьбы русского народа, что потребуется еще много лет, большие труды и таланты для его всестороннего и объективного освещения. От современных писателей и ученых ожидать этого невозможно. Прежде всего, у всех них были личные переживания и впечатления, слагавшиеся часто под влиянием чисто случайных обстоятельств; затем, за очень небольшими исключениями, все они принадлежали к тому или иному политическому лагерю с теми предвзятыми взглядами и мерками, которые сложились у них в прежнее время под влиянием тех политических течений, которые ныне потеряли всякую почву. Наконец, многое существенное в революции и особенно в большевизме вскроется лишь после крушения коммунистической диктатуры; до этого времени многое останется неясным и многие материалы, находящиеся в России, будут недоступны для ознакомления и изучения.

Революционные события в России настолько необычайны и в некоторых отношениях непонятны, что обязанность каждого наблюдавшего государственную жизнь России в течение десятилетий до революции — внести, в зависимости от силы и времени, свою лепту в дело освещения тех или других сторон былой жизни нашей России и всех тех обстоятельств, которые могут объяснить как самое возникновение

революции, так и особенно ее столь печальные последствия. Это могут и должны делать не только ученые-историки, социологи и политики; не меньшую ценность могут иметь впечатления и суждения просто сознательных обывателей, людей практической жизни, не зараженных никакими доктринами, а смотрящих на вещи просто с точки зрения здравого смысла, не затуманенного историческими примерами и научными теориями.

Вот главная причина, побуждающая меня, человека, не причастного ни к литературе, ни к политике, работавшего всю жизнь в области железнодорожного дела и только за два месяца до революции попавшего в состав Правительства, записать некоторые воспоминания из своей деятельности и выразить свои мысли по поводу происшедшей в России государственной катастрофы, приведшей к такому падению когда-то великое Государство.

Мои воспоминания будут относиться главным образом к той сфере деятельности, в которой мне приходилось работать, и к тем сторонам государственной жизни и к тем лицам, с которыми мне приходилось сталкиваться как до и во время войны, так и в момент возникновения революции.

У меня нет никаких определенных целей, никаких тенденций; просто хочу отметить то, что заслуживает, на мой взгляд, внимания и что не было достаточно освещено в послереволюционной литературе. Мне хочется просто прибавить хоть небольшой луч света в наше недавнее прошлое, значительно затемненное той частью литературы и прессы, которая имеет целью либо полностью обелить все прошлое и представить нашу революцию как несчастную случайность или результат чьих-то злых деяний, либо, наоборот, очернить от начала до конца дореволюционную Россию и изобразить революцию как неизбежное последствие того деспотизма, рабства и нищеты, в которых якобы обретался русский народ.

ОЧЕРКИ ЛИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Начну с краткого очерка своей личной жизни и деятельности в связи с общими условиями и главнейшими явлениями нашей былой государственной жизни.

Родился я в 1864 году в Майкопе, в то время небольшой крепости Кубанской области, служившей оплотом русской армии по “замирению” Кавказа. Отец мой, из обедневшей дворянской семьи Минской губернии, по окончании медицинского факультета Московского университета всю жизнь прослужил военным врачом на Кавказе и последние 15 лет перед смертью был старшим врачебным инспектором Терской области. Как по рождению и воспитанию, так и по всей своей деятельности и своему, так сказать, социальному положению я несомненно принадлежу к тому громадному большинству русской интеллигенции, которую нельзя причислять ни к родовитой аристократии, ни к помещикам, ни к капиталистам, ни даже к мелкой буржуазии, вообще ни к одной из тех кличек, которые так распространены в революционной и социалистической литературе и которые противопоставляются пролетариату и крестьянам. Вообще, за последние 20—30 лет до революции у нас не было сколько-нибудь заметных перегородок между различными классами населения и, кроме крестьян, отчасти обособленных в своем правовом положении, и некоторых иногородцев, не было фактически и сословий с какими-либо правами и привилегиями. Права у нас, в сущности, определялись образованием, служебным положени-

ем и занятием, которые одинаково были доступны всем, независимо от происхождения и сословия.

Отец мой, несмотря на скромные средства, добываемые службой и врачебной практикой в небольшом губернском городе, старался дать своим детям возможно лучшее образование, благодаря чему по окончании Реального училища я имел возможность пройти курс наук в двух высших учебных заведениях: Технологическом институте и Институте инженеров путей сообщения.

Проведя все детство и отрочество во Владикавказе, административном центре Терской области, я знал Россию лишь по книгам, газетам и рассказам лиц, бывавших в коренной России. До 1875 года, когда была построена первая железная дорога, соединившая Северный Кавказ с Россией, Терская область была далекой окраиной, только начинавшей заселяться и приобщаться к русской культуре; тем не менее города Кавказа, их жизнь, их население в общем производили впечатление более культурное, живое, менее захолустное, чем многие губернские города Европейской России, с которыми мне впоследствии пришлось познакомиться. Объясняется это тем, что на Кавказ шли из России наиболее молодые, энергичные и предприимчивые люди, там приходилось завоевывать и природу, и местное горское, в то время полудикое, население. Жизнь начиналась сызнова, не было ни старых привычек, ни следов крепостного права, ни свойственного русским захолустьям застоя. Главную массу русского населения составляли казаки, народ, давно привыкший к свободной жизни, к самоуправлению и к борьбе со всякими своими врагами. Уже в 70-х годах во Владикавказе было реальное училище, женская гимназия, военная прогимназия, большое ремесленное училище, ряд городских школ, своя местная газета, руководимая незаурядным литератором Благовещенским, окружной суд, городская дума, городской театр с постоянной, весьма приличной труппой, большой военный госпиталь, бесплатная амбулаторная лечебница, хорошее общественное собрание с отличной библиотекой и читальней, хорошие магазины и прочие культурные учреждения, возникшие главным образом благодаря неутомимой энергии и умелой деятельности начальника области, впоследствии всероссийски известного графа Лорис-Меликова.

Особенно мне памятно Реальное училище. Сравнивая его с тем, что приходилось потом наблюдать в постановке среднего образования в Петербурге, Киеве, Ростове-на-Дону и за границей, я не могу не отдать должное этому учебному заведению. Хорошие молодые преподаватели исключительно с высшим образованием, твердое, но толковое руководство со стороны директора Стоянова и инспектора Чегелева, приличные физическая и химическая лаборатории, уютная церковь, хорошая библиотека, казенный бесплатный пансион для иногородних, литературные вечера для старших классов, ученический оркестр, прогулки в горы и поля с преподаванием естественной истории, серьезное преподавание гимнастики, маршировки, танцев, строгая дисциплина, но вместе с тем простое и сердечное отношение к детям — все это способствовало не только солидному образованию, но и хорошему физическому и моральному воспитанию молодежи. И ведь подумать, все это было полвека тому назад в захолустном полуазиатском городе России!

Большинство учащихся были дети казаков-станичников и туземцев*, меньшинство — дети местной интеллигенции, чиновников и офицеров, немало детей мещан, торговцев и ремесленников. Подобные училища, а также классические и женские гимназии впоследствии очень быстро развивались на Кавказе, и уже к XX столетию средние учебные заведения существовали не только во всех городах Кавказа, но даже в некоторых станицах и слободах Кубанской и Терской областей и в больших селах Ставропольской губернии. Если при этом вспомнить то большое число университетов и высших учебных заведений, которое у нас существовало и все увеличивалось, и если принять во внимание, что все средние и высшие школы, за единичными исключениями, были для всех одинаково открыты, то станет совершенно ясной ложность того нередко встречающегося мнения, что образование в России существовало только для высших классов. Напротив, наши школы были более демократичны, доступны и дешевы, чем, например, в Англии, Франции, Соединенных Штатах, где, к примеру, высшее образование было возможно только для людей состоятельных.

---

* Преобладающее население Терской области и до сих пор составляют местные народности, как-то: кабардинцы, чеченцы, осетины, ингуши и др.

В чем мы действительно очень отставали от многих культурных стран, это в развитии и постановке начального образования, в народных школах; но и то в последние пять лет до войны число этих школ так быстро возрастало, что, не будь войны и революции, мы бы очень скоро приблизились к всеобщему обязательному и бесплатному начальному образованию.

Нельзя, однако, не отметить двух весьма крупных дефектов в общей постановке нашего народного просвещения и воспитания.

Прежде всего, как по преобладающему типу учебных заведений, так и особенно по их программе и системе преподавания наше народное образование было слишком общим, теоретичным, оно очень мало отвечало действительным требованиям жизни и мало готовило к практической деятельности. Наряду с массой людей общего образования, далеко не всегда находивших в жизни применение своим знаниям, у нас почти не было людей с законченным средним и низшим профессиональным образованием; слишком мало было средних и низших специальных школ: технических, ремесленных, сельскохозяйственных, коммерческих. Гораздо легче у нас было найти для службы образованного юриста, врача, агронома, инженера, чем подготовленного монтера, техника, садовода, фельдшера, машиниста, бухгалтера, приказчика, которых так много выпускают специальные низшие и средние школы в других культурных странах и которые так необходимы в хозяйственной деятельности населения.

Другой крупный дефект нашей системы воспитания детей в последние 20—25 лет до революции состоял в том, что во всех школах, даже начальных, детей учили только разным наукам и отчасти искусствам, но почти не обращали внимания на физическое, моральное и духовное воспитание их. Почему-то это считалось необходимым лишь для кадетских корпусов, военных училищ и нескольких привилегированных учебных заведений; все же народные школы, многочисленные мужские и женские гимназии и все высшие учебные заведения оставались в этом отношении почти без всякого попечения и забот Правительства. Дети и юноши росли в духовном отношении гораздо больше под влиянием семьи, своих случайных знакомых и товарищей, даже просто улицы, чем своей школы. То религиозное воспитание, на которое еще

обращалось внимание, было слишком поверхностным и формальным для того, чтобы оказывать сколько-нибудь заметное воспитательное влияние. Нравственная дисциплина, чувство долга, любовь к своей Родине, любовь к труду, понятия о чести — все то, что должно составлять главную заботу в деле воспитания молодежи, у нас было в полном пренебрежении, как равно и надлежащее физическое развитие, что, например, в Германии стоит наряду с науками, а в Англии даже на первом месте. Наблюдая за образованием и своих детей, и детей родственников и знакомых, мне было совершенно ясно, что, как это ни странно, за последние 20—30 лет до революции дело воспитания детей у нас в Росси значительно ухудшилось по сравнению с тем, что было в 70—80-х годах.

Из своих воспоминаний гимназических лет не могу не отметить двух выдающихся в истории России событий: русско-турецкой войны 1877—1878 годов и убийства императора Александра II 1 марта 1887 года.

Я не знаю, как это было в столицах и коренной России, но на Кавказе, среди всего русского населения, эта война находила живой отклик во всех сердцах, и детей, и стариков. Идея освобождения славянских народов от турецкого ига была очень популярна в русском обществе, которое несло совершенно добровольно всякие жертвы в помощь войне и русским воинам. Я отлично помню, с каким воодушевлением и радушием встречали каждую воинскую часть, проходившую через Владикавказ на Турецкий фронт, с какой жаждой воспринимали известия с театра войны, как радовались победам и глубоко огорчались неудачам, как кричали на улицах “ура” при взятии Карса, сколько тревог и опасений причиняла Плевна и как сильно было уныние, когда русскую армию не пустили в Константинополь, а заставили подписать перемирие в Сан-Стефано. Тогда не только в среде интеллигенции, но и среди простых казаков, мещан, прислуги, даже в нашей гимназической среде куда было больше национального чувства и патриотизма, чем впоследствии в русско-японскую войну, да и в Великую войну, когда подъем и воодушевление первых месяцев так быстро упали.

В 1881 году я окончил Реальное училище.

С двумя учителями истории и литературы, очень разумными и толковыми педагогами, мы, ученики старших классов, не-

редко за уроками вели беседы на современные социальные и политические темы и сравнительно недурно для гимназистов в них разбирались. Мы уже знали, что в России, особенно среди молодежи, существуют разные враждебные настроения к Правительству и обществу, знали, что существуют нигилисты, народовольцы, даже террористы, но считали, и совершенно сознательно, явления эти какими-то ненормальными, болезненными, особенно при таком Государе, как Александр II, который по личной инициативе и вразрез с интересами дворянства освободил от крепостной зависимости крестьян, дал новую судебную реформу и вообще нам представлялся образцовым, умным и благородным Царским рыцарем. Такой же популярностью пользовался Александр II среди всех слоев населения. Весть об убийстве Государя была всеми принята как неслыханное преступление, как громадное несчастье. Я хорошо помню, как мы, гимназисты, плакали, стоя на панихиде в церкви, и какие толпы народа теснились в церковных оградах, не будучи в состоянии попасть внутрь храмов.

Эта трагическая смерть столь любимого Государя заставила всех, особенно нас, юношей, с особенным интересом и критикой относиться ко всему, что касалось этих новых, столь грозных и так мало для нас понятных явлений, какими были русский терроризм и наше тогдашнее революционное движение. С этим настроением и с сильнейшим желанием добраться до сути и причин этих явлений я и приехал летом 1881 года в Петербург для продолжения своего образования и поступления в Институт путей сообщения.

Институт этот я наметил вполне сознательно. В мои гимназические годы была сооружена железная дорога от Ростова до Владикавказа. Я видел, какое это было благодеяние для нашего города; он начал быстро застраиваться и оживляться, появились новые дешевые товары, столичные газеты, почта начала приходить на 5-й день вместо прежних 12-ти; появлялись какие-то новые люди, начали показываться известные столичные артисты, которых мы раньше не видели. Словом, сразу пахнуло новой жизнью, Владикавказ присоединился к России, к ее общей культуре. Инженеры, строители дороги, представлялись мне прямо благодетелями рода человеческого; да и сами они, деятельные, энергичные, все знающие, везде побывавшие, не исключая заграницы, казались мне образован-

нее и выше наших местных интеллигентов, сидевших десятками лет на одном месте и живших только своими мелкими делами и интересами. Я твердо решил сделаться инженером, и непременно железнодорожным.

Но по приезде в Петербург оказалось, что прием на первый курс Института путей сообщения прекращен и что Институт этот будет состоять только из трех старших курсов. Чем вызывалась такая странная реформа, потом скоро отмененная, я никогда понять не мог; но тогда я решил поступить в какой-либо другой подходящий институт, чтобы пройти там два первых курса, а затем перейти в Институт путей сообщения. Но не так-то легко было куда-либо поступить. В то время в России было, кроме Института П.С., только четыре технических высших учебных заведения, а именно — Институты Технологический, Горный и Строительный в Петербурге и Техническое училище в Москве; для поступления в них всюду приходилось держать конкурсные экзамены, к тому же держащих было в 8—10 раз больше числа вакансий. Как и большинство юнцов, жаждавших поступить в специальные учебные заведения, я подал прошения во все три петербургских института в надежде попасть не в один, так в другой. Ранее других происходили экзамены в Технологическом институте: экзамены были очень трудные, требовавшие не только знаний, но и ловкости, смелости и умения выходить из трудных, часто совершенно новых и каверзных вопросов и задач, которые ставились профессорами.

По всем предметам я получил пятерки, а потому в другие институты я и не пошел на экзамены. Почти так же успешно выдержали экзамены еще двое из моих товарищей по Владикавказскому реальному училищу, что надо было приписать исключительно той солидной подготовке, которую мы получили в нашем училище.

В Технологическом институте я пробыл не два года, как первоначально предполагал, а все пять лет, так как хотел завершить свое “механическое” образование, а потом уже поступить на 3-й курс Института путей сообщения.

Воспоминания о первых студенческих годах сохранились у меня малоприятные. Прежде всего, меня не удовлетворяла программа Института. Масса предметов по высшей математике и теоретической механике, масса таких наук,

которые не имели прямого практического приложения; наряду с этим бóльшая часть времени уходила все пять лет на вычерчивание и отделку чертежей и проектов. Нас готовили к инженерной и хозяйственной деятельности на заводах, фабриках, железных дорогах, между тем не давали никакого понятия ни о политической экономии, ни о государственном устройстве России и ее законах, ни о товароведении, ни о промышленной географии России. Не было и никаких общеобразовательных необязательных лекций, столь многочисленных в заграничных, особенно германских, политехнических школах и столь полезных для общего развития молодых людей. Между тем все обязательные чертежные работы, непрерывные репетиции, зачеты и экзамены требовали столько времени, что его едва хватало даже у наиболее способных студентов.

Моральное и, так сказать, социальное положение студентов не только Технологического института, но вообще почти всех высших учебных заведений того времени, то есть начала 80-х годов, было довольно тяжелым. Профессора и студенты представляли собой два совсем чуждых друг другу и почти враждебных мира. Кроме библиотек да одной-двух студенческих столовых, абсолютно ничем не выражалась забота Правительства о студентах, об их материальных и духовных условиях жизни; напротив, со всех сторон к ним проявлялось какое-то недоброжелательное отношение; все они заведомо подозревались в политической неблагонадежности, находились под усиленным надзором полиции и на каждом шагу испытывали такие стеснения, каких не знали другие обыватели столиц. Студенты чувствовали себя париями, их едва терпели как необходимое зло; едва 5% студентов получали стипендии, да и то совершенно недостаточные для сколь-нибудь сносной жизни; большинство же студентов были бедняки, которые, имея 20—25 рублей в месяц, жили впроголодь и в самых плохих гигиенических условиях. На этой почве в студенческой среде, вполне естественно, развивалась нервность, недовольство и легкая восприимчивость ко всякой критике Правительства и существующего государственного и общественного строя. Ни профессора, ни администрация высших школ не имели никакого влияния на духовное воспитание громадного большинства

русской молодежи. Она воспитание это получала в своих студенческих кружках и под влиянием чтения, главным образом Писарева, Добролюбова, Белинского, Михайловского, Щедрина, Некрасова, Чернышевского, Толстого и многой нелегальной литературы вроде изданий “Черного передела”, “Земли и воли” и т.п., в массе распространявшихся в студенческой среде. Понятны поэтому и происходившие почти непрерывно студенческие волнения и беспорядки, особенно в университетах, и прямой переход наиболее недовольных и горячих в различные революционные организации. Но помимо этого тысячи таких студентов, закончив свое образование, ежегодно пополняли ряды русской интеллигенции, то есть тот мозг народа, которым двигалась культура и должно было управляться и держаться Государство. И такое положение в подготовке русских культурных сил продолжалось, с незначительными улучшениями, вплоть до Великой войны и было одной из серьезных причин того, что наша русская интеллигенция в массе своей всегда была плохой опорой государственной власти, отличалась недостатком государственного чутья, плохим знанием России и своего народа, была малонациональна и малопатриотична и легко поддавалась критическому и оппозиционному настроению в отношении всякой власти.

Совершенно очевидно, что огульное недоверие к студенчеству, отсутствие всякой заботливости о его материальных и духовных нуждах и отсутствие каких бы то ни было воспитательных приемов были и глубоко несправедливы, и в государственном отношении совершенно ошибочны. По существу, зеленая молодежь, наполнявшая ряды студентов, далеко не была еще не только революционной, но даже враждебной Правительству; из нее легко можно было сделать все, что угодно. Это яснее всего видно из того, что кончавшие средние учебные заведения поступали в большом числе и в военные училища: из них через два-три года выходили офицеры нисколько не худшие, чем из окончивших кадетские корпуса. Достаточно было проявить к студентам хотя бы немного заботливости, доверия и внимания к их интересам, чтобы очень заметно изменить их настроение. Это имело место, например, в Институте путей сообщения, куда я поступил по окончании Технологического института, сдав новый конкурсный эк-

замен по всем семнадцати предметам первых двух закрытых курсов. Тут уже положение студентов и в материальном, и в моральном отношении было много лучше; больше близости и взаимного уважения со стороны профессоров и студентов, более серьезная, жизненная и интересная система преподавания, общая работа с инженерами на летней практике, обеспечение средствами к жизни всех недостаточных студентов — все это способствовало более бодрому и здоровому настроению в студенческой среде.

В мае 1889 года я не успел еще закончить своих выпускных экзаменов, как был уже приглашен на службу в Инспекцию Николаевской ж.д. для надзора за восстановлением Императорского поезда, разбитого при крушении в Борках 10 октября 1888 года. По окончании этих работ летом 1890 года я был сначала вместе с инженерами К.Э. Кетрицем и М.Н. Гротеном командирован за границу для ознакомления с новыми приемами вагоностроения и заказа некоторых предметов и материалов для проектировавшегося нового Императорского поезда, а затем был назначен во вновь учрежденную тогда под начальством инженера Н.Н. Копыткина Инспекцию Императорских поездов, где и прослужил почти три года. Эта служба дала мне возможность ознакомиться, хотя больше с внешней стороны, почти со всеми нашими железными дорогами, побывать в различных районах России и заграницы, а также несколько ознакомиться с тогдашним придворным миром и наблюдать как в официальной обстановке, так и в более тесном кругу Императора Александра III. Из этих наблюдений, из многочисленных рассказов приближенных к Государю лиц и различных эпизодов во время довольно частых путешествий Александра III у меня составилось о нем совершенно определенное представление — как о человеке, самой судьбой предназначенном для роли Монарха в том положении, в каком тогда находилась Россия. Величественная, но вместе с тем благородная и несуровая внешность, твердый голос, краткая, ясная и всегда определенная речь, открытый и прямой взгляд, уверенность в себе и спокойствие, простое и одинаковое со всеми обращение, начиная от министра и кончая каким-нибудь поездным кондуктором, — все это объясняло его обаяние и невольно привлекало сердца всех, кому приходилось Государя наблюдать и с ним разговаривать. Это

была сильная воля, большой здравый смысл и чисто русская душа. Это был человек, будто совершенно лишенный каких-либо личных побуждений и стремлений, кроме вызывавшихся чувствами хорошего семьянина; он не любил ни роскоши, ни внешнего блеска, ни преклонений, ни удовольствий: это была такая мощь и воля, направленные лишь ко благу России, что перед ними невольно и вполне искренно преклонялись все наиболее сильные умом и положением его ближайшие сотрудники.

Можно, конечно, различно относиться к тому направлению внутренней политики, которого он придерживался, но если вспомнить положение России в начале 80-х годов и объективно оценить его наиболее слабые стороны, развитие революционного брожения и террористических актов, расшатанность финансов, неустойчивость валюты, неустроенность армии и униженное международное положение после Берлинского конгресса, то станет понятным, что на борьбу с указанными дефектами были обращены главнейшие заботы Александра III, и борьба эта увенчалась полным успехом к концу его короткого 13-летнего царствования. Не ведя ни одной войны, ярко проявляя свое миролюбие, но и полную свою самостоятельность во внешней политике, он в международном отношении поднял Россию на высоту, на которой она раньше никогда не стояла. Внутри страны он достиг успокоения, какого давно не было, а мероприятия в области финансов и денежного обращения заложили прочное основание дальнейшему быстрому экономическому подъему России, невзирая на все печальные обстоятельства последующего царствования Императора Николая II.

Как ни приятна была служба в Инспекции Императорских поездов, но вскоре появилась потребность в более активной и серьезной работе, почему в начале 1893 года я воспользовался подходящим предложением и принял должность начальника Петербургского участка тяги Балтийской железной дороги. Дорога эта тогда только что перешла в казну от бывшего общества Балтийской железной дороги; как и все остальное на этой линии, тяговый участок в Петербурге был очень слабо обставлен и оборудован, хотя выполнял довольно важные функции, обслуживая поезда до Нарвы и Ораниенбаума в числе до 30—40 пар ежедневно и содержа почти весь

парк пассажирских вагонов дороги и специальный Императорский поезд. Из-за крайней слабости и примитивности технических средств, тесноты и неустройства станций и всех тяговых помещений служба моя была очень нелегка и чрезвычайно беспокойна, продолжаясь, в сущности, круглые сутки, так как не было такого момента дня и ночи, когда она не могла потребовать личного распоряжения. Но благодаря молодости, интересу к новому живому делу, хорошему составу служащих и рабочих и хорошим отношениям, установившимся между нами, дело шло сравнительно недурно. Из числа ближайших своих сотрудников по этой работе мне особенно приятно вспомнить инженеров Н.О. Шпаковского и П.С. Янушевского, вагонного мастера Конради и обер-машинистов Громова и Сутугина.

Однако напряженная и нервная работа в течение пяти лет начала сказываться сильным утомлением, почему к осени 1898 года я с удовольствием принял предложение перейти на должность более спокойную, хотя и менее оплачиваемую, именно помощника начальника движения той же Балтийской железной дороги. В этой новой роли мне пришлось пробыть всего несколько месяцев: в феврале 1899 года я был назначен в продолжительную командировку в Среднюю Азию членом комиссии по передаче от военного ведомства в Министерство путей сообщения Закаспийской железной дороги и по приему после постройки Самаркандско-Андижанской дороги. Председателем этой комиссии состоял человек редкой доброты и чистоты, К.Э. Кетриц. Командировка продолжалась почти пять месяцев и доставила мне много интересного и поучительного. Я основательно ознакомился с Туркестанским краем, его своеобразным населением и еще более своеобразной природой, а также с исключительно тяжелыми условиями сооружения и эксплоатации железных дорог и просто жизни в безводных пустынях и песчаных степях, по которым большей своей частью проходили указанные дороги, к тому же еще отдаленные от промышленных центров многими тысячами верст и бурным Каспийским морем. Но и тогда уже было совершенно очевидно, что и местное трудолюбивое, мирное и трезвое население Туркестана, и его природа могут поддаваться очень высокой культуре; особенно богатая л ссовая почва, которая

без орошения представляет собой голую пустыню, а при орошении дает великолепные урожаи хлопка, фруктов, винограда, шелковицы и многих других южных плодов. Действительно, вскоре после того, особенно же после соединения края с Европейской Россией прямым рельсовым путем через Ташкент и Оренбург, Туркестан начал так быстро развивать площадь орошаемых земель и культуру хлопка, что, не будь войны и революции, мы теперь не только удовлетворяли бы всю свою потребность в хлопке, но снабжали бы им и Западную Европу.

Еще сидя в Асхабаде, я получил телеграмму от Начальника Юго-Западных дорог инженера Немешаева, приглашавшего меня на обратном пути в Петербург прибыть в Киев для переговоров о переходе на Юго-Западные дороги. Дороги эти уже в то время считались лучшими среди казенных линий, имели протяжение около 4800 верст; Немешаев пользовался весьма почетною известностью в железнодорожном мире, а затем богатый край, близость к загранице, Киев как место службы — все это не могло меня не прельщать, и я с удовольствием в середине июля прибыл в Киев, а в сентябре окончательно переехал туда с семьей и занял должность помощника начальника движения Юго-Западных дорог, гораздо более активную и ответственную, да и лучше оплачиваемую, чем на небольшой Балтийской дороге. Через год, летом 1900 года, я совершенно для себя неожиданно получил от Немешаева предложение занять должность начальника Службы подвижного состава и тяги и хотя с некоторым сомнением в своих силах, но все же с удовольствием вступил в управление этим очень обширным хозяйством Юго-Западных дорог, имевшим около 1000 паровозов, до 35 000 товарных вагонов, четыре главных мастерских, одиннадцать участков тяги и до 15 000 служащих и рабочих, среди которых 50 инженеров. Служба эта оказалась значительно запущенной; в первые два-три года пришлось произвести много всяких перемен и улучшений, работать приходилось не менее 10—12 часов в день, и если мне удалось справиться со своей задачей, то главным образом благодаря существовавшей там и введенной еще известным инженером Бородиным особой системе премирования экономии всех без исключения расходов этой службы. Система эта, как бы автоматически регулиро-

вавшая все тяговое хозяйство, давала, при внимательном к ней отношении, очень много в смысле достижения возможно лучших результатов и одновременно возможно больших сбережений в расходах, в общем достигавших 15—20 миллионов рублей в год.

Особенно трудным мое положение начальника Службы было в 1904 и 1905 годах, с постоянными забастовками рабочих мастерских и с большой забастовкой всего Управления Юго-Западных дорог весной 1905 года. Справляться с этими забастовками и со всякими нарушениями порядка службы было особенно трудно потому, что все это носило чисто политический характер, хотя и сопровождалось возбуждением различных неисполнимых служебных требований. Эти волнения среди железнодорожного персонала разразились общей забастовкой по всем дорогам в первой половине октября 1905 года, в то время когда я был временно в Петербурге на заседаниях по рассмотрению сметы на 1906 год. Эта забастовка, как и прекращение всяких работ в Петербурге, не исключая и занятий в разных правительственных учреждениях, и всевозможные выступления во главе с тогдашним Советом рабочих депутатов, — все это, в отличие от революции 1917 года, носило все признаки постепенной и планомерной подготовки и сочувствия не только среди левореволюционно настроенных элементов, но и массы обывателей, совершенно беспартийных, но увлеченных общим подъемом и настроением добиться столь необходимой и так давно ожидавшейся реформы государственного управления, которая наконец наступила 17 октября.

Немешаев, также приезжавший для “защиты” сметы, уже в Киев не возвращался, так как вскоре после 17 октября был назначен министром путей сообщения. Я вернулся к исполнению своих обязанностей в конце октября, а через два месяца получил срочный вызов в Петербург, где был назначен на должность управляющего эксплоатационным отделом Управления ж.д. Это был самый обширный и самый трудный отдел Министерства путей сообщения, он ведал, в сущности, всеми сторонами железнодорожного дела на всей сети, кроме вопросов чисто технических, материальных и юридических. Особенно трудно было наладить перевозки грузов после бывшей забастовки, которая очень долго отражалась еще на психике и дисциплине служащих, и при том беспорядке, который еще

продолжался на всей Сибирской магистрали вследствие возвращения войск после Японской войны. Но я имел отличных помощников в лице Д.Н. Дурново и А.А. Шебуневича и целый ряд дельных сотрудников, с которыми сравнительно нетрудно было справляться с работой. Однако работа требовала буквально всего времени дня и вечера, праздников и будней, на которое физически хватало сил. В течение первых нескольких месяцев службы в Управлении ж.д. мне удалось разработать, провести через ряд междуведомственных совещаний и затем, благодаря энергии Немешаева, законодательным путем ввести в жизнь весьма важную меру по улучшению грузовых перевозок, а именно учреждение так называемых Порайонных комитетов по урегулированию массовых перевозок грузов.

До этого времени в деле совершения указанных перевозок посторонние к ведомству путей сообщения лица никакого участия не принимали, за исключением лишь перевозки горнозаводских грузов в Донецком бассейне, где разверстка вагонов между отправителями совершалась с участием представителей промышленности. Значительная отчужденность Министерства путей сообщения и его местных органов, с одной стороны, и торгово-промышленных организаций — с другой, полное почти незнакомство наших коммерсантов и промышленников с железнодорожным аппаратом, а железнодорожных деятелей с главными нуждами хозяйственной жизни страны, недостаточность перевозочных средств в период усиленного экспорта хлеба и отсутствие правильной регулировки грузовых течений по железным дорогам — все это порождало постоянные нарекания и недоразумения и создавало, в общем, обстановку, весьма неблагоприятно отражавшуюся как на работе и развитии нашего железнодорожного транспорта и портов, так и на отечественной промышленности и торговле. Стало совершенно необходимым сблизить, взаимно согласовать и связать деятельность железнодорожных учреждений с жизнью всех тех организаций и предприятий, которые являлись главными отправителями и получателями перевозимых грузов. Эта общая взаимная работа и проходила с 1906 года в Порайонных комитетах, где наряду с представителями железных дорог участвовали представители всех местных торгово-промышленных организаций, сельскохозяйственных обществ, земств, городов и биржевых комитетов. Порайонные комите-

ты играли с тех пор весьма заметную роль не только в деле правильного использования транспортных средств и регулирования перевозок, но и в правильном разрешении вопросов о направлении новых линий, целесообразном усилении и оборудовании существующих дорог, составлении и изменении разных правил, относящихся к перевозке грузов, тарифных и других вопросов, общих как для ж.д. транспорта, так и для интересов хозяйственной жизни населения.

Первые шаги в деятельности этого нового института требовали массы заседаний, съездов, новой переписки и пр., но затем дело это наладилось довольно быстро благодаря трудам и заботам не только указанных выше моих помощников, но и большинства председателей комитетов, особенно же благодаря В.А. Гаевскому, М.А. Стрижевскому, А.Г. Генрихсену, И.Н. Борисову и А.В. Лукашевичу.

В апреле 1906 года вместе со всем Правительством ушел с министерского поста и Немешаев. Вместо него был назначен военный инженер Н.К. Шауфус, известный среди ж.-д. деятелей как очень тяжелый, мелочный и упрямый человек. Два с половиной года, проведенных мною во главе эксплоатационного отдела в Министерстве Шауфуса, были по работе самыми тяжелыми в моей жизни, несмотря на то, а вернее, именно потому, что Шауфус относился ко мне с большим доверием. Объясняется это как той централизацией в управлении железными дорогами, которую особенно усилил Шауфус, так и тем особым положением эксплоатационного отдела, при котором не было в Министерстве ни одного серьезного дела или вопроса, которые проходили бы без участия этого отдела. К этому прибавились еще необычайные по напряжению и направлению хлебные перевозки в район, пораженный неурожаем в 1907 году, масса новой работы для Государственной думы и появление на некоторое время во главе Управления ж.д. взбалмошного генерала Вендриха, с фантазиями, с которыми мне приходилось вести немалую борьбу. Из более приятных и интересных воспоминаний этого времени могу отметить свои поездки по сопровождению министра для осмотра ряда дорог и водных сообщений, в том числе Черного моря, дорог Закавказских, Владикавказской, Юго-Восточной и Московско-Курской, а в другой раз, в 1907 году, — Сызрано-Вяземской, Самаро-Златоустской, всей Сибирской магистрали, реки Амур, Уссурийс-

кой дороги, Владивостока, Восточно-Китайской, а на обратном пути Пермской и Петербурго-Вятской дороги.

Еще в конце 1907 года председатель Правления Общества Владикавказской ж.д. инженер Печковский предложил мне занять место управляющего (директора) Владикавказской дороги на содержание 20 тысяч рублей, кроме наградных, что выходило чуть ли не в три раза более того, что я получал в Министерстве. Назначение это меня устраивало во всех отношениях. Прежде всего, приятно было вырваться из той кошмарной работы, которую приходилось вести в Министерстве, затем попасть наконец после 18-летней службы в самостоятельное положение, работать на Кавказе, моей родине, где много сохранилось связей и интересов и у меня, и у жены, наконец, заманчиво было и получить такое содержание, из которого можно было делать и сбережения, которых до того времени у меня совершенно не было.

Я, конечно, с радостью принял предложение, но Шауфус на просьбу Печковского меня отпустить категорически в этом отказал. Печковский был вне себя, заявил, что он этого дела не оставит, пока не добьется согласия Министерства, и просил меня ждать. После этого в течение целого года Печковский раз в 2—3 месяца напоминал министру о своей просьбе, но неизменно получал ответ, что когда наступит время просимого назначения, так он сам об этом объявит. Время это наступило лишь в самом конце 1908 года; тогда Шауфус по болезни решил уйти в Государственный совет и прежде всего вызвал меня, заявил, что он передо мною в большом долгу, и предложил еще до своего ухода сделать представление о моем назначении на Владикавказскую дорогу.

В новую должность я вступил 5 февраля 1909 года и пробыл на ней до 15 ноября 1915 года, до нового вызова в Петербург в разгар войны. Эти почти семь лет управления Владикавказской дорогой были во всех отношениях самым лучшим временем моей жизни и деятельности. С одной стороны, большое и в высшей степени разнообразное дело с валовым доходом в 60—70 миллионов в год, с другой — почти самостоятельное положение, при котором зависимость от Министерства путей сообщения выражалась в выполнении всех общих законов, правил и разных мелких распоряжений, а с Правлением Общества в лице председателя его,

В.Н. Печковского, у меня установились столь хорошие отношения и такая согласная и дружная работа, что я никакого начальственного давления или стеснения не испытывал. Вполне нормальные отношения у меня были и с 25-тысячной массой служащих и рабочих, для улучшения положения которых, благодаря широкой поддержке В.Н. Печковского, удалось сделать очень много.

Финансовое положение дороги начиная с 1909 года так быстро и крупно улучшалось, что имелась полная возможность, не стесняясь расходами, производить весьма крупные работы и все необходимые улучшения дела. Так как до моего вступления в управление дорогой был в течение около двух лет временный управляющий и за это время ничего серьезного не предпринималось, то мне сразу пришлось окунуться в очень большую и интенсивную работу по развитию и улучшению дороги, что хотя и поглощало массу времени, но не представляло особых затруднений благодаря хорошему составу старых служащих и ближайших сотрудников, бóльшая часть которых была при мне приглашена на службу. Особенно хочется в этом отношении отметить начальника Службы эксплоатации инженера А.И. Дудина, начальника Службы пути инженера Э.И. Окерблома, начальника Службы тяги инженера М.Е. Правосудовича, начальника Главных мастерских инженера М.Н. Чернявского, заведующего всеми работами в Новороссийске инженера А.Н. Щенсновича, заведующего нефтяными промыслами и заводами инженера М.С. Ракитина и старшего врача дороги В.М. Михайлова.

За семилетнее мое пребывание на дороге ее перевозки и валовая доходность поднялись почти вдвое; на постройку новых линий, переустройство и расширение сооружений дороги и улучшение ее оборудования было затрачено до 100 миллионов рублей, за счет которых было, между прочим: построено около 600 верст новых линий, до 360 верст вторых путей, выработаны новые типы паровозов и вагонов, которых приобретено и построено значительное число, в Ростове-на-Дону сооружена особая речная гавань с хлебными складами, построен ряд новых мостов, в том числе через Дон, в Новороссийске устроена новая громадная сортировочная станция, во Владикавказе — новые главные вагонные мастерские, в Ростове построено новое здание Управления с внутренней пло-

щадью около 4000 кв. саженей и новая большая больница, перестроены и расширены все узловые станции и ряд пассажирских зданий, в том числе и в Ростове, построен целый ряд новых школ, больниц, приемных покоев, санаториев для служащих и рабочих, приступлено к устройству новых курортов в Теберде и Нальчике, составлены проекты гидроэлектрических станций и электрификации части линии, приобретены свои собственные нефтяные промыслы и угольные рудники и пр. и пр.

Мои годы управления дорогой совпали с таким подъемом экономического развития Северного Кавказа, с таким быстрым развитием его сельскохозяйственной культуры и грозненской нефтепромышленности, с таким усилением грузовых перевозок, что Владикавказская дорога, несмотря на указанное выше свое непрерывное усиление и улучшение, едва успевала идти в уровень с потребностями жизни и удовлетворять все требования.

В середине ноября 1915 года я был вызван в Петербург, где недавно назначенный министр путей сообщения А.Ф. Трепов предложил мне помочь ему в выполнении своей задачи и взять на себя руководство всем железнодорожным транспортом сети. Меня это новое назначение лично совершенно не устраивало, но нельзя было отказаться от этой тяжелой обязанности, и, сначала в роли помощника начальника Управления железных дорог, затем начальника Управления и, наконец, товарища министра пришлось в течение более года руководить всеми главнейшими делами, касавшимися усиления и эксплоатации железных дорог и всех перевозок. Напряженность этой моей работы была совершенно исключительной, как об этом можно судить по помещенному далее описанию железнодорожного транспорта во время войны.

Особенные затруднения причинила суровая зима 1916/17 года, когда уже с ноября во всей России установились сильные морозы, а в течение всего декабря и января в средней и южной частях России почти не прекращались снежные метели и заносы путей. В конце декабря мне пришлось выехать на Южные и Екатерининскую дороги, где заносы особенно давали себя знать, и там на станции Лозовая совершенно неожиданно я получил телеграмму об уходе Трепова с поста Председателя Совета Министров и министра путей

сообщения и о назначении меня управляющим этого Министерства.

Я немедленно выехал в Петербург с намерением отказаться от этого назначения, но, прибыв туда, увидел, что это было бы с моей стороны лишь уклонением от тяжелых обязанностей и нежеланием помочь Родине в столь трудный момент ее жизни, и я с тяжелым чувством вступил в состав Правительства. Два месяца этой новой для меня, и в другое время очень почетной, роли, при тех общих условиях и обстоятельствах, которые складывались так исключительно несчастливо, были самыми тяжелыми во всей моей жизни в моральном отношении; тяжелыми потому, что налицо имелись уже самые грозные признаки полного развала Государственной Власти; Правительство и по своему личному составу, и по настроению Государя Николая II, и по всем сложившимся условиям своей деятельности было уже явно бессильно и беспомощно; оно буквально висело в воздухе, не имея нигде и ни в чем ни доверия, ни опоры, ни власти.

В моем призыве в Министерство в 1915 году, как потом выяснилось, главную роль сыграл В.Н. Печковский, который в мое утешение неоднократно заявлял, что он остается в своей роли председателя Правления только до тех пор, пока я буду занят в Министерстве, и что по моем освобождении он немедленно уйдет в отставку и мне уступит свое место. Он это в точности и выполнил: после революции, в мае 1917 года, на общем собрании акционеров Владикавказской дороги я был избран в состав Правления и, за отказом Печковского от обязанностей председателя, получил избрание на его место.

Хотя с тех пор прошло уже более восьми лет, но юридически я до сих пор пребываю если не в роли, то в звании и некоторых правах председателя Правления Общества Владикавказской железной дороги, так как национализация дороги, проделанная большевиками в 1919 году вопреки действующему Уставу Общества, была явно противозаконной, Общество ей подчиниться не может, а с 1917 года не могло состояться новое общее собрание акционеров для переизбрания своего Правления.

Положение и деятельность Правления Общества после большевицкого переворота с каждым днем становились все

более и более ненормальными. Повсюду на дорогах власть фактически перешла в руки разных самочинных комитетов, которые пользовались всяческой поддержкой советской власти, а законные органы управления были более или менее отстранены от дела. Помимо этого, Владикавказская дорога с начала 1918 года оказалась почти отрезанной от Петербурга и своего Правления фронтом Гражданской войны, которая возникла на юго-востоке России.

Чтобы связаться с дорогой, помочь ей в работе, да кстати и выехать из Петербурга, где нечего было, по существу, делать, в июне 1918 года я отправился с женой и сыном в Ростов через Киев, взяв с собою лишь самое необходимое в дорогу. Ростов оказался уже во власти Донского правительства, а северную часть дороги занимала Добровольческая армия генерала Деникина, которая к 1919 году распространила свою власть на весь Северный Кавказ и несколько губерний юго-востока России. В том же, 1918 году в Ростов прибыли члены Правления — Печковский из Кисловодска и Кравцов из Крыма; составился полный кворум Правления, которое и занялось восстановлением дороги, значительно пострадавшей от большевиков и от военных действий.

Во время этой Гражданской войны представители советской власти и Красной армии вели себя настолько безобразно и так жестоко расправлялись с населением занимаемых ими районов и городов, что не было возможности оставаться там после отступления Добровольческой армии без большого риска подвергнуться всем последствиям безудержного произвола большевиков, почему весь состав Правления дороги со старшими служащими Управления сначала переехал из Ростова в Новороссийск, а затем в начале марта 1920 года эвакуировался за границу вместе с 25—30 служащими дороги, не желавшими рисковать своею жизнью.

Невыразимо печально было оставлять Родину и бросать свою 30-летнюю работу на железных дорогах, в которой у меня лично весь интерес жизни. Тяжко было видеть, как во время революции, вместе со всеми остальными культурными ценностями, в корне расстраивалось и рушилось железнодорожное дело, в том числе мое последнее и любимое детище — Владикавказская дорога. Казалось тогда, что и мои личные труды, и труды многих сотен и тысяч бескорыстных и

самоотверженных работников этого дела безвозвратно гибнут, так же как зря пропадают в России усилия и старания целых поколений, работавших над культурой своей Родины. Единственным утешением было сознание того, что все погибнуть не может, а когда начнется восстановление России, то все то здоровое и полезное, что в нее было вложено, воскреснет и послужит для дальнейшего ее развития и благоденствия.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ

Проработав около 30 лет и на казенных, и на частных дорогах и в разных функциях центрального органа Министерства путей сообщения, пройдя все должности от помощника машиниста и десятника (в студенческие годы) до министра путей сообщения, объездив вдоль и поперек всю Россию, Сибирь, Туркестан и Кавказ, зная в общих чертах и железные дороги Западной Европы и Соединенных Штатов, теперь, когда при невольном досуге можно было спокойно и объективно передумать о многом из былой работы и жизни в России, — я могу отдать себе уже ясный отчет в том, каковы были наши железнодорожные пути сообщения, в чем были их хорошие и слабые стороны и какую роль они сыграли во время войны и революции.

Нелишним я считаю поделиться своими на этот счет впечатлениями и воспоминаниями особенно потому, что и в обществе, и в прессе, и даже в кругах правительственных и думских постоянно приходилось встречаться и с малым знакомством, и с каким-то предубежденным взглядом на наши дороги, их положение, их работу и их деятелей. Сплошные жалобы и нарекания на дороги никогда у нас не прекращались, все главнейшие бедствия и несчастья, постигавшие Россию, очень многие объясняли печальным состоянием наших дорог; по очень распространенному мнению, это была постоянная наша болячка; старшие железнодорожные служащие — либо дармоеды, либо мошенники, а младший персонал и рабочие — это белые рабы, эксплоатировавшиеся безжалостно и бестолково. Нередко приходилось слышать и читать, что и война шла так неудачно вследствие плохой работы железных

дорог, а революция возникла потому, что дороги не могли доставить в столицу достаточного количества хлеба и оставили население без продовольствия. “Расстройство транспорта” — это было любимое и ходячее выражение в разных правительственных совещаниях, с думской кафедры и в прессе.

Такое мнение о русских дорогах и их деятелях сложилось исторически. Почти все наши первые железнодорожные линии, открытые в период от 50-х до 80-х годов, строились и эксплоатировались на широких концессионных началах при участии иностранных капиталов и иностранных инженеров и при отсутствии у нашего Правительства надлежащего опыта и знаний для руководства и регулирования дела. Да и нелегко было в стране с примитивной тогда промышленностью и почти полным отсутствием опытных инженеров, техников и рабочих устраивать и эксплоатировать столь сложные и технически трудные предприятия, как железные дороги; нелегко было привлекать в эти предприятия и те крупные частные капиталы, которые требовались. Приходилось идти на всякие гарантии доходности и на всевозможные поощрительные меры и льготы, дававшие предпринимателям и главнейшим руководителям заведомо крупные заработки.

Строительные работы сдавались крупным подрядчикам по большим ценам, дававшим зарабатывать хорошие деньги не только им самим, но и тем инженерам, которые непосредственно заведовали работами с участием в прибылях. На этой почве и возникли “железнодорожные тузы”, такие, как Фон-Дервизы, Фон-Мекки, Поляковы, Губонины, Мамонтовы, барон Штейнгель и др., инженеры-путейцы с большими окладами и премиями, возбуждавшие тем большую зависть и недоброжелательство, что первые дороги, за небольшими исключениями, по своему устройству и эксплоатации далеко не были на высоте задачи.

Положение это стало меняться лишь с 80-х, особенно же с 90-х годов; целый ряд более мелких частных дорог и все дороги бывшего Главного Общества, то есть Николаевская, С.-П.-Варшавская и Нижегородская, были выкуплены в казну; осталось лишь небольшое число более крупных и лучше поставленных железнодорожных обществ. Началось строительство железных дорог непосредственным распоряжением казны, в том числе Великого Сибирского пути;

появилось достаточное число русских инженеров, опытных как в постройке, так и эксплоатации дорог; был издан целый ряд различных положений и правил, обязательных для казенных и частных дорог, в том числе Общий Устав Российских железных дорог; были объединены в ведение Правительства все тарифные дела. Старые концессии были либо ликвидированы, либо заменены новыми уставами на значительно измененных началах; крупные заработки в железнодорожных предприятиях прекратились, и "железнодорожные тузы" отошли в область предания. Железные дороги начали заметно улучшаться, тем не менее они продолжали служить предметом постоянных нареканий и нападок. Объясняется это прежде всего рядом крупных железнодорожных катастроф, происходивших периодически и страшно возбуждавших общественное мнение. Таковы были: Кулигульская катастрофа воинского поезда на Юго-Западных дорогах в 1877 году, Кукуевская с пассажирским поездом в 1882 году на Московско-Курской дороге и, наконец, особенно памятное крушение Императорского поезда около станции Борки Курско-Харьково-Севастопольской дороги 17 октября 1888 года.

Много шума и нареканий на железные дороги и на Министерство путей сообщения вызвали и неисправные перевозки хлеба в 1892 году в восточный район России, постигнутый полным неурожаем. Перевозки эти производились под руководством бестолкового и сумасбродного полковника Вендриха.

Но что вызывало постоянные, ежегодно осенью повторявшиеся жалобы на железные дороги, продолжавшиеся почти до самой войны, так это так называемые хлебные залежи на станциях железных дорог, обслуживавших южные и юго-восточные районы России. Так как это явление специфически русское, очень мало зависевшее от Министерства путей сообщения, но игравшее очень видную роль в нашей экономической жизни, то я позволю себе остановиться на нем несколько подробнее.

Представьте себе какую-либо железнодорожную линию, устроенную и оборудованную для ежедневной погрузки и перевозки, положим, 500 вагонов грузов, и что в обычное время, кроме 2—3 осенних месяцев, этой работоспособности

дороги вполне достаточно для удовлетворения всех потребностей местного населения. Но вот наступает август: хлеб собирается, усиленно вымолачивается и весь избыток урожая, назначенный для вывоза, спешно, в течение части августа, сентября и октября, везется на железную дорогу и предъявляется к отправке, преимущественно в ближайшие порты, в таком размере, что средний ввоз на станции указанной линии составляет уже, положим, 800 вагонов. К такому интенсивному предъявлению хлеба железной дороге побуждаются и сельские хозяева, и хлеботорговцы, и разные посредники целым рядом причин, как-то:

1) необходимостью скорейшей реализации хоть части урожая и невозможностью получения ссуд под хлеб иначе, как на станции железной дороги;

2) сравнительно коротким сухим периодом осени, после которого наступает распутица и дороги становятся непроезжими вплоть до санного пути, которого на Юге и на Кавказе иногда и совсем не бывает;

3) отсутствием у крестьян и недостатком у большинства помещиков складов для зернового хлеба;

4) правилами действовавшего Общего Устава Российских железных дорог, согласно которым весь ввезенный на станцию хлеб, независимо от того, в состоянии ли дорога его отправить или нет, принимается на ответственное и бесплатное хранение;

5) прекращением зимой навигации по рекам, особенно по Волге, к пристаням которой приходится спешить с подвозкой хлеба, чтобы захватить осенний период навигации, а также замерзанием некоторых портов Балтийского моря;

6) стремлением со стороны торговцев сделать возможно больше оборотов и использовать для перепродажи первый, более выгодный период кампании, когда цены в портах стоят обыкновенно выше;

7) правилами погрузки грузов строго по очереди их ввоза, что заставляет отправителей спешить, чтобы захватить более близкие очереди.

При таком предъявлении к отправке в сутки по 800 вагонов груза наша дорога не в состоянии с этим справиться, и ежедневно остается 300 вагонов груза непогруженного. Эта “залежь” растет каждый день и в течение двух месяцев

может дойти до 18 000 вагонов, причем последняя партия ввезенного хлеба, согласно правилу очередной погрузки, не может быть погружена до тех пор, пока все 18 000 вагонов не будут отправлены, а этот вывоз “залежей” затягивается иногда на несколько месяцев, срочные отправки и хлеба, и других грузов той же категории становятся на все это время невозможными, поздно ввезенный хлеб от долгого лежания в мешках без проветривания портится, поедается крысами, вообще обесценивается. Наконец, так как приемных хлебных элеваторов у нас было очень мало, а зерно просто складывалось под навесами, то для этого требовались мешки, стоимость которых очень увеличивала накладные расходы.

Все это отражалось крайне неблагоприятно на интересах сельских хозяев, создавало совершенно нездоровую атмосферу в хлебной торговле, обесценивало зерно, вызывало спекуляцию, всякие злоупотребления, и, конечно, во всем этом обвинялись железные дороги, не справлявшиеся с перевозками хлеба, которого в урожайные годы накоплялось на всей сети до 200 000 вагонов, или до 200 миллионов пудов.

Но посмотрим, каким образом железные дороги могли бы устранить появление таких “залежей” грузов и что из этого могло бы выйти.

Ведь чтобы не допустить “залежей” на рассмотренной выше линии, ее надо было бы усилить настолько, чтобы вместо 500 вагонов она могла грузить и перевозить 800, то есть на 60% более. Для этого пришлось бы построить второй путь, развить все станции, увеличить на 60% инвентарь паровозов и вагонов, почти на столько же увеличить число служащих и пр., и все это для работы в течение двух месяцев в году, в остальные десять месяцев года работоспособность дороги использовалась бы немногим более чем наполовину. Но кроме того, чтобы эти лишние 300 вагонов в сутки можно было доставлять к месту назначения, пришлось бы соответственно усилить и все попутные линии, а также перестроить и все порты, через которые экспортируется хлеб, и их складочные помещения довести почти до годового количества экспортируемого зерна, то есть примерно до 500 миллионов пудов.

Все эти меры технически, конечно, выполнимы, но прежде всего потребовали бы таких громадных денежных затрат, которые с промышленной точки зрения для железных дорог

и для Государства являлись бы совершенно непроизводительными, так как эти затраты нисколько не увеличили бы ни общего размера перевозок, ни валового от них дохода. Но так как железные дороги, казенные и частные одинаково, должны окупать свои расходы (это принцип, признанный во всем мире), то покрытие крупных добавочных расходов при сохранении размера перевозок возможно было бы только путем соответственного поднятия тарифов, что было бы, конечно, совсем не в интересах нашей хлебной торговли. Эти интересы пострадали бы весьма серьезно и непосредственно. Ведь если представить себе, что и железные дороги, и порты были бы усилены настолько, чтобы можно было в течение двух месяцев перебросить в порты весь избыток урожая данного года, то одно наличие в портах такого громадного количества хлеба, перевозимого для продажи за границу, повело бы неизбежно к падению расценки нашего и без того дешевого хлеба и к поднятию пароходных фрахтов. Словом, расходы по такому чрезмерному усилению железных дорог и портов не только являлись бы непроизводительными, но во многих отношениях прямо вредными для экономических интересов государства.

Борьбу с хлебными "залежами" на железных дорогах надо было вести не столько усилением железных дорог, сколько упорядочением всего дела нашей хлебной торговли, особенно экспортной, теми мерами, какие давно вошли в жизнь в Соединенных Штатах, Канаде, Аргентине и других странах, с которыми нам приходилось конкурировать. Обезличение зернового хлеба, устройство в местах производства элеваторов и складов для зерна, упрощение и развитие кредита под хлеб сельским хозяевам, разделение на железных дорогах операций складочных и перевозочных, наконец, необходимое усиление железных дорог и внешних портов и надлежащее регулирование перевозок зерна в порты — вот таков последовательный порядок мероприятий для правильной постановки этого в высшей степени важного для экономических интересов нашей родины дела.

С 1906 года, со времени учреждения Порайонных комитетов по регулированию массовых перевозок, дело это только улучшилось; была достигнута значительная взаимная осведомленность и общая работа в подготовке и проведении "хлеб-

ной кампании” между хлеботорговцами и железными дорогами, погрузка в разных направлениях и в адрес всех портов производилась планомерно в зависимости от провозной способности ж.-д. линий и приемной способности портов, чем устранялись так называемые пробки и задержки в пути. Но к коренным мерам по улучшению этого дела, а именно к устройству приемных элеваторов, изменению Общего Устава Российских железных дорог, закону об обезличении хлеба, улучшению оборудования портов и пр., было приступлено незадолго до войны, и дело это далеко не закончено.

На эту сторону хозяйственной жизни России необходимо будет будущему русскому правительству обратить самое серьезное внимание, особенно потому, что наше сельское хозяйство восстановится, наверное, скорее, чем будут восстановлены железные дороги, а без надлежащих мер по упорядочению хлебной торговли вновь возникнут в прежних размерах хлебные “залежи” со всеми их вредными последствиями.

В течение последнего десятилетия до войны пассажирское сообщение на наших железных дорогах было доведено до такого состояния, которому могла завидовать Западная Европа, за исключением разве одной Германии. Прекрасные, удобные, теплые и чистые вагоны даже 4-го класса, плацкарты и места для лежания даже в вагонах 3-го класса, отличное согласование на узловых станциях целого ряда прямых и дальних поездов, правильное распределение пассажиров по поездам и вагонам в зависимости от дальности пути, прямые беспересадочные вагоны всех трех классов не только в сообщении от столиц, но и со всеми крупными городами и курортами, прямые дальние поезда со спальными вагонами и ресторанами от Петербурга и Москвы к пограничным станциям и ко всем наиболее отдаленным городам государства, как Владивосток, Батум, Ташкент, Одесса, Севастополь и пр., значительная скорость сообщений при весьма редких несчастных случаях с пассажирскими поездами, наконец, дешевизна проездного тарифа, бесплатная перевозка пуда багажа, прекрасные и дешевые станционные буфеты — все это давало возможность пассажирам всех классов совершать путешествия по нашим дорогам с такими удобствами, какие в Западной Европе существовали только для богатых людей, ездивших в 1-м классе различных экспрессов.

Помимо выполнения чисто транспортных задач, наши железные дороги в большинстве случаев, особенно при обслуживании более отдаленных и захолустных районов, играли немалую роль как проводники в население общей культуры. Хорошая постановка на железных дорогах медицинской помощи, развитие школ, общеобразовательных для детей и разных специальных для служащих и рабочих, постройка церквей, кооперативное дело, развитие библиотек-читален, народных домов с разными разумными развлечениями, спортивных кружков, зачастую древесных питомников и образцовых полей и огородов, наконец, тот общий порядок и дисциплина, к которым приучались не только служащие и рабочие, но и массы населения, вступая на железнодорожную территорию, — все это не только содействовало поднятию культурного уровня в районе железных дорог, но несомненно способствовало общему развитию государственного инстинкта, оценки значения труда и порядка и усилению национального чувства.

В последнее десятилетие до войны наши железные дороги резко улучшились и в чисто хозяйственном и финансовом отношении, особенно дороги казенные. Несмотря на весьма низкие, по сравнению с Западной Европой, дифференциальные тарифы*, пассажирские и товарные, несмотря на весьма тяжелые для железнодорожного транспорта климатические условия (морозы, снежные заносы), большую неравномерность работы в разные периоды года, односторонность перевозки дешевых массовых грузов с обратными пробегами порожних вагонов, слабую производительность труда служащих и рабочих — несмотря на все это, наша железнодорожная сеть в последние годы перед войной не только не давала убытка, но своими доходами служила значительным подспорьем государственному бюджету.

За 1913 год доход от эксплоатации железных дорог составил 467 миллионов рублей, из которых, за покрытием обязательств по облигационным займам железнодорожных обществ и за отчислением дивиденда по акциям, в казну по-

---

* То есть понижающиеся с увеличением расстояний. Проезд в 3-м классе от Петербурга до Парижа стоил 35 руб. 45 коп., а на такое же расстояние, в 2541 версту, по одним русским дорогам — 15 руб. 80 коп.

ступило 360 миллионов. Достигалось это целым рядом длительных мероприятий по улучшению оборудования станций и мастерских, смягчению тяжелых подъемов, усилению типов паровозов и вагонов, удешевлению стоимости разных материалов, потребляемых железными дорогами, наконец, разными серьезными мерами по улучшению утилизации подвижного состава и по поднятию продуктивности труда служащих и рабочих.

Особенно трудна была последняя задача, в выполнении которой мы очень отставали от дорог других наиболее культурных стран, таких, как Соединенные Штаты, Германия и Англия. Наш трудовой рынок был очень обширен и дешев, предложений труда, за исключением двух-трех месяцев полевых работ, было сколько угодно; но элемент, из которого приходилось набирать служебный персонал, представлял собой, за редкими исключениями, сырой материал, из которого лишь постепенно и с прохождением специальных подготовительных курсов вырабатывались полезные работники. Железнодорожная служба, особенно с технической стороны, дело очень сложное и трудное, требующее от всех, даже младших исполнителей, особенного внимания, аккуратности и точности, то есть свойств, мало присущих вообще русскому человеку, особенно жителям южных районов. Даже малейшие ошибки и нарушения правил технической эксплоатации и сигнализации ведут к большим расстройствам в движении, а иногда и к большим несчастьям и убыткам. Особенность этой службы заключается в том, что почти весь местный персонал, распределенный по путям, станциям и поездам, выполняет обязанности самостоятельно, без постоянного и непосредственного надзора и руководства, как это имеет место, например, на заводах и фабриках, и потому должен быть не только хорошо подготовлен, но и дисциплинирован, действовать не по шаблону, а сознательно и целесообразно. В соответствии с этим и от всех старших и руководящих служащих требуется не только знание дела, опытность и хозяйственность, но и все то, что должны иметь хороший педагог и воспитатель, так как надлежащий подбор и непрерывная подготовка персонала и постоянное поддержание общего порядка и правильного хода службы составляли у нас в России одну из труднейших задач железнодорожной администрации.

Задача эта могла выполняться тем успешнее, чем более удовлетворительно было материальное положение служащих и рабочих, составлявших на всей сети армию в 800 000 человек. Хотя по мере поднятия продуктивности труда и сокращения числа служащих на единицу работы эта сторона дела у нас постепенно улучшалась и служащие на железных дорогах были в общем поставлены в лучшие условия, чем в большинстве казенных учреждений, но все же это была слабая сторона нашего железнодорожного дела, зависевшая от целого ряда общих экономических и социальных условий жизни в России. Бороться на железных дорогах с влиянием этих часто ненормальных и вредных особенностей русской действительности было нелегко во многих отношениях, в том числе и в отношении злоупотреблений и всякого рода незаконных поборов, допускавшихся железнодорожными служащими.

В общественном мнении и в прессе злоупотребления на железных дорогах и в разных, даже центральных органах по заведованию ж.д. транспортом носили чисто легендарный характер; даже в сферах правительственных, военных и думских существовала такая презумпция, что чуть ли не все "железнодорожники", начиная от начальника Управления и председателя Правления и кончая кондукторами и смазчиками, — все более или менее мошенники и взяточники.

Зная довольно близко эту сторону былой железнодорожной жизни, я считаю небесполезным осветить ее несколько подробнее.

Злоупотребления в области железнодорожного дела надо прежде всего разделить на две совершенно различные по своей природе и последствиям части: на всякие незаконные способы получения, пользуясь своим служебным положением, добавочного к содержанию дохода со стороны высших деятелей и начальствующих лиц и на всякого рода мелкие поборы и "благодарности" от грузовладельцев и пассажиров со стороны младшего служебного персонала.

Что касается высшего персонала, то, зная за последние 25—30 лет до революции всех министров П.С., их товарищей, начальников Управления ж.д. и его отделов, председа-

телей Правлений частных железных дорог, начальников по сооружению новых дорог и начальников и управляющих железных дорог, в общем не менее 200 человек, я мог бы назвать до 10 фамилий людей, явно замаравших себя нечистоплотными делами, совершенными с корыстолюбивыми целями, либо сильно в этом заподозренных в своей среде. В числе таковых лиц был даже один министр путей сообщения, попавший на этот пост по какому-то недоразумению и очень скоро со скандалом удаленный повелением еще Императора Александра III за участие в поставке шпал для казенных дорог; был председатель Правления одной из частных дорог, который, будучи командирован в Америку для заказа большого количества подвижного состава и рельсов, вернулся оттуда богатым человеком; всем был известен один так называемый маргариновый инженер, пользовавшийся поддержкой Витте, тоже разбогатевший благодаря взяткам от подрядчиков; в 90-х годах в Управлении по сооружению железных дорог было два-три старших чиновника и один юрист-консультант Министерства, о которых ходили весьма неблагоприятные слухи; приходилось слышать за все это время о некоторых членах Правлений частных дорог, денежно связанных с такими предприятиями, которые являлись поставщиками их дорог. Но все эти примеры относятся главным образом к 80-м и 90-м годам и, в общем, представляют собой картину несравненно менее печальную, чем то, что приходилось в последнее время узнавать о злоупотреблениях в правительственных и железнодорожных сферах некоторых иностранных государств. Во всяком случае, в последние годы перед войной атмосфера в высших органах Министерства П.С., в Правлениях железных дорог почти совершенно очистилась; если встречались лица, о которых ходили неблагоприятные слухи, то это были весьма редкие исключения; немало было лиц из высших железнодорожных деятелей, которые обладали более или менее значительными средствами, но средства эти приобретались либо одновременным участием в разных промышленных предприятиях, непрерывно развивавшихся в последнее время перед войной, либо биржевой игрой на железнодорожных акциях, которые за указанное время постоянно поднимались в своей рыночной цене.

Что касается линейных начальствующих лиц, начиная с начальников участков и кончая начальниками дорог, то, прослужа в разных должностях на трех дорогах и несколько лет в Центральном управлении железных дорог, я должен по совести засвидетельствовать, что не только случаи открытых злоупотреблений со стороны служащих указанной категории были исключительно редки, но совершенно ничтожно и число случаев, когда кто-либо из указанных служащих возбуждал против себя подозрения. Наоборот, я могу смело утверждать, что в последние 15—20 лет до войны инженеры всех специальностей и другие старшие служащие на дорогах, за очень редкими исключениями, были сплошь исключительно честными и добросовестными работниками. Если они жили сравнительно хорошо и многие к концу службы скапливали себе некоторые средства, то это объясняется сравнительно хорошим вознаграждением на службе, значительными наградными на частных дорогах и многими удобствами и льготами, которые давала служба на железных дорогах, как, например: казенные квартиры, дешевое топливо из складов дороги, дешевые продукты и товары из кооперативов, бесплатный проезд и пр.

В другом совершенно виде представляются мелкие поборы и взятки в среде младшего персонала: начальников станций, заведующих товарными дворами, товарных кассиров, составителей товарных поездов, приемщиков материалов и особенно поездных кондукторов. Злоупотребления при приемке, погрузке и выдаче грузов и при расчетах провозных плат имели, к сожалению, весьма распространенный характер и совершались в большинстве случаев по взаимному соглашению с представителями грузовладельцев. Эти злоупотребления заключались главным образом в неправильном наименовании грузов или показании неправильного их веса и вообще в обходе всяких тарифных правил и потому целиком производились в ущерб только дороге. Борьба с этими злоупотреблениями вызывала необходимость очень усиленного контроля за всеми товарными операциями и сплошной проверки всех перевозочных документов, для чего у нас существовали специальные Службы или Контроли сборов, которые нигде в Европе не имели такой массы служащих и не вызывали столь крупных расходов по своему содержанию, как на наших дорогах.

Чисто русское явление представляли у нас также перевозки безбилетных пассажиров, так называемых зайцев, за мзду, взимавшуюся кондукторами в свою пользу. Особенно это практиковалось в поездах товарных, состоявших из непроходных вагонов. Это наше бытовое явление, очень мало распространенное в других культурных странах, объясняется не только более низким у нас материальным и моральным уровнем населения и служащих, но и открытым устройством наших станций в отличие от загражденных станций за границей, допускающих сплошной контроль всех пассажиров как при входе на пассажирские платформы, так и при выходе из поездов. Подобное ограждение станций, как мера вообще дорогая, у нас начало только применяться на дорогах с более интенсивным пассажирским движением. Надо еще заметить, что эти "зайцы" в наших товарных поездах представляли собой главным образом тех крестьян и рабочих, которых часто можно было видеть путешествующими пешком вдоль полотна дороги и которым не под силу было оплачивать проезд по тарифу. Когда за несколько лет перед войной были у нас введены специальные дешевые поезда и вагоны 4-го класса, то "зайцеводство" значительно сократилось.

Весьма частыми были у нас среди станционных служащих, особенно в крупных промышленных и торговых центрах, и так называемые безгрешные доходы, получавшиеся за такие услуги, помощь и всякого рода содействие грузовладельцам, которые собственно злоупотреблениями назвать нельзя, так как, с одной стороны, они никому ущерба не приносили, с другой — требовали от служащих лишнего внимания, труда и забот сверх того, что от них требовала служба.

В общем, о злоупотреблениях на железных дорогах гораздо больше говорилось и писалось, чем они того заслуживали; они представляли собой то внутреннее зло нашего железнодорожного дела, которое прежде всего и больше всего отражалось на интересах самих железных дорог и которое всегда вызывало к себе большое внимание и большие заботы железнодорожной администрации и Министерства путей сообщения.

В такой стране, как Россия, при ее громадной территории, разнообразных природных богатствах и северном климате, допускавшем транспорт по рекам лишь в течение части года, правильное и возможно более широкое развитие железнодорожной сети составляло главное условие для развития экономической и культурной жизни. Между тем сооружение железных дорог шло у нас далеко не планомерно, как-то скачками и под давлением главным образом стратегических потребностей, особенно резко проявлявшихся после войны (Крымской в 1856 году, Турецкой в 1877—1878 годах, Японской в 1904 году), и вообще гораздо медленнее, чем это требовали правильно понимаемые интересы государства. Объясняется это отчасти тем "казенным" направлением нашей железнодорожной политики, которое существовало особенно во время пребывания министром финансов С.Ю. Витте, наравне с чрезмерно осторожным отношением к расходам казны на постройку дорог, а главным образом отсутствием в наших правительственных сферах, да и вообще в обществе, правильного представления о той двигательной силе, какую представляют железные дороги в развитии производительности, а следовательно, и богатства страны.

Заметный поворот в этом сознании произошел, в сущности, лишь в 1907—1908 годах, благодаря работам так называемой анкетной комиссии под председательством члена Государственного Совета Н.П. Петрова с участием нескольких членов от новых законодательных палат. Комиссия эта доказала с полной ясностью, что наша железнодорожная сеть слишком недостаточна и во многих своих частях чрезмерно перегружена; что вопросы о проведении новых дорог нельзя решать в зависимости от того, будут ли они сразу по открытии обеспечены достаточными перевозками и доходностью, а главное внимание должно быть обращено на то, что обслуживаемый новой дорогой район может дать в будущем; что, даже при полной бездоходности в первые годы, всякая новая линия, правильно проведенная, настолько поднимает край, дает такую массу косвенных выгод и отечественной промышленности, и местному населению, а следовательно, и государству, что даже с чисто фискальной стороны вполне оправдывает произведенные на ее постройку расходы.

Заключения этой комиссии наряду с невозможностью осуществить широкую строительную программу из средств казны, наконец, необходимость улучшить и водные сообщения, и внешние порты, что могло быть сделано лишь из средств Государственного Казначейства, побудили наконец наше Правительство изменить свою железнодорожную политику и наряду с решением построить несколько новых дорог за счет казны (Амурская железная дорога, Харьков—Херсон, Гришино—Ровно и др.) разрешило в течение двух-трех лет организацию целого ряда, свыше 20-ти, новых железнодорожных обществ для сооружения и эксплоатации рельсовых путей, главным образом в Сибири, Туркестане, на Кавказе и в районе Урала, а также ряда новых линий прежним ж.-д. предприятиям. Этому делу очень много содействовали бывший в то время министр финансов граф Ф.Н. Коковцев и директор ж.д. департамента Министерства финансов И.Е. Гиацинтов. Та легкость, с которой все общества находили необходимые капиталы, главным образом за границей, и тот успех, с которым они начали осуществлять свои задачи незадолго до войны, лучше всего показывают, насколько велика была потребность в этих новых дорогах и насколько они представляли собою здоровые предприятия с чисто промышленной точки зрения. Лишь небольшая часть этой обширной программы была закончена до войны, большинство же дорог так и остались недоконченными.

В этом деле, как и во многих других случаях выполнения государственных задач, мы очень опоздали. Если бы указанная мера по расширению ж.д. сети была принята 10—15 годами ранее, то ко времени войны не только протяжение наших дорог увеличилось бы на 20—25 тысяч верст, но и в соответствии с этим вырос бы и общий парк паровозов и вагонов, были бы усилены и существовавшие магистрали, значительно выше была бы добыча угля, хлопка, чугуна, даже хлеба, созданы были бы новые заводы и фабрики, вообще Россия в транспортном отношении была бы много сильнее.

Естественным поэтому является вопрос, могло ли это коренным образом повлиять на ход войны и насколько слабость наших железных дорог являлась серьезной причиной военных неудач и причиной возникшей революции. Ответ на этот вопрос тем более важен, что и в период войны “рас-

стройство транспорта” было общим местом и постоянной ссылкой при всяких затруднениях и неуправках, и по возникновении революции часто приходилось слышать, а потом читать в разных воспоминаниях, что она произошла от недостаточного подвоза муки к Петрограду.

РОЛЬ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

Всем известно, что перевозки по мобилизации армии и ее сосредоточению были произведены не только в полном порядке, но и закончены много раньше времени, предвиденного существовавшим тогда мобилизационным планом, что было большой и неприятной неожиданностью для германской армии. Но результат этот был достигнут благодаря лишь тому, что в течение почти двух месяцев с объявления мобилизации армии все средства железных дорог были почти целиком использованы лишь для воинских перевозок; пассажирских поездов обращалось со скоростью воинских поездов не более одной-двух пар, а перевозка всех частных грузов была не только полностью приостановлена, но и все товарные поезда, которые объявление о мобилизации застало в пути, были разгружены на ближайших станциях.

Это более чем двухмесячное прекращение подвоза всяких грузов сразу весьма печально отразилось на общем товарообмене; запасы топлива, хлеба и всяких других товаров и продуктов на местах потребления сильно сократились. В дальнейшем наверстывание этих запасов оказалось уже невозможным, так как непрерывно увеличивавшийся состав армии, отвлечение очень большого количества подвижного состава в районе военных действий и снабжение многомиллионной армии поглотили почти половину паровозной способности железных дорог.

Война вызвала не только постоянные массовые перевозки на фронт и частью от него, но и значительные перевозки на разнообразные нужды войны в тылу: перевозки всех запасных чинов армии в пункты их формирования и подготовки, снабжение всех тыловых воинских частей и учреждений, развозка и распределение пленных и раненых, питание всех заводов и фабрик, работающих на оборону, и пр. Для удовле-

творения обычных потребностей населения, его снабжения, поддержания нашей промышленности и торговли перевозочных средств, конечно, хватить не могло.

Особенно сильно это начало проявляться с тех пор, как для снабжения армии и заводов массу грузов приходилось вывозить из столь отдаленных портов, как Архангельск и особенно Владивосток: один поезд в сутки из Владивостока в Европейскую Россию требовал наличия около 100 паровозов и 3000 вагонов. К этому необходимо добавить, что и самая работа железных дорог, как по поддержанию в порядке пути и подвижного состава, так и по совершению перевозок, была значительно затруднена сравнительно с мирным временем, и эти затруднения все возрастали. Призыв многих железнодорожных служащих и рабочих в войска при невозможности их замены не только подготовленными, но просто работоспособными людьми, затруднения в снабжении дороги потребными материалами, и особенно топливом, наряду со значительным ухудшением качества последнего, разные срочные работы на железных дорогах по приспособлению их к выяснившимся нуждам войны, по оборудованию массы санитарных поездов, устройству поездов бронированных и пр. — все это крайне усложняло хозяйственную и административную стороны дела.

Характер всех грузовых перевозок коренным образом изменился сравнительно с мирным временем; обычно погрузка грузов производилась на каждой станции по очереди их ввоза, используя для этого как вагоны, опорожнявшиеся от грузов на этой станции, так и прибывавшие на эту станцию по распоряжению контор отделений в общем порядке течения порожних вагонов, устанавливавшемся на более или менее продолжительные периоды. В период же войны все грузы должны были отправляться либо согласно определенным, предложенным всем дорогам планам, либо по отдельным специальным распоряжениям; при этом порядке ежедневная рассылка порожних вагонов по определенным станциям для выполнения наряда вызывала не только громадный труд распорядителей движения, но и большой непроизводительный пробег вагонов, а следовательно, и гораздо худшую их утилизацию, чем в мирное время.

К этим затруднениям в течение первого года войны прибавлялась еще изрядная путаница в распоряжениях отно-

сительно перевозок, получавшихся на местах от уполномоченных разных ведомств и часто либо взаимно противоречивых, либо в совокупности невыполнимых; это было устранено лишь к концу 1915 года, когда и было установлено единство в этих распоряжениях, исходивших потом от Управления железных дорог. Большое неудобство заключалось и в разделении всей сети на две части, одна подчинялась Министерству путей сообщения, а другая находилась в ведении Управления путей сообщения, органа Штаба Верховного Главнокомандующего; это приводило зачастую к несогласованным распоряжениям и действиям, вследствие чего получались немалые простои вагонов и в пределах фронта, и около пограничной черты, в общем неблагоприятно отражавшиеся на успехе перевозок.

С декабря 1915 года мне лично пришлось исполнять главную роль в руководстве железнодорожным транспортом на всей тыловой части сети, и я по справедливости должен засвидетельствовать, что железные дороги, несмотря на все указанные трудные условия работы, выполняли свою задачу с наибольшим возможным успехом и производили все перевозки в достаточных размерах. По крайней мере, бывая неоднократно на фронте, мне ни разу не приходилось там слышать о недостатке или отсутствии таких предметов или продуктов, которые имелись в тылу и не были доставлены по вине железных дорог. Орудийными снарядами к концу 16-го года так были переполнены все базисные склады, что уже негде было их складывать, и дальнейшая перевозка их была приостановлена.

В гораздо меньшей степени наши железные дороги, прилегающие к западной границе, могли удовлетворить командование армии в выполнении чисто оперативных перевозок в пределах фронта и театра войны. Ни конфигурация нашей пограничной сети, ни ее оборудование таким боевым задачам совершенно не отвечали, особенно при передвижениях фронта то вперед, то в глубь страны; очень слабыми для военных операций оказались наши линии, ведущие к румынской границе. Но перестроить существовавшие дороги или выстроить ряд новых стратегических линий, параллельных фронту, в короткое время было совершенно невозможно. Это должно было быть предвидено и исполнено по требованию нашего

Военного министерства заблаговременно, как необходимая мера по защите нашей столь длинной западной границы. Наши боевые задачи, из-за переустройства этих западных дорог, были, конечно, очень сильно затруднены, особенно в операциях наступательных, которых все время требовали от нас союзники. Это обстоятельство в значительной степени было причиной столь большой численности нашей Западной армии и многих наших неудач в бывшей войне.

Если и в мирное время наши железные дороги в определенные периоды года, большей частью осенью, не могли срочно удовлетворять все предъявлявшиеся требования на перевозки, то вполне естественно, что во время войны, которая поглощала до половины провозной способности ж.д. сети, они были не в силах отвечать всем желаниям, касавшимся обычных перевозок, особенно если принять во внимание, что главнейшие массовые перевозки хлеба, угля, нефти, хлопка, живности и т.п. грузов шли в тех же направлениях — с востока и юго-востока на запад и северо-запад, — что и перевозки по обслуживанию главного фронта. Нелегко было удовлетворять и требованию столиц, в районе которых было расположено так много заводов и фабрик и население которых за время войны сильно возросло.

Но необходимо сказать, что далеко не все требования вызывались строгой необходимостью и не все раздававшиеся жалобы были основательны. Война, сокращение товарных запасов, поднятие цен, громадные поставки интендантству, усиление деятельности большинства заводов и фабрик — все это вызывало жажду наживы, часто прямую спекуляцию, всем хотелось использовать исключительно благоприятную торговую конъюнктуру, побольше получить товаров, усилить свои товарные обороты. Кроме того, и серьезные потребители, боясь не получить вовремя нужных им грузов, делали запасы, значительно превышавшие их действительную потребность. Как-то осенью 1916 года из Министерства торговли и промышленности сообщили, что ряд петроградских заводов через день-два прекращает работу вследствие отсутствия топлива. Мне это показалось невероятным, и я послал на разные заводы особых людей проверить их положение. Оказалось, что хотя на некоторых фабриках топлива было мало, но большинство крупных заводов

было обеспечено коксом и углем на один-два месяца; это прямо показало, что если бы топливо, прибывавшее ежедневно в достаточном количестве, правильно распределялось между важнейшими потребителями, то никто из них недостатка не ощущал бы.

Петербургская биржа, привыкшая иметь в мирное время полугодичный запас зерна и муки, все время кричала о недостаточном запасе хлеба, тогда как после самых тяжелых для перевозок декабря 16-го года и января 17-го года, когда на всем юго-востоке России свирепствовали большие морозы и метели, в феврале 17-го года, перед самой революцией, запас муки в Петербурге был месячный, при ежедневном подвозе в размере не менее суточной потребности. Если к этому прибавить, что ни один завод в Петербурге и Москве не останавливался из-за отсутствия подвоза сырых материалов, что цены на главнейшие продукты и товары, несмотря на свободную торговлю, возросли очень мало и что у большинства городских обывателей были припасены такие запасы продуктов, которых в прежнее время никто не имел, — то станет ясным, что относительная слабость нашего железнодорожного транспорта прибавляла очень мало к тем потерям, тяжестям и невзгодам, которые приходилось испытывать населению России вследствие войны. Вообще, в отношении чисто материальном положение России во время войны и перед революцией куда было легче положения Германии, Австрии, Бельгии, Сербии; потери людьми в процентном отношении к населению ряд стран понес также больше, чем Россия. Не слабость железных дорог, не абсолютная тяжесть войны для населения были причиной военных неудач, революционного взрыва и прочих несчастий, постигших Россию; причины были другие, но о них поговорим особо. Здесь я упомянул это только для того, чтобы указать, что если Россия не выдержала экзамена в этой “битве народов”, то лишь в малой доле это может быть приписано железным дорогам, которые не только до конца, в течение двух с половиной лет, не ослабляли своей работы, но персонал которых все время работал вполне добросовестно и с полным напряжением сил.

Возвращаясь к общей характеристике наших рельсовых путей, можно сказать, что наш железнодорожный аппарат был, несомненно, менее развит, чем этого требовали наши

государственные интересы и условия обороны государства. В расширении железнодорожной сети мы опаздывали против потребностей жизни лет на 10—15, но дороги, которые у нас существовали, были построены и оборудованы весьма целесообразно, эксплоатировались в последние годы перед войной хозяйственно и дешево и, в общем, весьма удовлетворительно выполняли свое назначение не только в мирное время, но и в тяжелое время войны.

Если сравнить наш железнодорожный транспорт с железными дорогами других стран, то по общему количеству наших рельсовых путей сравнительно с территорией и населением мы были позади всех без исключения стран Западной Европы. Сравнительно с дорогами Германии, Англии, Соединенных Штатов наши дороги много слабее по оборудованию, развитию узлов, станционных зданий, скорости движения, механизации сигналов и труда и пр. Но по сравнению с дорогами, например, Франции, Италии, Австрии мы отставали, так сказать, только количественно, по числу вторых путей, путевому развитию, числу обращения поездов; в отношении же оборудования, типов подвижного состава, приемов эксплоатации, устройства мастерских наши дороги были не хуже указанных стран. А что касается удобств пассажирского сообщения, дешевизны тарифов, дешевизны постройки и эксплоатации и общей доходности — наши железные дороги были выше большинства стран Западной Европы.

Если при этом вспомнить еще, что в железнодорожном деле нам приходилось считаться с суровым климатом северной части России и Сибири, безводными пустынями Туркестана, закавказскими лихорадками, с отсталым состоянием нашей промышленности вплоть до XX века и общим малокультурным уровнем населения, то нельзя не признать, что в этом деле мы достигли весьма хороших успехов и что железнодорожный транспорт представлял собой в России одно из наиболее здоровых и отрадных явлений нашей государственной жизни.

Это весьма рельефно проявилось и во время революции. Железные дороги у нас были в числе тех очень немногочисленных учреждений и организаций, которые проявили наибольшую устойчивость и сопротивляемость общей разрушительной стихии. Очень большого труда стоило в 1917 году всяким

революционным агитаторам, вернувшимся из ссылок, тюрем и из-за границы, расстроить правильный ход службы и работы на железных дорогах, в чем немало стараний проявлял и тогдашний министр путей сообщения Некрасов, натравливавший служащих и рабочих на их начальство и уговаривавший их самим взять в свои руки управление железными дорогами. Несмотря на все эти старания, вся революция на железных дорогах развивалась весьма медленно и нигде почти не сопровождалась со стороны младших служащих и рабочих ни насилиями над начальствующими лицами, ни грабежами. Наоборот, почти повсеместно младший персонал являлся защитником порядка и имущества железных дорог от всяких революционных действий и грабежей со стороны разнузданной массы солдат. Несколько старших железнодорожных деятелей было за период революции убито, именно — инженер Валуев, Паукер, Матренинский и Невежин, но эти убийства совершены вне железных дорог и к ним служащие совершенно не причастны. Только после захвата власти большевиками был окончательно расстроен административный аппарат как центрального органа Министерства путей сообщения, так и на местах, а во главе всего появились разные комитеты служащих; хотя эти комитеты большею частью состояли из младших, наименее культурных людей, тем не менее и они не только не допускали каких-либо эксцессов над бывшими начальствующими лицами, но почти всюду старались их удержать на службе и пользовались их указаниями и советами.

Через два-три года всяких коммунистических экспериментов на железных дорогах, приведших к большому их разрушению и беспорядку, советская власть не только целиком вернулась ко всем прежним методам и общему административному строю в управлении железными дорогами, но вновь почти на все ответственные посты поставила прежних администраторов и инженеров.

ГЛАВНЕЙШИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

Итак, постановка нашего железнодорожного дела и управление им должны быть признаны вполне удовлетворительными, что, при общих и многочисленных ненормальностях на-

шей государственной жизни в последнее царствование, не может не быть поставлено в серьезную заслугу главнейшим деятелям в этой области.

Кто же эти деятели? Если начать сверху, от министров путей сообщения, то за последние 30 лет до войны в этой роли последовательно были: Посьет, Гиббенет, Паукер, Витте, Кривошеин, кн. Хилков, Немешаев, Шауфус, Рухлов, Трепов и последние два месяца перед революцией автор этих строк.

О *Посьете* у меня не было личных воспоминаний, так как в 1888 году, когда он был заменен, я еще был студентом; но мне приходилось слышать с разных сторон, что это был очень почтенный и симпатичный человек, однако совсем не государственного масштаба и ничего не понимавший в железнодорожном деле. Дороги его времени, за исключением одной-двух, были частными и носили еще все следы прежних концессионных порядков. За исключением дорог Главного Общества (Николаевской, Варшавской и Нижегородской), Юго-Западных да, пожалуй, Московско-Рязанской и Варшавско-Венской, остальные были в весьма плохом состоянии, бедно оборудованные, со слабыми движениями, постоянными дефицитами и весьма небрежным управлением, одним из доказательств чего является, между прочим, известное крушение Императорского поезда 17 октября 1888 года, происшедшее вследствие нарушения весьма примитивных правил безопасности движения, именно — допущения чрезмерной скорости движения при двойной тяге товарными паровозами и слабом состоянии пути. Это скандальное крушение дало заметный толчок в улучшении, пока с чисто технической стороны, наших железных дорог, а также в изменении нашей железнодорожной политики; в последующие годы целый ряд железных дорог, кончая железными дорогами Главного Общества, были выкуплены от частных обществ и на них введена казенная эксплуатация.

Все эти изменения и улучшения явились результатом работы целого ряда разных специальных комиссий, отчасти под влиянием недавно соорганизованного временного Управления казенных железных дорог, но помимо последующих министров *Гиббенета* и *Паукера,* которые, и по кратковременности своего управления ведомством, и по своим личным свойствам, ничего не внесли в наше железнодорожное дело.

Витте тоже пробыл во главе Министерства П.С. лишь около года; несмотря на это и на свое знание дела лишь с тарифно-финансовой стороны, он, как человек умный и решительный, все же оставил после себя заметные следы в ряде преобразований и начинаний. Но главное его влияние на положение и развитие железных дорог проявилось в дальнейшем, в бытность его министром финансов и при министре путей сообщения *кн. Хилкове* (1895—1905), человеке поверхностном и слабовольном, во всем подчинявшемся всесильному Витте и низведшем свое Ведомство до положения технического департамента Министерства финансов. Это имело и хорошую, и дурную сторону. Хорошая заключалась в том, что, во-первых, железнодорожная сеть была значительно преобразована к лучшему, целый ряд слабых железнодорожных обществ был ликвидирован, вместо них созданы либо крупные общества с новыми уставами и задачами, либо казенные управления; во-вторых, вообще ассигнования казны на нужды железнодорожного транспорта были значительно подняты, благодаря чему построены некоторые новые дороги, в том числе Восточно-Китайская, закончена Сибирская магистраль и значительно усилены существовавшие казенные линии. Отрицательная сторона такого умаления Ведомства П.С. заключается в том, что железнодорожное дело не имело своего самостоятельного и ответственного хозяина, а подчинено было одновременно трем ведомствам: Министерству П.С., Министерству финансов и Государственному Контролю, которому была присвоена совершенно несвойственная контрольным функциям активная роль. Следствием этого в деле управления уже весьма обширной казенной сетью железных дорог было чрезмерное развитие централизации, всяких советов и комитетов, общих норм и шаблонов и вообще переписки и формалистики, что далеко не способствовало улучшению хозяйственной и технической стороны эксплоатации, составлявшей в то время очень слабую сторону казенных железных дорог.

Князя Хилкова в конце 1905 года заменил Начальник Юго-Западных железных дорог инженер *Немешаев,* принявший весьма тяжелое наследство, так как железные дороги были значительно расстроены и тем общим разладом, который в жизнь России внесла революция 1905 года, и беспоря-

дочным возвращением воинских частей после войны с Японией. Несмотря на это и на краткость своего управления ведомством (в течение всего 6 месяцев), Немешаев несомненно внес живую струю в это несколько неподвижное ведомство и успел провести две значительные реформы. Первая заключалась в перегруппировке казенных линий между отдельными местными управлениями и объединении их в более крупные группы, что имело важное значение как для улучшения и удешевления их эксплоатации, так и для ускорения товарного движения. Вторая представляла собою, как тогда говорили, некоторого рода "конституцию" в деле регулирования товарных перевозок и заключалась в организации по всей сети дорог Порайонных комитетов по управлению массовыми перевозками грузов, с привлечением к этому делу широкого представительства общественности. Положение об этих комитетах, требовавшее законодательной санкции, было Немешаевым проведено в несколько дней через старый Государственный совет в последнем его заседании перед открытием новых законодательных палат; если бы это не было сделано, то, вероятно, эти комитеты увидели бы свет лишь через несколько лет.

В апреле 1906 года, перед открытием Государственной думы, все Правительство Витте вышло в отставку, в том числе и Немешаев, вернувшийся обратно на Юго-Западные дороги. Вместо него был назначен военный инженер генерал *Шауфус,* один из немногих военных инженеров, всю почти жизнь служивший на железных дорогах. Это был большой знаток техники железнодорожного дела и большой труженик, но по своей мелочности, своему педантизму и упрямству был очень тяжел для подчиненных и не пользовался ни доверием, ни популярностью в правительственных и думских кругах. Шауфус положил много труда и забот в борьбе с разными непорядками на железных дорогах и на подбор хороших начальников дорог и начальников служб, и за три года своего управления ведомством ему удалось не только устранить ту расшатанность, которая явилась следствием 1905 года, но и укрепить дисциплину и упорядочить многие административные стороны в эксплоатации железных дорог.

Преемником Шауфуса с начала 1909 года был *Рухлов,* бывший до того помощником начальника и фактическим

руководителем Главного управления мореплавания и торговых портов. В железнодорожном деле это был человек новый, но благодаря своему недюжинному уму, энергии и опытности в делах государственного масштаба ему нетрудно было продолжать дело своих предшественников. Этому благоприятствовал хороший состав наиболее ответственных лиц как в центральных органах Министерства, так и на местах, особенно же рост перевозок и доходности железных дорог, который был в тесной связи с чрезвычайно быстрым темпом развития нашей промышленности и торговли в последние 6—7 лет перед войной. Это дало и естественный толчок в развитии и усилении железнодорожной сети и образовании ряда новых железнодорожных предприятий, чему, однако, в большей степени способствовал тогдашний министр финансов граф Коковцев, чем Рухлов, вообще отрицательно относившийся к частному железнодорожному хозяйству.

С объявлением войны в июле 1914 года на министра П.С. выпала очень ответственная и тяжелая задача, затруднявшаяся еще выделением всех дорог фронта в особое управление, не подчиненное министру П.С., и вмешательством органов военного ведомства во все железнодорожные перевозки и тем общим разладом, который начался на верхах власти со средины 1915 года, с возложением на себя Государем Верховного Командования армией и с усилением влияния пресловутого Распутина. Довольно быстро ушли с министерских постов Коковцев, Сазонов, Кривошеин, Щегловитов, Игнатьев, ушел и Рухлов. На его место был назначен член Государственного совета *А.Ф. Трепов,* человек умный, властный, искушенный в делах государственного управления и очень быстро освоившийся со своей главной задачей. Она состояла в том, чтобы достигнуть возможно больших размеров железнодорожного транспорта, возможно полнее удовлетворять требования фронта и правильно разверстывать перевозочные средства между главнейшими нуждами государства. Это требовало, прежде всего, устранения непосредственных распоряжений по перевозкам других органов власти, как это было до того, и сосредоточения всех распорядительных функций исключительно в Управлении ж.д.; затем, производства всех главнейших перевозок по за-

ранее составленным планам и, наконец, полного удовлетворения железных дорог всеми необходимыми для них материальными средствами. Все это вызывало упорную борьбу с другими ведомствами и энергичную защиту интересов железнодорожного транспорта. С этой задачей Трепов справился, насколько позволяли обстоятельства, успешно; уже с начала 1916 года работа железных дорог пошла планомернее, интенсивнее и спокойнее, и, как указано было выше, железные дороги до конца выполняли свою задачу весьма удовлетворительно.

Приведенный краткий перечень и общая характеристика бывших министров путей сообщения показывают, что лишь в последние 8—9 лет перед войной во главе ведомства находились люди, более или менее подходившие к своему назначению, ранее этого ведомство не имело хороших руководителей; вообще, не бывшим министрам должна быть приписана главная роль в крупном улучшении нашего железнодорожного транспорта и путей сообщения, которое произошло за последние 15—20 лет и которое поставило наши рельсовые пути на весьма высокий уровень. В этом русские дороги обязаны не столько высшим руководителям ведомства, сколько общему хорошему составу железнодорожных деятелей и старших служащих, их подготовке, деловитости и любви к делу.

Да это станет и вполне понятным, если рассмотреть сложившиеся у нас условия подготовки и работы людей, посвятивших себя железнодорожному делу. Прежде всего, начиная уже с 80-х годов все ответственные роли на железных дорогах, как в их управлениях, так и на линиях, исполнялись почти исключительно русскими инженерами, воспитанниками двух петербургских институтов: Инженеров путей сообщения и Технологического. Вследствие большого наплыва молодежи, желавшей поступить в эти институты, те 150—200 человек, которые отбирались на трудных конкурсных экзаменах, были цвет русской молодежи, наиболее способные и серьезные из тех нескольких тысяч молодых людей, которые ежегодно выпускались из средних учебных заведений. В дальнейшем обширная пятилетняя учебная программа названных институтов, серьезная научная работа, масса практических занятий, обязательная летняя практи-

ка — все это давало выпускным инженерам не только основательную научную подготовку, но и привычку к упорному труду и к самостоятельной серьезной работе. Затем, самый характер и особенности железнодорожной службы представляли очень благоприятные условия для выработки дельных, энергичных и смелых работников, хорошо знающих и жизнь, и людей, умеющих выходить из самых трудных положений и умеющих правильно оценивать всякий труд и работу. Исключительное разнообразие и многосторонность этой службы, возможность проявления своей инициативы, непрерывный ряд новых задач и вопросов, реальное получение результатов своего труда — все это невольно увлекало железнодорожных инженеров, втягивало в работу и выказывало тот интерес и ту любовь к своему делу, без которых невозможны большие достижения. Наконец, промышленный по природе характер железнодорожной деятельности и то влияние, какое на финансовые результаты имела служба каждого, даже небольшого начальника, не говоря уже о тех обширных многомиллионных хозяйствах, которыми руководили главные ответственные лица, вызывали, с одной стороны, необходимость надлежащего подбора лиц, повышения их по действительному достоинству, устраняли протекционизм, с другой стороны — способствовали сравнительно хорошей оплате труда, при которой люди могли не заботиться “о хлебе насущном” и все свое время и силы отдавать службе. Благодаря частым переходам с одной дороги на другую, особенно на изысканиях и постройках, постоянным командировкам в различные центры, участиям в различных совещаниях и съездах, назначавшихся в разных районах России, наконец, благодаря праву бесплатного проезда для себя и семьи по железным дорогам редко можно было встретить немолодого инженера, который не изъездил бы Россию вдоль и поперек и не знал бы ее во всем разнообразии природы, населения и культуры. В значительной степени это относится и к загранице, куда железнодорожные инженеры часто ездили не только в командировки для ознакомления с железными дорогами Западной Европы и Америки, на международные съезды, конгрессы, выставки, но часто и по собственной инициативе. Эти путешествия, знание русского и иностранного мира

объясняют и то, что среди высших железнодорожных деятелей так много встречалось широко образованных, европейски культурных и деловых людей.

Совершенно, конечно, невозможно перечислить всех тех деятелей, которые внесли свою лепту в дело создания и усовершенствования наших железных дорог, имя им легион, но, пользуясь случаем, мне все же хочется отметить несколько лиц, которые особенно много сделали для русского железнодорожного дела и о которых нельзя иначе вспомнить, как с благодарной памятью.

В последние 30 лет до войны особенно выдающейся была деятельность следующих инженеров, которых я буду называть более или менее в хронологическом порядке их работы:

Салов Василий Васильевич, многолетний председатель того Инженерного совета, через который проходили все важнейшие проекты и все технические положения и правила, относившиеся к железным дорогам. Он умел привлекать к работе совета все выдающиеся технические силы и разрешение каждого вопроса обставлял наиболее научно, объективно и деловито. Скончался он еще в 1906 году.

Сумароков Василий Сергеевич, бывший в конце 80-х годов Директором СПб-Варшавской дороги, а затем короткое время до своей скоропостижной смерти начальником Главного управления ж.д. Это была в то время выдающаяся сила в железнодорожном деле.

Бородин Александр Парфентьевич, бывший в 90-х годах сначала начальником Службы тяги, затем директором Юго-Западных железных дорог, а затем, после перехода их в казну, председателем Правления Общества Бологое-Рыбинской ж.д. Он принадлежал к числу выдающихся знатоков и деятелей в области улучшения типов и конструкций паровозов, а также организации и оборудования ж.д. мастерских по образцу дорог Соединенных Штатов, с которыми он был основательно знаком. Это был основатель и руководитель журнала “Инженер”, который по смерти Бородина до самой революции редактировал инженер Абрагамсон.

Кербедз Станислав Ипполитович, один из наиболее образованных и талантливых русских инженеров, лучший у нас знаток железнодорожного дела в Западной Европе и Северной Америке. Будучи свыше 15 лет председателем Об-

щества Владикавказской ж.д., он обратил бывшую Ростово-Владикавказскую линию в обширную сеть со своими портами на Черном и Каспийском морях и построил дорогу от Царицына до Новороссийска, “впустив Волгу в Черное море”, как сам любил выражаться. В деле сооружения новых дорог, их оборудования и эксплоатации он внес много нового и полезного, частью заимствованного за границей, частью самобытного, отвечавшего местным условиям, и прочно заложил те основы, на которых Владикавказская железная дорога стала затем одной из лучших дорог России. Кербедз принимал также активное участие в создании Восточно-Китайской железной дороги.

Печковский Владимир Николаевич, в 80-х годах был строителем и начальником первой значительной казенной дороги — Харьково-Николаевской. Это, по справедливости, был пионер казенного железнодорожного хозяйства в России, который блестящим опытом этой дороги дал в то время сильный толчок к перемене железнодорожной политики и к переходу от концессионной системы к казенному хозяйству. Харьково-Николаевская дорога типами своих сооружений, своими порядками, положениями и инструкциями долго служила образцом для других казенных дорог. Обладая очень независимым, прямым и несколько резким характером, он не мог ужиться в чиновной атмосфере Министерства князя Хилкова, перешел в Правление Владикавказской дороги, где, заменив в 1905 году Кербедза в роли председателя Правления, с успехом продолжал его дело и много понес труда и работ над дальнейшим расширением и улучшением этой дороги. Состоя членом почти всех главнейших советов, совещаний и комиссий Министерства П.С., относясь с особой серьезностью и вниманием ко всякому рассматриваемому вопросу и пользуясь заслуженным авторитетом во всех железнодорожных делах, он до самой революции продолжал играть внешне незаметную, но серьезную роль в Министерстве П.С. Скончался Печковский в Белграде в октябре 1921 года.

Петров Николай Павлович, военный инженер, профессор нескольких высших учебных заведений, в 80-х годах председатель Управления казенных железных дорог, затем недолгое время товарищ министра П.С., председатель Анкет-

ной комиссии по исследованию железных дорог в 1907—1908 годах и затем до своей смерти в 1916 году председатель того департамента Государственного совета, который утверждал все концессионные вопросы частных железных дорог. Петров не был практиком железнодорожного дела, но в течение долгого ряда лет это был лучший теоретик паровозостроения и лучший исследователь важнейших научных вопросов, касающихся сооружения и эксплоатации железных дорог, издавший свои ценные работы в ряде почетных трудов.

Белелюбский Николай Апполонович, тоже заслуженный профессор, соединивший свои научные работы и педагогическую деятельность с работой практической и заслуживший известность даже за границей своими работами в области проектирования и сооружения мостов и железобетонных конструкций. Он много способствовал своими лабораторными работами правильной постановке и развитию в России цементного производства. Белелюбский отличался необычайной энергией и живостью. Он скончался в России в 1922 году после более чем 50-летней плодотворной работы в области инженерного дела.

Щукин Николай Леонидович, заслуженный профессор Технологического института по кафедре паровых машин и паровозов. Будучи в течение многих лет председателем комиссий Министерства П.С. по подвижному составу и мастерским, он много способствовал правильной постановке в России паровозостроения и развитию паровозных заводов, производительность которых уже с начала XX столетия вполне удовлетворяла потребность наших дорог, что давало возможность совершенно обходиться без заказов паровозов за границей. В течение нескольких лет до 1916 года Щукин был товарищем министра. Скончался в России в 1924 году, состоя председателем Технического совета Комиссариата путей сообщения.

Островский Николай Степанович должен быть причислен к выдающимся железнодорожным администраторам в период 90-х и начала 900-х годов. Уже 25 лет от роду, в 80-х годах, он был управляющим Уральской ж.д., затем много лет после Печковского начальником Харьково-Николаевской дороги и несколько лет перед смертью председателем Прав-

ления Общества Московско-Виндаво-Рыбинской ж.д., которая главным образом ему обязана своей образцовой постройкой и эксплоатацией.

Нольтейн Егор Егорович не занимал выдающегося служебного положения и, по своей скромности, не был даже широко известен в железнодорожном мире, но это был один из наиболее образованных инженеров, специалистов в области подвижного состава и Службы тяги вообще. Этим вопросам он посвятил немало печатных трудов и статей в технических журналах, читал лекции в московском Институте П.С. и много содействовал правильной постановке эксплоатации на Московско-Казанской железной дороге, где в Правлении он был директором долгое время до самой революции; после революции Нольтейн переехал в Ригу, где посвятил себя исключительно профессорской деятельности.

Немешаев Клавдий Семенович был одним из наиболее популярных железнодорожных деятелей еще задолго до его назначения министром П.С. в конце 1905 года. Эту известность он приобрел главным образом теми результатами, каких достиг в течение нескольких лет управления Юго-Западными дорогами. Он наглядно показал, что и при тех стеснениях, которые на казенных дорогах вносило активное участие представителей Министерства финансов и Государственного Контроля, все же и казенное управление можно поставить жизненно и коммерчески. По постановке дела и по результатам эксплоатации Юго-Западные дороги были несомненно лучшими из казенных дорог, во многих отношениях служившими образцом для служащих всей сети. Немешаев был одним из немногих инженеров, удостоившихся назначения министром П.С. и членом Государственного совета, в начале революции он был избран председателем Правления Юго-Восточных железных дорог.

Шмидт Федор Иванович был менее популярным и блестящим деятелем, но благодаря своей исключительной трудоспособности, недюжинному уму и обширной опытности был очень заметным двигателем железнодорожного дела во всех тех разнообразных ролях, в которых ему приходилось выступать. В последние годы до революции он состоял председателем Правления Общества Рязанско-Уральской железной дороги и за время своего председательствования очень улуч-

шил состояние и хозяйство этой обширной сети, значительно расстроенной со времени революции 1905 года. После революции Шмидт, пробыв два года в России, переехал в Латвию, где и служил в латвийском Министерстве П.С. Он скончался в 1924 году в Риге.

Матренинский Дмитрий Александрович был непосредственным сотрудником Шмидта по усовершенствованию Рязанско-Уральской дороги, где в течение нескольких лет был управляющим. До этого он был начальником Пермской дороги, которую не только привел в большой порядок, но и достиг прекрасных результатов эксплоатации в финансовом отношении. Революция застала его в роли председателя Правления Общества Черноморской железной дороги. Во время Гражданской войны 1919 года Матренинский, как выдающийся знаток дела и очень энергичный человек, был привлечен в Донское правительство в роли управляющего отдела П.С.; после неудачи белого движения на юго-востоке России он переехал на жительство в Крым, откуда, вследствие болезни и многочисленной семьи, не мог эвакуироваться с армией генерала Врангеля и погиб от руки большевиков при обстоятельствах, оставшихся невыясненными.

Мясоедов-Иванов Виктор Андреевич, Думитрашко Петр Николаевич, Козырев Дмитрий Павлович принадлежат к наиболее активным ближайшим сотрудникам ряда министров путей сообщения, начиная от кн. Хилкова до Рухлова включительно. Пройдя службу в ответственных должностях на разных дорогах, занимая затем должности начальников Управления ж.д. и товарищей министра, это были лица, наиболее авторитетные и влиятельные в разрешении всех главнейших вопросов, касающихся развития и улучшения железнодорожного транспорта, и вместе с тем люди, выносившие в течение длинного ряда лет всю тяжесть громадной работы центрального органа Министерства и той непрерывной борьбы, которую этому ведомству приходилось вести с другими министерствами, так как почти все организационные, финансовые и кредитные вопросы разрешались по соглашению с ними. Из названных инженеров Мясоедов-Иванов умер незадолго до войны, а Думитрашко и Козырев остались после революции в Рос-

сии и занимают там небольшие должности в Комиссариате путей сообщения.

Борисов Иван Николаевич был в течение нескольких лет начальником Управления ж.д., также и в очень тяжелое время 1914 и 1915 годов, когда ему пришлось руководить всеми мерами по железнодорожному транспорту на всей обширной сети железных дорог. В 1916 году Борисов, уже в роли товарища министра, председательствовал в комиссии по составлению общей программы сооружения новых железных дорог в России; очень основательно разработанный труд этой комиссии несомненно будет служить ценным материалом для будущего развития нашей железнодорожной сети. С 1920 года И.Н. Борисов состоит начальником Управления ж.д. в Комиссариате П.С.

Филоненко Максимилиан Семенович должен быть отмечен как человек, положивший начало новой эры в службах движения (эксплоатации) русских железных дорог. Примерно до 1900 года руководителями этой службы на большинстве дорог являлись люди без специального образования, лишь практики дела, которым было не под силу разрешение новых задач, являвшихся в этой службе вследствие развития перевозок, необходимости производительной утилизации подвижного состава, лучшего технического оборудования этой службы и т.п. Филоненко, будучи в 1899 году назначен начальником движения Екатерининской дороги, привлек в эту службу целый ряд молодых инженеров, которые работали под руководством Филоненко, большого знатока своего дела, впоследствии были лучшими начальниками движения и начальниками дорог. По примеру Екатерининской дороги и на других дорогах все больше стали привлекать в службу эксплоатации людей с высшим образованием, что значительно подняло эту важную службу и привело к целому ряду улучшений не только в приемах эксплоатации и организации грузовых перевозок, но и в устройстве и оборудовании железных дорог. Филоненко умер в сравнительно молодом возрасте в 1906 году, будучи начальником Екатерининской дороги.

Гаевский Виктор Аркадьевич был в течение долгого ряда лет и до самой революции председателем Харьковского комитета по перевозке горнозаводских грузов. Сложная зада-

ча этого комитета заключалась в составлении плана и руководстве ежедневной погрузкой до 5000 вагонов на всех рудниках и заводах Донецкого бассейна с таким расчетом, чтобы все потребители угля, коксов, флюсов, чугуна и железа были обеспечены необходимыми им материалами. Начальная организация этого дела и такое его ведение в течение около 20 лет, что все были удовлетворены — и производители, и потребители, — составляет большую заслугу Гаевского. Выработанные им приемы и способы регулирования этой сложной задачи послужили основанием для работы учрежденных в 1906 году девяти Порайонных комитетов, обнимавших все дороги России и сыгравших очень видную роль в нашей экономической жизни.

Шухтан Леонид Фердинандович был одним из наиболее энергичных и смелых новаторов в нашем железнодорожном деле. Таковым он проявил себя как в роли управляющего Петербургской сети Общества Московско-Виндавской ж.д., так и своей деятельностью в должности председателя Правления Общества Северо-Донецкой дороги, которая была во многих отношениях образцом постановки ж.д. дела на чисто промышленных началах. Дорога эта, благодаря рациональным методам сооружения и эксплоатации, уже на третий год после открытия давала солидный доход и много способствовала развитию нашего горнозаводского дела на юге России. Он умер далеко не старым человеком незадолго до войны.

Паукер Герман Оттович, Шмит Вадим Петрович, Щегловитов Вениамин Николаевич, Шуберский Эраст Петрович — четыре инженера, так сказать, новой формации, выделившиеся сравнительно незадолго до войны и особенно проявившие себя во время войны. Паукер был в течение двух лет, вплоть до революции, начальником Управления путей сообщения на фронте, где вовсю развернул присущую ему энергию и находчивость в руководстве перевозками на театре войны и теми строительными и восстановительными работами, которые в массе приходилось выполнять по всегда экстренным требованиям Штаба армии. Шмит был до средины 1916 года начальником Юго-Западных ж.д., которые обслуживали более половины нашего фронта, и сверх того заведовал всеми рельсовыми путями Галиции, заняты-

ми нашей армией. С исключительным напряжением и успехом работали все дороги под начальством Шмита и совершили ряд чрезвычайно трудных оперативных перевозок. Еще до войны он зарекомендовал себя как очень опытный, вдумчивый и энергичный администратор и инженер и вполне успешно продолжал дело Немешаева на Юго-Западных дорогах. При объявлении войны управляющим эксплоатационного отдела Управления ж.д. был В.Н. Щегловитов, на которого выпали все распоряжения, касавшиеся выполнения железными дорогами плана мобилизации и сосредоточения армии. После этого он в течение почти двух лет руководил всеми перевозками на сети, подписывая, между прочим, ежедневно до сотен всяких распорядительных телеграмм и участвуя в многочисленных совещаниях и комиссиях. Более двух лет он не мог выдержать такой работы и был назначен сначала начальником Сызрано-Вяземской дороги, а затем председателем Киевского порайонного комитета. Э.П. Шуберский, как хороший знаток ж.д. эксплоатации, с возникновением войны был прикомандирован к Штабу Верховного Главнокомандующего для заведования вопросами ж.д. транспорта; затем был одно время управляющим Петербургской сети Московско-Виндавской дороги, соединявшей столицу с главной частью фронта, несколько месяцев до революции состоял начальником Юго-Западных дорог, а скоро после революции был назначен начальником Управления ж.д. На последней должности он не мог сойтись во взглядах с министром Временного правительства Некрасовым и отправился на юг, где в период Гражданской войны был управляющим отдела П.С. в правительстве генерала Деникина.

Из названных четырех инженеров Паукер был расстрелян большевиками в Киеве в 1918 году, а остальные трое эвакуировались в 1920 году за границу.

Тем сравнительно высоким уровнем, до которого были доведены наши железные дороги, мы обязаны не только перечисленным особо выдающимся работникам, но и массе других, не только старших, но и средних служащих, которые своей энергией и честной работой по справедливости заслуживают благодарности потомства. Несмотря на то сильнейшее запущение и расстройство, которому подверглись железные дороги с наступлением диктатуры коммунистов, труд указан-

ных работников не пропадет, и не только потому, что он вылился в создание сооружений, устройств и оборудования транспорта, но главным образом в силу того, что та нелепая и губительная перекройка жизни, которую затеяли большевики, менее всего могла коснуться железных дорог, все принципы и методы эксплоатации которых оказались совершенно недоступными каким-либо коммунистическим экспериментам, а железнодорожный персонал оказался незаменимым.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО — КАЗЕННОЕ И ЧАСТНОЕ

Чтобы закончить свои мысли и воспоминания, касающиеся русских железных дорог, считаю необходимым остановиться еще на очень старом, но все же спорном вопросе о преимуществах казенной или частной эксплоатации железных дорог. В России в течение нескольких десятков лет дороги строились и эксплоатировались и тем и другим способом, а потому наш опыт дает очень богатый материал для освещения этого вопроса.

Вопрос, в сущности, сводится к тому, при какой системе, казенной или частной, легче и вернее выполняются главнейшие задачи железнодорожного транспорта, которые можно сформулировать следующим образом: а) развитие железнодорожной сети в наибольшем соответствии с нуждами страны, б) удовлетворение потребностей государства и его экономической жизни, в) финансовые выгоды для государства.

Надлежащее и непрерывное расширение и усиление железнодорожной сети для возможно быстрого развития хозяйственной жизни и культуры страны требуют ежедневной затраты тем больших средств, чем более обширна территория государства, чем его природные богатства благоприятнее для развития промышленности и чем оно более отстало в экономическом отношении.

Все эти элементы всегда существовали и теперь существуют в России. В 1916 году Министерство П.С. определяло, что наименьшее количество рельсовых путей, которое необходимо ежегодно строить в России, — это 5000 верст, то есть примерно 7% от протяжения существовавшей сети, что

нельзя считать преувеличенным, так как в отношении густоты сети даже Европейская Россия стоит на последнем месте среди других государств Европы. Но, по довоенной расценке, верста новой линии обходилась в среднем не менее чем в 60—70 тысяч рублей, так что сооружение 5000 верст требовало бы ежегодных затрат не менее как в 300—350 миллионов рублей. Подобный расход из обыкновенных ресурсов государственного бюджета был для нас непосилен, чем и объясняется столь медленное развитие наших рельсовых путей в период 20-летия 1890—1910 годов, когда "казенная" политика получила полный перевес.

Государственные займы для сооружения железных дорог представляют на первый взгляд путь не только возможный, но и вполне рациональный, так как новые дороги своими прямыми и косвенными доходами казне вполне обеспечивают покрытие обязательств по этим займам. Однако каждый такой заем, с одной стороны, умаляет общую кредитоспособность государства, с другой — чисто коммерческими путями осуществляется обычно с трудом и на условиях маловыгодных; получение же кредита при содействии правительств стран-кредиторов вызывает неизбежно какие-либо одолжения и уступки в делах внешней политики. Если по указанным причинам и до войны постройки железных дорог за счет казны производились сравнительно с потребностью в недостаточном размере, то в будущем, после того разорения, которое испытала наша родина от революции и коммунистической диктатуры, о таком способе расширения наших рельсовых путей думать совершенно не приходится.

Но насколько тогда можно рассчитывать на выполнение второй задачи, то есть на удовлетворение потребностей государственной и экономической жизни?

Если судить по опыту прежних лет в России и по самому различию природы казенного и частного хозяйства на железных дорогах, то при монопольном положении дорог и отсутствии между ними конкуренции необходимо признать, что преимущества в этом отношении целиком относятся к казенным линиям, так как на них успешность перевозок и удовлетворение потребностей пассажиров всегда считались главнейшей задачей, которая зачастую выполнялась в прямой ущерб финансовым интересам эксплоатации.

Отчасти это объяснялось тем, что ведомство П.С. финансовой стороной эксплоатации ведало далеко не самостоятельно; поэтому и не чувствовало на себе в этом отношении той ответственности, какая целиком лежала на нем за техническое состояние дорог и удовлетворение потребности в перевозках.

На частных дорогах в большинстве случаев дело обстояло иначе. Там было и теснее в пассажирских поездах, так как число и составы не превышали того, что вызывалось явной необходимостью, и хуже были вокзалы, и медленнее вывозились залежи грузов, на станциях не было большей частью той чистоты и того внешнего порядка, какие существовали на большинстве казенных дорог; словом, для пассажиров и грузовладельцев казенные линии были лучше, исправнее, чем дороги частные.

Справедливость требует, однако, сказать, что это не было общим правилом и не выражалось у нас в России в особо резкой и заметной форме; худшими из больших частных дорог у нас были Юго-Восточные, Московско-Киево-Воронежская и Московско-Казанская; остальные очень мало отличались от дорог казенных. Но что преобладание коммерческого интереса на частных дорогах естественно ведет к некоторому игнорированию интересов пассажиров и внешней стороны железных дорог — лучше всего доказывается частными дорогами Франции, которые по своему оборудованию, общему виду и состоянию стоят неизмеримо ниже казенных дорог Германии.

Если теперь сравнить казенную и частную эксплоатацию железных дорог в отношении хозяйственном и промышленном, то тут уже, также естественно, все преимущества оказываются на стороне частного хозяйства. Частные дороги вообще и строятся, и эксплоатируются более рационально, более выгодно, при прочих равных условиях дают больший доход и скорее окупают затраченный на их постройку капитал, чем дороги казенные. Это вполне понятно, так как сложное и многогранное железнодорожное дело требует такого внимания, гибкости, такой инициативы и старания со стороны служебного персонала, каких невозможно достигнуть в казенном предприятии, которое по самому своему существу всегда более шаблонно и неподвижно. Я отлично

помню, как во время моей былой службы в должности начальника Участка тяги казенной дороги с меня строго требовали, чтобы поезда ходили минута в минуту, вагоны внутри и снаружи блестели чистотой, служащие исправно козыряли начальству; но никто никогда не интересовался, сколько у меня рабочих, что я им плачу, во что обходится ремонт паровозов и пр. Помню также, уже на другой казенной дороге, объезжая линию в должности помощника начальника Службы движения, я спросил одного начальника станции, как его дела; он ответил, что, слава Богу, в последнее время движение поездов сократилось и стало легче. Еще мне вспоминается случай, когда на маленькой станции довольно глухой линии рядом с пассажирским зданием, вполне достаточным для двух-трех десятков пассажиров этой станции в сутки, было выстроено второе почти такое же пассажирское здание. Произошло это потому, что в распоряжении о постройке нового здания вместо названия одной станции по ошибке была названа другая, а начальник Участка пути привык без рассуждения выполнять распоряжения начальства. Правда, все это было давно, в конце прошлого столетия, но и тогда подобные случаи были бы невозможны на частных дорогах, вследствие совершенно иного духа и иного воспитания служащих, от которых разумно-хозяйственное отношение к делу требовалось прежде всего.

Наши железнодорожные общества никогда не были чисто частными предприятиями, в их финансировании и доходности казна всегда принимала очень видное участие. Финансовые результаты эксплоатации не только казенных, но и частных дорог входили значительной частью в наш государственный бюджет. Например, за 1913 год от казенных дорог, составлявших около $^{2}/_{3}$ протяжения сети, казна получила чистого дохода (т.е. не вычитая платежей по обязательствам, лежавшим на этих дорогах) около 310 миллионов рублей и чистую долю своего участия в прибылях частных дорог около 50 миллионов рублей. Одно это показывает, какую роль в нашем бюджете играли доходы от эксплоатации железных дорог и как важны были улучшения в чисто промышленной стороне этого дела. Если эта сторона за последнее десятилетие до войны так улучшилась, если был достигнут столь низкий коэффициент эксплоатации, отношение расхода к вало-

вой выручке, какого не знала Западная Европа, то это благодаря главным образом частным дорогам, приемы оборудования и эксплоатации которых, непрерывно улучшаясь, переходили постепенно и на казенные линии.

Из изложенного нельзя не заключить, что в общих условиях нашей бывшей государственной жизни вполне правильно значительное участие в железнодорожном транспорте отдавалось частной предприимчивости, и если за 3—4 года до войны было организовано для расширения сети около 20 новых обществ, то можно только сожалеть, что это не было сделано на 10—15 лет ранее.

МЕСТНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Я уже указывал выше, насколько железнодорожная деятельность, особенно для более ответственных и самостоятельных служащих, была увлекательной и поглощающей. Сколько бы ни работать — все не хватало времени для того, чтобы все выполнить, что хотелось. Все время чувствовалось, что не успел вникнуть в такое-то дело, с тем-то переговорить, что-то осмотреть, что-то прочесть. Все прочие дела и интересы, кроме служебных, то есть общественные, домашние, семейные, были всегда на втором плане, и на них никогда не хватало ни времени, ни сил.

Понятно поэтому, что я никогда не имел возможности серьезно интересоваться другими ведомствами, делами общественными или политическими. С этими сторонами жизни приходилось знакомиться лишь при случайных неизбежных соприкосновениях в своей работе, разговорах со знакомыми, из газет, иногда толстых журналов и редко из более специальной литературы. Тем не менее, прослужа около пятнадцати лет в провинции, в Киеве и Ростове-на-Дону и свыше пяти лет в центральном органе Министерства П.С., я мог составить себе определенное понятие о том, что представлял собой до войны наш правительственный аппарат и наши правительственные учреждения, как в центре, так и на местах, какова была их роль и влияние на общий ход нашей жизни до революции.

Конечно, мои впечатления и заключения в этой области не могут обладать особой основательностью и быть безусловно компетентными, скорее, это будут впечатления обывателя, но обывателя, во-первых, прошедшего тридцатилетнюю государственную службу в разнообразных ролях и, во-вторых, привыкшего по своей службе к наблюдениям, сравнениям и выводам, более или менее объективным и беспристрастным. Такой обывательский взгляд может иметь известное значение и определенную ценность.

Наши местные правительственные учреждения по своей организации, духу и личному составу представляли собой вообще очень большую пестроту, особенно при сравнении между собой учреждений различных ведомств.

Более всего на высоте положения, по своей культурности, чистоте и роли в населении, стояли несомненно наши судебные учреждения. Бывая неоднократно в окружных судах то в роли присяжного заседателя, то эксперта, то свидетеля, соприкасаясь немало с прокуратурой и следственными властями по разным делам и происшествиям на железных дорогах, я не мог не преисполниться глубоким преклонением к нашим судам и уважением к нашим судебным деятелям. Единственный упрек, который можно было бы сделать нашей юстиции, — это некоторая чрезмерность судебной волокиты и некоторый излишек формализма, иногда в ущерб делу. Правда, независимость наших судов и несменяемость судей, эти основы правосудия, были значительно умалены в бытность министра Щегловитова, в назначениях судебных деятелей, особенно высших, при нем явно выражалась определенная политическая тенденция, но даже и в этот период, по сравнению с тем, что представляют собой суды во многих других странах, нельзя не сказать, что наши суды были образцом беспристрастия, чистоты и неподкупности.

На втором месте, по своей организации, деятельности и личному составу, надо поставить местные учреждения Министерства финансов. Отделения Государственного банка, Казенные палаты, казначейства, таможни, учреждения по казенной продаже питей, Акцизный надзор — все эти учреждения, насколько, по крайней мере, мне приходилось с ними знакомиться в пределах Юго-Западного края и Северного Кавказа, вполне хорошо выполняли свои задачи и никаких жалоб и

неудовольствий в обывательской среде не вызывали. Познакомившись, уже в недавнее время, с некоторыми провинциальными правительственными учреждениями в такой прославленной стране, как Франция, и с таможнями в самом Париже, я ясно увидел, что в них куда больше беспорядка, формалистики, взяточничества и какого-то крайнего пренебрежения к интересам населения, чем это было у нас в России.

Наши почтовые и телеграфные учреждения, их распространение до самых малых местечек, часто сел и деревень, аккуратность в доставке посылок, переводов, писем, газет — об этом тоже невозможно не вспомнить, особенно пребывая во Франции, Италии, Сербии, где на расстоянии 300—400 километров письма путешествуют 3—4 дня и зачастую просто пропадают.

Выше я уже говорил о слабых сторонах нашего дела народного просвещения. Их было немало: и чрезмерно долгое увлечение классицизмом, и громадный недостаток низшего и среднего профессионального образования, и почти полное пренебрежение воспитанием детей, как физическим, так и моральным; главная же беда заключалась в крайне недостаточном распространении начальных школ и в неудовлетворительной постановке в них учебного и воспитательного дела. Бывая в последнее время довольно часто в Германии и видя, как образцово поставлено это там, прямо становится непонятным, как мы, живя бок о бок с немцами и во многом им подражая, ровно ничего не заимствовали в отношении воспитания нашего подрастающего поколения и надлежащей для этого подготовки педагогического персонала. Среди учителей и учительниц наших начальных школ (на Владикавказской дороге было около 40 начальных школ с 5000 обучающихся детей) очень часто мне попадались люди, любящие детей и свое дело, но очень редко среди них были хорошие воспитатели, так как никакого воспитания и подготовки к этому делу они сами не получили, сами отличались большой неустойчивостью во взглядах, отсутствием твердых моральных принципов и патриотического чувства, что, впрочем, находилось в прямой зависимости от того общего шатания, беспричинного недовольства и слабого национального чувства, которым вообще отличалось русское общество.

Если еще после франко-прусской войны 1870—1871 годов говорили, что победил немецкий школьный учитель, то с таким же правом можно сказать, что только благодаря удивительному воспитанию, то есть тому же учителю, немецкий народ так благополучно выходит из того невероятно тяжелого положения, которое ему пришлось пережить в течение первых 5—6 лет после Великой войны. Это относится не только к учителю, но и к священнику, который у нас в России, при религиозности народа, мог бы и должен был бы иметь гораздо больше влияния в воспитательном отношении, чем это было в действительности.

Как податлива русская натура воспитанию, мне приходилось много раз наблюдать в имевшихся на Владикавказской дороге приюте для детей-сирот и пансионах для обучавшихся в средних учебных заведениях. Воспитатели назначались туда с очень строгим выбором, и результаты были налицо: молодые люди и девушки, воспитанники указанных учреждений, прямо радовали своими успехами и поведением, как на службе дорог, так и в дальнейшем прохождении своего образования.

Хороший пример этому давала и наша армия, в которой воспитание солдат в последние годы до войны было вполне удовлетворительным. Это видно и по поведению солдат в мирное время, и по первым месяцам войны, когда в боях участвовали только находившиеся в строю и запасные последних годов; то же показывала и железнодорожная служба: лучшие служащие на всех должностях, более добросовестные, толковые, честные, — были запасные чины армии. Не только солдаты, но и офицерский состав армии в последние годы перед войной был много выше того, что было 20—30 лет тому назад, хотя, по общему мнению, и в русско-турецкую войну 1877—1878 годов главным достоинством нашей армии был состав младших офицеров. К этому заключению меня приводили не только личные знакомства и наблюдения, но и отзывы многих военачальников и многочисленные сведения, приходившие с театра военных действий. Наблюдая лично, как стоявший в Ростове-на-Дону Таганрогский пехотный полк был мобилизован в течение трех дней и в каком образцовом порядке он грузился в поезд для отправки на фронт, судя по массе рассказов участ-

ников войны, в том числе и моих сыновей, офицеров военного времени, я не могу не высказать, что, по моему мнению, наша армия, в отношении подготовки ее состава, солдат и офицеров, была на высоте своей задачи и не ее вина в том, что пришлось потерпеть столько неудач.

Несомненно, что наиболее слабой частью нашего правительственного аппарата было Министерство внутренних дел, задачи которого при наших русских условиях были как раз наиболее трудные.

Мне немало приходилось иметь дело и наблюдать губернаторов, начальников областей, градоначальников, начальников жандармских управлений и прочих старших чинов этого ведомства в тех районах России, где не было земства. При громадном разнообразии типов и личностей, начиная от людей высокопочтенных и талантливых до совершенно негодных, я должен сказать, что в большинстве случаев это были люди недурные, честные, преисполненные желанием возможно лучше выполнить свое назначение. Но, во-первых, очень редко среди них встречались достаточно опытные и подготовленные к своей роли; каждый генерал, принужденный почему-либо оставить военную службу, каждый предводитель дворянства, каждый усердный чиновник центрального органа Министерства — считались пригодными для обязанностей губернатора или градоначальника в любом пункте государства. Во-вторых, общие условия деятельности этих высших носителей власти на местах были настолько неблагоприятны и тяжелы, возлагаемые на них задачи настолько обширны и сложны, что я не знаю ни одного примера, где указанные администраторы вполне успешно справлялись бы со своими обязанностями.

Трудность эта проистекала отчасти оттого, что они не чувствовали ни опоры, ни помощи, ни содействия со стороны населения управляемых ими губерний и городов, отчасти — потому, что не было надлежащего руководства из центра; да его и не могло быть, так как совершенно немыслимо было руководить одновременно столь многочисленными органами власти на местах, особенно при том громадном разнообразии, какое представляли собою различные губернии и города России. До самой революции наше Правительство считало, что губернаторы и градоначальники должны “управлять” жизнью,

направлять ее во всех отношениях, “командовать” населением, которое, с одной стороны, считалось беспомощным, требующим постоянной опеки, с другой — никаким доверием не пользовалось, считалось малоблагонадежным в политическом отношении и в массе враждебным Правительству, губернаторы имели юридически громадную власть, но вместе с тем лучшие из них чувствовали себя совершенно бессильными, так как, кроме нескольких чиновников и полиции, у них тесных связей с населением не было, оно относилось к губернаторам так же недоверчиво и подозрительно, как к нему относилось Правительство.

Если к этому прибавить, что на должности губернаторов и градоначальников очень часто попадали люди, совершенно незнакомые и чужие тем губерниям и городам, которыми им приходилось управлять, то станет понятным, что деятельность этих представителей власти проявлялась главным образом в функциях полицейских, в заботах о внешнем порядке и благополучии и очень мало влияла на внутренние стороны жизни населения. Если жизнь эта в городах составляла еще опеку городских управлений, то в селах и деревнях, там, где не было земства, она была предоставлена, в сущности, самой себе и если регулировалась властями, то опять только в чисто полицейском отношении. Понятно поэтому, что большинство сельского населения стояло у нас как-то особняком, местные власти и деревня были взаимно совершенно чужды, часто почти враждебны.

Значительно лучше обстояло дело в областях казачьих; там административные лица назначались, а часто и избирались из своей среды; они близко знали свой район, его нужды, ближе стояли к населению и его интересам, почему и отношение казаков к своим атаманам было совсем иным, чем в деревнях неземских губерний к своему начальству. Более нормальному настроению и большей общей культуре населения казачьих областей способствовало и то очень важное обстоятельство, что в своих хозяйственных, учебных, санитарных, дорожных и др. делах казачьи области пользовались значительной автономией и значительным участием населения и его представителей в разрешении разных вопросов, касавшихся его жизни. В зависимости от этого казаки были и более активны, и более патриотичны, и более наци-

онально настроены, чем сельские обитатели внутренних русских губерний. К тому же в казачьих областях было очень мало помещиков, земельной нужды и вообще земельного вопроса не существовало. Вследствие всего указанного и революция, и большевизм проявились у казаков совершенно иначе, чем внутри России; там далеко не было того варварства, безобразного хулиганства и тех разрушений и грабежей, какие так резко проявились в русских губерниях. Казаки оказывали весьма резкий отпор пришлым большевикам и возвращавшимся с фронта солдатам, которые пытались устраивать всякие грабежи и насилия.

В значительной степени то же самое надо сказать и про районы Кавказа, населенные горцами и туземцами, имевшими отчасти тоже свое управление в делах хозяйственных, религиозных и учебных. В мирное время эти горцы, особенно чеченцы и ингуши, немало беспокоили прилегающие города и станицы своими разбоями; ингуши немало пограбили и во время революции, но среди них по отношению к русской интеллигенции, даже к чиновникам и офицерам, не только не проявлялось той кровавой мести, которою так запятнал себя русский рабочий и мужик, но они даже укрывали у себя в аулах многих русских офицеров, спасавшихся от разъяренной солдатской массы. Это тем более приходится отметить, что русская администрация по отношению к горцам Кавказа не отличалась тактичной и дальновидной политикой и мало способствовала симпатиям к русскому имени. Но зато среди туземцев старики и муллы, духовные пастыри, имели огромное влияние, а главное — имя Белого Царя до самого конца сохраняло свою святость и свой престиж.

Эти примеры казачьего горского населения Кавказа явно доказывают всю ошибочность нашей былой политики по отношению к русскому крестьянству, которое так долго держали и в особом пониженном правовом положении, и в стороне от всех, даже чисто местных, проявлений общей государственной жизни.

Другие, кроме указанных уже, ведомства проявляли себя очень мало в провинциальной жизни России. Министерства земледелия и торговли и промышленности были учреждены лишь недавно перед войной и не развили еще заметно своей деятельности. Трудно понять, почему в таком обширном го-

сударстве, как Россия, с такими разнообразными природными богатствами, интересы сельского хозяйства и промышленности так долго оставались на втором плане и только в XX столетии обратили на себя серьезное внимание. Особенно это непонятно в отношении Министерства земледелия; ведь издавна все наше благополучие, наша государственная мощь, даже наше международное положение зиждились на нашем сельском хозяйстве. Не менее давно была известна его малая продуктивность, вдвое меньшая, чем в других культурных странах, и объясняющаяся главным образом примитивными методами хозяйства, слабым применением машин и удобрений, малым развитием высших культур и прочими причинами, являвшимися в значительной степени последствиями общинного владения землей у крестьян. Ведь если бы Министерство земледелия появилось у нас не в XX столетии, а лет 20—30 тому назад, то наверное и земельная реформа 1909 года последовала бы на столько же лет ранее; крестьяне давно были бы собственниками земли, а это не только также давно подняло бы наше сельское хозяйство и экономическое положение, но поставило бы и крестьян в другое материальное и правовое положение; совершенно иначе могла бы тогда сложиться и вся наша политическая жизнь в последние десятилетия; одно это могло предохранить Россию от революций 1905 и 1917 годов и от всех несчастий переживаемого ею нынешнего положения.

Вследствие столь запоздалого учреждения Министерства торговли и промышленности два коренных вопроса нашей торгово-промышленной жизни так и остались, в сущности, неразрешенными до самой войны. Первый вопрос, особенно важный для нашего сельского населения и нашей внешней торговли, — это вопрос об облегчении и нормировании всех операций по хлебной торговле. Немало у нас было печатных трудов об этом, всем было ясно, какие потери несет и сельский хозяин, и вообще страна от отсутствия складов в местах производства хлеба, недостатка кредита производителям зерна, отсутствия установленной квалификации и сортировки зерна и вообще раздробленности и беспорядочности нашей хлебной торговли. И только перед самой войной мы что-то в этом отношении стали делать и было приступлено к сооружению ряда элеваторов, но почему-то это дело было возложе-

но на совсем неподходящее учреждение — Государственный банк.

Второй вопрос, нигде еще окончательно не урегулированный, но особенно больной у нас в России, — это рабочий вопрос. Если в мирное, нормальное время он не представлялся очень острым, не особенно кричал, то лишь потому, что, с одной стороны, общее число рабочих у нас было относительно невелико, с другой — бедность деревни и продолжительная зима порождали постоянный избыток предложения рабочего труда сравнительно со спросом и заставляли рабочих мириться со всякими условиями труда. Наконец, благодаря чисто полицейским мерам рабочее движение у нас находилось всегда в придушенном состоянии, но зато с тем большей силой и в безобразных формах оно проявлялось каждый раз при взрывах и всегда представляло собой благодатную почву для социалистической и революционной пропаганды.

Если сравнить в этом отношении Россию с промышленными странами Западной Европы, особенно же с Северной Америкой, то нельзя не признать, что общее положение заводских и фабричных рабочих, как в правовом, так и в материальном отношении, у нас было неудовлетворительно, даже принимая во внимание скромные требования и условия жизни, к которым привыкло наше крестьянское и рабочее население.

Правда, иногда можно было встретить исключения из этого общего правила; например, на многих фабриках московского промышленного района заботливость о быте рабочих была большая, иногда превосходившая даже разумные пределы, граничившая с баловством, но наряду с этим положение рабочих в двух столь крупных отраслях нашей промышленности, как горнозаводская и нефтяная, было, за малым исключением, довольно безотрадным. Осматривая в последний раз в 1916 году некоторые заводы и каменноугольные рудники Донецкого бассейна, мне положительно приходилось удивляться, до какой степени игнорировались самые насущные интересы рабочих в отношении устройства и содержания их жилищ, снабжения предметами первой необходимости и пр. Дело это было в полном пренебрежении со стороны фабричной инспекции и владельцев

рудников, очевидно не учитывавших своих собственных интересов, так как на таких рудниках уживались только самые плохие рабочие, к тому же постоянно менявшиеся. При таком переменном составе рабочих, понятно, никакой связи между предприятием и рабочими, никакой общности интересов возникнуть не могло, администрация и рабочие были совершенно чуждые друг другу, прямо враждебные силы, их связывали лишь нужда и необходимость. Вся выгода предприятия основывалась на дешевизне рабочей силы, а не на ее производительности; если к этому прибавить, что большинство рудников было весьма слабо оборудовано технически, то станет совершенно понятным, почему добыча у нас угля стоила так дорого сравнительно с Северной Америкой и даже с Англией.

Подобное положение рабочих, повторяю, было не общим правилом, и в том же Донецком бассейне можно было встретить предприятия, где рабочие были поставлены вполне удовлетворительно, но самое наличие этих примеров, самое разнообразие в этом отношении в нашей промышленности явно показывают на недостаточность правительственных мероприятий, объясняющуюся не в последнюю очередь столь запоздалым учреждением соответствующего правительственного органа.

Несмотря на указанные дефекты в правительственном регулировании хозяйственной стороны нашей жизни, прямо вопреки им, экономическое развитие России в последние десять лет до войны шло очень быстро; особенно сильный рост имел место в нашей горнозаводской, нефтяной, мануфактурной и свеклосахарной промышленности и в развитии нашего экспорта. Но в последние годы перед войной для развития хозяйственной жизни России был уже принят целый ряд очень серьезных мероприятий, а именно: закон 1909 года о переходе земли в собственность крестьян, развитие строительства новых железных дорог, планомерное усиление и улучшение внешних портов, усиленная работа по осушению болотистых местностей северо-западной России и особенно оросительные работы в Туркестане и в Закавказье, развитие всякого рода помощи сельским хозяевам для улучшения земледелия, скотоводства, садоводства и птицеводства, всякие меры по развитию применения сельскохозяйствен-

ных машин, постройке сети внутренних элеваторов и пр. и пр. Все эти меры уже начинали давать в высшей степени благоприятные результаты и открывали настолько блестящие перспективы, что было совершенно ясно, на каком широком пути развития своего богатства, а с ним и общей культуры и своей государственной мощи стояла Россия и какое великое несчастье причинено ей войной и особенно этой ужасной революцией.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Насколько в этом несчастье, постигшем нашу родину, виновна государственная власть, что она собой представляла, как проявилась ее деятельность и какое она имела влияние на судьбу России?

Буду записывать по этому вопросу лишь то, что вытекало из моих личных наблюдений и впечатлений.

Впервые с составом и деятельностью нашего центрального Правительства мне пришлось познакомиться, да и то лишь с некоторых сторон, в период 1906—1909 годов, когда я возглавлял эксплоатационный отдел Управления ж.д. и мне приходилось вести обширную переписку с разными ведомствами, подготавливать министру П.С. всеподданнейшие доклады, несколько раз присутствовать для помощи министру в заседаниях Совета Министров, давать объяснения в комиссиях Государственной думы и Государственного совета и пр.

Это был период еще весьма сильной государственной власти. Во главе Правительства стоял П.А. Столыпин, несомненно один из наиболее выдающихся государственных людей последних десятилетий перед войной. Достаточно было наблюдать его несколько раз в заседаниях Совета Министров или слышать с кафедры Государственной думы, чтобы понять, какой это твердый ум, какая убежденность и какое ясное понимание положения России. Заседания Совета Министров проходили всегда в атмосфере самой напряженной деловитости, он особенно умело направлял прения по самым важ-

ным сторонам вопросов, он действительно руководил работой министерств, давал им и направление и задания и представлял собой Главу Правительства, с которым всем министрам приходилось не только считаться, но и согласовывать свои главнейшие дела. Никогда никого Дума не слушала с таким напряженным вниманием, как Столыпина, каждое его выступление составляло событие в государственной жизни России. В нем резко выявлялась не только сила ума и воли, но и большая моральная сила; в нем чувствовалась и горячая любовь к родине, и полное отсутствие личных побуждений, и какая-то жизненная правда. В этом отношении он стоял много выше своего предшественника, графа Витте, у которого как-то странно совмещались громадный, хотя и малокультивированный государственный ум, ничем не ограничиваемая решительность и независимость — с душой и побуждениями мелкого человека и с довольно бесцеремонным обращением с истиной, что, между прочим, так явно выразилось в его обширных воспоминаниях.

Помимо Столыпина, общий удельный вес тогдашнего Правительства по личному своему составу был весьма значителен. Можно так или иначе относиться к направлению деятельности таких министров, как Коковцев, Щегловитов, Сазонов, Рухлов, Тимирязев, Кривошеин, гр. Игнатьев и другие, но нельзя не признать, что это были люди, выдающиеся по уму, образованию и опытности в государственных делах.

Общему ходу нашей государственной машины очень вредили в этот период (да и позже) те ненормальные отношения, которые установились между Правительством и Государственной думой. Это были два явно враждебных лагеря, старания которых обойти, умалить значение противника, выставить его в неблагоприятном свете доходили до таких действий и приемов борьбы, которые имели единственным своим последствием падение и Престола, и Правительства, и Думы. Прежде всего в этом виновато самое зарождение народного представительства в революционное время под давлением обстоятельств, а не в силу убеждений в необходимости перехода к новым формам государственной власти.

Поведение первых двух Дум, преобладание в них оппозиции и присутствие значительного числа членов явно ре-

волюционного направления, наконец, то сплошное предубеждение и недоброжелательное отношение, которые проявились левой частью Думы ко всему, что исходило от Правительства, — все, с одной стороны, укрепляло позицию всех противников нового строя, с другой — вызывало со стороны представителей Правительства отношение к Думе как к учреждению негосударственного масштаба, как к необходимому злу, которое, в сущности, лишь затрудняет серьезную работу. Участвуя в то время много раз в заседаниях разных думских комиссий, я не могу не сказать, что среди членов Думы в первые годы ее работы было очень мало людей, которые своими знаниями и серьезным отношением к рассматриваемым вопросам вносили бы в дело какие-либо улучшения. Большинство прений носило характер критики и придирок, а задаваемые вопросы очень часто имели целью лишь выудить какие-либо данные и материалы для нападок на Правительство с думской кафедры. Сами выступления делались, за небольшими исключениями, лишь для публики и прессы — то в целях пропаганды идей своей партии, то для нападок на Правительство; в большинстве случаев это были дискуссии по общим темам внутренней политики, часто мало относящиеся к существу рассматриваемого предмета.

В этом, конечно, нет ничего удивительного. Если в тех странах, где народное представительство существует десятки и сотни лет, прения в парламентах так часто сводятся лишь к борьбе с правительством или борьбе партий, так что же удивительного в том, что в России, где эта реформа так запоздала, первые годы Государственной думы проходили бурно, многоречиво и малопроизводительно в деловом отношении? Если, однако, проследить за периодом от 1906 до 1916 года, то нельзя не заметить, что отношения между Правительством и Думой, по мере более близкого взаимного знакомства, по мере ознакомления депутатов с нашим правительственным аппаратом и вообще с государственными делами и вопросами, постепенно теряли свою остроту и непримиримость, а работа в думских комиссиях в последние годы проходила в большинстве случаев весьма мирно и деловито. Если бы наши министры менее щадили свое самолюбие и чаще выступали в Думе с объяснениями и опровержениями тех многих ба-

сен и сплетен, которые зарождались в думских сферах, и если бы не то отрицательное к Думе отношение, которое все время, до самого конца, проявлялось Императором Николаем II, — то Государственная дума еще скорее втянулась бы в деловую работу. Вообще, не подлежит сомнению, что если бы не эта несчастная война с ее ужасными последствиями, то наше народное представительство вошло бы в жизнь и не только играло бы подобающую роль в государственной жизни нашей Родины, но при сколько-нибудь нормальном ее течении служило бы и опорой Власти, и предохранением от революции. При всей склонности к огульным нападкам и критике Правительства, революционного настроения в Думе, в сущности, не было, ее революционные элементы были в очень незначительном числе и никакого влияния в ней не имели. Одна из коренных ошибок Государя и нашего Правительства в том и заключалась, что Думы не знали, ее боялись, чуждались и вместе с тем слишком мало с нею считались. Ошибочность такой политики особенно роковым образом проявилась в тот тяжелый момент нашей государственной жизни, когда только Дума могла спасти положение; но ее отвергли и, как нарочно, перевели на сторону революции.

Невозможно без чувства горечи и глубокой грусти вспоминать об этом времени. Точно какой-то всемогущий и злой дух руководил нашей Властью начиная с того момента, когда возникли натянутые дипломатические отношения по поводу австрийских требований к Сербии вследствие убийства Франца Фердинанда в Сараеве. Конечно, необходимо было защищать Сербию общими усилиями с другими державами, но защищать чисто дипломатическим путем, не только не ускоряя разрыва, но всячески избегая начала войны, как бы к ней ни готовились Австрия и Германия. Ведь только полное незнание нашего внутреннего положения, силы и основ Власти и нашей боевой готовности, полное игнорирование своих национальных интересов могли повести к той легкости, с которой мы втянулись в эту ужасную войну. Ведь не было же ни одного умного человека в России, которой бы с самого начала не видел в этом громадного для нас несчастья. Как Императору Николаю II было решать вопрос о войне, ограничиваясь лишь докладами Сазонова и Сухомлинова и как было не

обсудить этого исключительной важности вопроса в специальном совещании со всеми умнейшими людьми, которых можно было собрать?

Это была первая и самая роковая наша ошибка; за ней последовал, к несчастью, целый ряд других, свидетельствующих о том же: о незнании России, неумении ничего предвидеть, о переоценке своих сил и игнорировании насущных интересов страны и ее населения.

При этом допускалось какое-то непонятное угодничество к союзникам. Почему Англия могла чуть ли не через год только перекинуть на материк значительную часть своей армии, а мы обязаны были уже через две недели по объявлении войны, без всякой подготовки и освещения условий наступательных действий, броситься на Германию в Восточной Пруссии для спасения Парижа? Почему, не ограничиваясь громадной для этого жертвой в виде потери двух армий, мы в течение еще ряда месяцев вели непрерывное наступление, потеряв большую часть нашей кадровой армии и лучших офицеров и истратив без остатка все боевые снаряды и патроны? Почему в угоду лишь союзникам мы не держались нашего основного стратегического плана оборонительной войны с таким врагом, как Германия и Австрия, а рискнули крупными наступательными операциями, не имея для этого ни достаточной армии, ни материальных и технических средств?

А эти основные ошибки в наших военных действиях повели к целому ряду других. Для пополнения все растущей армии было призвано такое число запасных, которых ни разместить в казармах, ни дисциплинировать, ни снабдить подготовленным офицерским составом было совершенно невозможно. Эти лишние миллионы людей, поступившие на казенное иждивение, были оторваны от производительной работы и от своих домашних очагов и составили те тыловые запасные батальоны в 6—8 тысяч человек с несколькими юнцами офицерами, которые и образовали первые революционные, а потом большевицкие банды. Это была полная нелепость, полное забвение того, что должен представлять собой на войне офицер и солдат; полное игнорирование того, что каждый лишний человек, призванный под ружье, — это двойной ущерб, так как, кроме того, что теряется его личная работа в поле

или на заводе, еще кто-то другой должен на него работать; полное непонимание, что в войне участвует не только армия, но весь народ и что силы его нельзя напрягать беспредельно и так бестолково.

То громадное напряжение, которое требовалось от страны, те невзгоды и тяжести, которые приходилось испытывать населению, требовали особого внимания Правительства к внутреннему положению и особых мер к поддержанию порядка. Если и в мирное время нельзя было обойтись в России без сильной власти, повсюду, особенно в столицах, приходилось вести постоянную борьбу с революционной пропагандой, в самом начале пресекать всякие попытки к нарушению порядка, то казалось бы ясным, что во время войны все эти меры должны быть во много раз усилены, как это и имело место во всех воевавших странах, и в такой демократической стране, как Франция, диктаторская власть Клемансо ничем не была ограничена. У нас же все такие положения об усиленной охране и даже военные положения существовали только на бумаге и если чем проявлялись, то лишь всякими ненужными стеснениями для обывателей; пропаганда же не только среди рабочих, но и солдат была свободнее, чем в мирное время; да и вообще Министерство внутренних дел с такими министрами, как Хвостов и Протопопов, до такой степени было в прострации, что даже против забастовки в феврале 17-го года на Путиловском заводе, работавшем исключительно на оборону, ровно никаких мер не принимало, а с этой забастовки все началось. Из столицы вывезена была на фронт вся гвардия, и в ней не оставалось ни одной надежной воинской части, которую можно было бы применить для подавления беспорядка, который развивался совершенно свободно в течение более недели, пока не превратился в общий бунт.

Большей нераспорядительности и неразберихи, чем в деле обеспечения населения продовольствием, трудно себе представить. Министерство земледелия, никогда продовольственным делом не занимавшееся, сосредоточило в своих руках не только снабжение питательными продуктами всей армии, но и населения всей России, а распределение этого продовольствия было возложено на губернаторов и градоначальников, у которых для этого не было ни умения, ни людей, ни времени. Неудивительно, что в дни, предшествующие ре-

волюции, в Петрограде, при наличии месячного запаса муки и при непрерывном его подвозе, не хватало печеного хлеба, и первый ропот начался в хвостах перед пекарнями. Если бы это продовольственное дело с самого начала было поручено городским управлениям и земским управам, то Правительство не только было бы освобождено от этих непосильных для него задач, но и отстранило бы от себя одну из серьезных причин обвинения и неудовольствия.

Вообще, всегда присущее нашему Правительству недоверие к общественным организациям оказалось особенно пагубным во время войны. Уже после нескольких первых месяцев выяснилось совершенно очевидно, что Правительство не в состоянии само справиться со всеми теми новыми и грандиозными задачами, которые поставила война. Ведь мобилизовать нужно было не только армию, но и всю страну; вести такую войну без активного участия буквально всех, способных на какое-либо полезное дело, было совсем немыслимо. Правительство действительно обратилось за содействием к разным общественным организациям, а в середине 1915 года при главнейших министерствах были организованы так называемые Особые совещания, с участием членов Думы и Государственного совета, каковые Совещания много содействовали правильному и скорому разрешению более крупных вопросов. Но все такие меры были предприняты с большим опозданием и проводились как-то нерешительно, половинчато и неохотно, почему повлиять существенно на ход войны и улучшение положения в стране не могли.

Наиболее же непонятной и ошибочной была политика Правительства и Государя по отношению к Государственной думе особенно в последние месяцы перед революцией, когда Думу то открывали, то закрывали, стараясь, как нарочно, восстановить ее против себя. Наряду с этим в открытых заседаниях Думы допускались такие прения по внутренней и внешней политике и по положению на фронте, которые не имели места ни в одной стране и которые расходились в отчетах по всей России, конечно, только возбуждая против Правительства недовольство и раздражение.

Первоисточником и основной причиной указанного ряда крупнейших ошибок в допущении войны, ее направлении и ведении, и в управлении страной является, конечно, несчаст-

ный Государь Император Николай II. Ни по своей натуре, ни по характеру, ни по наклонностям, ни даже по внешней манере он совершенно не подходил к той диктаторской роли, которую должен был играть Русский Монарх во время войны. Слабовольный и нерешительный, вместе с тем недоверчивый и подозрительный, не знавший, по существу, России и своего народа, он тем не менее считал своим долгом всячески оберегать неограниченность своей власти, не допуская даже сильных людей на министерские посты и часто совершенно не считаясь с мнениями Главы Правительства и всего Совета Министров. Но при этом был человек, которому он во всем, даже в крупнейших государственных делах, безусловно подчинялся: это была Императрица Александра Федоровна, женщина властная, честолюбивая, неумная, совершенно не знавшая Россию, да на беду еще впавшая в крайний мистицизм вследствие тяжелой болезни Наследника и беспредельной веры в сверхъестественную силу проходимца и шарлатана Распутина, который, по злой иронии судьбы, явился человеком с громадным влиянием на государственные дела России.

Особенно усилилось пагубное влияние Александры Федоровны с того момента, когда под ее влиянием Государь возымел мысль принять на себя Верховное Командование армией, а Великого Князя Николая Николаевича назначить Наместником Кавказа. Около этого момента частью ушли сами, частью были удалены с министерских постов Сазонов, Щегловитов, Рухлов, Кривошеин, и началась “министерская чехарда”, в течение которой премьерами были такие лица, как ветхие Горемыкин и Штюрмер, а в конце кн. Голицын, а в числе министров — Хвостов, Добровольский, гр. Бобринский, Шувалов, Кульчицкий, Беляев, Протопопов и другие, в большинстве ни с какой стороны не подходившие к ответственной роли министров, да еще в такое исключительно трудное время.

Со средины 1915 года Государь лишь на короткое время приезжал в Царское Село, а большей частью проживал в Могилеве: он так много времени и внимания отдавал фронту и военным операциям, что общими государственными делами интересовался и занимался все меньше и меньше; доклады приезжавших в Могилев министров принимал коротко, со

всем, что ему докладывалось, легко соглашался, часто совершенно не вникая в вопросы, и если к какому-либо делу выражал особый интерес и проявлял твердую волю, то в этом всегда ясно было влияние Императрицы.

Я несколько раз имел случай наблюдать Государя и беседовать с ним в течение 1914, 15-го и 16-го годов, а затем, после назначения управляющим Министерства П.С., в январе и начале февраля 1917 года был четыре раза со всеподданнейшим докладом. Осенью 1914 года, при поездке на Кавказский фронт, он имел еще весьма бодрый вид, проявлял интерес ко всему, что приходилось видеть и слышать, сам задавал немало вопросов, высказывался по ним довольно определенно, иногда очень разумно и вообще не вызывал еще никаких опасений. Одно, что производило неприятное впечатление, особенно на людей, помнивших Александра III, — это то, что он как-то совсем не умел и не старался поддерживать своего обаяния, иногда прямо не щадил своего царского самолюбия; он не только не искал популярности среди солдат армии и в массах народа, но при приеме разных депутаций, случайных разговорах с обыкновенными обывателями, обходя ряды солдат и пр., он наружно выражал гораздо меньше внимания, интереса к нуждам, потребностям, настроениям, чем даже это было у него в действительности.

Осенью 1916 года, при докладе моем Государю в Могилеве о дорогах фронта после их объезда и осмотра, он произвел на меня уже впечатление человека уставшего, подавленного тяжестью того двойного бремени, Верховного Командования и управления государством, которое он на себя взвалил, и относящегося уже менее чувствительно к разным неудачам и невзгодам, которые приходилось переживать.

В январе же 1917 года это уже был человек совсем подломленный, равнодушный ко всему, не верящий ни в какие удачи и предоставивший все воле Бога. Я был прямо поражен происшедшей в нем переменой, его пассивностью и полным упадком духа и каждый раз уходил от Государя с тяжелым чувством и безнадежными мыслями о том, в каких обессиленных руках находится судьба России. Невольно думалось, что если Государь, олицетворяющий в своем лице всю беспредельную власть над страной, всеми командующими и руководящими государственными делами лицами, нео-

граниченными средствами и мерами к поддержанию России, находится в таком безнадежном состоянии и настроении, то откуда же может взяться бодрость и необходимая уверенность у Правительства, где вообще найти ту силу и те средства, которые могут дать спасение, какой может быть выход из создавшегося положения, — и, признаться, ответа на это я не находил. Ясно было только одно: так дело дальше идти не может, все уже начинает рушиться и если не произойдет какого-либо исключительного счастливого события, то неизбежна величайшая катастрофа.

Такое безнадежное впечатление выносилось и из каждого заседания Совета Министров. Председателем его последние два месяца был кн. Голицын, благородный человек, но полное ничтожество в государственных делах, министром внутренних дел — уже совершенно психически ненормальный Протопопов. Военным министром — генерал Беляев, недалекий и бессильный человек, совершенно не понимавший ни существовавшего положения, ни своих задач. Уже одни эти люди, игравшие главную роль во всех делах внутренней политики, могли приводить в отчаяние; была совершенно ясной вся беспомощность и бесполезность этого высшего органа государственного управления, почему прочие члены Правительства теряли всякое желание принимать участие в обсуждении общих вопросов и занимались только делами своего ведомства. При другом Государе, при другом составе Правительства такие министры, как Покровский, Риттих, Барк, были бы совсем на месте, но при создавшихся условиях они были совершенно бессильны проявлять какое-либо влияние на общий ход дел.

Государственный организм России начал особенно тяжко болеть уже со второй половины 1916 года, тогда уже как будто нарочно все делалось для возбуждения революции. Началась она, в сущности, не на улицах Петрограда в конце февраля 1917 года, а сначала при Дворе и исходила от самого Государя, который уже тогда все делал, чтобы уронить и свой престиж, и престиж Правительства. Уже тогда от него отошли все Великие Князья и многие придворные близкие люди, держались только те, которым покровительствовала Императрица, а следовательно, Распутин, но все это были люди, не способные ни к какому серьезному делу. В Государственной думе и в

Государственном совете начали расти тревога и большое неудовольствие, которое хотя и направлялось по адресу Правительства, но, в сущности, относилось к самому Государю. Все, кто ближе знали Николая II и обстановку его семейной жизни, относились к нему с искренним сожалением и сочувствием, но в душе никто не мог находить нормальным ни его подчинения Государыне, ни его выборов министров, ни его пассивного отношения к положению государства.

Это постепенно прорывалось наружу, все более и более распространялось в широких кругах, не могло не проникнуть в конце концов и в армию, и в среду городских обывателей, и в деревню. Убийство Распутина в декабре 1916 года довершило дело. С одной стороны, это окончательно отчуждило Николая II и Александру Федоровну от всех и лишило всякой духовной силы, с другой — всем стало ясно, что это действительно был негодяй, за убийство которого даже никто не понес ответственности; и такой негодяй держал в руках Царя и Царицу, его не только терпели, его превозносили, ему беспрекословно верили, по его совету часто выбирали и смещали министров, решали государственные вопросы. Едва ли можно было придумать что-либо, что в большей мере роняло личность Государя и веру в него.

К концу 1916 года Государь и Правительство ни в чем не имели опоры и были бессильны. Население, утомленное войной, раздраженное ее неудачами и всякими невзгодами жизни, все меньше чувствовало над собой власть. Психика сознательных обывателей была такова, что революция неизбежна, что если и подавит ее военная сила, то все же эта встряска изменит положение, может быть, после грозы наступит относительное успокоение и мы в состоянии будем закончить войну. Если же революция подавлена не будет, то, вероятно, дело ограничится политическим переворотом, вместо Николая II будет на престоле Алексей и ответственный регент, может быть, будет ответственное министерство, во всяком случае, хуже не будет. Мало кто тогда предвидел, во что революция может вылиться; еще менее можно было предполагать, что наши военные власти окажутся столь бессильными и неспособными, а войска в Петрограде столь деморализованными; мало кто знал, что этот революционный яд так глубоко проник в народную толпу, а ненависть народа ко

всякому начальству, ко всякому офицеру, ко всякому “барину” стала за время войны столь глубокой и сильной; никто не предвидел, что народ, наш русский, благодушный, терпеливый и религиозный народ, может оказаться столь жестоким, мстительным и безрассудным.

За 6—8 дней до вспышки бунта Совет Министров заседал каждый день, а иногда и по два раза в день. Председатель Совета кн. Голицын постоянно телеграфировал Государю в Могилев о том, что происходит в столице. Независимо от этого военный министр Беляев и Председатель Государственной думы Родзянко тоже посылали неоднократные сообщения в Ставку. Не получая оттуда никаких распоряжений, Совет Министров 23 или 24 февраля, точно не помню, не видя возможности успокоить население и ввести в норму жизнь столицы, постановил настоятельно просить Государя о назначении нового состава Правительства во главе с лицом, заслуживающим общего доверия, и таковым рекомендовали генерала Алексеева. На это был получен ответ, чтобы все оставались на местах, что на днях Государь приедет в Царское и тогда примет необходимые меры. На дальнейшие донесения о том, что ждать нельзя, что на войска Петроградского гарнизона положиться невозможно, ответа не последовало.

Вечером 27 февраля в Мариинском дворце было последнее заседание Совета Министров. Судя по полученным сведениям о событиях в городе, все уже было кончено: те немногие части войска, которые пробовали бороться с бунтом, ничего поделать не могли; к бунту присоединился уже почти весь гарнизон, начались разгромы полицейских управлений, окружного суда, выпуск из тюрем арестованных, избиения полицейских чинов и прочие проявления разыгравшейся кровавой стихии. На площади перед дворцом слышалась стрельба и крики.

Так как сообщениям Совета Министров, очевидно, в Могилеве веры не придавали, то решено было просить Великого Князя Михаила Александровича передать от своего имени по прямому проводу о разыгравшемся бунте и просить немедленного ответа, до получения которого Совет Министров не расходился, кроме ушедших Беляева и Протопопова. Только в 11 часов вечера был получен ответ о том, что выслан Георгиевский батальон во главе с генералом Ивановым. Так как к этому времени Правительство уже фактически существовать

перестало и лишено было возможности в чем-либо проявить свою власть, то и решено было разойтись.

Тут со мной и Н.Н. Покровским случилось происшествие, которое только случайно не стоило нам жизни. Еще раньше нам сообщали, что отдельные группы ходят по квартирам министров с намерением их арестовать и что лучше поэтому где-либо нам скрываться. Я решил провести ночь у одного знакомого и хотел передать об этом жене по телефону. Но телефон своей квартиры мне удалось получить только в 12 часов ночи, а когда после разговора я хотел выйти, то встретил Покровского, который сказал, что на площади идет такая стрельба, что ходить прямо опасно, что надо переждать. Вскоре, однако, нам сообщили по телефону, что на Мариинский дворец идет большая вооруженная толпа в целях ареста всех министров и разгрома канцелярии Совета. Мы решили тогда все-таки выйти, но не через главный вход, а через один из дворов и ворота в Демидовом переулке, но и это оказалось уже невозможно, калитка была заперта, а снаружи кто-то крикнул, что выходить никому нельзя. Мы очутились в западне.

Вернувшись вновь в канцелярию, мы вскоре услышали сильный шум на улице, а затем и в вестибюле, на лестнице и в зале заседаний; слышно было, что толпа что-то разыскивает, что-то валит и бьет. Тогда мы с Н.Н. Покровским вновь спустились по одной из черных лестниц, вошли в коридор, ведущий в жилые помещения курьеров, швейцаров и сторожей дворца, присоединились там к взбудораженной толпе этих служащих, их жен и детей. Однако осмотр и поиски скоро проникли и в этот коридор; два-три раза туда появлялись вооруженные и очень возбужденные “товарищи”, спрашивали, нет ли посторонних, и осматривали все комнаты и закоулки, несколько раз проходя мимо нас. Но нас там, по-видимому, никто не знал или не узнал, во всяком случае, никто не выдал, что и спасло нас от расправы. Однако простоять и просидеть на дровах и бочонках в этом коридоре нам пришлось до 5 часов утра. Тогда только наступила во дворце относительная тишина, публика понемногу разошлась по своим комнатам, а мы все продолжали сидеть в самом темном углу коридора, не зная, как оттуда выбраться на улицу. Тут помог нам один из курьеров, который узнал Покровского и принял большое в нас участие; с помощью его сына мы спокойно спустились на один из внутренних дворов,

прошли, не обращая на себя внимания, мимо караула, подошли к воротам, открыли их, отстегнув большой крюк, и таким образом очутились на улице.

Улицы города представляли собой весьма жуткую картину: полное освещение и почти пустота, лишь изредка прохожие или группы, большей частью вооруженные, и кое-когда проезжали грузовики с солдатами; нигде ни одного городового, ни одного дворника, издали доносились какие-то крики, иногда выстрелы. По Морской, ясно освещенной, было идти как-то жутко, мы пошли по более темной Мойке, Покровский к себе на квартиру на Дворцовой площади, я — к знакомому на Миллионную улицу.

Утром я решил идти в свое Министерство; было 28 февраля; на улицах творилось что-то ужасное; какой-то разгул безудержной свободы творить, что кому вздумается. Масса народа, много пьяных, несмотря на утро, повсюду раздается стрельба, разъезжают санитарные автомобили с ранеными и сестрами, какие-то группы солдат и рабочих спешат в какой-то бой, где-то громят какую-то лавку, то ведут каких-то арестованных офицеров, то и дело мчатся грузовики с солдатами, стреляющими куда попало. Все возбуждены необычайным положением, когда вдруг не стало никакого начальства, никакой полиции, никаких обязанностей, ничего запретного, — но на многих лицах можно было заметить выражение беспокойства, страха и как бы вопроса: что же из всего этого выйдет, что же будет дальше?

Не без труда и некоторого риска, минуя наиболее шумные улицы и вооруженные группы, пришел я к зданию Министерства П.С., но там оказался военный караул, который без особых разрешений никого не впускал. Пришлось войти на черный двор дома министра и через кухню квартиры министра* проникнуть в свой служебный кабинет, около которого меня обычно приветствовали курьеры. Я немедленно вызвал к себе секретаря, начальника Управления ж.д. и других лиц и от них узнал, что в Министерстве распоряжается А.А. Бубликов, назначенный временным комиссаром Министерства, что вся власть в данную минуту находится

---

* Квартира была пуста; мой предшественник Трепов давно из нее выехал, а я не въезжал, предчувствуя, что это было бы на короткое время.

в руках Комитета Государственной думы, что Бубликов распорядился остановить следование Императорского поезда, в котором Государь ехал в Царское Село, и что я, по всей вероятности, как и прочие министры, буду арестован. Тогда, отпустив всех, я начал отбирать те бумаги, письма и книги, которые составляли мою собственность. В 12 часов, по заведенному порядку, раздался телефонный звонок из Москвы от председателя Порайонного комитета, который мне доложил о ходе за последние сутки перевозок через Московский узел. Я узнал от него, что в Москве полный порядок, но все встревожены слухами из Петрограда, и на вопрос моего собеседника сообщил ему, что у нас полный переворот, новая временная власть и пр.

Вскоре после этого ко мне зашел Бубликов, с которым мне приходилось много раз встречаться в разных деловых заседаниях. Взволнованным голосом он пояснил мне те задачи, которые на него возложены Государственной думой, и по ее поручению спросил меня, согласен ли я поехать сейчас в Думу и заявить там свою покорность новой власти. Я ответил, что, пока существует на Престоле Государь, которому я присягал, я этого сделать не могу. Тогда Бубликов заявил, что в таком случае он должен подвергнуть меня аресту, который будет носить чисто формальный характер, так как мне не может быть предъявлено каких-либо обвинений, и что, вероятно, через день-два я буду выпущен на свободу. Он предложил мне выбрать место ареста: здесь, в кабинете министра, у себя на квартире или в Государственной думе. Я избрал кабинет министра, но просил не лишать меня телефона, на что он сразу согласился и ушел.

Вскоре у дверей в кабинет с наружной стороны появилось двое человек, а ко мне вошел представиться начальник караула, очень развязный и какой-то странный офицер в форме Семеновского полка, который отрекомендовался “поручик Сосновский”. Впоследствии я случайно узнал, что это был не офицер, а какой-то известный жулик, только что выпущенный из тюрьмы и надевший на себя офицерскую форму.

Имея телефон, я мог сообщить о своем аресте жене и переговариваться со знакомыми. Вообще, мой арест оказался не только не тяжелым, но даже приятным в том отношении, что я был огражден от всяких случайностей и неприятнос-

тей. Ко мне пришла жена, пищу мне давала прислуга Трепова, оставшаяся еще в квартире министра: она же устроила мне хорошую постель, меня навещали бывшие сотрудники и рассказывали о событиях в Министерстве и в городе.

Через двое суток, то есть 2 марта, ко мне заходит член Государственной думы Волков и предлагает ехать в Думу. Мы сели в крытый автомобиль, с нами какой-то юный прапорщик, а у шофера солдат с ружьем, и поехали медленно, так как на улицах были еще толпы народа, но стрельбы, криков и суеты было уже значительно меньше. Особенно большая толпа любопытных была около здания Думы, к которому подъехать было невозможно, пришлось выйти шагов за сто и под конвоем идти пешком по узкому коридору среди "революционного народа", который с особым интересом осматривал всех арестованных и ведомых в Думу.

В Думе меня сдали какому-то молодому человеку, который просил посидеть и сказал, что сейчас обо мне доложит.

Вскоре ко мне подошел милейший Н.Н. Львов, который был товарищем председателя Комитета Думы, то есть в тот момент вторым лицом в государстве. Он очень удивился, узнав, что я был арестован, сказал, что это какое-то недоразумение, и обещал сейчас же выдать мне пропуск. Действительно, не более как через полчаса он вручил мне за своей подписью и всеми печатями две бумажки, из которых одна давала мне право входа и выхода из Государственной думы, а другая предписывала всем местам и учреждениям оказывать мне содействие и защиту. Пожав Николаю Николаевичу руку, я свободно вышел из Думы, перешел Таврическую улицу и поднялся по лифту в свою квартиру на углу Таврической и Тверской.

Тут, у себя дома, за долгие месяцы напряженной работы в невероятно тяжелой атмосфере, я, чуть ли не впервые за всю свою жизнь, почувствовал себя совершенно свободным от службы, от какого-либо обязательного труда, от каких-либо серьезных забот; я ощутил действительно полную свободу; но радости от этого не было никакой, так как с гораздо большей силой и ясностью сознавалась та ужасная катастрофа, которая надвинулась на Россию.

Стараясь сколько возможно понять эту катастрофу и хоть сколько-нибудь предвидеть возможное дальнейшее течение событий, я в последние дни, имея в кармане две бумажки от

Государственной думы, смело ходил и наблюдал жизнь на улицах столицы, прислушивался к тому, что говорят на бесконечных митингах, наблюдал за тем, что делается в Государственной думе, расспрашивал знакомых офицеров о событиях в их казармах 27 и 28 февраля, о настроении и поведении солдат после бунта, осведомлялся о том, что происходило в пресловутом Совете рабочих и солдатских депутатов, беседовал со знакомыми членами Думы и пр. Отлично помню, что все эти наблюдения и расспросы привели меня тогда к следующему заключению:

Несомненно, что бунт 27 февраля произошел совершенно стихийно, без какой-либо серьезной подготовки со стороны революционных деятелей, которых вообще было очень мало и которые начали проявлять себя уже после того, как власть пала. Бунт явился прямым результатом, с одной стороны, постепенного совершенно беспрепятственного накопления на улицах столицы праздного народа, главным образом бастовавших рабочих, с другой стороны, полной распущенности многочисленных военных частей, солдаты которых оставались без всякого надзора и свободно вращались в той же уличной толпе. Этому объединению солдат с толпой способствовало и то обстоятельство, что военные команды и патрули, назначавшиеся для поддержания порядка в городе, в течение нескольких дней мирно стояли, ходили и разъезжали по улицам города как бы нарочно для того, чтобы сблизить их с толпой и чтобы к виду этой воинской силы все привыкли и перестали обращать на нее внимание. Насколько в первые дни забастовок, то есть около середины февраля, легко было их прекратить, выселив из столицы наиболее беспокойных и вожаков, насколько в это время легко было устранять всякие попытки к скоплению на улицах, настолько же 25, 26 и 27 февраля было уже трудно очистить улицы от массы народа в 150—200 тысяч человек, а при распущенности Петроградского гарнизона и прямо невозможно, что сразу и выяснилось, когда по распоряжению свыше были сделаны две-три попытки действовать оружием. Все главнейшие улицы и площади были уже запружены людской массой, стадное чувство и сознание силы и безопасности уже овладели толпой.

Как ни благоприятна была уже почва для революции, как ни сильно было недовольство Правительством в населении, но если бы с самого возникновения забастовок и беспорядка

были бы приняты строгие полицейские меры, а худшие части гарнизона выселены из столицы и заменены хорошими частями с фронта, то подавить беспорядки было бы совсем не трудно. Если бы к этому времени Государь прибыл в Петроград и проявил бы свою власть, уволив всех министров и назначив другой состав Правительства во главе с таким лицом, как, например, генерал Алексеев, то весьма вероятно, что только вследствие проявления силы власти наступило бы общее успокоение. Словом, не только в подготовке всей почвы для революции, но и в непринятии самых естественных мер к ее предотвращению целиком виновато бывшее тогда Правительство и лично Государь Николай II.

В течение первых двух-трех недель после бунта в Петрограде царила полная анархия. В сущности, она продолжалась все время, и после большевиков, но в эти первые недели ровно никакой власти в городе не проявлялось. Разнузданные солдаты и матросы, повыпущенные из тюрем арестанты, всякие подонки столичного населения, продолжавшие бастовать и митинговать рабочие — вот кто был настоящим господином положения. Временное правительство не хотело, да и было неспособно, проявить какую-либо власть; Государственная дума очень скоро потеряла всякий престиж.

Первые восторги от “свобод” заметно начали стихать, революционный пафос начал значительно выдыхаться; все чаще, даже на улицах, слышно было не то разочарование, не то сожаление о том, что нет порядка, солдаты совсем потеряли свой воинский вид и в их среде наблюдалась растерянность. Все это приводило к заключению, что если бы в этот момент появился сильный и энергичный человек с двумя-тремя хорошими полками, то ему нетрудно было бы подчинить себе город, разогнать Временное правительство и Совет рабочих депутатов и призвать законную власть в лице Великого Князя Михаила Александровича.

В это время, пока революционная зараза не проникла еще в другие города и не разложила фронта, можно было еще водворить в столице порядок и спасти Россию.

К сожалению, такого человека не нашлось; слишком все были сбиты с толку и потеряли критерий в понимании событий. Психоз был очень силен, не было веры в силу какой бы то ни было власти, кроме власти толпы. Люди, даже наиболее

сохранившие рассудок и здравый смысл, надеялись, что Временное правительство, состоявшее из наиболее видных думских и общественных деятелей, людей совершенно другого типа и направления, чем бывшие министры, — что это свободно выдвинутое самой революцией Правительство справится со своей задачей, доведя Россию до Учредительного собрания, и тогда наступит относительный порядок, спокойствие и благополучие. Увы, и этим надеждам не суждено было оправдаться.

Очень скоро выяснилось, что новые властители России были умны, храбры и энергичны лишь в критике и в словопрениях в Думе; для выполнения же реальных жизненных задач и для управления страной они оказались до такой степени слабыми, далекими от жизни и столь не понимавшими положения России, что своими действиями и распоряжениями только углубляли революцию, усиливали анархию и направляли жизнь страны не к успокоению и порядку, а к усилению хаоса. Наряду с этим они воображали, что при таком положении России и создавшемся настроении народных масс можно продолжать войну и достигнуть каких-либо успехов. В этом было главное и роковое заблуждение не только Временного правительства, но и всей прессы и многих военачальников. Никто не мог или не хотел понять, что продолжение войны немыслимо, что уже нет силы, которая могла бы заставить армию и народ продолжать эту тяжелую борьбу, что раз народ дорвался до этой безудержной свободы, раз плотину прорвало, то уже воду не удержать, что свобода прежде всего будет использована для того, чтобы избавиться от войны, что в этом революционном настроении никаких государственных инстинктов проявиться не может и главной двигательной силой часто являются лишь чисто личные и самые низменные побуждения.

Если бы это было еще не ясно в первые недели после революции, то уже летом, после июльского восстания, после позорных неудач на фронте, после массового дезертирства, после пресловутого Государственного Совещания в Москве, после появления Ленина и явных успехов его пропаганды, — все это стало уже совершенно очевидным. Если бы Временное правительство не было столь слепым, если бы оно понимало окружающую обстановку и хоть в малой степени обладало предвидением, то оно должно было тогда же заключить перемирие с Германией. В тот момент это возможно было еще

сделать на почетных условиях, при которых можно было оберечь интересы России; наконец, Бог знает, может, начавшиеся переговоры с Германией побудили бы к тому же и союзников и наступило бы общее перемирие; в мирной конференции участвовала бы и Россия; вместо нежизненного Версальского договора был бы другой, при котором жизнь всей Европы скорее вошла бы в норму, чем мы это видим теперь.

Вообще, как это ни печально, но нельзя не признать, что не только во время войны, но и после революции ни в правительственных кругах, ни среди русской общественности, ни в военном мире, вообще в России — не оказалось выдающихся государственных людей, которые могли бы направить Россию по правильному пути и избавить ее от катастрофы. Единственными людьми, проявившими самостоятельность, инициативу и энергию, были генералы Алексеев и Корнилов, но и они, во-первых, слишком поздно подняли вооруженную борьбу и не сумели привлечь достаточные для этого силы, а главное — держались той же ошибочной тенденции: продолжения войны и верности союзникам. Не грустно ли, что за все печальное десятилетие 1914—1924 годов единственным сильным человеком в России оказался фанатик, вырожденец и нравственный урод — Ленин? Очевидно, та ужасная болезнь, которая поразила государственный организм России во время войны, прежде всего парализовала его мозг и его волю, его умственные и духовные силы. Но ведь и другие страны переживали после войны ту же болезнь, однако там находились люди и силы, которые успешно с нею боролись, и ряд стран, таких, как Германия, Англия, Италия, Сербия, Турция, быстро вышли на путь полного выздоровления. Очевидно, что духовные силы России были слишком слабы, они совершенно не отвечали грандиозности и трудности задач: не могли ни предотвратить революции, ни направить ее к благополучию страны и народа — и дали совершиться полной катастрофе.

Почему же Россия, выросшая в такое могучее государство, сразу рухнула в бездну, почему же прежде находились в ней люди и силы, которые сделали ее великим народом, а теперь не оказалось в ней тех крепких и здоровых элементов, которые могли бы поддержать ее и не допустить до такого падения? В чем же кроется главная причина того несчастья, которое выпало на долю России?

ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ РОССИИ

Когда инженер обследует какое-либо сложное явление, то начинает с того, что разбивает его на составные части, изучает каждую часть отдельно и затем уже делает общие выводы.

Так необходимо поступить и с вопросом о причинах русской разрухи, явлении не только сложном, но по своим необычайным последствиям совершенно исключительном в жизни народов.

Причины, вызвавшие революционные события в России, то есть бунт в феврале 1917 года, большевизм и коммунистическую диктатуру, прежде всего нужно разделить на две следующие категории:

1) причины коренные, неустранимые, присущие России, составлявшие ее особенности, действовавшие в течение долгого времени и мало или совсем не зависевшие от современных деятелей, и

2) причины более или менее случайные, в значительной степени зависевшие от лиц, игравших руководящую государственную роль, и сложившиеся уже в последний период перед революцией.

Первые создали благоприятную почву и атмосферу для революции, вторые дали ей толчок и определенное направление.

1. Географические и климатические условия России

Россия была единственным в мире государством по своим размерам, занимающим $^1/_6$ всей суши, составляющим одно целое, управляемое на общих одинаковых основаниях, без разделения на метрополию и колонию, как, например, Великобритания. Один этот размер России естественно вызывал громадные трудности в регулировании государственной жизни, защите границ и поддержании единства государства. Прежде всего это требовало сильной центральной власти и — до поднятия культурного уровня населения, до установления сильных экономических и политических связей — не допускало каких-либо автономий. Но чтобы управлять из центра страной, надо ее знать, а сколько времени и труда нужно было затратить для этого; много ли было у нас не только министров, но вообще людей, которые ее хоро-

шо знали? Мне помнятся слова министра финансов Коковцева, сказанные им во время путешествия в 1910 году на Кавказ: “Мне стыдно признаться, что я первый раз на Кавказе и что я его совсем не знал”. Богатства края, его города, его культура — все это было совершенно неожиданно для человека, который уже много лет был министром финансов. А сколько было у нас государственных людей, которые, кроме Петербурга, Москвы да своей губернии, ничего в России не видели, а знали ее только на бумаге и со слов других. Почти и невозможно было ее лично осмотреть и изучить, особенно уже занимая министерский пост; поневоле приходилось полагаться на знания других, решать вопросы чутьем.

Но необъятный размер России имел и другое, еще более серьезное влияние; он был причиной общего слабого национального чувства, почти полного отсутствия того естественного патриотизма, которым так отличаются немцы, французы, итальянцы и др. Патриотизм, любовь к своей Родине тем сильнее, чем, во-первых, культурнее народ, а во-вторых, чем меньше своя страна, чем ближе, знакомее каждому свое отечество. Осознать ту тесную связь, которая существует между личными интересами обывателя и благом всей страны, то есть интересами общегосударственными, тем труднее даже для культурного человека, чем страна больше, чем ее государственные интересы обширнее и сложнее. Деревенский мужик, имеющий дело лишь со своим волостным правлением, сельской школой, реже с уездным исправником или уездной больницей, естественно ограничивает все свои интересы своим уездом; даже другие уезды его губернии мало его интересуют и являются как бы чужими. Помещик, купец, городской житель — у тех жизненные интересы уже шире, простираются на всю губернию, а часто доходят и до столицы, но и для них какие-либо отдаленные губернии, а тем более окраины России малоинтересны и чужды, если они специально не интересуются и не знакомы с общей государственной жизнью страны. Представьте себе, что сошлись люди из Бессарабии, Закавказья, Урала, Польши, Уссурийского края и Бухары. Что общего между их жизненными интересами? Как много Россия должна им давать, как ярко должно выражаться их благо от нахождения в составе России, чтобы ожидать появления

общего национального чувства, той любви к Родине, без которой немыслима ни сплоченность интересов, ни стремление к общему благу, ни уважение к общей государственной власти?

Расположение России между Европой и Азией, вековая борьба с азиатскими народами, татарское иго, вхождение в состав Русского государства многих народностей азиатского происхождения — все это не могло не оставить глубокого следа на миросозерцании и характере русского народа. С одной стороны, влияние Азии, с другой — самобытность народной культуры и, наконец, православная вера создавали духовный облик русского народа, совершенно отличный от народов Запада, не знавших борьбы с Азией и воспитавшихся под влиянием католической или протестантской церкви.

В противоположность народным низам весь культурный слой России воспитывался исключительно под влиянием Запада; вся внешняя культура, вся идеология и миросозерцание русской интеллигенции были чисто западническими, особенно это относится к XVIII—XIX столетиям и к русской аристократии, многие представители которой лучше владели иностранными языками, чем русским. Западной цивилизацией, ее плодами пользовался только высший класс, до низов они совершенно не доходили. Отсюда оторванность русской интеллигенции от народа, разделение России на два слоя, верхний и нижний, их взаимное непонимание, отчужденность, которой не было ни в одной стране Западной Европы.

Россия резко отличается от Западной Европы и в климатическом отношении. Три четверти России имеют чисто северный климат, где не хватает своего хлеба, нет угля, нефти, хлопка, сахара; все это доставляется с юга. Полгода половина России скована льдом и снегом; никакие сельскохозяйственные, никакие строительные работы невозможны. Сельскому населению не к чему приложить своего труда; отсюда стремление к отхожим промыслам, безделье, леность, пьянство, бедность и недостаточная привязанность к своему очагу. Отсюда дешевизна нашей рабочей силы, плохое материальное положение рабочих, их неудовлетворенность, недовольство.

Немалое влияние на ход нашей государственной жизни имело и то обстоятельство, что столица, этот мозг страны и

центр ее управления, была расположена на северо-западной окраине. Сообщение от Петербурга до Берлина, Вены, Стокгольма было ближе и удобнее, чем до центральных губерний России. Неудивительно, что Петербург во многих отношениях был городом более европейским, чем русским. Это еще усиливало влияние Запада на нашу столичную интеллигенцию, затрудняло сношение с Россией, знакомство с ней, не говоря уже об окраинах. Настоящим духовным центром России была Москва; Петербург был лишь центром формальным, чиновным и военным, и насколько он был далек от России, настолько же и она от него. Не было той тесной связи между столицей страны и ее населением, не было той любви русского народа к своей столице, какую мы наблюдали у французов к Парижу, у австрийцев к Вене, у итальянцев к Риму. Это западное и окраинное расположение столицы, столь, может быть, полезное при Петре Великом, впоследствии сыграло даже весьма отрицательную роль в развитии русской государственности.

2. Условия этнографические

Не подлежит никакому сомнению, что, чем однороднее по национальности и чем однообразнее по культурному уровню население страны, тем легче разрешаются разные государственные задачи. В этом отношении население России всегда представляло большие трудности. Коренное русское население составляло до революции около 66%, но и оно не было однородным; великоросс центральных губерний, полтавский малоросс, полесский белорус, сибиряк имели меньше общего в нравах, обычаях, интересах, иногда и языке, чем немцы в разных частях Германии или население разных провинций Франции. Но кроме русской народности в состав населения России входили: поляки — 7%, евреи — 4, народы тюркского и монгольского происхождения — 9, финляндцы — 3,5 и до 10% — армян, грузин, немцев, греков, литовцев, молдаван и прочих народностей, которых в общем насчитывалось более 100. Ассимиляция большей части нерусского населения происходила очень медленно. Разнообразие наречий, религий, нравов, степени культуры от высшей европейской до полудикой не только с годами не сглаживалось, но в некоторых случаях проявлялось все более и более резко, что объясняет-

ся, с одной стороны, низким культурным уровнем русского народа, с другой — большим влиянием на окраинах соседних государств: Швеции, Германии, Румынии, Персии, Турции. У некоторых из нерусских народностей, например финляндцев, поляков, издавна появлялись сепаратические тенденции, которым не чужды были даже малороссы. Эти стремления и нелюбовь к России вызывали встречное ограничение некоторых прав поляков, евреев, финляндцев, что еще более увеличивало их недовольство, и получался заколдованный круг, усложнявший и без того сложные задачи управления такой громадной страной. Нелишне при этом отметить то интересное явление, что народы азиатского происхождения, за небольшими исключениями, легче и полнее сливались с Россией и составляли более здоровые ее части, чем народности западных окраин, в большей степени находившиеся под влиянием Европы.

Разноплеменность населения России и центробежные тенденции окраин были одной из серьезных причин той крайней централизации власти и того чисто бюрократического направления внутренней политики, которые не отвечали ни размерам России, ни задачам культурного развития народа.

3. Условия исторические и социологические

Обследование этих условий во всей их полноте составит несомненно предмет особых исторических трудов, достойных лучших историков. Но и для всякого культурного человека, хоть немного знакомого с нашей историей, даже только одного XIX века, совершенно ясно, что смута и разруха, начавшиеся в 1917 году, находятся в естественной связи с нашим историческим прошлым, которое если и не могло привести к революции само по себе, без особых обстоятельств и толчков, то, во всяком случае, подготовляло для нее весьма благоприятную почву.

Если сравнить течение нашей государственной жизни XIX века и внутреннее положение России в последние десятилетия перед войной с тем, что происходило в других странах Западной Европы, то нельзя не заметить следующих особенностей и ненормальностей в нашей государственности и нашем политическом положении.

До 1861 года, когда в других культурных странах Европы давно уже существовало сравнительное равноправие населения, наш государственный строй целиком зиждился на крепостном праве, при котором положение основной массы населения России, крестьянства, мало отличалось от положения крестьян во Франции, Германии, Англии в средние века. Россия управлялась на началах громадной вотчины. Если помещики были полновластными хозяевами своих крепостных, смотрели на них как на свою неотъемлемую собственность, то естественно, что весь духовный облик государственной власти, вся ее психология и идеология складывались в этой атмосфере неограниченного властвования одних людей над другими; это были основные устои государства; Государь повелевает министрами, министры — губернаторами, губернаторы — помещиками, а помещики — крестьянами. Устои эти были прочные, они имели определенный смысл, их историческая роль очень велика; в свое время Россия, вероятно, не достигла бы без них того успеха в борьбе с соседями, той территории, тех природных богатств и того географического положения, которые являются главнейшим залогом будущего развития и могущества государства.

Но, как и многое другое у нас, отмена этого крепостного права, к сожалению, очень запоздала, что вызвало ряд ненормальных и болезненных явлений в нашей политической жизни. Прежде всего, это породило то отделение более культурного слоя, долгое время чисто дворянского, от народной толщи, то деление на барина и мужика, которое существовало, в сущности, до самой революции и которое имело отрицательное влияние на все стороны нашей государственной и общественной жизни, в том числе и на ход революции. Затем, вследствие этого опоздания освободительной реформы уже в начале XIX века начали возникать враждебные к Правительству течения, которые впервые в более резкой форме выразились бунтом декабристов 14 декабря 1825 года, а потом проходили красной нитью через всю нашу историю последних ста лет. Они проявлялись и в постоянном оппозиционном настроении к Правительству части интеллигенции, и в обличительном направлении литературы, и в революционной пропаганде, и, наконец, в длинном ряде террористичес-

ких актов и попыток, что весьма печально отражалось на нашей внутренней политике.

Восстание декабристов и убийство Императора Александра II 1 марта 1881 года положили основания тому охранительному и суровому режиму, которым отличались царствования Николая II и Александра III.

Продолжавшиеся все время революционные течения и террористические акты были настоящим бедствием для России. Они естественно вызывали со стороны Правительства непрерывную борьбу, отвлекали его заботы и внимание от других задач государственного управления, порождали недоверие к интеллигенции, вообще к населению, вызывали совершенно ненормальную психику и у Монархов, и у членов Правительства и задерживали дальнейший ход реформ. Не только в правительственных сферах, но и в среде интеллигенции все время существовало большое разнообразие и неустойчивость в политических взглядах и настроениях. Вопрос, сначала ли реформы или сперва успокоение, становился ходячей фразой: на него непросто было ответить; такие факты, как убийство Александра II, прямо показывали, что террористы преследуют какие-то особые цели, отличные от настроения русского общества; с другой стороны, твердая и последовательная борьба с революционными течениями во время царствования Александра III привела к значительному спокойствию страну и без всяких реформ, а лишь благодаря значительному улучшению внутреннего экономического и внешнего положения России.

Реформы продолжали, однако, опаздывать. Прежде всего земельная. Если бы хоть на 20—30 лет ранее, чем в 1909 году, земля была предоставлена в частную собственность крестьянам и уничтожено пагубное общинное владение, то ко времени Великой войны было бы уже новое поколение мелких земельных собственников; в связи с этим много улучшилось бы экономическое и правовое положение крестьян; в них уже сильно развилось бы и чувство собственности, и стремление к улучшению своего хозяйства, к сбережениям; не было бы озлобления к другим собственникам земли, так как каждый хозяйственный мужик мог сделаться помещиком; поднялись бы и национальное чувство, и культура среди крестьян, совсем иным было бы их настрое-

ние, и Бог знает, имела ли бы революция 1917 года в них такую поддержку.

Опоздание крестьянских реформ и последовавшие революционные настроения вызвали дальнейший ряд дефектов нашего государственного управления, объясняющихся и тем, что среди министров было очень мало настоящих государственных людей с широким масштабом, инициативой и даром предвидения. Не было ни поприща, ни школы для выработки таких людей; одна чиновничья среда и государственная служба давать их не могли. Дело обстояло бы иначе, если бы у нас, как издавна имеет место во всех культурных странах, была развита самодеятельность населения, были повсеместно распространены и расширены в своих правах земские учреждения, городские самоуправления, учреждались культурные, хозяйственные, профессиональные, кооперативные общества и союзы. Такая самодеятельность общества не только приобщала бы к государственной жизни все лучшие местные силы и устанавливала бы тесную связь между правительственными и общественными учреждениями, не только выделяла бы наиболее выдающихся людей для государственной работы, но давала бы удовлетворение естественному стремлению интеллигенции приобщиться к строительству России; и ее идеология была бы более практичной и здоровой, она бы стояла ближе к жизни и меньше предавалась бы критике, самооплеванию и увлечениям социалистическими и другими теориями, рожденными Западом.

Наше Правительство неизменно боялось этих общественных сил и обратилось к ним только во время войны, когда явно обнаружилась невозможность для одной власти справиться со всеми задачами. Хотя это и достигло непосредственной цели, но в развитии революционных настроений только подлило масла в огонь, так как сама по себе война вскрыла воочию целый ряд наших дефектов и дала обильную почву для критики и нападок на Правительство.

Запоздали мы, конечно, и в деле привлечения к государственному управлению народного представительства. Во всех отношениях это следовало сделать Императору Николаю II немедленно по восшествии на престол. Это было и вполне возможно после того успокоения, которое наступило в царствование Александра III, и вполне соответствовало бы сла-

бой и безвольной натуре Николая II, совершенно не подходившего к роли самодержавного Монарха, и вполне отвечало бы общим желаниям и настроениям всей мыслящей России. Подобный акт сразу разрядил бы атмосферу, дал бы отдушину для давления, под которым находилось русское общество, и на все царствование упрочил бы престиж и положение Государя. Настроение и поведение народного представительства, добровольно дарованного народу, были бы совсем иными, чем настроение Первой Государственной думы после силой вызванной реформы 1905 года.

Вероятно, не было бы тогда ни Японской войны, ни революции 1905 года, которая послужила отчасти примером для 1917 года.

Ко времени войны 1914 года народное представительство окончательно бы укрепилось, в нем выработались бы люди с правильными государственными инстинктами и навыками; многолетняя совместная работа правительства с Государственной думой сгладила бы многие углы и устранила бы взаимное недоверие; были бы и другие министры, и ко времени войны мы, вероятно, оказались бы к ней гораздо лучше подготовленными не только в чисто военном отношении, но и в смысле нашего внутреннего положения.

Запаздывание в необходимых реформах, взаимная отчужденность Правительства и общественных сил, неудовлетворенность и наклонность к социализму нашей интеллигенции, постоянная подпольная работа революционеров и террористов и борьба с ними Правительства — все эти явления, взаимно другу друга питая, образовывали тот заколдованный круг, в котором многие десятилетия вращалась наша политическая жизнь, подтачивая государственный организм и вызывая целый ряд ненормальных явлений.

Одно из них, оказавшее очень большое влияние на возникновение и особенно на течение революции, заключалось в том, что ни одна страна не имела в последнее время такой массы политических ссыльных и эмигрантов, как Россия. В состав этих участников разных антигосударственных партий и организаций попадали в большинстве случаев неудачники и недоучки, люди, обездоленные судьбой, страдающие за свои или чужие грехи, люди, сбитые с толку, с извращенными понятиями или больной психологией. Живя многие

годы в ссылке или эмиграции, в тяжелых материальных и правовых условиях, многие из них становились, естественно, еще более враждебными и озлобленными не только к тому государству, в котором не могли ужиться, но вообще ко всем людям, живущим в нормальных условиях. Они становились прямыми врагами того порядка вещей, при котором не могли ни у себя на Родине, ни за границей достигнуть положения, одинакового с другими, а потому легко переходили в крайние революционные и анархические партии. Пробыв много лет в атмосфере злобы и вражды, потеряв окончательно любовь к своей родине и русскому народу, эти люди, дорвавшись наконец до власти, ничего другого и не могли установить в России, как кроваво-грабительский деспотизм на пользу и утеху революционному Интернационалу.

4. Особенности нашего международного положения

Громадная, богатая и сравнительно малонаселенная территория России, по сравнению с теснотой и почти полным использованием природных ресурсов в Западной Европе, издавна возбуждала к себе естественную зависть иностранцев. С другой стороны, Европа, особенно Англия и Германия, не могла не опасаться будущей конкуренции 180-миллионного государства, столь быстро в последнее время развивающего экономическую и военную мощь. Наконец, наша относительная отсталость в культурном и политическом отношениях и превратное знакомство с Россией, благодаря пропаганде и заграничным изданиям русских эмигрантов, а также большей части заграничной прессы, — все это объясняет то недоброжелательное и пренебрежительное отношение, которое так часто наблюдалось у иностранцев по отношению к России. На Россию смотрели как на полуазиатскую страну, немногим выше Турции или Китая, в которой царствует деспотизм, мрак и эксплоатация полуголодного народа, где жестоко преследуется все нерусское, особенно евреи, которые избиваются якобы при содействии самого Правительства. Не было таких пасквилей и небылиц, попадавших в иностранные газеты, которым бы не верили и на основании которых иностранная публика не составляла бы себе представления о России. Ближе знал Россию только

небольшой круг деловых иностранцев, особенно немцев и бельгийцев; они охотно помещали свои капиталы в русские промышленные и торговые предприятия, а те, которым приходилось подолгу бывать и жить в России, ее искренне любили, но это была капля в море неведения и предубеждения, с которыми относилась к нам Западная Европа. Это отношение иностранцев не могло не влиять на умозрение и на отношение к своей родине и нашей собственной интеллигенции, всегда преклонявшейся перед Западом и выращивавшей свои идеи по западным образцам; левая же часть интеллигенции целиком воспитывалась на Марксе и Французской революции.

Указанное отношение Западной Европы к нам резко проявилось и во время войны. Наши союзники Франция и Англия, целиком опираясь на могучую русскую армию и не зная нашего внутреннего положения, предъявляли несуразно большие требования относительно численности армий, которые мы должны были выставлять на фронте, требовали даже посылки русских войск во Францию и Англию, между тем сами очень мало и с большими опозданиями помогали нам в технических средствах и в вооружении армии, что вызывало военные неудачи и большие потери людьми. Когда же за несколько месяцев до революции положение в России стало столь серьезным, то оба официальных представителя Франции и Англии, Нулланс и Бьюкенен, не только не проявили своего влияния для поддержания власти и порядка, а явно симпатизировали назревавшей революции, считая по своей недальновидности, что с наступлением пресловутой “свободы” и наши военные действия пойдут успешнее.

Наш враг Германия, вообще не стеснявшаяся ни в каких средствах ведения борьбы, не только с начала войны всячески поддерживала у нас революционную пропаганду, но даже и после того, как революция вспыхнула, и когда ясно стало, что мы продолжать войну не можем, не постеснялась набрать целый вагон русских эмигрантов, крайних социалистов-большевиков, снабдить их крупными деньгами в 50 миллионов марок и направить в Россию для того, чтобы довершить развал нашей государственности.

* * *

Приведенные обстоятельства, десятки и сотни лет сопровождавшие жизнь Российского государства, не могли не повлиять на личность Императора Николая II и его отношение к различным вопросам внутренней и внешней политики, а также на характер и настроение отдельных слоев и частей населения России, особенно резко проявившиеся в последнее царствование.

Император Николай II, не получивший серьезного образования и воспитания (одно из немногих обстоятельств, которое должно быть поставлено в вину Императору Александру III) и вступивший сравнительно молодым (26 лет) на престол, считал главнейшей своей задачей сохранить то наследие — неограниченную власть, — которое он получил от отца, а следовательно, и продолжать в главных чертах политику Александра III, советуясь преимущественно с теми из окружающих людей, которые пользовались доверием его отца. Не обладая, однако, ни прямотой и твердостью характера Александра III, ни знанием жизни, ни умением выбирать людей и ими руководить, Николай II не мог не понять в первые же годы своего царствования, что роль Самодержца ему не по плечу. Это стало ясно и для других; очень скоро в личности Государя многие разочаровались, и, в сущности, уже через 2—3 года его царствования у него не было искренно преданных людей, на которых он мог бы опираться. Вследствие этого у него начала развиваться замкнутость, конфузливость, недоверие к окружающим и министрам, шатание во взглядах и решениях, неуверенность в себе, неискренность к другим, нелюбовь и недоверие к общественным деятелям и вообще к интеллигенции и та пассивность и какое-то непонятное равнодушие к наиболее серьезным и больным вопросам внутренней жизни, которые производили особенно тяжелое впечатление и показывали, что Государь просто отстраняет от себя эти вопросы и тяготится своей миссией, которую выполняет лишь по необходимости и как-то по инерции. Наряду с этим Николай II был глубоко религиозен, он искренно верил, что выполняет назначение, предуказанное ему Высшим Промыслом, что он действительно помазанник Божий и что поэтому по своей собственной

воле он не вправе ни отказаться от власти, ни разделить ее с кем бы то ни было. В таком взгляде на свое призвание и на Россию, которая ему самим Богом дана в управление, Государя все время поддерживали и обе Государыни, и многие Великие Князья, и высшие духовные лица, наконец, и почти все министры, особенно в первые годы царствования, когда еще так резко не проявлялись все последствия такого несоответствия духовного облика Государя с той трудной и тяжелой миссией, которая выпала на его долю.

Ко всем прочим несчастьям судьба послала ему такую тщеславную, властную и неумную жену, как Александра Федоровна, зараженную еще и крайним мистицизмом, и безнадежно больного Наследника Престола. Николай II до такой степени подпал под влияние Александры Федоровны, что выполнял многие ее желания или требования, затрагивающие подчас серьезные государственные интересы, невзирая на противоположные советы высших государственных деятелей.

Указанные черты характера Николая II, его миросозерцание, приемы в управлении государственными делами, даже его семейная обстановка, сыгравшая такую роковую роль в судьбах России, явились в значительной степени следствием всего исторического хода нашей предшествующей государственной жизни и лишь отчасти складывались в зависимости от разных случайностей, поскольку сами эти случайности не вызывались тем же неумолимым законом исторической жизни.

В полной зависимости от указанных черт Императора Николая II вырабатывались и главнейшие черты нашей высшей бюрократии и находились главнейшие дефекты нашего высшего правительственного аппарата в течение его царствования.

Самый выбор лиц на ответственные государственные посты, отношение к ним и к их деятельности Государя или Государыни, что в последнее время перед революцией было почти одно и то же, постоянная смена министров — все это в большинстве случаев носило случайный характер и было в значительной степени результатом чисто личных побуждений и симпатий, часто идущих прямо вразрез с действительными интересами государства. Как нарочно, наиболее неудачными министрами отличались Министерства внутрен-

них дел, военное и народного просвещения, то есть те министерства, которыми Николай II еще более других интересовался и которые имели столь большое значение для внутренней жизни страны, ее военной мощи и воспитания молодежи. Если среди министров в виде исключения и попадались люди разумные и серьезно работавшие над своими задачами, то деятельность их в сильной степени парализовывалась и искажалась в той атмосфере шатания, недоверия, интриг и постоянной междуведомственной борьбы и разноголосицы, которая неизменно сопутствовала царствованию Николая II, и, наконец, тем террором и теми массовыми убийствами высших административных лиц, которыми так было обильно это печальное царствование.

Престиж Царя был прежде всего потерян среди Царствующего Дома, в кругу Великих Князей, а затем и среди высшей бюрократии. Она оказалась оторванной и от Верховной Власти, в которой не находила ни поддержки, ни доверия, ни импульса к работе, и от населения; в интеллигенции она встречала непрерывную и часто весьма понятную критику и оппозицию, а в массах народа большей частью явную вражду, питавшуюся как искусственной пропагандой, так и общим настроением неудовлетворенности и недовольства, обращавшихся прежде всего на Правительство, так как министры и чиновники считались издавна главными виновниками всех невзгод и несчастий, которые переживались страной.

Каждому, имевшему дело с массой подчиненных ему людей на какой-либо службе или работе, хорошо известно, что успешный и покойный ход дела обеспечен лишь тогда, когда руководитель на высоте своего положения, то есть когда он знает дело и своих подчиненных, когда он тверд, требователен, но вместе с тем справедлив и заботлив о нуждах своих подчиненных, когда он, наконец, своей работой, жизнью и действиями служит хорошим примером честного и добросовестного выполнения долга.

Если начальник шаток и непоследователен в своих решениях и распоряжениях, неопытен и не знает дела — он не может иметь никакого престижа, никакого авторитета, никакого духовного влияния на своих сотрудников; его распоряжения принимаются и выполняются чисто формально, небреж-

но, только для виду. Если начальник, даже при знакомстве с делом, слишком суров, несправедлив, невнимателен к нуждам подчиненных, то дело некоторое время может еще кое-как идти, но недовольство и злоба накопляются и при всяких случайностях происходят срывы, конфликты, а иногда и прямые враждебные действия. Слишком легкое обращение, явное стремление угождать и быть принятым — тоже никогда не приводят к хорошим результатам. Люди начинают думать, что в них очень нуждаются или их боятся, начинают небрежно относиться к делу, предъявлять все большие и большие требования и пр.

Все это в значительной степени относится и к делу управления государством, и к правительственной власти, и тем в большей степени, чем больше опека Правительства, чем больше этатизм и чем меньше развита самодеятельность населения. Верховная Власть должна быть прежде всего народной в том смысле, что она должна быть возможно ближе к населению, к народу, возможно лучше знать его действительное положение, его главнейшие потребности, его дух, его веру и его настроения. Она должна проявлять наибольшие заботы об общем народном благосостоянии, его развитии и воспитании, материальном и моральном положении. Она должна всегда стоять на защите более слабых, бедных и угнетенных, так как сильные и богатые защитят себя сами. Наибольшее внимание должно быть обращено на развитие хозяйственной, производительной деятельности населения. Все акты и действия Верховной Власти и Правительства должны иметь явную цель достижения общего наибольшего блага, а не удовлетворение потребностей и желаний лишь какого-либо одного класса или одной группы населения. Власть должна быть надклассовой, надпартийной и должна духовно опираться не на отдельные части населения, а на всю массу народа.

Власть должна быть вместе с тем твердой, уверенной и требовательной в отношении выполнения всеми существующих законов, правительственных распоряжений и в защите прав граждан. Все нарушения интересов, общегосударственных или частных, должны неумолимо преследоваться на деле. Все попытки каких-либо противодействий Власти, все попытки насильственных, особенно массовых действий,

все нарушения внешнего порядка и вмешательства в действия правительственных органов должны резко и энергично устраняться средствами, отвечающими целям и обстоятельствам. Никогда и ни в каких случаях не должна проявляться слабость и нерешительность Власти, особенно в борьбе со злоупотреблениями, выступлениями революционного характера, в случаях нарушения дисциплины в войсках и вообще в правительственных учреждениях, а также во всех конфликтах и недоразумениях во внешних сношениях; но в последних необходима и всевозможная предосторожность, и умение избегать вооруженных столкновений, не вызываемых явными и действительными национальными интересами.

Весьма далеки от всего этого были наша Власть и наше Правительство в последние 10—20 лет перед революцией. Немудрено, что в течение этого периода наша высшая бюрократия и население страны представляли собой два мира, в лучшие времена далекие и чуждые друг другу, а в периоды каких-либо серьезных неудач или бедствий — прямо враждебные.

Если обратиться теперь к самому 180-миллионному населению России и попробовать дать общую характеристику его состава, отдельных слоев и групп, то прежде всего необходимо, конечно, совершенно отбросить то его деление на буржуазию и пролетариат, которое искусственно и ложно применяется разными социалистическими теориями и учениями даже к наиболее развитым в промышленном отношении странам. В России же, где 85% населения были земледельцы, где рабочих, заводских и фабричных, было не более 2—3% населения, где вообще промышленность была еще развита слабо, где было ничтожное число людей, живущих без всякого труда, лишь на доходы со своего имущества, — деление на буржуазию и пролетариат всего населения совершенно неприменимо, так как абсолютно не отвечает действительности.

Не было у нас, в сущности, в последнее время и сословий с какими-либо преимущественными или ограниченными правами. Дворяне, мещане, крестьяне, купечество, духовенство — все эти подразделения, столь же резкие в первой половине XIX века, к концу его и особенно ко времени войны 1914 года почти сгладились; немало было уже крестьян, дос-

тигавших и министерских постов, и крупного материального и общественного положения, и дворян, собственноручно обрабатывавших землю или занимавших третьестепенные должности в разных правительственных и частных учреждениях.

Гораздо правильнее делить население России, прежде всего, на городское и сельское; затем, и в городах, и в деревне у нас существовала настоящая культурная интеллигенция; затем, весьма многочисленная, особенно в городах, группа полуинтеллигентов и, наконец, массы неинтеллигентного, как говорили, "простого народа". Каждая из этих групп, в силу исторических, бытовых и других условий жизни, имела весьма характерные черты, весьма отличные от того, что наблюдается в других европейских странах.

Городская интеллигенция, в состав которой входила и незначительная группа аристократического происхождения, состояла преимущественно из чиновников разных ведомств, офицерства, лиц, занимавшихся промышленной или торговой деятельностью, представителей так называемых свободных профессий (литераторы, адвокаты, художники, артисты и пр.) и служащих в различных общественных и частных учреждениях и предприятиях. В деревне интеллигенцию составляли почти исключительно помещики и лишь небольшое число служащих в земствах, на заводах, железных дорогах и пр.

В политическом отношении наибольшей устойчивостью, но вместе с тем пассивностью и оппортунизмом отличалась наша чиновная интеллигенция, которая в своих служебных делах находила достаточное удовлетворение гражданских потребностей и только в виде исключения выходила из сферы своих узких интересов. Весьма близко по миросозерцанию и настроению к чиновничеству подходила офицерская среда, которая была, однако, более предана идее государственного служения и Верховной Власти, хотя глубина и искренность этой преданности в последние годы перед войной значительно упали.

В общем все же чиновничество и офицерство представляли собой ту наиболее здоровую часть русской интеллигенции, на которой, в сущности, держалась русская государственность. Верхние руководящие слои этой среды вследствие изложенных выше причин были в общем хуже среднего и низшего служебного элемента. Что эта часть русской интел-

лигенции была наиболее патриотичной, с правильными государственными инстинктами и лучшим знанием жизни, доказывается хотя бы тем, что если у нас была какая-то борьба с революцией и особенно с большевизмом, то наиболее активное участие в этой борьбе принимало только офицерство и чиновничество.

Торгово-промышленная интеллигенция только в последние 10—20 лет до войны начала играть некоторую роль в нашей государственной жизни, но не без труда она завоевала себе это влияние, так как при былых чиновно-дворянских традициях и предрассудках промышленная и торговая деятельность считалась почти до последнего времени занятием если не предосудительным, то, во всяком случае, менее почтенным, чем государственная служба. Эта часть русской интеллигенции была, в сущности, наиболее сплоченной и организованной, особенно в Москве, в Донецком бассейне и в таких отраслях промышленности, как горнозаводская, текстильная, нефтяная, сахарозаводская, мукомольная и др. К сожалению, подобная организация очень мало успела распространиться на главнейшую отрасль нашей хозяйственной деятельности — на сельское хозяйство. Торгово-промышленный класс в России несомненно играл очень видную роль в том быстром экономическом росте, которым отличалась Россия в последнее десятилетие до войны, в том финансовом благополучии, которое отличает эти годы, и в том положении, которое начинала завоевывать Россия на международном рынке.

К сожалению, в политической деятельности и в государственной жизни страны эта часть русской интеллигенции играла весьма малую роль. Ее мало привлекали к государственной работе, недостаточно прислушивались к ее голосу, недооценивали значение хозяйственной деятельности страны; Правительство сравнительно мало считалось с представителями торгово-промышленной среды, недостаточно опиралось на эту наиболее производительную, наиболее крепкую и состоятельную часть населения. Вследствие этого наш торгово-промышленный класс, включавший в себя к тому же известный процент иностранцев и евреев, был все время в значительной оппозиции к власти, резко и не всегда тактично боролся за свое влияние и свои интересы, легко поддавался

весьма левым настроениям и в результате не только не поддерживал престиж власти, доверие к ней, но скорее подтачивал ее силу и авторитет. В связи с этим во время войны хотя и были случаи весьма крупных пожертвований на ее нужды, но в общем наши промышленники и коммерсанты проявили весьма мало настоящего патриотизма и помощи Правительству и в очень многих случаях использовали тяжелое положение страны в целях наживы.

Большинство наших торговопромышленников приняли революцию как нечто естественное и благодетельное и не только не боролись с ней, но даже после водворения коммунистической диктатуры принимали очень мало участия в борьбе с этим явным злом. Эта пассивная роль нашей наиболее богатой и сильной интеллигенции, эта легкая сдача без борьбы всех своих позиций с громадными потерями своего достояния представляет собой одну из наименее понятных сторон нашей революции, явление, которое можно объяснить только непониманием сущности государственной жизни, роли и значения Правительства, от которого наша торгово-промышленная среда всегда была так далеко.

Если так проявила себя во время войны и революции та наиболее сильная часть русской интеллигенции, которая была более тесно связана с государственными интересами страны и стояла ближе к жизни и народу, то что же говорить о той части русской городской интеллигенции, которая состояла из литераторов, ученых, адвокатов, артистов, общественных деятелей, служащих в различных общественных и частных предприятиях, которые и по самому роду своей деятельности, и по своему положению никогда близко не стояли к нашей государственной машине. При общем нашем политическом положении, при слабом развитии общественной деятельности, при полной разрозненности и распыленности этой части интеллигенции, наконец, при постоянной печатной и словесной пропаганде вражды к Правительству и существующему строю жизни, неудивительно, что в более культурной части городской интеллигенции развивалась либо пассивность к государственным интересам, либо критиканство, увлечение различными социалистическими теориями, возникшими на Западе, в общем, гораздо более отрицательные и разрушительные тенденции, чем созидательные государственные инстинкты.

Наряду с этим слабоволие и некоторая избалованность жизнью при отсутствии суровой борьбы за существование, столь сильной в Западной Европе, привычка считать, что лишь Власть обязана проявлять заботу о государственных интересах родины, остатки бывших барских замашек и отношение свысока к рабочему, мужику, вообще к массам народа — вот те черты большей части городских интеллигентных обывателей, которые являются последствием общего исторического хода нашей государственной жизни и ее особенностей в последние годы до войны.

Интеллигенция, жившая в деревне, то есть в основном те помещики, которые большую часть года проживали и хозяйничали у себя в имениях, представляла собой более здоровую часть русской общественности. Они были близки к жизни, к крестьянской среде и принимали более или менее живое участие в государственном деле и своей работой в земствах, и тем, что вообще вносили свет и культуру в глухие места страны. Встречались, конечно, различные типы помещиков, но обычно они делали все, что было возможно, для своего обездоленного брата крестьянина и лично не возбуждали к себе ненависти местного населения; в общем, не помещики вызвали крестьянскую революцию, захват земли и сожжение усадеб, а вызвало это общее положение крестьянства, их земельное неустройство, их миросозерцание и появление в деревнях после вспышки революции массы пришлых агитаторов и просто всяких преступных элементов, порожденных революцией. Революция в деревне произошла много позже, чем в столицах и городах, это был уже ее последний разлив, как следствие того, что творилось в столицах, городах и на фронте; бороться против этого революционного разлива помещики, конечно, не могли; им ничего не оставалось, как бросать свои хозяйства на произвол судьбы и уходить из этого моря хаоса и озверения.

Большую роль в революции сыграл, как в городах, так и особенно в деревнях, так называемый третий элемент, то есть полуинтеллигентные люди, не получившие в школах никакого воспитания и лишь начальное образование и дополнявшие его теми книжками, брошюрами, газетами, часто и нелегальными изданиями, которые им были доступны и более по душе. Из этого элемента состояли главным образом младшие кон-

торщики и писаря, приказчики, телеграфисты, фельдшера, фармацевты, статистики, сельские учителя и прочие люди, многие из которых, уже по самому своему подчиненному и необеспеченному положению не удовлетворенные жизнью, враждебно относились ко всему, что стояло выше их. Находясь между мужиком и рабочим, с одной стороны, и интеллигенцией — с другой, не пристав ни к той, ни к другой группе, не будучи связаны с ними общими интересами, они не только не способствовали сближению “барина” и “мужика”, но, напротив, вольно или невольно скорее восстанавливали одного против другого; вообще, еще задолго до революции это был наименее уравновешенный элемент, способствовавший развитию всяких противоправительственных настроений и течений. Во время же революции и большевизма, когда исчезла и прежняя власть, и интеллигенция, этот третий элемент стал настоящим правящим классом и ближайшей опорой для коммунистической партии.

Две составные части низшего слоя населения, рабочие и крестьяне, представляли собой еще задолго до войны готовый материал для революции. При нашей сравнительно молодой промышленности и малой заботливости Правительства о положении рабочих у нас, собственно, еще не было настоящего рабочего класса; большинство рабочих вышло прямо из крестьянской среды, сохраняя в значительной степени психологию мужика, лишенного права собственности на землю и принужденного нуждой искать заработка в чуждой ему атмосфере и условиях жизни больших городов. Отсутствие правильной организации рабочих, значительное непостоянство их состава, плохая подготовка, всегдашнее превышение предложения труда над его спросом и вытекающая из этих обстоятельств дешевизна оплаты труда — все это имело своим последствием весьма неудовлетворительное материальное и правовое положение рабочих, постоянное их недовольство и непрерывную борьбу за свои интересы. Хотя в большинстве других стран Западной Европы рабочий вопрос далеко еще не получил своего разрешения и борьба “труда с капиталом” происходила повсеместно, но в России борьба эта, все время подогреваемая революционными деятелями и социалистами, задолго еще до революции 1917 года принимала нередко особо резкую и

безобразную форму. Происходило это как вследствие темноты и враждебного настроения рабочих масс, так и по недостатку у нас необходимых по этому предмету законодательных мер и часто малой заботливости как заводской, так и общей местной администрации. Надо признать, что вообще физический труд и люди, им занимавшиеся, вероятно еще по наследию от крепостного права, были у нас в загоне, значение этого труда и его роль в хозяйственной жизни страны далеко недооценивались; среда, быт, потребности рабочих были часто совершенно безразличны даже людям, в этом прямо заинтересованным. Не только не было внимания и уважения к рабочему, свойственных более культурным странам, но у нашей интеллигенции существовало какое-то пренебрежение к нему даже во внешних сношениях; ведь обращение на "ты" далеко не вывелось даже ко времени войны.

По моей службе мне часто приходилось иметь непосредственное общение с рабочими в разных железнодорожных мастерских и наблюдать за ними как до революции, так и в первое время после нее. Прямой вывод из этих наблюдений тот, что настроение рабочих, их склонность к забастовкам и беспорядкам, их поведение в течение всего 1917 года находились в прямой зависимости от их положения и условий работы и жизни. Там, где это положение было нормальным, где рабочие представляли собой постоянный состав, где они достаточно оплачивались, где была дисциплина, но и внимание к их нуждам, — там настолько сами рабочие дорожили сохранением порядка и имущества мастерских, что никакая революционная пропаганда не имела успеха; не было никаких эксцессов, даже никаких забастовок, и работа шла более или менее нормально и в самые бурные моменты революции. Но на большинстве заводов и фабрик рабочие были в совершенно другом положении, там отсутствовали оба необходимых элемента: заботливость и дисциплина. Прямо непонятно, что даже в Петербурге во время войны и на заводах, работавших почти целиком на оборону, так мало обращалось на это внимание.

Наше крестьянство Центральной России, даже в начале XX столетия, в значительной степени носило еще следы и отпечаток бывшего крепостного права. Это не были граждане государства, вполне равные с другими, но представляли

собой отдельный класс населения, с особым общинным владением землей, со своими специальными административными и частью судебными органами, с особым участием в государственном обложении. Только с земельной реформой Столыпина в 1909 году крестьянство начало постепенно переходить в положение собственников земли, но, к несчастью для России, реформа эта запоздала на несколько десятилетий и ко времени революции не могла еще существенно изменить ни материального положения, ни общей психологии крестьян. Данные о среднем имуществе крестьян, их покупной способности, количестве потребляемых предметов фабричного производства и размерах вносимых ими государственных налогов неизменно показывали, что крестьянство средней России, за небольшими исключениями, живет в значительной нужде и темноте, которые давно уже отошли в область преданий не только в Западной Европе, но и в некоторых районах самой России, например в Юго-Западном крае, в Сибири, на Кавказе, в Польше. Крестьяне Центральной России, именно там, где больше всего было помещиков, не только отличались малоземельем и бедностью, но отставали от других районов России и в культурном отношении. Громадная разница и в физическом и в духовном отношении была между мужиком какой-либо Тульской или Тамбовской губернии и сибиряком, подольским хохлом или кубанским казаком. Темнота, угнетенность нуждой и бесправием, зависть к соседям-помещикам, неудовлетворенность, склонность к пьянству и почти полное отсутствие правосознания и государственных инстинктов — вот отличительные черты великорусского мужика средней России.

Но особенную роль во время революции сыграла земельная идеология нашего мужика. Никогда не владея землею как собственностью, крестьяне естественно усвоили себе такой взгляд, что земля никому принадлежать не может, особенно же тем, кто ее не обрабатывает, что она Божья, что всякий может ее обрабатывать столько, сколько в силах, что, следовательно, помещики владеют землей на правах собственности совершенно несправедливо, вопреки человеческим и божеским законам. Трудно представить себе более благодатную почву для революционной пропаганды и для поднятия крестьян против помещиков. Стремление к захвату земли стало

общим стихийным явлением сначала в Центральной России, а оттуда, при отсутствии каких-либо противодействий, оно перебросилось и в другие районы, где, в сущности, для этого не было местных причин. Это земельное неустройство крестьян, наряду с первобытными способами обработки земли и с общим низким культурным уровнем крестьянства, отражалось на всех сторонах нашей государственной жизни, и не только в самом сельском населении, но вообще в массах народа порождало и питало то недоверие к "барину", ту отчужденность от всего вышестоящего и то общее недовольство низших слоев населения, которое делало столь шаткой нашу государственность и так тормозило Россию в культурном и политическом отношении.

Это печальное следствие общего исторического хода нашей жизни в XIX веке, плохо сознававшееся и Императором Николаем II, и его Правительством, за исключением разве одного Столыпина, и послужило главным основанием для того настроения, в атмосфере которого вспыхнула революция.

Таковы были исторические причины разразившегося над Россией несчастья.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Очень распространено мнение, особенно среди военных и правых кругов, что революция была чуть ли не создана и искусственно вызвана Государственной думой. Хотя при поверхностном знакомстве с событиями, предшествовавшими революции, мнение это и имеет видимость основания, но в корне своем оно совершенно ошибочно. Дума не вызвала и не создавала революции сколько-нибудь сознательно. Но несомненно, что и она способствовала тому общему настроению, которое дало революции столь благоприятную почву. При том кризисе власти, который начался еще в 1915 году, при тех постоянных крупных промахах и ошибках, которые допускало Правительство, при том, что творилось при Дворе и на фронте, Государственная дума, являвшаяся и юридически, и по существу голосом страны и близко знакомая с бессилием и не-

способностью Правительства, не могла не указывать на болезни нашего государственного управления, не могла не критиковать тех никчемных людей, которые столь часто по какому-то печальному недоразумению попадали на министерские посты, не могла вообще быть покойной и не выражать тревоги. Членов Думы с явно революционным направлением было лишь несколько человек, и они никаким влиянием в Думе не пользовались, но боязнь за судьбу войны и даже России овладела всеми, и даже такие представители правого крыла Думы, как Пуришкевич, Марков 2-й, которые ранее всегда поддерживали Правительство, уже со второй половины 1916 года произносили резко отрицательные речи и не стеснялись нападать на Правительство. Конечно, это усиливало общее недовольство и разносило по всей России тревогу и недоверие к Власти; это несомненно способствовало нарастанию революционного настроения, но видеть в этом преднамеренную цель Думы и стремление вызвать бунт было бы совершенно неправильно. Самая благонамеренная и спокойная Дума не могла бы проявлять себя иначе. Может быть, самое благоразумное было бы совершенно закрыть Думу до конца войны, но Дума имела уже в населении известное доверие и престиж; ее закрытие в столь тяжелое время дало бы несомненно лишний толчок к недовольству и нареканиям на Правительство и Государя и едва ли улучшило бы общее положение.

Не Дума была причиной революционного взрыва, но мне кажется, что если бы в Думе нашлись настоящие государственные мужи, которые предвидели бы все, что может произойти при революции, то, пользуясь в городском населении гораздо большим доверием, чем члены Правительства, они могли бы при известной энергии и согласованности своих действий за несколько дней до 27 февраля успокоить население, уговорить его очистить улицы, приступить к работам на заводах и таким образом предотвратить взрыв.

Гораздо труднее было водворить порядок и поддерживать законную Государственную Власть уже после разразившегося бунта, но и тогда, по крайней мере в первые дни, Дума была единственным учреждением, которого массы слушались, и потому если бы Дума не допустила образования пресловутого Совета рабочих и солдатских депутатов, не остановила приезда Государя, не поторопилась бы посоветовать ему от-

речься от Престола, но, выделив из себя некоторых представителей, вошла бы через них в непосредственное общение с Государем, то очень вероятно, что удалось бы найти выход из положения, успокоить население столицы, привести к порядку войска, расположенные в Петербурге, и предотвратить разлив революции по России. Вот как должна была бы действовать Государственная дума, если бы она была действительно на высоте положения. К несчастью, в ней не нашлось для этого достаточно энергичных и сильных людей, и она поддалась общему течению и влиянию той революционной атмосферы, которая разразилась всеобщим бунтом в несчастные февральские дни 17-го года.

Вспоминая эти революционные дни и все, что им предшествовало, невольно задаешься вопросами: как при том ненормальном развитии государственной жизни России, которое имело место во второй половине XIX века, Россия не только существовала как великая держава, но в последнее десятилетие до войны несомненно крепла и быстро развивала свою экономическую и военную мощь; чем же держалось Российское государство, что способствовало его развитию; являлась ли революция неизбежным следствием исторического хода его жизни или в возникновении революции играли роль и элементы случайные, обстоятельства привходящие, независимые от предшествующего хода событий?

Российское государство вплоть до XX столетия держалось несомненно издавна установившимся престижем Царской Власти. Этот престиж в глазах массы народа, армии и большей части русской интеллигенции был высоко поднят Императором Александром II и поддержан Императором Александром III. Хотя внутренняя политика Александра III была исключительно консервативной и проявлялась главным образом в борьбе с революционными течениями, но благодаря ее обоснованности, твердости и определенности, благодаря удачной внешней политике, которая без всяких войн выдвинула Россию в число наиболее могучих и влиятельных держав Европы, благодаря, наконец, своей сильной личности, свободной от каких-либо посторонних влияний, и явному своему искреннему стремлению к благу России Александр III сумел

достигнуть значительного внутреннего успокоения в стране и с честью исполнил роль Русского Монарха.

К сожалению, этого далеко нельзя сказать про несчастного Императора Николая II. С самого начала своего царствования, с известных его слов “бессмысленные мечтания”, с несчастья на Ходынском поле во время коронации 1896 года, своей политикой на Дальнем Востоке, вызвавшей позорную для России Японскую войну, своим поведением в революцию 1905 года, наконец, своим полным неумением производить благоприятное впечатление на массы народа он уже к открытию народного представительства значительно уронил свой царский престиж. Только открытие Государственной думы и такие министры, как Витте, Плеве, Дурново, Столыпин, Коковцев, спасли тогда положение и не допустили разыграться революционному движению. Государственная дума сыграла в этом отношении очень видную роль, в ней концентрировались, в сущности, все народные настроения, чаяния и желания, только через Думу население России близко знакомилось с действительным положением наших государственных дел, с Правительством, с нашими болячками, невзгодами, достижениями и успехами; это был настоящий предохранительный клапан против всяких взрывов, эксцессов и народных движений.

Начиная с 3-й Государственной думы совместная работа Правительства с Думой все более налаживалась и входила в норму, постепенно сглаживалось взаимное недоверие и недоброжелательство; революционные течения в стране заметно стихли, и была полная надежда на то, что государственная жизнь России в дальнейшем пойдет уже нормально. Общему спокойствию в стране способствовало и то общее оживление и развитие ее экономической жизни, которое наступило тотчас после Японской войны благодаря и относительному политическому равновесию, и особенно твердой валюте, введенной еще при Витте, и общей устойчивости государственных финансов, достигнутой особенно министром финансов Коковцевым. Все отрасли промышленности: угольная, сахарная, железнодорожная, пароходная — начали быстро развиваться, способствуя как общему росту производительности населения и накоплению средств, так и удешевлению жизни. Кроме того, наша национальная промышленность наряду с начавшимся широким строительством новых железных до-

рог и развитием внешней и внутренней торговли давали и заработки населению, улучшая его материальное положение, и новый приток средств Государственному казначейству, которое без всякого ущерба для бюджета могло уже ассигновать крупные средства и на народное образование, и на переустройство портов, и на перевооружение армии. Доверие к России настолько поднялось и в Западной Европе и в Северной Америке, что начался крупный приток иностранных капиталов в наши железнодорожные и другие промышленные предприятия. Наконец, столыпинская земельная реформа 1909 года положила прочное и правильное основание землеустройству крестьян, что вместе с работой молодого Министерства земледелия обещало большие улучшения в нашем сельском хозяйстве. Словом, Россия настолько прочно стала на правильный путь своей государственной жизни, что, казалось, никакие внутренние потрясения ей уже не угрожают.

Все перевернула война.

Она явилась результатом исторического течения жизни Германии и плохой политики германского императора Вильгельма II. В течение многих лет до войны Германия делала такие успехи в своей торговле, промышленности, в экономическом влиянии на Балканах, в Турции и отчасти в России, что без всякой войны могла исподволь распространить свою гегемонию не только на Австро-Венгрию, но и далее на Восток вплоть до Персии. Это, конечно, страшило Англию, отнимало у Франции всякую надежду на возвращение Эльзас-Лотарингии, заставляло ближайшие к Германии Бельгию, Голландию, Данию опасаться за свою будущую судьбу, но нас, Россию, это должно было, в сущности, менее всего трогать, так как такой совершенно неизбежный исход развития Германии не за наш счет был для нас наиболее благоприятным. Единственной нашей задачей в будущем было бы обеспечить себе свободу в проходе Дарданелл, что было бы легче достигнуть с Германией, чем с преобладающим влиянием в Турции Англии, нашего исконного и самого серьезного врага. Запереть Германию в ее тесных границах, при невероятном росте ее населения и народной силы, было невозможно, нужно было дать ей выход, для нас наименее вредный, и тут надо было пожертвовать нашим славянофильством, так как было совершенно ясно, что идея объединения всех славян неосуществима, что при ее вы-

полнении нам пришлось бы выдержать борьбу не только с Германией, но и с Англией, Италией, Турцией, чуть ли не со всей Европой. Равно надо было бросить и мысль о защите Франции силой оружия, так как, в сущности, ей ничто не угрожало, развитие Германии за счет Франции было невозможно. Будь Император Николай II сильный и самостоятельный человек, будь при нем лучшие министры иностранных дел, чем граф Муравьев, Ламздорф, Извольский, то идея Франко-Германо-Русского союза была бы осуществлена и мы надолго были бы обеспечены мирным развитием нашей жизни, для чего все обстоятельства начали складываться так благоприятно.

Вильгельм II переоценил свои силы и плохо понимал отношение к Германии Англии и Италии. Он резко перетянул струну, заставив Австро-Венгрию идти ва-банк в конфликте с Сербией по поводу убийства в Сараеве кронпринца Франца Фердинанда, и решил либо добиться своего — гегемонии над Сербией через Австрию, либо идти на войну с Россией и Францией, используя для этого, как казалось ему, наиболее удобный момент. Мы же плохо все это понимали, не знали ни своих сил, ни своего далеко еще не прочного внутреннего положения и не приняли всех возможных мер к предотвращению этой ужасной войны.

Начав ее, мы все время играли какую-то подчиненную роль в отношении Франции, всячески стараясь ее оберегать, и чуть ли не через две недели после мобилизации, вопреки всем нашим стратегическим планам, предприняли наступление в Восточную Пруссию без всякой подготовки этой тяжелой операции, которая и закончилась полным разгромом наших войск. Затем в дальнейшем широком наступлении на Австрию мы хотя и одержали ряд значительных побед, но привлекли к себе германские силы лишь тогда, когда были сами уже значительно истощены.

Вообще в первые 4—5 месяцев войны мы потеряли больше половины нашей кадровой армии, остались без ружей и снарядов, а главному врагу — Германии нанесли очень слабые удары. Первые же серьезные столкновения с германскими войсками явно показали, что мы успешно бороться с ними не можем, что мы слишком слабы, особенно артиллерией и техническими средствами. Вера в нашу победу была сразу потеряна.

После этого почти два года пришлось еще тянуть войну, которая сопровождалась рядом крупных неудач и отступлением нашей армии далеко в глубь нашей территории, с принудительным переселением сотен тысяч жителей западных районов России в центральные губернии. Для возмещения громадной потери в людях и для численного усиления нашей армии в войска были призваны и ратники ополчения, и все запасные до 40-летнего возраста. Миллионы этих людей стояли в течение многих месяцев в разных городах России с только что подготовленными молодыми, совершенно неопытными офицерами. Это превращение чуть ли не половины здоровой части народа в армию без хороших руководителей, без надлежащей дисциплины, с неясным пониманием целей войны, с распространившимся уже взглядом на ее бесполезность и на непобедимость немцев, при массе понесенных уже жертв, само по себе было уже достаточно для возбуждения революционного настроения и в этих запасных батальонах, и в населении. А тут еще присоединилось крайнее, небывалое со времен Павла I, расстройство во внутреннем управлении страной. И Император Николай II, и его Правительство как будто нарочно делали все для того, чтобы окончательно себя уронить и создать такое безысходное положение и такое общественное настроение, при котором единственным выходом казался государственный переворот.

Таким образом, если непосредственно перед войной в государственном управлении России и были еще значительные дефекты, перешедшие от прежних времен, тем не менее государственная жизнь все более совершенствовалась, и не было серьезных причин, которые могли бы вызвать революцию даже при Императоре Николае II; ее вызвала исключительно эта непосильная для нас война при таком Государе. Будь в это время на престоле человек типа Александра II или Александра III, не было бы целого ряда тех крупнейших ошибок и промахов и в самом ведении войны, и в деле государственного управления, какие имели место благодаря Николаю II и его семейной обстановке. При другом русском царе во время войны Россия и русская армия легко могли бы продержаться еще с год, а этого времени, при обилии заготовлен-

ного к весне 17-го года оружия и снарядов и при явном уже ослаблении германской армии, было бы достаточно, чтобы войну окончить с честью.

Словом, две причины более или менее случайного свойства вызвали русскую революцию: война и личность Государя Николая II. Общие же условия русской жизни, особенно земельное неустройство крестьян и темнота народных масс, повели к тем безобразным явлениям, которые сопровождали революцию, к власти III Интернационала и к небывалому разрушению прежде великого Государства.

ПРЕДИСЛОВИЕ

“Записки инженера” охватывают период с 1913 до конца 1941 года. Только один год из всего этого периода принадлежит к мирному, довоенному, дореволюционному времени. Тому времени, когда царский строй в России казался, как никогда, твердым, устойчивым и неуклонно двигающимся вперед, к лучшему будущему. К этому моменту уже заглохли отголоски революции 1905 года, развитие промышленности и сельского хозяйства шло круто вверх, широкие круги общественности примирились с имеющейся конституцией и начали осваивать практику парламентской демократии. Благосостояние страны росло.

Затем следуют пять лет войны. Войны, начавшейся взрывом патриотического энтузиазма и кончившейся развалом армии и кровопролитной “бескровной” революцией.

Наконец наступают долгие и страшные, серые годы советского режима. Громадный, полный радикальных перемен период. Отражение его требует не одной книжки. Необходимы годы исследований, тома описаний и материалов. Но главным образом нужен гениальный писательский талант и умение, чтобы быть в состоянии, хотя бы частично, отобразить все те вершины и пропасти человеческого бытия в то время.

Эта скромная книжка не претендует на литературные достоинства и поэтому не может существенно пополнить недостающее. Она не что иное, как только записки современника — материал для будущих исследователей.

“Записки” эти нельзя назвать мемуарами. Мемуары пишут по большей части политики, повлиявшие — или думающие, что они повлияли, — на ход истории. Пишут для того, чтобы оправдать свои ошибки или осудить ошибки других. Автор ни в каком случае не может претендовать на такую роль. Он не только не влиял на курс истории, но, наоборот, был, как и многие другие из его сограждан, материалом, над которым политики производили свои “великие эксперименты”.

Нельзя также назвать “Записки” историческими очерками или этюдами. Такие пишутся тренированными специалистами, претендующими на объективность. Пишутся на основе архивных и литературных данных, сопровождаются аннотациями, ссылками на “авторитеты”. Автор таких работ редко бывает (или бывал) участником, хотя бы пассивным, описываемых событий. Составитель “Записок инженера” никоим образом не претендует на объективность. Наоборот, он считал бы нечестным и возмутительным сохранять хладнокровие и объективность, описывая пережитое. Он также никогда не пользовался историческими источниками, архивами и ссылками на авторитеты, а писал только то, что сам видел и переживал. Но в отличие от историков, подбирающих материал для подкрепления своих тезисов, он писал только правду, не считаясь с тем, отвечает ли она его убеждениям и предрассудкам. В “Записках” нет ни одного выдуманного эпизода.

“Записки инженера” также не повесть, не роман, не литературное произведение. Автор повести или романа свободно, как сам Господь Бог, располагает своими персонажами. Комбинирует события, ведет своих героев к “happy end”, если автор старомоден, или кончает свою повесть неожиданно для читателя, “аккордом оборванных струн” — если он принадлежит к модернистам. Автор “Записок инженера”, увы, лишен всемогущества романиста, не мог обеспечить своим героям “happy end” и часто бросал их, не зная ничего об их дальнейшей судьбе.

Что же такое эти “Записки”? Мне кажется, что в них есть что-то от всех трех видов писания. Иногда в них можно найти элемент мемуаров, хотя бы потому, что если не автор, то те люди, с которыми он входил в контакт, принадлежали к кругу лиц, которые сами пишут свои мемуары либо попадают в мемуары других.

В “Записках” есть немного и от истории, потому что в них отражены некоторые события и эпизоды, не зарегистрированные в других источниках. В них получило отражение начало крупного индустриального строительства в России, превратившего отсталую в техническом отношении страну в мощного конкурента свободных стран. Строительства, инструктированного и поддержанного враждебными коммунизму силами американских капиталистов. “До нас не дойдет! Деньги не пахнут!”

Наконец, в “Записках” есть и элемент романа. Внимательный читатель может заметить, что тут идет, как бы за кулисами, повесть о судьбе одной молодой пары, начавшей совместную жизнь в трагический момент истории и упорно потом боровшейся за свое существование все долгие годы советского режима.

Глава 1

СТУДЕНТЫ. РЕВОЛЮЦИЯ

Я иду по Бахметьевской улице. Сердце бьется тревожно. Сегодня должно решиться...

Все лето я готовился к конкурсным экзаменам в Московский институт инженеров путей сообщения. Лихорадочно повторял дополнительные материалы по алгебре, теоретической арифметике, тригонометрии и физике, не входившие в нормальный курс гимназий и реальных училищ. Решал каверзные задачи, предлагавшиеся на конкурсах прошлых лет, собранные специалистами-"натаскивателями", изданные ими литографским способом и дорого продававшиеся конкурирующим абитуриентам. Экзаменаторы изощрялись каждый год, придумывая все новые подвохи. Да и в самом деле, перед ними стояла тоже нелегкая задача. В Институт каждый год принималось 100 новых студентов — 90 по конкурсу из абитуриентов и 10 с законченным высшим образованием, по конкурсу дипломов. В этом году на конкурс записалось 940 абитуриентов. Для того чтобы облегчить отсеивание, была придумана следующая система. Экзамены велись устно. Каждый день экзаменовали по одному предмету. Сегодня тригонометрия, завтра алгебра и т.д., по каждому предмету давали три вопроса, и один из них был задачей. Получивший неудовлетворительный балл по одному из вопросов сейчас же вычеркивался из списка конкурирующих. Список этот, вывешенный в вестибюле Института, чернел от вычеркнутых фамилий с каждым днем все более и более.

Я удержался до конца недели, прошел на следующей неделе внеконкурсные экзамены по рисованию и иностранному языку. Оставался неясным вопрос с сочинением по русскому языку. Сочинение проверили только у оставшихся в списке. Сегодня должен был стать известным и этот результат.

Открыв тяжелую дверь, я вошел в вестибюль Института. Уже издали я увидел, что доска со списком конкурентов исчезла и на ее месте висела другая, около которой толпились, подходили и уходили взволнованные юноши. Здесь был список выдержавших и принятых в студенты в порядке полученных баллов. Вскоре я нашел свою фамилию, близко от начала списка. Нет сомнения: я студент-путеец! Гора свалилась с плеч! Волна радости захлестнула меня. Не чувствуя под собой ног, я помчался к тетке, у которой жил, готовясь к экзаменам.

В ответ на мои нетерпеливые звонки дверь открылась, и улыбающаяся тетя протянула адресованную мне открытку:

— Знаю, знаю: выдержал. Вот — смотри!

В открытке я прочитал:

“Милостивый Государь Г-н Студент! Наша фирма позволяет настоящим принести Вам сердечные поздравления с зачислением Вас в студенты Института... и обращает Ваше благосклонное внимание на то, что... изготовление форменного платья Ведомства путей сообщения...”

— Что такое? — изумляюсь я. — Откуда они это уже узнали?

— Деловые люди, — говорит мне тетя, — уже, наверно, вчера раздобыли списки и адреса принятых — вот и разослали.

Конечно, все это просто, но все же я был обрадован и польщен.

Приняв ванну, приведя себя в порядок и немного успокоившись, я пошел на почту и отправил домой, в Харьков, родителям телеграмму об успехе. Я не удержался от искушения зайти еще раз в Институт и снова, теперь уже спокойно, посмотреть на список принятых. Я заметил, что группа новоиспеченных студентов стоит перед застекленной витриной, что-то читает и оживленно комментирует. Оказалось, это были “Правила для студентов Института”. Вначале в “Правилах” сообщалось, что

ношение формы студентами обязательно; затем следовало подробное описание формы — обычной, парадной и летней: "...однобортные кители из беленого и небеленого полотна с пристяжными наплечниками установленной формы..." и т.д. Особенное мое внимание привлек §14 "Правил". Там я прочитал: "При встрече с г.г. инженерами путей сообщения студенты Института обязаны отдавать честь, прикладывая правую руку к козырьку; при встрече с г. министром путей сообщения и членами Императорской фамилии — становиться во фронт".

— Господа, — сказал кто-то из читавших, — это еще не все. Тут в соседней комнате выставлены манекены с образцами формы.

Мы пошли туда. В самом деле, в комнате стояли три или четыре манекена. Обычная форма была — черные тужурки с двумя рядами серебряных пуговиц и серебряными наплечниками. Темно-синие брюки со светло-зеленым кантом. Черные фуражки с таким же кантом и якорем и топором на околыше. Там же были показаны парадные сюртуки флотского образца и летние кители. Белые перчатки из замши были обязательны на улице.

Все это резко отличалось от бесформенности и отсутствия традиционности, знакомых мне по Университету, где я провел после окончания гимназии два семестра на физико-математическом факультете. Даже то немногое, что я увидел в первый день в Институте, давало мне предвкушение нового, полного традиций и чувства корпоративности мира, в который я теперь вступал. Будущее показало, что мои предчувствия меня не обманывали.

Своеобразный характер взаимоотношений в так называемой путейской среде, господствующие здесь традиции, порядки и предрассудки объяснялись не только особенностями профессии и условиями работы, но и историей того, что раньше называлось Корпусом инженеров путей сообщения.

Корпус инженеров путей сообщения был учрежден Императором Александром I в 1804 году*. Инженеры Корпуса получали образование в специальном институте в Петер-

* Словарь Брокгауза дает другую дату — 1810 г. — *Прим. ред.*

бурге, первым директором которого был назначен “генерал испанской службы” граф де Бетанкур. Этот блестящий инженер французской школы привлек в качестве профессоров ряд французских эмигрантов, обладавших славой выдающихся инженеров или математиков (Перроне, Клапейрон и др.). Образцом новому институту служила знаменитая французская высшая школа L’Ecole dès Ponts et Chaussees.

Привлечение таких крупных сил сразу подвело строгую научную базу в техническое образование, не ограничивая его только текущими практическими запросами. С другой стороны, Институт с самого начала получил характер военной академии специального назначения. Инженеры путей сообщения считались на военной службе и носили военные чины. В военных реляциях во время Отечественной войны 1812 года не раз упоминались инженеры Корпуса инженеров путей сообщения, отличившиеся “при устройстве мостов и переправ”. Такой военный характер Института инженеров путей сообщения сохранился до конца 60-х годов, когда Институт был переведен в гражданское ведомство Министерства путей сообщения. При этом Институт перестал быть привилегированным учебным заведением. Вскоре после этого была сделана попытка придать Институту характер высшей инженерной академии. Были оставлены только три старших курса, и в студенты принимались лишь лица с законченным высшим техническим образованием, т.е. инженеры-технологи, инженеры-механики, межевые инженеры. Такое положение просуществовало, однако, недолго, и вскоре первые два курса были восстановлены, прием открыт для абитуриентов, как и раньше, но по конкурсу.

В начале 90-х годов, в связи с ростом железнодорожного строительства и необходимостью колонизации новых завоеванных территорий в Средней Азии, выяснилось, что количество инженеров, выпускаемых Институтом инженеров путей сообщения Императора Александра I, как он теперь назывался, было недостаточным... Было решено открыть второй институт. Окончательный толчок дали при этом перспективы постройки Сибирской железной дороги.

Министром путей сообщения в это время был совершенно незаурядный человек — князь Хилков. Достаточно сказать, что он, окончив Пажеский корпус, уехал в Соединен-

ные Штаты СА, изучил там с низов железнодорожное дело, дослужился в своей карьере до директора одной из железных дорог, занимал потом министерские посты на Балканах. Он решил придать новому институту новую форму, новый характер, отвечающий запросам времени.

Князь Хилков был знаком с английской системой преподавания в высшей школе, принятой в таких знаменитых университетах, как Оксфорд и Кембридж. Одна из особенностей этой системы, позволяющей сократить время учения до трех лет, заключается в том, что студенты постоянно пребывают в колледже. Проживая там на полном пансионе, студенты находятся в постоянном контакте с профессорами и преподавателями, живут с ними общей жизнью, имеют общие интересы. Кроме того, они, ведя регулярный образ жизни — студенты должны возвращаться домой в 11 часов вечера и ночевать в колледже, — находятся всегда под наблюдением специальных лиц из преподавательского состава. В Оксфорде эти лица называются "тьюторами", в Кембридже — "супервайзерами". Они следят за успехами студентов, рекомендуют посещение тех или других лекций, дают рекомендации в подборе литературы и т.д. Благодаря этому студенты не тратят напрасно время и успешно оканчивают курс в три года, а не в четыре или пять, как в континентальных университетах. Конечно, немалую роль играет и отбор при приеме в результате большого конкурса кандидатов.

Образцом для нового института, по мысли князя Хилкова, должен был послужить находившийся в окрестностях Лондона Royal Indian Civil Engineering College Coopers Hill, учрежденный в 1870 году. В то время, после сипайского восстания, Индия стала британской колонией, и английское правительство решило принять энергичные меры к поднятию экономического благосостояния страны путем строительства железных дорог, мостов, плотин-барражей на реках для орошения. В течение двух-трех десятилетий была выстроена обширная железнодорожная сеть, выстроены новые и улучшены старые ирригационные системы. Все это помогло почти полностью ликвидировать "традиционный" голод в Индии. Эта программа смогла быть выполненной потому, что для проведения ее в технической части необходимый высококвалифицированный персонал давал этот колледж.

В колледж принимались по конкурсу (число мест было ограничено) британские подданные европейского происхождения. Окончившим гарантировалось зачисление на государственную службу в Индии.

Не только успех строительства в Индии, но и распространение технического образования среди туземного населения обязано питомцам этого колледжа. Благодаря им появились первые кадры преподавательского персонала технических колледжей, учрежденных впоследствии для индусов в самой Индии.

Новый путейский институт по английскому образцу был учрежден в Москве в 1896 году и получил наименование Императорского Московского инженерного училища. Как и в английском, студентами могли стать только русские подданные. Совершенно исключались, однако, лица так называемого иудейского вероисповедания. Студенты были обязаны проживать в Училище. Теоретический курс заканчивался в три года, после чего студенты зачислялись на государственную службу "инженерами-практикантами" и получали диплом после защиты двухлетней практики.

Эксперимент Хилкова имел успех. Инженеры Московского инженерного училища вскоре завоевали прекрасную репутацию, чему немало способствовало то, что Министерство путей сообщения откомандировало в Москву ряд выдающихся профессоров Петербургского института путей сообщения.

Была, однако, и теневая сторона. В крепко спаянную корпорацию инженеров путей сообщения был внесен раскол. Одетым в ту же форму, связанным теми же правилами и традициями, пользующимся теми же правами, инженерам-москвичам давали не историческое звание инженера путей сообщения, а звание инженера-строителя путей сообщения.

Казалось, пустяк, однако он внес много горечи в отношения обеих частей корпорации. К тому же система английского колледжа была необычна для России.

Революционное движение 1905 года нанесло, хотя и рикошетом, тяжелый удар начинаниям князя Хилкова, подорвав их основу. В порядке "прогрессивных" требований студенты были освобождены от обязательства жить в общежитии, и оно было ликвидировано. После "освобождения" студенты,

лишенные тех возможностей, которые им давал коллегиальный образ жизни, не могли заканчивать теоретический курс в три года, учились теперь уже не меньше пяти лет и к тому же должны были отбывать до диплома по-прежнему двухгодичную практику. Такая аномалия не могла быть долго терпима. В 1912 году был проведен через Государственную думу и утвержден закон о преобразовании Императорского Московского инженерного училища в Московский институт инженеров путей сообщения с введением всей системы преподавания, господствовавшей в Петербургском институте. При этом всем инженерам, окончившим ранее инженерное училище, было присуждено такое же историческое звание, как и петербуржцам, т.е. инженера путей сообщения.

Можно очень пожалеть о провале в России попытки ввести обучение по английскому образцу, но, с другой стороны, положительным являлось то, что был устранен раскол в старой и дружной корпорации и восстановлена "солидарность зеленого канта".

Когда я поступал в Институт, я мало знал о его истории, об истории Корпуса Инженеров Путей Сообщения. Многое я узнал постепенно, из сообщений профессоров во время лекций, из разговоров с инженерами, из отдельных сообщений, опубликованных в "Известиях" Института. Многие из профессоров-путейцев старались установить близкий контакт со студентами, способствовать, таким образом, введению их в путейскую среду. Очень помогало этому малое количество студентов. Нас было всего около 500 человек на всех курсах. Такой контакт с ведущими представителями профессии, которые, естественно, являлись носителями традиций, вел к тому, что аморфная масса новопринятых студентов скоро трансформировалась и приобрела специфический "путейский" облик. Корпоративной спайке также очень способствовало постоянное пребывание студентов в чертежных, обмен мнениями и опытом со старшими товарищами. Окончательное формирование более или менее общего мировоззрения имело место на летней практике, когда студенты где-нибудь на постройке железной дороги, далеко от культурных центров попадали в дружную семью инженеров-путейцев, встречая там традиционное гостеприимство, помощь.

Занятия в Институте должны были начаться через две недели. Проведя эти недели в Харькове, я вернулся в Москву, твердо решив взять себя в руки, не лодырничать, как я это делал в Университете. И в самом деле, то, что я услышал, показывало, что требуются большие усилия для того, чтобы закрепить завоеванный на конкурсе успех. Оказывается, студенты должны были в течение первого года сдать так называемый минимум зачетов и экзаменов. В него входили десять главных предметов (дифференциальное и интегральное исчисление, анализ, теоретическая механика, геодезия и т.д.) и, кроме того, четыре предмета по свободному выбору студента. Говорили, что этот первый "минимум" очень труден, что приблизительно 80% студентов не справляются с ним и что студенты, не сдавшие один зачет, исключаются из Института без всякого снисхождения. Они могли вернуться в Институт, только выдержав снова конкурсный экзамен на равных правах с абитуриентами. Действительно, я вспомнил, что видел на конкурсе среди экзаменующихся некоторых одетых в студенческую путейскую форму.

Такие жесткие условия приводили к тому, что мы проводили почти все время в Институте на лекциях и в чертежных с 9 утра до 5 вечера и даже позже, случалось, и до ночи.

Постоянное совместное пребывание и общие интересы привели к сближению. Хотя расстановка наших столов в чертежной, несомненно, играла роль в группировке студентов, но главной причиной сближения в нашей группе послужило то, что мы были почти все "классики". Так назывались у нас бывшие гимназисты в отличие от реалистов. Нас объединяло общее несчастье — мы не умели чертить и тратили страшно много времени, перечерчивая все по многу раз, прежде чем наши работы принимались к зачету.

Завязавшееся на этой почве знакомство перешло в дружбу. В нашей группе было пять "классиков" и один реалист Б. Сиренко, который взял на себя роль добровольного инструктора и "спасителя" по черчению, когда кто-нибудь из нас впадал в отчаяние от своего неумения.

Таким образом, мы проводили время почти всегда вместе, то помогая друг другу, то жестоко конкурируя. Общим у нас было то, что инженерное дело мы все считали своим призванием, а не смотрели на него только как на хорошо оплачиваемую профессию.

Наиболее тесная дружба у меня завязалась с Николаем Листратовым. Мы оба разделяли увлечение английской графикой Обри Бердолея, японскими гравюрами Хокусаи, акварелями Дюлака, Рекхема и Робинсона.

Коля Листратов! Дорогой незабвенный друг! Пока я жив, память о тебе не умрет. Время нашей дружбы неразрывно связано у меня с воспоминаниями о том — навсегда потерянном — периоде жизни, когда вера во всепобеждающее добро, красоту и порядочность казалась естественной.

Хорошо воспитанный, с прекрасными манерами, остроумный и интересный собеседник, Коля ко всему был не лишен художественного дарования. Он учился и работал в студии известного московского художника Юона. Только искреннее увлечение инженерным делом заставило Листратова отодвинуть служение искусству на второй план. При всей своей талантливости он резко отличался от обычного типа русского "передового" интеллигента. Был лишен всякой тени нигилизма, равно как и толстовского опрощенческого фарисейства. Свое глубокое чувство долга и романтический идеализм Листратов скрывал за маской несерьезности и легкомыслия.

Конечно, сущность натуры Листратова я узнал и оценил лишь потом, в процессе дальнейших событий и переживаний. Когда мы познакомились, мы были слишком молоды и не имели никакого представления о том, что нам готовит будущая жизнь. В этом симпатичном, миловидном блондине я нашел внимательного слушателя и интересного собеседника.

Борис Шебуев, третий из "классиков", был сыном врача. Неглупый, но уже в то время с заметными чертами будущего педанта и карьериста, он не питал ни к кому из нас теплых чувств. Только установившаяся лояльность и примирительное вмешательство других смягчали частые конфликты между Шебуевым и то тем, то другим членом нашей группы. Постоянной жертвой Шебуева бывал Борис Сиренко, как реалист чувствовавший себя немного чужим первое время.

Четвертым "классиком" был Николай Пентковский. Хотя он по возрасту не отличался от нас, но по жизненному опыту Пентковский был вполне самостоятельный и зрелый человек. Круглый сирота с 14 лет, сын бедного армейского офицера, Николай был воспитанником образцовой шелапутинской гимна-

зии, где был полным стипендиатом и которую окончил с золотой медалью. Он сам подготовил себя к конкурсу в Институт. Став студентом, Николай жил сначала уроками, но вскоре поступил техником в Управление Московско-Казанской железной дороги. Как он умудрялся справляться со всем, представляется совершенно невероятным. Бедняга в первый год осунулся и побледнел ужасно. Вместе с тем Пентковский при такой жизни не только не озлобился, не потерял присутствия духа, но сохранил бодрость и хорошее настроение. Помогало, по-видимому, то, что Николай был спортсменом. Он прекрасно играл в теннис и находил время для регулярного посещения какого-то теннисного клуба на Девичьем поле.

Пятым, и последним, "классиком" был Алексей Турчанинов. Он вошел в нашу компанию позже, на третьем семестре. Турчанинов поступил в Институт уже женатым. Жена его была, как говорили, балерина.

В вестибюле Института на видном месте был вывешен плакат, возвещавший, что в Большой аудитории состоится общее собрание студентов. В повестке дня значились следующие вопросы:

1) сообщение о Торжественном акте, имеющем быть 2 февраля 1914 года;
2) доклад ревизионной комиссии Общества взаимопомощи студентов Института;
3) текущие дела.

Я обратил внимание на то, что на плакате внизу была пометка: "Вывесить" — с подписью инспектора студентов, профессора В.Д. Жаркова. Оказывается, такие собрания студентов устраивались два-три раза в год, обычно по инициативе студентов. Администрации представлялась программа дня для утверждения. При этом студенты обязывались не обсуждать вопросов, не предусмотренных программой, и не допускать на заседание посторонних лиц. Администрация со своей стороны никоим образом не контролировала ведение собрания. После заседания ей сообщались только принятые резолюции. Собрание велось по строгому регламенту, с соблюдением всех парламентских правил. Регламент, составленный, очевидно, предыдущими поколениями, существовал в

письменной форме, что очень способствовало порядку. Администрация Института, как мне говорили, очень считалась с постановлениями студентов. Бывали случаи исключения студентов из Института в соответствии с постановлением и просьбой общего собрания студентов. Причиной одного из таких постановлений стали, например, недопустимое поведение и растрата средств Общества взаимопомощи студентов.

Порядок и стройность ведения собрания произвели большое впечатление на еще нестройную массу первокурсников. Попытки шутовства и багателизации* обсуждаемых вопросов были с самого начала резко пресечены председательствующим, прочитавшим краткую, но внушительную нотацию, заставившую шутников пристыженно замолчать. Я не мог не обратить особого внимания на студента Керученко, так умело и авторитетно ведшего собрание. Керученко был председателем "Польского Коло", единственной оформленной студенческой организации в Институте, если не считать Общества взаимопомощи. Эта национальная группа в Институте оказалась чрезвычайно многочисленной и благодаря своей спайке играла влиятельную роль.

Как выяснилось на собрании, администрация предлагала студентам принять участие в организации Торжественного акта и большого бала вечером в тот же день. Соответственно нами были выбраны организационная и бальная комиссии. В их задачу входило привлечение художественных и технических сил из числа студентов для разработки проектов архитектурной обработки чертежных зал Института, отвечающей торжественности предстоящего празднества.

Вскоре после этого собрание было закрыто.

Ритм напряженной работы, несколько нарушенный общим собранием студентов, снова водворился у нас. Приближение декабрьской экзаменационной сессии напоминало о страшной угрозе несдачи "минимума", заставляло проверить свои достижения, а они казались такими ничтожными в сравнении с тем, что надо было еще преодолеть.

---

* Превращения в балаган (от англ. bagatelle — шуточные стихи). — *Здесь и далее прим. перев.*

Экзамены можно было сдавать только четыре раза в год: до и после Рождества, весной и осенью. Пересдача “минимума” к концу весенней, последней для первокурсников сессии означала вылет из Института!

Мы вскоре увидели, что посещение всех лекций — это во многих случаях пустая трата времени. В самом деле, зачем сидеть на лекции, когда есть подробная программа и соответствующие печатные или литографированные курсы! К тому же некоторые, даже очень знаменитые профессора отличались почти невероятным косноязычием. Образцом и пределом таких “способностей” мог служить заслуженный профессор Лавр Дмитриевич Проскуряков, преподававший у нас сопротивление материалов, теорию сооружений и мосты. Этот знаменитый строитель мостов, в том числе енисейского, премированного золотой медалью на Всемирной выставке в Париже, и двух элегантных железнодорожных арочных Окружной дороги через Москву-реку, читал свои лекции весьма оригинально.

За полчаса до начала лекции в Институте можно было видеть следующее. По коридору вышагивал сам профессор. За ним маршировали два служителя. Один из них нес громадный деревянный циркуль и такую же линейку, другой — коробку с мелками, губку и тряпку. Процессия исчезала в дверях аудитории, которая запиралась на ключ изнутри. В назначенное время дверь распахивалась. Небольшая кучка студентов, собравшаяся перед дверью, входила и размещалась на скамьях. Их глазам открывалась большая черная доска, покрытая чертежами. Они казались напечатанными. Толстые и тонкие линии нигде не изменяли своей толщины, черточки пунктиров — своей длины, перышки стрелок были симметричны и каллиграфически выписаны, круги касались и замыкались идеально.

Лекция начиналась так:

— Господа!.. Ну да!.. Господа, то, что вы здесь видите... то есть увидите... Одним словом, видеть можете... есть... Определение... нет, установление... максимального момента, ну да... конечно, мом... м-м-м... мента от системы подвижных грузов... Если мы возьмем... нет, поставим...

Через полчаса такой лекции и студенты, и сам профессор уставали. Он вдруг останавливался, поворачивался от доски, с которой он беседовал, и говорил:

— Вот что, господа! — Профессор вынимал из портфеля свою книгу. — Это все у меня тут, от страницы 67... м-м-м... до страницы 98 описано. Теперь вот что! Если что-нибудь непонятно было, то спрашивайте. Могу объяснить.

Желающих обычно не находилось. Лекция на этом кончалась к обоюдному удовольствию лектора и слушателей.

Однако это не означало, что мы переставали посещать лекции только тех профессоров, которые читали плохо. Мы перестали ходить на лекции даже профессора А.А. Эйхенвальда, сопровождавшиеся интереснейшими и часто прямо-таки фантастическими демонстрациями. Он читал нам физику и электричество. Говорили, что его лекции в университете собирали слушателей со всех факультетов. В первое время и мы переполняли его аудиторию. Скоро, однако, жестокая необходимость экономить часы заставила нас отказаться от этого удовольствия.

Было только одно исключение. Ничто, казалось, не могло заставить нас бросить ходить на лекции профессора Осипа Марковича Федоро́вича. Он читал курсы строительных работ и оснований и фундаментов. Высокого роста, крепко сложенный господин с пышными усами, зычным голосом и энергичными жестами, он воплощал в себе романтику путейского строительства. Свои содержательные, полные авторитетной информации лекции он оживлял время от времени неожиданными отступлениями, живо рисующими то интересные случаи из практики, то историю инженерного дела. Увлекаясь, профессор иногда перехватывал через край. Так, описывая конструкцию воздушного шлюза кессона, который с целью ускорения удаления вычерпанного грунта имел особый патрубок, открываемый по сигналу снаружи, он сказал:

— Вот, изволите видеть, господа, стук лопатой внутри кессона был принят за сигнал. Патрубок открыли. Сжатый воздух вырвался из кессона. Рабочий из шлюза был втянут в патрубок с такой силой, что был совершенно искалечен, деформирован... Глаза у него оказались в животе!

Тут Осип Маркович остановился. Последовала короткая пауза, и за ней дружный взрыв хохота. В наступившей тишине из задних рядов долетел голос:

— Очевидно, деформация за пределами упругости!

Федорович присоединился к общему смеху.

На предрождественской экзаменационной сессии я выдержал ряд экзаменов и, кроме того, сдал зачеты по работам в лабораториях — физической, химической, петрографической — и испытанию материалов. Все это вернуло мне радость жизни, которую до сего отравляла мысль: “Справлюсь ли я?” Особое удовлетворение доставила мне сдача экзамена по строительному искусству, и не только потому, что здесь особо свирепствовал Федорович, беспощадно выбивая, как он говорил, “дух дилетантизма” из будущих инженеров, но и потому, что я действительно чувствовал, что стал теперь хоть и небольшим, но все же специалистом.

На этом экзамене я имел удовольствие наблюдать забавную сцену. На соседней со мной черной доске экзаменовался студент из числа лиц, принятых в Институт без экзаменов, — один из имевших законченное высшее образование. Это был межевой инженер-геодезист. Одетый в форменный сюртук с академическим значком, он держался важно, всем своим видом и тоном давая понять экзаменатору, что здесь, в его случае, имеет место не экзамен, а собеседование двух равноправных специалистов.

Надо сказать, что Федорович придавал большое значение знанию так называемой стереотомии каменной и кирпичной кладки. От студентов требовалось умение правильно складывать пересечения и углы стен различной толщины при “ценой”, “готической” и “английской” перевязке так, чтобы все стыки были перекрыты верхним рядом. Для проверки этого умения в экзаменационном зале стояли большие корзины, полные деревянных кирпичей. Прежде чем идти к доске, студент должен был сложить из них заданную комбинацию.

Самоуверенный и небрежный тон экзаменующегося явно раздражал Федоровича. Вдруг я услышал:

— Так кирпичи не держат! Это не коробка с конфетами! Кирпич каменщик держит в левой руке, мастерок — в правой! При укладке кирпич надо сдвинуть по раствору! Вот так!.. Довольно с вас, идите к доске!

У доски дело шло не лучше. Студент потерял свою самоуверенность, в голосе не слышалось прежней небрежности.

Вдруг Федорович сказал:

— Ну вот, милостивый государь, расскажите, как вы будете делать разбивку земляных работ при постройке железнодорожной насыпи и выемки.

Озадаченный примитивностью вопроса, студент начал отвечать, но едва он только сказал: “Приняв в соображения тангенс угла падения грунта и коэффициент...”, как Федорович вскричал:

— “Тангенс”, “коэффициент”! Да что вы думаете, что такую разбивку делает межевой инженер? Это делает простой десятник! Обыкновенный мужик, который ни о каких тангенсах никогда не слышал. Довольно с вас!

Такие выходки и причуды Осипа Марковича большей частью смешили нас, хотя иногда и возмущали. Только потом, побывав на практике, мы поняли, что в этой тренировке была своя система и логика. Во многих случаях такая школа выводила нас из сложного положения при контакте с низшим техническим персоналом, всегда готовым высмеять неопытное “начальство”.

2 февраля 1914 года. День Торжественного акта и бала, к которому так долго готовились. Широкая лестница, ведущая из вестибюля, была выстлана красным ковром-дорожкой, по обеим сторонам стояли пальмы и цветы. Наш и без того всегда импозантный швейцар Иван выглядел еще представительнее и внушительнее в своей парадной ливрее и треуголке с булавой, увенчанной позолоченным шаром. Студенты, почти все в парадных сюртуках или мундирах, толпились в коридорах или на лестнице, стараясь занять наиболее выгодные для наблюдения позиции: на Акт ведь должны были явиться, кроме министра путей сообщения, много других интересных лиц — представители высших учебных заведений, разных ведомств и все московское начальство, начиная с Генерал-губернатора Джунковского и кончая духовенством во главе с митрополитом.

Гостей принимал в вестибюле директор Института профессор Николай Дмитриевич Тяпкин. Он читал у нас курс водных сообщений и был, кроме того, начальником Департамента внутренних водных сообщений и шоссейных дорог. Тяпкин был весьма способный и честолюбивый человек, пре-

красно образованный. Два академических значка на его мундире свидетельствовали о том, что он, как мы говорили, “двуспальный” инженер, т.е. одновременно инженер путей сообщения и инженер-технолог. Кроме того, Тяпкин, оказывается, окончил Пажеский корпус, что мало вязалось с его неблагозвучной фамилией. По слухам, он был сын городового, спасшего Императора Александра II от покушения.

Прибывавшие гости следовали один за другим в актовый зал. Вскоре он был переполнен. В середине первого ряда сидел министр путей сообщения С.В. Рухлов, рядом с ним его жена. Министр был крупный, высокого роста человек с коротко подстриженными волосами и бородой, одетый в придворный мундир с орденской лентой и звездой. На груди у него я увидел университетский академический значок. Жена его, пожилая дама, была одета в жакет и в руках держала большой букет, приподнесенный ей депутацией студентов. Справа и слева сидели профессора нашего и петербургского институтов, представители генералитета и другие, все одетые в парадные мундиры, сверкающие золотым и серебряным шитьем и орденскими лентами. Дальше, в глубь зала, серебряное шитье на мундирах инженеров начинало постепенно преобладать над золотом эполет военных и придворных. Задние ряды занимали студенты, которые теснились также у стен и свешивались с балконов бельэтажа.

Торжественный акт начался молебном, который служил Московский митрополит. После молебна и короткой проповеди митрополита был устроен перерыв. Когда все заняли места, заседание открыл директор Института. Приветствовав всех присутствующих, директор заявил, что он счастлив быть уполномоченным сообщить нам о “Высокой Монаршей милости. Государю Императору благоугодно было присвоить нашему Институту Его собственное Высочайшее Имя!”.

Слова директора были покрыты криками “ура!” и пением национального гимна. В дальнейшей речи Тяпкин коснулся истории Института, его достижений и традиций. Он сообщил также о решении Министерства путей сообщения отпустить на строительство новых лабораторий, в том числе гидротехнической, 1,5 миллиона рублей. Я обратил внимание на некоторые статистические данные, сообщенные директором. Оказывается, что при общем числе студентов около 500 человек

число преподавательского состава — профессоров, адъюнктов и ассистентов — было около 60 человек. Стоимость обучения каждого студента достигала 900 рублей в год. Мы платили за все лишь 100 рублей в год. Это объясняло и оправдывало строгое отношение к студентам и беспощадное изгнание неуспевающих.

После речи Н.Д. Тяпкина последовали приветственные выступления представителей многочисленных учреждений, высших учебных заведений, железных дорог и выдающихся лиц. Одним из наиболее интересных было приветствие от L'Ecole dès Ponts et Chaussees, прочитанное профессором В.Е. Тимоновым по-французски и по-русски. Тимонов, крупный гидротехник, славился не только своей ученостью и знаниями. Известна была и его слабость: он очень любил звонкие титулы. Обладая таковыми в достаточном количестве, он приводил их полностью и без исключений. На заглавных листах изданий его курсов они занимали мелким шрифтом не меньше трети страницы. То же было и здесь. Мы услышали:

— ...L'Ecole dès Ponts et Chaussees поручила мне как почетному председателю Общества бывших воспитанников — Société dès ancien élèves dès Ponts et Chaussees... выразить чувства... Comité Permanent de Congrès de Navigation interne... поручил мне как... — и т.д.

Путеец, профессор В.Е. Тимонов не был одет в форму. Его штатский фрак был украшен широкой орденской лентой и какими-то большими сверкающими звездами.

Заседание закончилось в 2 часа дня. Вечером в 8 часов должен был состояться бал.

Залитый светом вестибюль. Студенты-распорядители с большими белыми бантами проверяют билеты и вручают дамам Корне де баль с программой танцев. Оживленные лица, розовые щечки и жемчужные улыбки молодых дам и девиц, одетых в белые платья. Формы и черные фраки мужчин. Откуда-то издали слышатся звуки салонного оркестра, играющего менуэт Моцарта... Там и сям легкое дуновение воздуха доносит аромат цветов и тонких духов... Оживленный, но сдержанный ропот голосов...

Такая картина представилась мне, когда я вошел вечером в Институт. Я поднялся на второй этаж. То, что я увидел, превзошло мои ожидания. Знакомые помещения Института исчезли, казалось, без следа. Их место заняли ряды пальмовых рощ. Причудливо извивающиеся дорожки, обсаженные яркими тропическими цветами, вели из одного танцевального зала в другой. Невысокие белые с золотом трельяжи придавали неуклюжим пропорциям чертежных несвойственную им элегантность и стройность. Все украшения и перестройки были в стиле ампир Императора Александра I, основателя Корпуса Инженеров Путей Сообщения.

Бал задержался открытием. Ожидалось прибытие несколько запоздавшего министра. Публика тем временем разошлась по "пальмовым рощам", где в тени густой зелени прятались киоски с шампанским и уютные беседки.

Наша бальная комиссия проявила много изобретательности и, главное, вкуса. Правда, администрация предоставила в ее распоряжение большие кредиты. Одному только садоводству Ноева было заплачено за прокат цветов и пальм свыше 900 рублей. Было приглашено три оркестра. В главном зале должен был играть оркестр сумских гусар под управлением Маркварда. Этот оркестр со своими серебряными трубами считался лучшим военным оркестром Москвы. Другие два были — салонный оркестр из музыкантов Кусевицкого и, наконец, неизбежный оркестр венгерских цыган из "Стрельни".

Согласно с программой бал открывался полонезом. Затем шли вальс и па-де-катр. Второе отделение начиналось мазуркой, за которой следовала кадриль и вновь па-де-катр. Заканчивался бал двумя вальсами. Никаких других танцев, более или менее обычных, таких, как полька, краковяк, венгерка и т.п., в то время на студенческих вечерах не предусматривалось.

Полонез, во главе которого шел сам министр, ведущий стройную и красивую даму (голова ее была увенчана сверкающей бриллиантами диадемой), со всей последующей колонной дам и кавалеров казался, благодаря блеску и разнообразию форменных одежд, скорее, сценой из оперной постановки Большого театра. Это впечатление еще более усилилось во время мазурки, которую лихо вел профессор Федорович. С таким горделивым задором, рыцарской галантностью и элегант-

ностью может танцевать лишь тот, в чьих жилах течет польская кровь!

Я сам не собирался танцевать и не пригласил никого на бал. Приглашение из Харькова — увы! — было невозможно. Мои близкие приятели по Институту тоже не попадались на глаза. Либо они сами были в таком же положении, как и я, и уже ушли, либо по стратегическим соображениям считали более правильным не демонстрировать свои “предметы” сердца товарищам. Я ходил из зала в зал, как вдруг ко мне подошел профессор Станкевич и предложил представить меня своим племянницам. Я не считал себя вправе отказаться и согласился. Это были две миловидные польки-институтки. Протанцевав с ними по туру вальса, я вернул их на попечение дядюшки, который тем временем подыскал им новых кавалеров. Я дождался конца официальной части бала и ушел домой.

Мало думал я тогда, что это был последний раз, когда мне представилось видеть во всем блеске уголок Российской империи. Никто не знал и не чувствовал тогда, что пройдет несколько лет и все виденное сегодня превратится в какой-то нереальный и неповторимый сон!

— Ну, вижу, выдержал! — заявил мне наш швейцар Иван, помогая надеть шинель. — Поздравляю!

Я сунул улыбающемуся Ивану обычную рублевку. Надо сказать, что Иван, несмотря на свой скромный пост, играл немалую роль в жизни Института. Он был ценным источником информации, каким-то образом узнавая не только еще не опубликованные постановления Совета профессоров, но даже намерения и тенденции, там господствующие. Обычно Иван сидел на большом деревянном диване-ларе, стоявшем около выходной двери. Это был старик старше 60 лет, чисто выбритый, с круглой розовой физиономией и румяными щечками. Темно-голубые, почти синие, постоянно улыбающиеся глаза выглядывали ласково из-под густых бровей. Голова его венчалась абсолютно белыми, вьющимися колечками и аккуратно подстриженными волосами. Сходство его с купидоном было настолько разительным, что глаз невольно искал спрятавшиеся за плечами крылышки. Однако на этом сходство с купидоном кончалось.

Главной функцией Ивана было содействие студентам, впавшим в финансовые затруднения. Как я слышал, операции этого порядка проводились и заканчивались к полному удовлетворению обеих сторон и, вероятно, не без пользы для “купидона”. Другая сторона деятельности Ивана заключалась в добывании вышедших из печати и труднодоставаемых курсов и книг. Книги эти давались Иваном напрокат. Удовольствие дорогое, но что же делать? Без его помощи была бы катастрофа.

Иван вставал со своего ларя и помогал одеваться, как правило, профессорам и, лишь в порядке исключения, некоторым студентам. Обычно он приветствовал приходящих студентов только улыбкой и жестом руки посылал на работу своих двух более молодых помощников. Но и среди студентов у Ивана были любимцы, которых он обслуживал лично. И как ни странно, выбор этих любимцев не всегда определялся размером чаевых, которые получал Иван.

Вся наша компания справилась с “минимумом” и была допущена к обязательной геодезической практике. Такая практика организовывалась Институтом в июне месяце. Все студенты разбивались на группы по пять человек. Группа получала все необходимые инструменты: теодолиты, нивелиры, мензулы, кипрегели и т.д. — и должна была произвести ряд работ в поле, в том числе триангуляцию, мензульную съемку, нивелировку, разбивку железнодорожных кривых, барометрическое нивелирование. Для производства работ Институт выбрал живописную местность с очень волнистым рельефом и быстро текущей речкой. Это был так называемый Новый Иерусалим, расположенный в 60—70 километрах от Москвы по Виндаво-Рыбинской железной дороге. Здесь находился монастырь, основанный патриархом Никоном. Главной достопримечательностью была большая круглая церковь, перекрывающая часовню, так называемый Гроб Господень. И церковь, и часовня были выстроены по проекту знаменитого Растрелли и выполнены в стиле блестящего барокко. Вся архитектоника церкви и часовни поражала своей красотой и изяществом, резко отличаясь от безвкусной сусальной раззолоченности большинства русских церквей. Монастырь расположился в чудесном

густом и старом парке, спускавшемся к излучине реки Истры. Последняя в монастырских пределах называлась Иорданом. Монастырский парк соответственно назывался Гефсиманским садом.

Приехав в Новый Иерусалим, мы сняли три комнаты в одной даче, поселившись все вместе. Когда мы пошли за инструментами, то узнали, что каждой группе выплачивается казной 25 рублей на наем рабочих. Нам сообщили также, что, согласно "священной" традиции, эта сумма никогда не расходуется по назначению, а торжественно прокучивается группой. В самом деле, для найма двоих рабочих сумма была мала, а их функции прекрасно могли выполнять сами студенты по очереди. Мы решили использовать этот фонд только после успешного выполнения работ и утром на следующий день были уже в поле, начав мензульную съемку.

Скоро выяснилось, что задания были трудны и требовали напряженной работы. Неопытность часто приводила к тому, что ошибка заставляла повторять чуть ли не всю работу сначала. В результате мы выходили в поле с рассветом и до поздней ночи сидели за вычислениями. Задания мы получали от специально приглашенных руководителей, которые также консультировали нас и принимали оконченные работы. Большей частью это были молодые инженеры-геодезисты. Одним из руководителей был, однако, артиллерийский поручик, который особо очаровал нас своей манерой держаться и шутить. Всегда корректный и элегантный, он давал нам точные, кратко сформулированные практические указания. Как-то раз, когда мы делали тахеометрическую съемку, он сказал:

— Господа! Вы ведь никогда не упускаете случая бросить лишний взгляд на хорошенькую девицу, не так ли? Делайте так же всегда с уровнем при алидаде вертикального круга!

С тех пор этот уровень получил у нас название "Анночка". Анночка Критская была хорошенькая казачка из Новочеркасска, так же как и Листратов, бравшая уроки у художника Юона. Коля Листратов был первый из нас, сердечные секреты которого были расшифрованы. Поэтому он подвергался постоянному поддразниванию.

— Коля, ты, рыжий черт, опять забыл на "Анночку" взглянуть.

“Рыжий черт”, который на самом деле был светлым голубоглазым блондином, краснел, сучил нам кулак, проверяя уровень.

— Господа, слышали последнюю новость? Коля бросает наш Институт и переводится в Новочеркасский политехнический.

Летняя практика привела к тому, что наша дружба стала теснее. Мы узнали слабости и достоинства друг друга.

Нас неожиданно посетил отец Листратова. Он привез угощение, ходил с нами целый день. Мы показали ему инструменты, объяснили, что и как мы делаем. Он слушал все с большим интересом. Сказал нам, что сам мечтал стать инженером, но жизнь сложилась иначе. Он был юрист, член Московского окружного суда. В своем сыне он нашел воплощение своих идеалов. Поздно вечером мы пошли все вместе на вокзал проводить этого милого господина.

В середине июня наша работа настолько продвинулась, что я считал возможным съездить на один день в Москву. Нет слов, жизнь на лоне природы имеет свои прелести, но слишком продолжительное наслаждение ею ведет к пресыщению. Необходим перерыв уже хотя бы потому, чтобы иметь возможность получить масштаб для сравнения. Лето в Москве со взрытыми для ремонта улицами, с воздухом, в котором запах горячего асфальта смешивается с газом, тоже невыносимо надолго, однако все это компенсировалось движением и жизнью. В окнах и на прилавках магазинов можно было найти последние номера английских иллюстрированных журналов, а в кафе и кондитерских — выпить кофе и съесть мороженое без того, чтобы осы и мухи забирались в рот.

Я шел по Кузнецкому мосту, останавливаясь у витрин магазинов, когда вдруг услышал крики мальчишек-газетчиков, бегущих по улице с экстренными выпусками газет — листков с телеграммой. Я схватил листок, сунув газетчику пятак, и прочитал:

ПОКУШЕНИЕ В САРАЕВЕ. ЭРЦГЕРЦОГ ФРАНЦ ФЕРДИНАНД И ЕГО СУПРУГА УБИТЫ

Я привез эту сенсационную новость своим товарищам в Новый Иерусалим 15 июня. Я интересовался политикой достаточно, следил за назреванием конфликта между Антантой и Германией уже давно, со времени Агадирского инцидента, однако вся трагичность происшедшего не могла быть полностью мной осознана. Как мог я в то время думать, выстрел в Сараеве был первым ударом, подрывающим устои тогдашнего мира. Мира, казавшегося таким устойчивым, спокойным и надежным. Мира, идущего если и не торопливыми, то твердыми шагами по пути прогресса к свободе и благоденствию человечества.

Весь вечер мы провели, дискутируя о сараевской трагедии, но на следующий день успех или неуспех наших работ снова занял первое место в дневных заботах.

Наши работы были проверены в поле, приняты, и мы, получив зачеты, распрощались и разъехались до новой встречи осенью. Я решил поехать в Харьков. Надо ли говорить, что не только родительский дом тянул меня туда? Там был особый магнит — Верочка Бернгард. Она училась в седьмом классе немецкой гимназии. Ей было теперь 16 лет. Я надеялся, что последний год, когда мы могли видеться только короткое время на Рождество, не принес охлаждения в нашу дружбу.

Большую часть времени я проводил в Липовой Роще — дачной местности, где жила семья Бернгард. Все сгущающиеся тучи на политическом горизонте если и беспокоили и волновали, то все же эти тревоги и волнения не носили личного характера. Все чувствовали себя так, как чувствуют себя зрители, увлеченные драмой на сцене, — взволнованными, даже потрясенными, но не участниками развертывающейся трагедии. Прошли месяцы, прежде чем водоворот событий лишил нас — одних раньше, других позже — роли посторонних наблюдателей.

19 июля Германия объявила войну России. Страна встретила это событие спокойно, но с полным сознанием серьезности. Отсутствовали какие бы то ни было манифестации в стиле “шапками закидаем”, но чувство уверенности в своей правоте и твердая вера в победу разделялись всеми. Эта уверенность еще больше окрепла, когда мы через четыре дня узнали, что Англия тоже объявила войну Германии. Большая победа русских войск, вторгшихся в Галицию, и занятие Львова заставляли думать, что война продлится три-четыре месяца. Не больше.

Каникулы подходили к концу. Надо было спешить и готовиться к сентябрьской экзаменационной сессии. Я распростился с Харьковом и уехал в Москву.

Занятия в Институте шли своим чередом. Мы были заняты не меньше, чем в прошлом году, проводя почти все время в стенах Института. Однако поведение и даже внешний облик студентов изменились. Куда делась та часто шумная и легкомысленная масса, которая была на первом курсе! Студенты стали серьезнее. В чертежных не стало слышно прежнего хорового пения, не видно было былого дурачества и шуток. В одежде появилась строгость. Не было больше расстегнутых тужурок. Крахмальные воротнички и манжеты стали правилом. Даже разговоры велись тише и теперь вполголоса. Было ли это следствием изгнания обычных 30 процентов в мае или война способствовала такой трансформации, не знаю. Думаю, что война сыграла второстепенную роль.

В вестибюле Института висели доски с объявлениями. Главное место занимали доски администрации, где вывешивались постановления Совета профессоров, приказы директора и т.д. Дальше, в глубине зала, висела большая деревянная доска, на которую студенты прикалывали кнопками свои объявления. На ней можно было также найти объявления посторонних лиц с предложениями комнат, пансионов, уроков, чертежных работ и т.п. Эти последние непременно снабжались пометкой инспектора студентов профессора Жаркова: “Выве-

сить. *Жарков*". Приходя в Институт, я всегда читал объявления на студенческой доске. Там, кроме полезных сведений, нередко можно было найти произведения сознательных и бессознательных юмористов. Обычно объявления касались поисков учебных пособий и вышедших из печати книг. Среди них иногда попадались перлы. Так, раз я прочитал: "Куплю "Механику" Проскурякова". Дальше следовал адрес. Все было бы в порядке, но "Механика" была написана через ять после М. Поперек объявления кто-то черкнул красным карандашом: "Из какого меха?" Другое объявление гласило: "Исполняю чертежные работы аккуратно и скоро. Конфиденциальность заказа и высокую последующую оценку гарантирую. *Аргус*". На этом объявлении была пометка, имитирующая хорошо знакомый почерк, — "Вывесить. *Жарков*".

Но раз юмористика студенческой доски должна была уступить место официальной доске администрации. В самом деле, на ней был укреплен большой печатный плакат, возвещающий крупными буквами:

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Большая аудитория А -го ...ря 1914 г. состоятся

Доклады и обсуждение на тему

Н Е М Е Ц К О Е засилье
в промышленности РОССИИ

Докладчиками любезно согласились быть
Профессора М.И.И.П.С. ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
А.В. фон КЕСТНЕР
Е.Г. фон ГИБШМАН
Л.М. фон ФРЕН

Организационная группа

Война с ее неумолимой реальностью пробудила и глубоко всколыхнула русское общество. До сих пор это общество или, лучше сказать, две части этого общества — так называемая интеллигенция и правительственные круги с примыкающим к ним слоем — обе жили в мире призраков и фантазий, постоянно между собой враждуя. Обе части были в одинаковой степени оторваны от народных масс, которых они не знали, но от имени которых пытались говорить и защитниками которых себя считали.

Интеллигенция видела в народе обездоленных тружеников, эксплуатируемых и лишаемых плодов своего труда тунеядцами, которых поддерживает правительственная клика с ее урядниками, земскими начальниками и жандармами. Считалось, что вся "народная масса" одарена исключительными добродетелями, разумом, трудолюбием, честностью и неуклонным стремлением к добру. Только косность и эгоизм правительственных кругов мешают этим идеализированным толстовским мужичкам достигнуть счастья и благоденствия. При этом, конечно, под руководством просвещенной и передовой интеллигенции! Сама же интеллигенция, главным образом лица, оторванные от практической деятельности, — журналисты, служители искусства, писатели, — отличалась при крайнем радикализме полным политическим невежеством и фантазерством.

Близкие к правительству круги высшего дворянства не отставали от интеллигенции в идеализации действительности. И народ представлялся безропотной, вполне удовлетворенной своим бытием, глубоко религиозной массой. Проникнутая мистическим сознанием своей народности, масса эта, по их мнению, всегда была готова принести себя в жертву на алтарь Отечества во имя "православия, самодержавия и народности". Самих себя круги эти считали уполномоченными Богом и историей твердо вести "народные массы" по пути сохранения завещанных предками традиций Святой Руси, как и подобает просвещенным, благонамеренным и полным сознания своего долга правителям.

Обе части русского общества упрямо игнорировали факты, так не похожие на их идеализированные представления. В этом отрицании они иногда близко сходились между собой. Так это было в отношении Столыпинской земельной

реформы. В ликвидации общинного владения землей правые видели посягательство на “искони русские”, священные устои, завещанные предками; левые усматривали в общине предпосылку для осуществления социализма, который должен был “осчастливить” все человечество.

Война совершила чудо! Впервые за долгое время и интеллигенция, и правительственные круги протянули друг другу руки и нашли общий язык. Перед лицом общей опасности были забыты вражда и недоверие. Результатом явилось небывалое пробуждение до сих пор скрытых производительных сил. Военно-промышленный комитет, Земский и Городской союзы, различные общественные организации взяли на себя большую работу, освободив Правительство от второстепенных забот. Единение, патриотизм и лояльность стали лозунгами дня.

Приехав в Харьков на Рождество, я не преминул при первой возможности посетить семью Бернгард. Глава семьи П.И. Бернгард как швейцарский гражданин строго формально соблюдал швейцарский нейтралитет. Все остальные члены семьи, однако, не скрывали своих прорусских симпатий. Старшая дочь Лиля окончила весной гимназию и поступила волонтеркой в военный лазарет. Верочка Бернгард, которая была в восьмом классе немецкой гимназии при евангелистско-лютеранской церкви, также близко принимала к сердцу все удачи и тревоги русских и союзных армий.

Она рассказала мне следующий эпизод. Когда Государь проезжал осенью через Харьков, была сделана остановка на харьковском вокзале. Для встречи и приветствия Государя на платформе были выстроены ученики и ученицы средних учебных заведений, гимназий и реальных учебных заведений. Конечно, всех туда было невозможно послать, и отбирались немногие из лучших. Верочка попала в их число. Встреча эта произвела на нее большое впечатление.

— Знаете, Вася, — рассказывала она мне, — когда он проходил мимо нас, мне бросилась в глаза его такая милая, такая добрая улыбка. И у него такие красивые и полные грусти глаза. Ведь только подумайте, какую громадную ответственность он, бедный, несет!

Я встречал рождественский сочельник у Бернгардов. К моему сожалению, уже на второй день Рождества Верочка должна была уехать в Екатеринослав, в гости к тетке. Однако не прошло и недели, как она вернулась: ее вызвали в жандармское управление для допроса. Произошло, оказывается, следующее. Когда в день проезда Государя ученицы толпились, одеваясь, в гардеробной, кто-то из не попавших в отбор вскричал по адресу Верочки:

— Безобразие! Возмутительно! Немок берут, а мы, русские, остаемся!

Верочка вспыхнула:

— Во-первых, я вовсе не немка! Я швейцарка! — Все еще сердясь, она добавила: — Если так, не хочу я и смотреть на вашего дуралея!

Кто-то сделал донос. Отец был страшно расстроен и взволнован. Для него все это оказалось вдвойне неприятным, так как он был членом Кирхенрата и председателем попечительского совета гимназии. Он заявил, что ввиду несовершеннолетия Верочки он требует, чтобы допрос производился в его присутствии. На это дали согласие.

Когда П.И. Бернгард вошел с дочерью в кабинет жандармского ротмистра, последний поднялся, поздоровался с ними и предложим обоим сесть.

— Ваше имя — фрейлейн Бернгард Вероника? — начал он.

Верочка подтвердила.

— Вы швейцарская подданная? — продолжал ротмистр.

— Нет, — ответила Верочка, — я не подданная, я гражданка!

— Да это то же самое, — возразил ротмистр.

Верочка тут хотела сказать, что швейцарцы — республиканцы и у них подданных нет, но благоразумно решила промолчать. Ротмистр сказал, что у них есть свидетельства, что она позволила себе употребить слово “дурак” по адресу Государя. Немного покривив душой, Верочка заявила, что это слово она не употребила. В самом деле, “дуралей” — это не совсем то, что “дурак”. На этом утверждении она держалась твердо.

В конце концов, ротмистр сказал:

— Ну вот что, фрейлейн Бернгард, вы швейцарка, иност-

ранка, гость в нашей стране. Вы не должны поэтому критиковать и осуждать что-нибудь у нас. Если вы все же будете продолжать в этом духе, то нам, к сожалению, придется отказать вам в гостеприимстве и отправить вас на родину. До свидания.

Дальнейших последствий эта история не имела. Кто мог быть доносчиком? Ближе всех к Верочке стояла некая Галя Федоровская, но, во-первых, она тоже должна была участвовать в делегации, во-вторых, была одной из ближайших подруг. Она дневала и ночевала у Бернгардов и была им многим обязана. Галя была дочерью полицейского околоточного того района, где находилась немецкая гимназия. В гимназию она была принята и получила там стипендию исключительно благодаря заступничеству и стараниям П.И. Бернгарда. Возможность доноса с ее стороны Верочка исключала категорически. Нужно было быть очень низкого мнения о человеческой природе, чтобы допустить это.

Несмотря на войну, жестокий режим занятий в Институте заставлял главное внимание уделять им. Угроза несдачи теперь уже второго “минимума” была слишком реальна. Хотя война продолжалась больше полугода, почти все считали, что скоро наступит перелом и конец не за горами.

Я сидел за одним из курсовых проектов в нашей чертежной и вдруг заметил, что в зал вошли двое старших студентов-дипломников, которых всегда можно было узнать по двойному серебряному канту на обшлагах рукавов. Они собрали вокруг себя группу студентов и что-то им рассказывали. Подозвали меня. Дипломники приглашали нас на летучее собрание всех наличных студентов старших курсов. Просили только ничего не говорить первокурсникам. Мы пошли. В дипломной чертежной собралось человек шестьдесят. Вот что мы услышали.

На экзаменах в Институте имела место следующая практика. Профессор, проэкзаменовав студента, ставил отметку в ведомость и в случае положительного результата заносил ее также в зачетную книжку. Если у студента зачетной книжки почему-то не было, он мог получить потом отметку в книжке, предъявив ее в секретариате. Экзаменационная ве-

домость во время экзамена лежала обычно на столе. Студенты подходили к столу, смотрели, когда до них дойдет очередь по списку, интересовались отметками товарищей. Этой возможностью воспользовались два студента. Заметив, что рассеянный профессор Станкевич, занятый у доски, не обращает на них внимания, они подошли к столу и, не долго думая, поставили себе по пятерке в ведомость. Никто, даже студенты, этого не заметил. Секретариат занес потом эти отметки в их зачетные книжки.

Такой "гусарский" рейд прошел бы незамеченным для этих господ. Но они этим не удовлетворились и, считая себя героями, хвастались, распивая чай в студенческом буфете, своей удалью.

Все собравшиеся студенты согласно осуждали этот поступок. Но что делать? Оставить его без последствий было невозможно. Такое поведение бросало тень на Институт. Созыв общего собрания студентов для обсуждения этого вопроса привел бы к тому, что администрация, узнав о происшедшем, была бы вынуждена принять свои меры вне зависимости от мнения студентов. При всей безобразности поступка нельзя было не видеть, что тут налицо все признаки мальчишеского озорства и незрелости. Исключение из числа студентов, которое последовало бы автоматически, закрыло бы им навсегда возможность путейской карьеры. Последнее было бы вдвойне тяжело для них, потому что оба происходили из путейской среды. Отец одного — Скугаревский — был начальником работ Трапезунд-Батумской дороги, другой — Марков — сын начальника Службы пути Николаевской железной дороги.

Одно из решений, найденное после горячих споров, встретило единодушное одобрение. Скугаревскому и Маркову было предложено подготовиться в течение двух недель вновь к экзамену и держать его теперь перед студенческой комиссией. Комиссию из трех студентов выбрали тут же. Решено, если они сдадут экзамен на пятерку, считать вопрос исчерпанным, а в случае провала сообщить обо всем администрации.

Экзамен выдержали оба. По их словам, никогда они так не потели и не дрожали перед экзаменом, как в этот раз.

Я снял телефонную трубку. Звонил Борис Сиренко.

— Слушай, Вася, ты завтра свободен? Надевай сюртук и приезжай завтра к 10 часам утра на Ярославский вокзал... Там будут все... Пентковский, Шебуев, Листратов... Возьми билет в Мамонтовку... Я женюсь... Да-да, женюсь... В Мамонтовке встречу на станции... Потом, потом расскажу... Мне некогда... Ладно. — Он повесил трубку.

Мы встретились на другой день, как договорились. Борис Шебуев был в курсе дела.

— Женится, действительно женится! Да знаете, господа, на ком? На еврейке! Ей-богу, на еврейке! Я сам ее вчера крестил!

— Слушай, Борис, при чем ты тут?

— Да вот как раз потому, что я Борис. Ей нужно отчество Борисовна.

— Господа, ей пришлось нырять в одной рубашке в бочку... За ширмой, конечно! Теперь она будет называться Полина Борисовна. Беда в том, господа, что она старуха. Ей 27 лет — я сам видал ее документы. Она зубной врач. Помните, господа, Сиренко все бегал зубы лечить? Долечился!

Женитьба Сиренко (которому было всего 19 лет), да еще на еврейке, не могла встретить одобрение в его семье. Сиренко происходил из военно-морской среды. Отец его был военно-морской чиновник в Управлении Севастопольского порта. Все его кузены и дядюшки — морские офицеры.

Обсуждая положение в поезде по дороге в Мамонтовку, мы вспомнили объявление на студенческой доске в Институте. В нем какая-то зубная врачиха предлагала свои услуги. При этом указывалось, что студенты-путейцы пользуются скидкой 30 процентов.

В Мамонтовке нас встретил Сиренко и представил своей невесте. Это была черноватая, довольно развязная особа без признаков какой либо особой красоты или прелести, правда, и без бросающихся в глаза недостатков. Никто из ее родственников не присутствовал. Очевидно, брак и с другой стороны не встретил одобрения.

На заказанных Сиренко извозчиках мы поехали в деревню, расположенную в 10—15 верстах от Мамонтовки. Там мы вошли в какой-то дом или дачу. В одной из комнат был приготовлен стол для свадебного пиршества. Невеста

удалилась переодеваться. Когда она была готова, мы пошли пешком в маленькую, расположенную недалеко, на запущенном погосте, церквушку. Нас встретили священник с дьячком. Священник был старик с запущенной косматой бородой, маленькими хитрыми глазками и толстым сине-багровым носом. От него самым недвусмысленным образом несло спиртом.

Брачная церемония длилась недолго. Священник быстро и неразборчиво бормотал что-то себе под нос, нетерпеливо толкал нас свободной рукой, когда мы или венчающиеся делали что-нибудь не так или опаздывали. В середине церемонии священник вдруг, к нашему ужасу, звучно рыгнул, но через секунду забормотал дальше, нисколько не смутившись.

Мы вернулись в комнату, где было накрыто угощение. Все, особенно Коля Листратов с присущей ему галантностью, старались сгладить тяжелое впечатление, которое произвела на нас эта свадьба. После обычных тостов и поздравлений и попыток наладить разговор мы наконец распростились и поехали на станцию, оставив новобрачных.

Устройство этой свадьбы было делом далеко не простым. Начать с того, что Институт вообще очень неохотно давал студентам разрешение на женитьбу. Существовало неписаное правило, согласно которому это разрешение никогда не получали студенты, не сдавшие второго “минимума”. Кроме того, родители Сиренко, узнав о предполагаемой свадьбе, прислали директору просьбу ни в каком случае разрешения не давать. Директор запретил канцелярии выдавать Сиренко какие бы то ни было бумаги. Все его попытки были бесплодны. Тогда, как рассказывала Полина Борисовна, она сама пошла в канцелярию и каким-то образом получила часть бумаг. Но все же чего-то недоставало — ни один священник в Москве не хотел их венчать. Только этот, деревенский, получив хорошую взятку, согласился.

Коля Листратов, этот неисправимый романтик, не сказав никому ни слова, поступил добровольцем в Московскую школу военных летчиков, бросив Институт. Нет сомнения, что он более, чем кто-либо другой, подходил к этой роли. Смелый, решительный, теперь уже с некоторой технической

подготовкой, он был, кроме всего, прекрасным спортсменом, одним из лучших пловцов в Москве. Я не раз имел удовольствие быть свидетелем его триумфов в заплывах стилем “кроль” в купальном бассейне Сандуновских бань.

Родители Листратова были очень расстроены. Отец говорил с горечью:

— Ах, Николай, я так мечтал, что ты будешь инженером! Что такое пилот? Это только воздушный шофер!

Мать, бывшая артистка Московского Художественного театра, оставившая сцену, чтобы воспитывать детей, казалась неутешной. Она предчувствовала, что и второй сын, студент-юрист, последует, рано или поздно, за братом.

Война все более раскидывала свои щупальца, как гигантский спрут, и захватывала все более широкие круги. Становилось ясно, что одного кадрового состава офицеров и запасных недостаточно. Необходимо пополнение выбывающего из строя командного состава. С этой целью были открыты школы прапорщиков с четырехмесячным курсом. Как неизбежный логический вывод за этим последовало постановление Правительства об отмене отсрочек для окончания образования студентам. Практически это означало призыв в армию.

Сообщение взволновало студентов повсюду. В нашем Институте мы встретили его с единодушным одобрением. Возбужденные войной чувства патриотизма и лояльности не имели границ. Было решено выразить их публично в патриотической манифестации. К этому побуждало еще и то, что, по слухам, в Университете какие-то группы пытаются организовать протесты и угрожают забастовкой.

Почти все студенты собрались во дворе Института, раздобыли трехцветные флаги и с пением прошли через город на Скобелевскую площадь. По дороге к нам присоединились студенты других учебных заведений. На площади, после того как наши представители передали Генерал-губернатору выражение наших чувств, студенты пропели “Боже, Царя храни” и разошлись по домам.

Наша манифестация не прошла незаметно. На другой день во всех московских газетах была опубликована теле-

грамма Государя, благодарившая студентов за выражение патриотизма с изъявлением “особой благодарности студентам Института инженеров путей сообщения МОЕГО ИМЕНИ”.

Сдав весенние экзамены и перейдя на третий курс, я решил ехать летом на практику. Это значило, что надо было отказаться от отдыха летом в Харькове, от поездок в Липовую Рощу, где семья Бернгард жила на даче, от встреч и разговоров с Верочкой, которая только что окончила гимназию. Откладывать дальше практику было невозможно. До допуска к дипломному проектированию мы должны были представить отчеты о практических работах, выполненных нами в течение двух строительных сезонов во время летних каникул.

Я получил предложение занять место практиканта на постройке новой стратегической железнодорожной линии Гришино — Ровно. Условия были очень хорошие. Сто десять рублей в месяц, подъемные в размере месячного жалованья и такие же отпускные в случае, если пробуду на работах не менее двух месяцев, бесплатный проезд туда и обратно. Так как управление строительства находилось в Харькове, то я мог по дороге на работу заехать домой.

Подъемные, полученные в управлении, были первыми заработанными мной деньгами. Вернее сказать, не заработанными, а только теми, которые я смогу заработать. Так или иначе, я впервые чувствовал себя самостоятельным и полезным членом общества. Но оправдаю ли я себя, не оскандалюсь ли на работах?

Меня особо радовало назначение на 4-й строительный участок, контора которого находилась в уездном городке Полтавской губернии Золотоноше, в самом центре полной романтики и чарующей прелести Малороссии. Мы все так любили ее и представляли себе либо по описаниям Пушкина:

Тиха украинская ночь, прозрачно небо... —

либо по “Вечерам на хуторе близ Диканьки” Н.В. Гоголя. Мне вспомнилась также фраза из какой-то украинской книжки: “Там, где ричка Золотоноша впадала в Днипр, стоял хутор значного казака Перетятько”.

Мой железнодорожный билет предусматривал проезд только по казенным дорогам. Из-за этого мне пришлось много раз пересаживаться. На станции Смела я ждал поезд более трех часов. Было невыносимо жарко. Открытые, без навеса, станционные платформы не давали никакого прикрытия. Глазам больно было смотреть на сверкавший на солнце песок балласта и рельсы. Я вошел в помещение станционного буфета. Тут было не лучше. Большие, давно не мытые окна плотно закрыты. Громадная черная муха жужжала и билась в стекло. На буфетной стойке, под стеклянными колпаками, лежали малоаппетитные бутерброды. Буфетчик, сидевший на колченогом венском стуле, время от времени вставал и, зевая, смахивал грязной салфеткой ползающих по пивным лужицам на прилавке мух, поднимавшихся в воздух с шумным взрывом протеста. На одном из деревянных диванов лежал человек, положив под голову набитый чем-то мешок. Он спал. На его лице — на глазах, у уголков рта — тоже сидели и ползали мухи. Это, однако, мало его тревожило. Только временами он испускал стон и выплевывал залезших в рот вторженцев. Душно. Несмотря на палящее солнце, я вышел на платформу.

Выйдя со станции в Золотоноше, я увидел, что она находилась не в городе, а стояла на большой дороге, по обеим сторонам которой расположились отдельные редкие домики. Расстояние до самого же города было не меньше четырех-пяти верст.

Я обратил внимание на дорогу. Это был, как я потом узнал, типичный украинский шлях, т.е. большая главная дорога. Нормальная ширина шляха, ограниченного по сторонам канавками, около 50 метров. В середине находилась мощенная булыжником полоса, шириной метров пять. Мостовая пребывала в плохом состоянии, изобиловала ухабами и провалами. Езда происходила по обеим сторонам мостовой. Там можно было видеть колеи, накатанные экипажами. Дорога покрыта пылью, поднимавшейся облаком при проезде. После дождей образовывались глубокие колеи и грязь, от которых спасались, переезжая на покрытые травой края, таким образом накатывая новые колеи. Когда и здесь становилось невозможным ездить, переходили на мостовую.

Перед станцией стояли парные извозчики, которые здесь назывались “балагулы”. Я нанял одного извозчика, сговорившись, что он довезет меня до гостиницы. В Золотоноше была только одна, называвшаяся “Петроградские номера”.

Едва только мы собрались тронуться, как в экипаж вскочил какой-то субъект и уселся рядом со мной. Я был изумлен. На мои протесты субъект, энергично размахивая руками, толковал мне что-то об экономии:

— Что такое? Ведь вам же будет дешевле!

С трудом мне удалось его выпроводить. Он вылез, явно негодуя на мою несговорчивость.

Хотя единственный золотоношский отель предоставлял своим клиентам весьма ограниченные возможности в отношении санитарного оборудования, все же мне удалось освежиться, смыть пыль и грязь, накопившиеся во время утомительного путешествия в пыльных вагонах. Я переоделся и привел себя в порядок. Сильно проголодавшись, я решил пойти сначала в город закусить в каком-нибудь ресторанчике и только потом пойти на службу и представиться начальству.

Выйдя на улицу, я увидел, что шлях проходил через весь город, образуя его главную и единственную мощеную улицу. Недалеко от гостиницы улица эта переходила в большую, покрытую пылью, частью заросшую травой рыночную площадь. По краям ее можно было видеть ряд одноэтажных кирпичных лавок и лабазов. Все лари и киоски на площади были пусты. Я обошел площадь кругом, ища если не ресторан, то какую-нибудь столовую или харчевню. Напрасно! Я не смог найти ничего подходящего. Окна всех лавок были заставлены либо деревянными, либо железными ставнями. Открыта была только одна булочная, она же кондитерская, по-видимому, армянская. Но и булочная выглядела так малоаппетитно, что я не решился зайти туда. Совершенно озадаченный, я вдруг увидел городового и решил искать у него совета.

— Слушайте, в чем дело? Почему все лавки закрыты? Где тут можно пообедать?

Городовой козырнул и улыбнулся.

— Как же иначе, барин? Сегодня суббота. У нас все лавки еврейские!

— Неужели нет ни одной русской? Не знаете ли вы, где можно было бы хоть закусить?

— Закусить, так точно, можно. Вон, видите — это городской клуб, — городовой показал на одноэтажный дом несколько большего размера, — там можно закусить и пообедать.

Я поблагодарил городового и направился в клуб.

Обед оказался гораздо лучше, чем я мог ожидать.

После обеда я вышел из клуба и пошел искать контору 4-го участка. Почти все дома города Золотоноши были одного типа — одноэтажные, деревянные, оштукатуренные снаружи. Неизбежной принадлежностью каждого домика были окна со ставнями и крылечки под навесом со скамеечками по бокам. Домов городского типа не было видно совсем, если не считать большого каменного здания мужской и женской гимназии, городской управы и здания банка. Правда, на некоторых улицах за садами скрывались более солидные и даже иногда каменные дома, но их было мало.

Я нашел контору участка. Прочитав вывеску, немного волнуясь, вошел в переднюю. На одной из дверей висела дощечка:

Начальник 4-го участка.
Инженер Б.Ф. ШАНЬКО.

Передав свою визитную карточку служителю, я ждал несколько минут. Наконец служитель вышел, открыл дверь и пригласил меня:

— Пожалуйте.

За письменным столом сидел одетый в белый китель инженер лет сорока. Черные, сильно поредевшие волосы покрывали высокий лоб. Голубые, приветливо улыбавшиеся глаза смотрели через золотое пенсне. Он поднялся мне навстречу, пожал руку и сказал, движением руки показывая на другого инженера, сидевшего у стола:

— Прошу познакомиться, начальник 3-й дистанции инженер Андрей Николаевич Богатырев.

Последний, чисто выбритый блондин лет тридцати пяти, с круглым красноватым лицом и полной фигурой, насмешливо прищурился и подал мне руку. Мы сели. Борис Федорович — так звали Шанько — начал так:

— Скажите... — он остановился, взглянул на мою карточку, — Василий Эмильевич, вы бывали раньше на практике?

Я ответил, что это моя первая практика, не считая, конечно, обязательной, геодезической. В дальнейшем, отвечая на вопросы, я обрисовал круг моих знаний и особых интересов. Богатырев спросил, боюсь ли я тяжелой работы и не предпочел бы лучше отдохнуть на лоне природы, и закончил:

— Говорите откровенно, мы все здесь товарищи по профессии.

Я, вспыхнув от негодования, заявил, что приехал сюда учиться и работать.

Заканчивая разговор, Борис Федорович сказал, что сегодня я свободен для устройства личных дел и что он просит меня прийти в контору в понедельник. И прибавил, что завтра, в воскресенье, он будет рад видеть меня у себя к обеду к 2 часам. Поблагодарив за приглашение, я встал и, прощаясь, спросил, в котором часу я должен приходить в контору. На это Шанько сказал улыбаясь:

— Я обыкновенно прихожу в контору к половине десятого.

Я чувствовал, что своим вопросом показал полную неопытность и, как мне показалось, наивность. Ко всему я так и не получил ответа на свой вопрос. Уши у меня горели.

Дом, в котором жили Шанько, стоял в большом саду. В доме все отвечало городскому стандарту. Большие окна, паркетные полы, солидная и красивая обстановка, рояль и ковры. Семья Шанько состояла из его жены, Екатерины Александровны, и двух дочерей — Наташи, 14 лет, и Танюши, 9—10 лет. Екатерина Александровна была моложавой, приятной наружности брюнеткой, говорила глубоким грудным голосом и обладала спокойными, но повелительными манерами. Танюша, хорошенькая девочка с темными глазками, была баловнем семьи.

Обед по воскресеньям у Шанько был традицией строительного участка, и на нем присутствовали все находящиеся в городе начальники дистанций. Дистанций, на которые был разбит строительный 100-верстовой участок, было три. На этот раз к обеду пришли начальник 2-й дистанции Шульгин со своей женой и уже мне знакомый А.Н. Богатырев, начальник 3-й дистанции, старый холостяк.

Прекрасно сервированный обед, закончившийся пломбиром и кофе с большим выбором ликеров, не оставлял желать ничего лучшего. Разговор за обедом не мог не коснуться обычной, всех волнующей темы — войны, но вскоре перешел на отвлеченные темы — искусство, литературу. Затронуты были и вопросы строительства, причем я заметил, что дамы обнаружили большое знакомство со строительной терминологией, говоря о “пикетах”, “балласте”, “карьерах”. После обеда мы играли в крокет, ели в саду смородину, собирая ее прямо с кустов. Я оставался у Шанько до позднего вечера. Хозяйка никак не хотела отпустить меня в мой “отель”.

Ровно в 9 часов утра я был уже в конторе. Там познакомился с двумя техниками и старым чертежником, также со счетоводом и другим персоналом. Вскоре пришли Шанько и Богатырев и пригласили меня к себе в кабинет. Борис Федорович сказал, что я должен отправиться на линию, произвести там топографическую съемку лога, пересекающего трассу. Мне придется прожить там, где-то около села Деньги, две-три недели. Устроиться поможет наш десятник. Подробности расскажет инженер Богатырев, который и отвезет меня туда. Сейчас мне нужно собрать вещи и расплатиться в гостинице. Богатырев заедет за мной через час.

Вскоре мы ехали в тарантасе, запряженном парой лошадей. Дорога шла по краю речной поймы Днепра. Направо, сколько мог видеть глаз, простирались луга и болота, покрытые камышом, и где-то вдали сверкала тонкая полоска серебра. Это был Днепр. Налево — холмы, покрытые полями. Поросли кустарника прятались в балках и местами обрамляли пойму. Лесочки и рощи, если и встречались, были редки. Солнце пекло неумолимо. На синем небе не было видно ни облачка.

По дороге Богатырев непрерывно поучал меня:

— Имейте в виду, что студенты на первой практике обыкновенно священнодействуют! Занимаются деталями. Все на самом деле гораздо проще. Вы меряете не какой-нибудь Парижский меридиан. Энергичный, смелый подход — вот что нужно. Время тоже играет роль. Нельзя копаться до бесконечности. Однако все должно быть точно. Нужно помнить об ответственности. Но все же никаких священнодействий! Если

не умеете, заявите с самого начала! У нас бьют не за незнание, а за скрывание своего незнания. Вы ведь не какой-нибудь на время от сохи взятый технолог или полутехник! (Подразумевался политехник.) Быстро и точно — вот что надо!

Под музыку таких поучений мы ехали уже не менее двух часов и подъезжали к какой-то деревне, как вдруг Богатырев вскричал:

— Стой!

Кучер остановил лошадей.

— Слезайте, Василий Эмильевич! Вот видите там колышек? Это пикет. Наша линия. Прочитайте его номер и, ориентируясь по линии, разыщите пикет 761 + 28. Там вы найдете десятника Перетятько. Он принесет вам все нужные инструменты, наймет рабочих. Он поможет вам также устроиться, где жить. Ваши чемоданы я отвезу на наш склад, и Перетятько принесет их вам. Ну, до свидания! Увидимся потом в Золотоноше.

Богатырев уехал, я остался один на дороге.

Убедившись, что показанный мне пикет имеет 779, я увидел, что мне надо пройти около двух верст до указанного пункта. Свернув с дороги, я пошел по линии, то шагая по высокой траве, то взбираясь на кручу. Около деревни трасса шла через огороды. Я перелезал через плетни, обжигался крапивой, прыгал через канавы. Встревоженная вторжением цепная собака хрипло лаяла, задыхаясь от злобы. Наконец я вышел из деревни и увидел деревянные бараки. Это был лог на пикете 761 + 28. Я вздохнул облегченно.

Увидев меня, подошел и отрапортовался какой-то человек с вешкой в руке. Это был десятник Перетятько. Застенчивость и нерешительные манеры мало вязались с моим представлением о “значном казаке Перетятько”, о котором я читал в украинской книжке.

Устройство моего местожительства стояло на первом месте. По предложению Перетятько мы пошли на расположенный около деревни хутор помещицы Шелухи. Усадьба хутора, дом и большой запущенный фруктовый сад находились на вершине небольшого холмика. Оттуда открывался широкий вид на прилегающую местность, на расположенное на косогоре село Деньги с утопающими в зелени белыми и голубыми хатами-мазанками. Над желтыми соломенными крышами вы-

соко поднималась колокольня большой каменной церкви. Все, казалось, дышало миром и благоденствием. Можно было забыть, что где-то на западе гремят пушки и бушует война.

Помещица, не то соломенная, не то настоящая вдова, своими стрижеными волосами и круглыми очками напоминающая классическую нигилистку, после некоторых колебаний согласилась сдать мне комнату с полным пансионом за 25 рублей в месяц. Устроившись таким образом, я пошел с Перетятько на склад посмотреть, какие там имеются инструменты. То, что я нашел, мало обрадовало меня. Теодолита совсем не оказалось. Имелся только старый гониометр. Такое положение исключало возможность применить тахеометрическую съемку. Оставалось только одно — нивелировка с поперечниками. Нивелиры нашлись, даже два, но в плохом состоянии, требующем тщательной проверки и налаживания. Вешки, мерные стальные ленты, шпильки и рулетки имелись, но нивелирных реек оказалась только одна. Теория же требовала две. Запрашивать вторую рейку из участка в Золотоноше значило терять время. Я решил приспособиться и работать с одной.

Перетятько я дал распоряжение заготовить на завтра в нужном количестве деревянные колышки и нанять рабочих. Вечером я пил чай и ужинал с госпожой Шелухой. Она была “щирая украинка”, говорила только на “мове”, не могла или не хотела говорить по-русски. Я очень устал после обхода днем всей долины лога, пошел рано спать и спал как убитый. Даже неистовые комары не могли разбудить меня.

Съемку против ожидания я закончил раньше, чем думал. Курьезно, но в этом мне помогли мои совершенно необычные рабочие, которых мне раздобыл Перетятько. Это были мальчишки не старше 14—15 лет: все взрослые либо на войне, либо уже работали у подрядчиков. Держать вертикально в руках тяжелую двухсаженную рейку такой мальчишка еще мог, но переносить ее с места на место оказалось ему не под силу. Определив к рейке вместо одного двух “рабочих”, я добился того, что они таскали ее с точки на точку рысью, если не галопом. Их ретивость в этой новой игре я поощрял распределением леденцов, купленных в деревенской лавочке.

Пребывание целыми днями, с раннего утра до позднего вечера, на открытом воздухе способствовало тому, что я не только физически окреп, но и морально успокоился. Исчезла прежняя неуверенность и опасения (“справлюсь ли?”), которые меня раньше мучили.

Я понял, что “шуточка” Богатырева, пославшего меня вдоль трассы через огороды, была неслучайна. Нужно было “разыграть” студента-новичка! Тоже почти обычная традиция. Все это, однако, более чем компенсировалось вниманием и помощью, когда я вернулся в Золотоношу, с успехом выполнив первое задание. Даже посылка меня на линию была определена не только технической необходимостью. Прошло много лет, прежде чем я узнал закулисную историю этого решения. Оказывается, дело было так. В первое воскресенье, когда я обедал у Шанько, Екатерина Александровна нашла, что я слишком бледен и худ.

— Слушай, Борис! — сказала она мужу. — Твой студент нуждается в поправке. Нужно, чтобы он побегал на свежем воздухе, окреп и откормился. Отправь его в деревню. Пусть пробудет там недели три — месяц.

После пребывания в деревне Золотоноша показалась столицей. Мне без труда удалось найти приличную комнату с пансионом в одном из благоустроенных домов. Семья Шанько встретила меня приветливо и тепло. Маленькая Танюша не скрывала своего расположения. Старшей дочке Наташе я начал давать уроки английского языка к большому удовольствию Екатерины Александровны. Обе девочки, благодаря стараниям матери, говорили по-французски, но уроки английского были вне пределов досягаемости в Золотоноше.

Присутствие инженеров-строителей всколыхнуло патриархально тусклый образ жизни узкого круга, того, что считался “обществом” этого города. Обычное времяпровождение здесь было ограничено хождением в гости, карточной игрой, изредка балами в клубе и главным образом сплетнями. Из-за войны балы выпали из программы. Теперь инженеры, хотя и державшиеся особняком, давали пищу толкам и пересудам. Надо сказать, что под понятием “инженеры” подразумевались все члены “путейской” компании, включая дам и детей.

“Инженеры сегодня играли в теннис в городском саду”, — сообщала молва. Фактически “инженерами” в этом случае были Наташа и ее подруги. “Инженеры сегодня уехали на автомобиле” — это был Борис Федорович со студентом-практикантом, поехавшие для осмотра работ на участке. Даже наличие автомобиля в Золотоноше было сенсацией. Этот казенный, предоставленный в распоряжение начальника участка шестиместный “даррак” был единственным автомобилем во всей округе, радиусом не менее 100 верст, да к тому же и первым. Наш шофер Волкович, с очками-консервами на носу и в перчатках с крагами, был предметом поклонения всех местных мальчишек, пыхтящих и бегающих по улицам с вырезанными из картона очками.

В городском саду я нашел остатки когда-то существовавшей теннисной площадки. Приведение ее в порядок не потребовало слишком больших усилий и затрат. В этом мне очень помог новый член нашего общества. Янушевский — молодой человек, только что окончивший путейский институт, был назначен к нам на участок в качестве “инженера для технических занятий”, как гласил обычный титул начинающего специалиста. Легкомыслие и беспечность этого господина не имели границ, но он внес немало оживления в спокойный ритм нашего золотоношского существования.

В работах конторы присутствие Янушевского, однако, почти не чувствовалось. Его умение увиливать и уклоняться от серьезных заданий было феноменально. Борис Федорович, сам, не щадя сил, отдающийся работе, хмурился, но терпел. Мне он поручил рассчитать и запроектировать железобетонную трубу под насыпью на памятном мне пикете 761 + 28. Труба, благодаря высокой насыпи и большой пропускной способности, которой требовал сток весенних вод, оказалась крупным сооружением. Потребная ширина была 2 сажени и длина около 30 саженей. Я с увлечением занялся расчетами и проектировкой, руководствуясь нормами и инструкциями, разработанными техническим отделом Управления работ в Харькове.

Несмотря на то что строительство нашей дороги было признано стратегическим, все же работы в самой Золотоноше по временам задерживались из-за отсутствия цемента, арматурного железа и рабочей силы. Поэтому я был очень доволен, когда Борис Федорович заявил, что технический от-

дел утвердил проект моей трубы и рассчитанного мной свайного основания. Теперь я должен был снова выехать в Деньги и вести технический надзор за свайной бойкой. Я быстро собрался и поехал. Уже в середине июля свайная бойка шла полным ходом.

Как ни интересно и приятно было пребывание на практике, все же я решил провести конец августа в Харькове. Мечтал встретиться с Верочкой. Изменилась ли она? Как меня встретит после долгой разлуки?

Я распрощался с милой семьей Шанько. Борис Федорович сказал, что если все будет в порядке, то он в следующем году рад видеть меня снова на 4-м участке.

Я уехал, обогащенный новым опытом, полный чувства благодарности всем коллегам за оказанную дружбу и помощь. Даже шуточки Богатырева имели свою пользу и не носили злостного характера.

В Харькове меня снова охватило горячее дыхание войны. Пасторальную атмосферу Золотоноши унесли прочь порывы ветра, доносившиеся с фронта. Повсюду в городе можно было видеть госпитали, открытые в школах и гимназиях. На улицах офицеры и солдаты, забинтованные, ковыляющие на костылях, встречались на каждом шагу. Большинство молодых дам и девиц преобразились в сестер милосердия и работали в госпиталях как волонтерки. Моя мать стала членом Татьянинского комитета и почти все время посвящала ему, будучи занята организацией приюта для детей беженцев. Приют помещался в комфортабельном доме нашего старого знакомого Ф. Шмидта. Сам Шмидт, германский подданный, был выслан, и дом его конфискован. У Бернгардов Лиля попрежнему работала сестрой милосердияя в лазарете, Верочка окончила гимназию и собиралась поступить на Высшие женские курсы.

Не прошло и нескольких дней, как я получил повестку: меня призвали в армию. Случилось то, чего я давно ожидал. Не скажу, что я был обрадован, но все же ощутил некоторое облегчение. Исчезло чувство неловкости, которое я испыты-

вал по отношению к своим друзьям, к Листратову. Я отказался от медицинского обследования, чувствуя себя абсолютно здоровым, и получил увольнительную записку до 15 сентября.

Этот отпуск навел меня на мысль поехать в Москву и сдать на осенней экзаменационной сессии несколько экзаменов. Ведь война не будет длиться вечно! Через полгода-год кончится!

В Москве меня встретила тетя, как-то странно взглянула на меня и сказала:

— Вот что, Вася! Оставь свои чемоданы и иди скорее в Институт. Там узнаешь что-то интересное для себя.

В Институте висело объявление о том, что "...по соглашению господина министра путей сообщения с господином министром военных дел студенты трех курсов обоих Институтов инженеров путей сообщения освобождаются от призыва в армию...".

Ну что ж, судьба! Моральное успокоение давал тот факт, что страна, по-видимому, больше нуждалась в нас как в техниках, чем как в резервах для пополнения офицерских кадров.

Самой большой переменой, которую принесли мне 1915—1916 годы, было то, что Верочка Бернгард переехала в Москву и поступила на историко-философский факультет Московских Высших женских курсов. Она поселилась в общежитии курсов на Большой Садовой улице. Режим общежития был строго монастырский. Посетители допускались только в общую приемную. Однако мы часто устраивали прогулки, бывали вместе в музеях, театрах, ездили на симфонические концерты в Сокольники. Теперь у меня был человек, с которым я мог делиться мыслями и который, как мне казалось, не был совсем равнодушен ко мне. Я очень жалел, что наша старая компания, собиравшаяся раньше у Листратовых, расстроилась. Коля и его брат летали уже на фронте. Совместные встречи нашей группы если и имели место, то бывали теперь только у Турчаниновых. В то время как я очень хотел бы познакомить Верочку с Листратовыми, мне мало улыбалась мысль ввести ее в турчаниновское окружение. Я знал, что там тон легкомысленной псевдоартистической богемы ей мало понравит-

ся. Жена Турчанинова была, как я уже упоминал, балерина. Правда, она не окончила Императорское Балетное училище, а обучалась раньше в какой-то студии и танцевала теперь, как говорили злые языки, “у воды” в театре Зимина, но она сама считала себя по меньшей мере “корифейкой”. Мария Яковлевна Турчанинова, урожденная Блум, была дочерью военного врача, крещеного еврея, достигшего генеральского ранга. Ее манеры и поведение были какой-то странной смесью экстравагантности театральной среды и условностей и традиций офицерского общества. Причуды и капризы этой дамы, считавшей себя неотразимой, не знали границ. Больше всех от этого страдал ее муж. Женитьба Сиренко на еврейке привела к сближению этих пар. Мария Яковлевна явно сочувствовала Полине Борисовне.

Мне не пришлось долго раздумывать, знакомить ли Верочку с Турчаниновыми. Леля безнадежно провалился на последней сессии, остался на втором курсе и был мобилизован. Его отправили в школу саперных прапорщиков в Одессе.

Год прошел быстро. В Институте днем лабораторные работы, вечером — работа над проектами в чертежной. Но какой контраст представляла теперь картина жизни чертежной по сравнению с тем, что было на переполненном первом курсе! Там — шум, беготня. У нас — почти пустой зал. Три-четыре лампочки, горящие над столами. Спокойные разговоры вполголоса. Издали доносится, то замирая, то снова нарастая, спокойное церковное пение: идет служба в домовой церкви Института.

Сняв телефонную трубку, я вдруг услышал знакомый голос:

— Это я, Листратов. У меня короткий отпуск. Нам надо встретиться. Все в порядке. Как видишь, цел и невредим!

Коля, летавший уже более года, стал подпоручиком, что можно было видеть по двум звездочкам на его серебряных погонах, украшенных маленькими черными орлами. На груди — алая ленточка. На такой же ленточке висел темляк его кортика. Он получил орден Св. Анны. Напрасно я пытался узнать, при каких условиях. Он либо отмалчивался, либо уверял, что это был пустяк.

— Просто заготовили много орденов и не знали, как их рассовать.

Он сказал, что его брат летает вместе с ним на том же аэроплане наблюдателем.

Коля предложил мне достать билеты в 1-ю Студию Художественного театра, где в это время шел с громадным успехом “Сверчок на печи” по Диккенсу. Я просил взять мне два, так как хотел познакомить Верочку с ним.

Мы все трое были очарованы и захвачены спектаклем. В это время представления Студии шли в маленьком зале, где помещалось не более 50—60 человек. Сцена не имела рампы. Сидя близко, зрители забывали, что они в театре, и чувствовали себя участниками драмы.

Коля страшно сожалел, что должен уехать на следующий день. Ему очень хотелось познакомить Верочку с Анночкой.

Был конец апреля. Передо мной стояли тяжелые дни экзаменационной сессии, не далеко за ними было и желанное время летней практики. Я ожидал обещанного предложения от инженера Шанько.

Как-то я оказался на Курском вокзале. Навстречу мне шел молодой инженер-путеец. Увидев меня, он замахал рукой и поспешил мне навстречу.

— Василий Эмильевич! — вскричал он. — Это я, Янушевский. Как поживаете?

Мы поздоровались. Он сообщил мне, что бросил работу на Гришино — Ровно, получил место в министерстве в Петрограде.

— Между прочим, знаете ли вы, что вы там натворили? Нет? Да вы вашу трубу разбили не на месте. Наврали в координатах. Она теперь торчит наполовину из насыпи. На Бориса Федоровича за это начет! Около ста тысяч! Ну, прощайте. Я тороплюсь. Мой поезд сейчас отходит! — Он исчез.

У меня кружилась голова. Возможно ли это? Разбивка была не совсем проста. Труба была на кривой, но я тщательно проверял все вычисления, точно брал все отсчеты в поле.

Я потерял сон. Колебался писать ли Борису Федоровичу. Почему он сам не сообщил мне об этом?

Так прошла почти неделя, как вдруг я получил письмо от Шанько. Он снова приглашал меня к себе. О трубе — ни слова! Неужели Янушевский все это выдумал? От него, впрочем, этого можно было ожидать. Но тут его легкомыслие переходило все границы. Он, очевидно, не понимал, к каким последствиям это могло привести.

Я послал Шанько письмо с согласием и благодарностью за приглашение. О трубе я не спросил.

И вот я снова в Золотоноше. Приветливая и сердечная встреча в доме Шанько. После традиционного обеда в воскресенье Борис Федорович заявил мне, что он завтра едет осматривать работы на всем участке и что возьмет меня с собой.

— Вам ведь интересно посмотреть на вашу трубу. Она уже полностью закончена.

Ни слова о каких-нибудь ошибках.

На другой день мы поехали. Вот и село Деньги. Вот и знаменитый пикет 761 + 28. Труба лежит под насыпью так аккуратно, как и следует. Параболический "воротник жесткости" точно совпадает с поверхностью насыпи. У меня свалился камень с сердца. Ах, проклятый Янушевский, если бы ты был здесь!

Мы проехали дальше до Глобина. Там нас встретил начальник 1-й дистанции Леденков. Доверенный подрядчика пригласил нас пообедать с ними в бараке. Они, оказывается, ожидали приезда Шанько. Борис Федорович дал свое согласие. Мы вошли в барак. То, что я увидел там, было совершенно неожиданно. Большой стол, накрытый безукоризненно белой скатертью. Накрахмаленные салфетки на приборах. Цветы и вазы с фруктами. Бутылки с винами, шампанское во льду, хрустальные бокалы и рюмки.

К ужасу доверенного подрядчика, Борис Федорович наотрез отказался от какой-либо выпивки. Я последовал его примеру. Огорченных хозяев только немного успокоило согласие начальника дистанции и его техника. Но едва ли пиршество было организовано в их бенефис.

Всю мою практику в этом году я провел в Золотоноше, работая в конторе над составлением нарядов подрядчикам, смет и т.д.

В Москву вернулся осенью 1916 года. Занятия в Институте оставляли мало свободного времени. Мы сидели с утра до позднего вечера в Институте на лабораторных работах, практических упражнениях и курсовых проектах. Надо сказать, что большинство из нас считали себя морально обязанными напрягать свои силы к скорейшему окончанию курса, после того как мы, путейцы старшего третьего курса, были освобождены от призыва в армию.

Хотя мы, в отличие от студентов других высших учебных заведений, всегда сравнительно мало занимались политикой, ход событий не позволял ее совершенно игнорировать. Неудачи на фронте, непрекращающиеся интриги в правительственных кругах и чехарда министров подорвали доверие к власти. Прежнее патриотическое воодушевление сменилось раздражением и критикой. Особое негодование вызывала деятельность Распутина. Всем было известно о его участии в назначении министров, в принятии правительством тех или иных решений. Многих возмущало то, что в XX веке к кормилу правления подобрался какой-то шаман-кудесник. Деятельность Распутина принесла много вреда. С другой стороны, замолкшие после начала войны заговорщики-террористы, нигилисты и марксисты, учуяв благоприятную обстановку, возобновили свою разрушительную подрывную работу. Уже в сентябре 1915 года они пытались организовать под каким-то предлогом забастовку всех учебных заведений. Если в Университете и еще где-то они могли похвалиться частичным успехом, то в нашем Институте их ожидал полный провал. Мы без долгих разговоров сорвали вывешенные ими плакаты с призывом к забастовке, организовали обход всех аудиторий с просьбой к студентам ни в каком случае не пропускать занятий в назначенный день. Успех был полный! Никогда так не были полны аудитории и чертежные, как в этот день. Не везде, однако, было так благополучно.

К концу 1916 года, в значительной степени благодаря усилиям и организаторским талантам Военно-промышленного комитета, был ликвидирован недостаток в снабжении армии снарядами, оружием и обмундированием. Это вновь пробудило надежды на скорый и благополучный исход войны. Убийство Распутина в декабре 1916 года открывало вновь

перспективы единой работы Правительства и народа. Однако это видели и руководители подполья. “Теперь или никогда!” — был их лозунг.

Повод к использованию все еще имеющегося недовольства дала задержка в феврале 1917 года со снабжением хлебом Петрограда. К очередям, стоявшим за хлебом, добавились присланные агитаторами фабричные рабочие. За ними последовали части войск, стоявшие в городе и желавшие избежать отправки на фронт.

Революция началась.

Начало революции в Москве я увидел с довольно необычного пункта наблюдения. Я был в тот день в кафе “Мюр и Мерелиз”. Это комфортабельное, уютное и недорогое кафе помещалось на седьмом этаже громадного универсального магазина, стоявшего на углу Театральной площади рядом с Большим театром. Услышав крики и шум, я подошел к окну, откуда открывался вид на всю Театральную и часть Вознесенской площади. Громадные толпы народа, запрудившие улицы, шли к Городской думе. Они несли какие-то транспаранты. Над головами развевались красные флаги.

Выйдя на улицу, я попытался пробраться домой. Повсюду такие же толпы стремились со всех концов города в центр. На одном из транспарантов я прочитал: “Да здравствует демократическая республика!” Я изумился и подумал: “Совсем ошалели! Куда хватили!”

В самом деле, такое требование в тот момент казалось совершенно несуразным. Широкие слои населения при всем своем недовольстве деятельностью Правительства, критикуя его, исходили из позиций лояльности к строю. Успешное ведение войны стояло на первом плане. Этим оправдывалось требование устранения чехарды в правительственных кругах. Самым радикальным желанием было, чтобы Государь, слабый и неустойчивый человек, не отвечающий требованиям момента, отрекся от власти и передал трон кому-нибудь более дееспособному. Таковым виделся Великий Князь Николай Николаевич. Считалось, что он спасет государство и укрепит трон. О свержении монархии и установлении республиканского строя никто не думал.

Такая толчея на улицах Москвы продолжалась и на следующий день. Отсутствие газет не давало знать о настоящем положении дел. Ходили слухи, что власть перешла в руки Государственной думы. Наконец появились сведения об организации Временного правительства, о переговорах в Ставке с Государем. Сообщалось, что воинские части в Петрограде одна за другой во главе с офицерами выражают свою преданность и верность Временному правительству.

Обращало на себя внимание полное отсутствие какого бы то ни было сопротивления со стороны приверженцев старого строя. В Петрограде знаменитые гвардейские полки — Павловский, Семеновский и др. — были одними из первых, присягнувших Временному правительству. В Москве я видел ехавший по городу эскадрон жандармов с обвязанными вокруг погон громадными красными бантами.

Вскоре вышедшие вновь газеты сообщили об отречении от трона Государя за себя и Наследника в пользу Великого Князя Михаила. За этим последовало отречение и Михаила.

Сомнений больше не оставалось: в России имела место революция. Население ее не желало. Не было пользующихся признанием руководителей, революция произошла как-то сама собой и не встретила сопротивления. Руководители и "углубители" появились после. Для большинства народа эта "бескровная", как ее начали называть, революция завершилась образованием Временного правительства и отречениями от трона. Окончательное оформление завоеваний революции должно было потом дать имеющее быть выбранным Учредительное собрание. Сейчас нужно прекратить празднование достигнутого и заняться неотложными делами, и в первую очередь ведением войны. Но не тут-то было. Раз сдвинутый с места камень покатился по откосу дальше вниз.

Организованные повсюду Советы рабочих и солдатских депутатов, особенно Петроградский, вносили полный беспорядок своими распоряжениями и постановлениями, подрывая авторитет Временного правительства. Последнюю тень легализации отняло от него отречение Михаила. "Углубители" революции — агитаторы орали на каждом выступе, призывая к расширению завоеваний революции. Никто не спешил на

работу. Толпы топтались по улицам, лузгая подсолнечные зернышки и расплевывая шелуху направо и налево. Начавшиеся с первых дней преследования полиции, охота и травля отдельных городовых и околоточных привели к полному разгрому полицейских участков. В последнем приняли горячее участие уголовные элементы, пополненные освобожденными из тюрем заключенными.

Сидеть сложа руки и пассивно смотреть на продолжающееся бессмысленное топтание народных масс на улицах казалось больше невозможным. Надо было что-то делать! Надо было что-то предпринимать! Как-то бороться с наступающей анархией!

По чьей-то инициативе — вероятно, Городской управы — во все полицейские участки были назначены комиссары из числа молодых профессоров, приват-доцентов и присяжных поверенных. Последние призвали студентов исполнить роль временных полицейских. Многие, в том числе я, отозвались на этот призыв.

Я попал в Тверской участок. Там встретил печальную картину. Все окна разбиты, а рамы сорваны с петель. Шкафы взломаны и пусты. Пол покрыт затоптанными и разорванными бумагами.

В участке мы получили свидетельства “милиционеров”, вооружились винтовками, получив самые элементарные указания, как ими пользоваться. Наши функции полицейских были несложны. Мы регулировали хлебные очереди, охраняли продуктовые магазины от разграбления, сопровождали арестованных громил в теперь почти пустые тюрьмы.

Вскоре я, однако, прекратил свою деятельность в качестве вспомогательного полицейского, решив, что с угрозой наступающей анархии и развала надо бороться на другом фронте. Так как старый строй не нашел защитников и сторонников, то сопротивление роковому скольжению вниз мог оказать только умеренный либерализм, отрицающий в принципе революцию как средство. Такому либерализму никто не мог, однако, бросить упрек в ретроградстве и реакционности, потому-то он мог стать опорным пунктом для борьбы с “углублением” революции.

Представителем такого либерализма была партия конституционалистов-демократов, или, как она себя называла, Партия

народной свободы. Зная настроения большинства наших студентов, я решил организовать активную группу этой партии. Я написал и вывесил большой плакат, призывающий студентов на организационное собрание группы Партии народной свободы. Успех превзошел мои ожидания. Большое количество студентов записалось в группу. Мы выбрали комитет, меня избрали председателем. Протокол нашего собрания я сообщил в московский комитет партии. Организация нашей группы была очень кстати, так как на днях должно было состояться общее собрание студентов для обсуждения политического положения, которое ухудшалось с каждым днем. Нерешительность и слабость Временного правительства, допустившего беспрепятственное существование и функционирование Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, привели к ярко выраженному двоевластию. При этом было видно, что авторитет все более и более переходил от Правительства к Советам. Приказ 1, приведший к деморализации и разложению армии, издан был, правда, не Правительством, а Советом в Петрограде, однако многие об этом не знали, так как Правительство не решалось демонтировать его в решительной и не допускающей каких-либо сомнений форме.

На нашем студенческом собрании, состоявшемся 15 марта, председательствовал, как всегда, студент-дипломник Керученко. Ему и нашим строго соблюдаемым парламентским формам обязано то, что собрание не превратилось в типичную безобразную студенческую “сходку”, так хорошо мне знакомую со времени бытности моей студентом Университета. Начать с того, что Керученко не допустил выступления посторонних агитаторов, приведенных кучкой наших социалистов для своего подкрепления. Потерпев тут поражение, они пытались компенсировать это своим многословием и демагогией. Необходимо было выступление со стороны нашей кадетской группы. Так как никто из нас не решался, то я взял эту роль на себя.

Это было мое первое публичное выступление. Когда я вышел на трибуну и начал свою речь, у меня вдруг пропал голос. Крики “Громче, громче!” подбодрили меня, я оправился, воодушевился, голос окреп. Дружные аплодисменты поддерживали мои предложения. Заканчивая выступление, я прочитал проект резолюции:

— “Просить Временное правительство принять немедленные меры к роспуску Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и аресту всех агентов и шпионов, ведущих подрывную работу в армии”.

Резолюция была принята громадным большинством против четырех-пяти голосов. Всякие искажающие смысл поправки отклонены. Естественно, такие резолюции не могли в какой-либо мере изменить ход событий, будучи одиночными и изолированными. Однако это не значило, что тут было выражено мнение не имеющего значения меньшинства. Большинство мало-мальски мыслящей публики думало так же. Не хватало только организации и инициативы.

Пассивность была следствием многолетнего отстранения широких слоев от какой-либо ответственной общественной деятельности. Революционные круги, наоборот, имели кадры подготовленных пропагандистов, горящих желанием играть политическую роль. Безответственность в аргументации и деятельности шла здесь им только на пользу. Не было такой лжи, которой они бы постеснялись. Но у революционных кругов было свое достоинство, которым их противники не обладали. Они привыкли делать свое дело сами, собственными силами, не трусить, предоставив защиту своих идей кому-то другому.

Полный паралич правых привел к тому, что защита идей права, порядка, законности и верности своим обязательствам свалилась на плечи так называемых кадетов, Партии народной свободы. Нет сомнения, что и лидеры, и члены этой партии свято верили во все эти принципы, но роль “защитников” и борцов была им не под силу. Я имею здесь в виду не парламентскую трибуну, а революционную улицу с митингами на каждой площади и перекрестке.

После организации кадетской группы в Институте я был выбран в президиум общестуденческой фракции партии в Москве. Это дало мне возможность встречать, узнать и оценить лидеров партии, как московских, так и петроградских, в “домашней обстановке” — в клубе партии.

Клуб помещался в прекрасном особняке в стиле позднего барокко в Брюсовском переулке, 19. Там мы устраивали заседания общестуденческой фракции, конференции с иногородними студентами, заслушивали доклады наших лидеров.

Самым интересным был обмен мнениями и непринужденные беседы за чашкой чая. Иногда нас, членов президиума общестуденческой фракции, приглашали на заседания московского комитета партии. Через клуб мы имели доступ к "внутренней" информации о политическом положении, особенно в то время, когда кадеты еще оставались членами Временного правительства.

Среди более крупных представителей партии, с которыми мне пришлось встречаться, могу упомянуть профессоров Мануйлова, П.И. Новгородцева, Кизеветтера, доктора Шингарева, профессора Кокошкина, князя П.А. Долгорукого, профессора-путейца П.А. Велихова. Уже самый перечень имен дает некоторое представление о характере этой публики. Все это были представители культурной элиты без примеси художественной богемы. Не было заметно и присутствие предпринимательского, "капиталистического" элемента. Все эти господа были хорошо воспитаны, обладали хорошими манерами. Почти все — крупные величины в области своих специальностей, зачастую с европейской репутацией. И на парламентской трибуне, и на профессорской кафедре трудно было бы найти им равных. Но представьте себе их на типичном послереволюционном митинге солдат и пролетариата, орущих: "Долой министров-капиталистов! Мир без аннексий и контрибуций!" Что мог на таком митинге возразить мягкий и культурный Кокошкин, например, на утверждение "Зачем нужны Милюкову, товарищи, Барбанеллы? Да потому у него там имение, товарищи!"?

Единственным исключением среди этих нежизнеспособных либералов был князь П.А. Долгорукий. Как сейчас представляю его себе стоящим на трибуне в цирке: аккуратная борода, бобровая шапка, шуба с таким же воротником, он бросает энергичные фразы в толпу, не стесняясь рева и размахивания кулаками, в то время как горстка студентов-кадетов отталкивает от него "революционеров" и борется с разъяренной солдатней.

При таком положении только студенческая фракция могла взять на себя задачу активной борьбы в массах. Среди нас нашлось несколько человек, одаренных ораторским талантом, находчивостью и энергией. Таким оказался наш председатель — студент-универсант Комерницкий, весьма энер-

гичный и смелый блондин с горящими глазами и живыми жестами. Вторым был молодой помощник присяжного поверенного Кример, примкнувший к студентам. Он только что окончил Университет и со студентами чувствовал себя увереннее, чем со старшим поколением. На редкость блестящий полемист. Другие более или менее удачные ораторы нашлись главным образом среди юристов. Остальные студенты выступали в качестве охраны ораторов, защищая их от толчков и ударов. Мы узнавали, где большевики и их присные организуют митинги, и посылали туда наших ораторов. Редко мы могли уговорить наших лидеров принять участие в таких митингах. Исключением был, как я уже упомянул, князь Долгорукий. Нельзя было не заметить чрезвычайно интересного обстоятельства. В то время как мы обычно приезжали на митинги за свой счет на трамвае или приходили пешком, большевицкие агитаторы появлялись на автомобилях или привозились на такси. Явно большевики располагали такими средствами и фондами, о которых мы, "капиталисты", и мечтать не могли. Источник этих средств не оставлял сомнений. Они шли оттуда, откуда приехал запечатанный вагон!

В Институте стало известно, что в начале мая созывается I Всероссийская студенческая конференция. Ввиду этого должно было состояться общее собрание студентов для выбора делегатов на конференцию.

На собрании после выбора президиума, в котором Керученко как всегда получил пост председателя, от лица организационного комитета конференции выступил студент Барыков. Он сообщил нам дату, регламент и место заседаний конференции.

Согласно регламенту, все высшие учебные заведения имели право послать одного депутата от каждых 500 человек студентов. Так как у нас числилось 520 студентов, то мы имели право на одного депутата. Конференция должна была собраться в Большой аудитории Московских Высших женских курсов.

После предложения называть кандидатов таких было выдвинуто только два — Барыков от группы "объединен-

ных социалистов” и я — от Партии народной свободы. При голосовании Барыков получил только пять голосов, все остальные присутствующие, около 400 человек, голосовали за меня.

В день открытия конференции, когда я пришел утром в мандатную комиссию конференции и предъявил протокол выборов, я нашел там, к своему изумлению, Барыкова.

— Каким образом вы здесь? — спросил я его.

— Я здесь, так как выбран представителем наших студенческих организаций! — заявил он, нагло улыбаясь.

Это было мое первое знакомство с социалистической демократией, с “организацией” общественного мнения. В доложенном нашим студентам регламенте не упоминалось ни одним словом о таком представительстве. Единственной “общественной организацией” нашего Института было Общество взаимопомощи, в котором членами состояло 10—15 студентов, причем активными членами были только три человека — в том числе Барыков, — торговавших в студенческой лавочке, где продавалась тушь, чертежные принадлежности и бумага.

После такого опыта я уже не удивлялся тому, что я увидел на этой конференции. Начать с того, что из почти 3000 депутатов только одиннадцать были кадеты. Остальные — социалисты всех мастей и оттенков. Таким образом, 11 кадетов образовали крайнее правое крыло. Крайнее левое представляли около десятка студентов, называвших себя анархистами. Такой состав определил, конечно, и характер работы конференции. Главной ее целью было, как заявлялось, превращение высших учебных заведений в “опорные пункты социальной революции”. Мы, кадеты, безуспешно пытались доказать, что главной и единственной целью высшей школы может являться только подготовка знающих и нужных ученых и специалистов во всех отраслях науки и техники. Такие “реакционные и отсталые” точки зрения встречали только улюлюканье и негодующее осуждение присутствующих. Второй темой, подвергшейся осуждению, было участие представителей студентов в Советах профессоров. Согласно марксистской схеме, профессора являлись эксплуататорами и как таковые должны были находиться под контролем эксплуатируемой массы студенчества. Наши возра-

жения не имели никакого успеха, и в конце концов нас просто лишили слова. Неожиданную защиту и поддержку мы получили со стороны анархистов, которые заявили свой протест против подавления меньшинства, как они выразились, “социалистическим болотом”.

Все это показало, что участие в такой конференции, было ненужной тратой времени. Я компенсировал себя тем, что во время конференции мог посещать и осмотреть прекрасное здание Высших женских курсов на Девичьем поле и каждый день встречаться здесь с Верочкой, которая училась на историко-философском факультете.

Как-то раз, гуляя с Верочкой после конференции в Петровском парке, я решил сказать ей то, что уже давно лежало у меня на сердце. Велика была моя радость, когда я узнал, что она тоже разделяет мои чувства. Мы могли хоть на время забыть раздражающую бестолковщину того, что происходило вокруг нас. Правда, в это время можно было еще строить иллюзии, считая все несуразности “бескровной” революции преходящими, и думать, что все когда-нибудь придет в порядок.

Наше решение по волнующему нас вопросу мы считали пока преждевременным сообщать официально.

В Брюсовском переулке состоялись два интересных доклада и, кроме того, имело место заседание московского комитета партии совместно с президиумом общестуденческой фракции.

Первый доклад — профессора Кокошкина — был посвящен закону о выборах в Учредительное собрание. Разработку этого закона Временное правительство поручило ему. Кокошкин подробно объяснил, каким образом он считал возможным обеспечить формулировками закона действительное отражение ничем не искаженной воли избирателей. Нельзя было сомневаться в безупречности намерений составителя закона или в его глубоких юридических знаниях и умениях, но все же это было страшно абстрактно. Кругом бушевала буря и горели пожары, а профессор

Кокошкин не торопясь и с любовью отделывал юридические тонкости.

Вторым скорее не докладом, а сообщением было то, что рассказал Шингарев об обстоятельствах отречения Великого Князя Михаила. Для переговоров с ним явились в числе прочих Родзянко, Милюков и Шингарев. Когда Михаил отказался и переговаривающие вышли из его кабинета, Милюков сказал:

— Нет, господа, это совершенно невозможно! Я пойду еще раз!

Он вышел оттуда через несколько минут, резко хлопнув дверью. Шингарев так описывал происшедшее: «Я никогда не видал Милюкова в таком состоянии... Он был взбешен... На красной физиономии торчащие белые усы топорщились, как у рассерженного кота... Задыхаясь, он вскричал: “Безвольный человек... Тряпка... Дурак!..”»

Совместное заседание московского комитета партии со студенческим президиумом было посвящено политике партии по вопросам высшей школы, в частности участию представителей студентов в работе советов профессоров. Все присутствующие профессора — председательствующий А. Мануйлов, П.И. Новгородцев, А. Кизеветтер и др. — резко выступили против такой идеи. Только профессор нашего Института Павел Аполлонович Велихов занял другую позицию. Он не видел ничего плохого в присутствии студентов на заседаниях Совета профессоров.

— Все мы — профессора и студенты — члены одной корпорации, и нам нечего скрывать от студентов!

Выступление Велихова вызвало удивление и недовольство присутствующих. Мануйлов спросил:

— Ну, а вы, господа студенты, как вы думаете?

Комерницкий и я заявили, что мы, студенты-кадеты, категорически отвергаем эту идею. Мы сообщили о нашей — правда, бесплодной — борьбе на Всероссийской студенческой конференции.

В последующих выступлениях не могущие успокоиться профессора беспощадно разделали Велихова. Бедняга краснел и ерзал на своем стуле.

Когда я вышел из клуба, моросил дождь. Было темно. Вдруг я заметил тень у решетки ворот. Это был Павел Апол-

лонович. Он спросил меня, где я живу. Я сказал, что на Александровской площади, недалеко от Института.

— Я вас подвезу, найму извозчика, — ответил Велихов.

Мы поехали. По дороге он начал вновь повторять мне свои аргументы, объясняющие его позицию. По-видимому, резкий отпор, который он получил, затронул его глубоко.

— Разделали, как какого-то большевика! Да ведь к тому же свои!

Я успокоил его как мог. Он был очень популярен у студентов — этот милый, любезный и отзывчивый человек. Несмотря на то что мы все немного подсмеивались над ним, над его забавным выговором (он говорил "л" вместо "р"), мы никогда не упускали возможность слушать его лекции. Он был блестящий и талантливый инженер и ученый. Его лекции по статике сооружений были так увлекательны и занимательны, что мы забывали, что речь шла о мертвой материи и математических абстракциях.

Кто бы мог думать, что не пройдет и года, как Кокошкин и Шингарев будут задушены в больнице озверевшей большевицкой матросней, а мягкий и деликатный Велихов вскоре будет расстрелян как "враг народа"...

Экзаменационная сессия кончилась. Получив приглашение Б.Ф. Шанько, я снова должен был ехать на постройку Гришино — Ровно. По дороге я заехал в Харьков, подвез туда Верочку. Расставаться не хотелось. Я решил уехать с практики на этот раз пораньше, чтобы провести побольше времени в Харькове.

В Золотоноше, как всегда, приветливо. Начальником 3-й дистанции был по-прежнему Богатырев. В роли инженера для технических занятий появился новый молодой инженер-путеец И.В. Потемкин. Здесь до сих пор сохранились дисциплина и порядок, что действовало освежающе после московской толчеи и шатания.

На постройке имела место задержка с получением арматурного железа для железобетона. Пролетное строение малых мостов не могло поэтому быть выполнено в срок. Шанько посадил меня на расчет временного пролетного строения этих мостов из рельсовых пакетов.

По воскресеньям, как и раньше, Богатырев, Потемкин с женой и я проводили время у Шанько. Из Петрограда к ним приехала молоденькая сестра жены Бориса Федоровича, Вера Александровна Мехина. Она была студенткой Высших курсов иностранных языков, изучала английский и принимала горячее участие в политической деятельности, работая в студенческой фракции Партии народной свободы. Присутствие ее и молодой жены Потемкина очень оживило компанию. Инженер Богатырев, старый холостяк, был, по-видимому, поражен стрелой амура, ухаживал за Мехиной отчаянно, но не встречал желаемого ответа и только сердил ее, называя "кадеткой".

Обычно пустые улицы Золотоноши, редко приходящие газеты, спокойный, хотя и напряженный ход работ на постройке заставляли забывать временами не только о революции, но и о войне. Два месяца прошли быстро. Я торопился в Харьков. Напоследок имел удовольствие проехать по законченному участку линии и через свои мостики.

Пасторальная идиллия на 4-м участке постройки ж.д. линии Гришино — Ровно, куда волны революции или совсем не докатывались, или приходили очень смягченными, кончилась. В Харькове меня снова охватила прежняя атмосфера тревоги и приближающейся катастрофы. Раздражающая болтовня и неспособность Керенского, июльское восстание и его последствия, неудача похода Корнилова — все это действовало удручающе.

Пробыв несколько дней дома, я поехал в Москву на экзаменационную сессию. Я так организовал время своего отъезда, чтобы иметь возможность сопровождать Верочку, возвращавшуюся на Курсы.

В Брюсовском переулке президиум нашей общестуденческой фракции включили в организационную работу по созыву 10-го Всероссийского съезда Партии народной свободы. Съезд должен был состояться в помещении кинотеатра "Колизей" на Чистых прудах. Наши функции "комиссаров съезда" были, несмотря на громкий титул, весьма скромного по-

рядка: контроль билетов и охрана от возможного вторжения большевиков.

Этот последний состоявшийся на территории России съезд кадетской партии явился ярким отражением духа и состояния умов русской интеллигенции, воспитывавшейся десятилетиями на отвлеченных идеалах либерализма, но лишенной какого-либо практического политического опыта. Считалось, что все беды происходят от недостатка демократии. Будет такая когда-нибудь осуществлена — все сразу образуется! Демократия пришла, слушала своих демагогов, душила за горло всех, кто смел с ней не соглашаться. Первые месяцы революции ясно это показали и многим открыли глаза, но все же не все были готовы сделать окончательные логические выводы.

С большой речью о современном политическом положении выступил ростовский делегат, адвокат Аджемов. Речь его была типичной речью защитника, выступающего на суде в пользу подсудимого, в виновности которого он не сомневается, но в порядке защиты старающегося дискредитировать полицию, пытавшуюся арестовать его. Роль полиции, зарвавшейся в своих стараниях, играл генерал Корнилов. Растерянность и колебания присутствующих показали, с одной стороны, нерешительные протесты, отвечающие на выпады против Корнилова, а с другой — аплодисменты, приветствующие особо трескучие фразы с банальными призывами к защите завоеваний революции.

Решительный поворот в настроение внесло последовавшее за речью Аджемова выступление П.Н. Милюкова. Смысл сказанного им сводился к тому, что не завоевания революции, а сохранение и защита порядка являются задачей момента. Резко осуждая отдельные выпады Аджемова, беспощадно разоблачая его софизмы, Милюков сказал, что мы переживаем последние моменты, когда страну и ее будущее еще можно спасти. Для этого требуются большие напряжения и усилия. Задача момента — это организация надежной и твердой вооруженной силы, которая могла бы в нужный момент решительно выступить на защиту права и порядка.

Речь Милюкова подняла настроение, сопровождалась все более и более нарастающими аплодисментами и закончилась

бурной овацией. Выступивший затем “златоуст” Ф.И. Родичев, получив ориентировку от лидера партии, окончательно разгромил аргументацию Аджемова.

В конце октября не оставалось больше никаких сомнений, что большевики готовят восстание. Я узнал от Комерницкого в кадетском клубе, что для защиты Временного правительства организован Комитет общественной обороны. Имеется возможность получить оружие. Собираются добровольцы среди студентов в поддержку лояльным силам гарнизона. В Москве можно рассчитывать на верность только юнкеров двух военных училищ, двух сотен казаков и добровольцев из офицеров, студентов и кадетов старших классов.

Я немедленно собрал общее собрание студентов нашего Института, доложил им о положении и просил записываться добровольцами. Призыв встретил горячий отклик. Был выбран исполнительный комитет студентов Института. В комитет вошли 10 человек, меня выбрали председателем. От имени общего собрания и комитета я пошел для переговоров с директором Института профессором Н.Д. Тяпкиным. После моего сообщения директор решил передать комитету всю полноту власти, сообщив об этом обслуживающему персоналу и вручив нам все ключи от помещений Института.

Запись в добровольцы шла успешно. Число записавшихся уже в первый день превзошло 60 человек. Большую часть из них я отправил по известным мне адресам за получением винтовок и патронов. При записи имел место инцидент, не лишенный, пожалуй, символического значения, если учесть далекие перспективы неизвестного тогда будущего. Ко мне пришел студент, один из немногих принимавшихся каждый раз по особому разрешению Министерства путей сообщения иностранцев, и заявил:

— Коллега, я хочу записаться. Но вот в чем дело: я швейцарец. Имею ли я право? Вы знаете, наш нейтралитет...

На это я сказал ему:

— Борьба с большевизмом — вопрос не национальный, а международный. Нейтралитета между правдой и ложью, между правом и насилием не может быть!

Швейцарец записался.

Вместе с некоторыми другими членами исполнительного комитета я пошел в Городскую думу, где городской голова Руднев, правый эсер, принимал депутации, приходившие с заявлениями о лояльности Временному правительству. Когда нас приняли, я заявил, что мы организовали вооруженный отряд, готовый к немедленному выступлению. На это Руднев сказал:

— Зачем вы это сделали? Нам это совершенно не нужно!

Что это было? Глупость или типичное социалистическое предательство? Ведь Рудневу, более чем кому-либо, было известно о готовившемся выступлении большевиков и об их приготовлениях.

То, что произошло через пару дней, стало теперь фактом истории. Большевицкое восстание началось в Петрограде. В Москве бандами штрафного полка, стоявшего на Ходынке, был занят Кремль. Опорными пунктами сопротивления мятежу стали: два военных училища (одно в Лефортове, другое на Пречистенском бульваре), Центральная телефонная станция, Градоначальство, большой кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади и Институт инженеров путей сообщения на Бахметьевской улице.

Большинство наших студентов, человек пятьдесят, вооруженных винтовками и одним ручным пулеметом, вошли в состав гарнизона Градоначальства. Человек пятнадцать, в том числе и я, остались в Институте. Военное командование здесь взял на себя прапорщик из бывших студентов. "Гражданская власть" перешла в мои руки. Прапорщик распорядился запереть железные ворота Института, расставил вооруженные посты. Я занялся вопросом продовольствия. В кладовых нашего буфета мы нашли среди прочего два колеса швейцарского сыра, который потом стал главным питанием нашего гарнизона.

В самом начале осады мне пришлось принять неприятное решение. В одном из кабинетов Института были обнаружены спрятавшиеся там два студента "керенского приема". Не стоило большого труда путем допроса и расследования установить, что их целью были шпионаж и провокация. Я распорядился посадить их под замок в подвале.

Хотя стрельба и канонада слышалась по всему городу, ожидавшегося нападения на Институт не последовало. Мы поддерживали все время связь со всеми опорными пунктами обороны и получали общие распоряжения командования из кинотеатра "Художественный".

Хорошая связь между опорными пунктами обороны была обеспечена самоотверженной работой телефонисток Центральной станции и персонала ее, оставшихся верными Правительству. Получая непрерывно по телефону сведения о ходе боев не только в Москве, но и в Петрограде, я решил издавать бюллетени с информацией о последних событиях. Бюллетени печатались на машинках в канцелярии и гектографировались. Мы распространяли их в окрестностях Института, где они имели очень большой успех.

В первые дни революции Временное правительство и его защитники имели несомненный успех. В Москве юнкера, разбив ручными гранатами ворота Никольской башни, ворвались в Кремль и вышвырнули оттуда большевиков. Те известия, которые доходили до нас из Петрограда, были также благоприятны.

Первым ударом явилось сообщение о том, что казаки бездействуют и сохраняют "нейтралитет". Глубокое возмущение вызвало у нас известие, что генерал Брусилов отказался принять командование обороной. Затем начали приходить сбивчивые и противоречивые сообщения о положении в Петрограде.

По ночам мы видели из окон Института шедшие по улицам колонны солдат. Оказывается, Викжел (Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников) не пропускал верные Правительству войска, усиленно подвозя большевиков.

Наконец последовал новый тяжелый удар — Кремль снова занят большевиками. Связь с Петроградом оборвалась. Опорные пункты падали один за другим. Через короткое время окончательно прервалась телефонная связь: очевидно, была занята телефонная станция. К утру стрельба затихла.

Директор Института Н.Д. Тяпкин пришел ко мне узнать о положении дел. Он был бледен, круги под глазами. Первый раз я увидал его в штатском. К сожалению, я не мог сообщить ему ничего положительного. Задача заключалась те-

перь в том, как спасти полтора десятка вооруженных студентов, находившихся в Институте.

Как мы видели из окон, улицы были пусты. Все сидели по домам и не решались выходить. Вдруг мы услыхали громкий стук в ворота Института. Выглянув, мы увидали группу вооруженных винтовками штатских с красными повязками на рукавах. Они размахивали белым платком. Это были парламентеры. Я послал двух студентов тоже с белым платком. Студенты открыли ворота и привели парламентеров в вестибюль.

В своих переговорах с ними я настаивал на бесконтрольном выпуске всех желающих покинуть здание Института. За это мы обязывались сдать без сопротивления оружие, выпустить пленных. (У нас сидели два студента-большевика.) Кроме того, я настаивал на неприкосновенности профессорских квартир, лабораторий и кабинетов. Соглашение на этих условиях было достигнуто. Мы сдали Институт.

Я вышел из Института и поспешил домой. Надо было по возможности скорее исчезнуть из Москвы. Но в первую очередь — что с Верочкой? Пока Центральная телефонная станция была еще в наших руках, мы могли переговариваться по телефону. Но вот уже два дня я ничего не знал о ней. Общежитие Высших женских курсов находилось на Садовой, около пересечения этой улицы с Тверской. Недалеко, около Никитских ворот, бои были особо ожесточенны.

Я бросился на Садовую в общежитие, но там узнал, к своему разочарованию, что Верочка куда-то ушла. Ушла — в такое время!

На улицах шатались кучки победителей. Рабочие с красными повязками, матросы с пулеметными лентами, разнузданная солдатня. Шла охота на “золотопогонников”, на “буржуев”. Расстроенный, я пошел домой, решив возобновить поиски позже.

Какова же была моя радость, когда я нашел дома Верочку сидящей вместе с моей теткой! Оказывается, Верочка очень беспокоилась обо мне, не выдержала, бросила за борт традиции хорошего тона и решила справиться там, где я жил.

Моя тетка, которая до сего времени о Верочке ничего не знала, хотя о существовании ее давно догадывалась, уговорила ее остаться, пока я не вернусь. Мы все — дядя, тетя и я —

убедили Верочку больше не рисковать, не возвращаться на Садовую до отъезда в Харьков. Она наконец согласилась.

На другой день мы добрались до Курского вокзала, с трудом достали билеты в плацкарты, еле втиснулись в вагон. Все вагоны 1-го и 2-го классов были набиты до отказа распущенными и наглыми солдатами. Мы рады оказались сидеть на чемоданах в коридоре. Все же мы ехали домой!

Так прошли “10 дней, которые потрясли мир”. Тогда, правда, мы не знали, что потрясения пойдут так далеко!

Как я узнал, один из наших студентов был убит в Градоначальстве, несколько ранено. Председателя общестуденческой кадетской фракции Комерницкого тяжело ранило в грудь. Еще позже я узнал, что директор Института Н.Д. Тяпкин, который одновременно являлся начальником Департамента внутренних водных и шоссейных сообщений, был расстрелян где-то в Сибири.

Глава 2

В КАЛЕЙДОСКОПЕ 1918 года

Мы приехали в Харьков поздно вечером. В городе было спокойно. Обращали на себя внимание пустые улицы. Наняв парного извозчика, я отвез Верочку к ее родителям и поехал домой, на Максимилиановскую улицу. Дома бесконечно были рады меня видеть целым и невредимым. Я рассказал о московских происшествиях. Все казалось каким-то нелепым, если не трагическим кошмаром. Никто не верил в окончательность совершившегося. Самый состав большевицкого правительства казался демагогической пропагандой, доведенной до абсурда. В самом деле, военный министр — солдат Муралов! Дальше, казалось, идти некуда!

В первое время в Харькове господствовала атмосфера какого-то странного нейтралитета. По-видимому, сам большевицкий Совдеп не знал, что делать. Инициативу проявляли те или другие случайные группы. Захват домов, выселения, убийства отдельных офицеров, купцов и других "буржуев" производились в порядке вдохновления. Более или менее организованно действовали только анархисты. Они устраивали процессии, маршируя по городу с черными знаменами и транспарантами, украшенными изображением черепа с костями и надписями: "Смерть буржуям и капиталистам", "Мир хижинам — война дворцам".

Свой штаб они устроили, между прочим, в вилле Ф. Шмидта, где раньше находился приют для детей беженцев, устроенный Татьянинским комитетом. Им, очевидно, понравилось, что там был подземный гараж, соединенный с домом лифтом.

Типография самой большой харьковской газеты “Южный край” была захвачена большевиками, которые печатали там свои “Известия”, но другая харьковская газета, консервативного направления, выходила некоторое время беспрепятственно, печатаясь в епархиальной типографии. Правда, это продолжалось недолго. Сначала газету давили, не давая бумаги, устраивая забастовки и т.д., но потом ее и совсем закрыли.

Чтобы как-нибудь охранить себя от грабежей и насилий, население устраивало самооборону. Так как наша Максимилиановская улица представляла собой тупик, упиравшийся в парк Технологического института, то нам удалось организовать здесь охрану сравнительно неплохо. Помогало и то, что на нашей улице было всего 20 домов, и к тому же большей частью особняков. Мы все знали друг друга в лицо. Каждую ночь наш вооруженный винтовками патруль из двух человек охранял вход на улицу со стороны Пушкинской улицы. Были организованы регулярные смены. Пока нас никто не трогал и не пытался разоружить.

После закрытия “Наших дней” единственным источником сведений о том, что творится в мире, остались харьковские “Известия”. Оттуда мы узнали о разгоне Учредительного собрания, о заключении перемирия с немцами, об учреждении Чрезвычайной комиссии, об угрозе Троцкого в случае ухода большевиков так “хлопнуть за собой дверью”, что мир содрогнется. Мы также познакомились поневоле с похабным языком просвещенного марксизма, читая в передовых этой газеты такие слова-выражения, которые большинству из нас до этого были просто незнакомы.

Однажды ночью мы услышали отчаянную перестрелку. Оказывается, большевики ликвидировали анархистов, выбив их из занимаемых ими домов. После этого террор принял более планомерный характер. Убийства и разбой пошли теперь в более систематическом порядке. Можно было до известной степени определить свою очередь.

После Брест-Литовского мира в советской прессе участилось печатание победных реляций о разгроме “гайдамацких банд”. Если верить большевикам, они неукоснительно несли поражения то тут то там. Однако даже ограниченное знакомство с географией показывало, что места боев все более

приближаются к Харькову. Наконец свершилось: в Харьков вошли гайдамаки. Но какие? Вместо деморализованных “гайдамацких банд” через город шли регулярные германские войска с пушками и обозами, таща за собой телефонные провода и расставляя повсюду указатели дорог и улиц. Только через два-три дня на улицах появились “жовто-блокитные прапоры”, т.е. желто-голубые флаги, и можно было там увидеть отдельных “сирожупанникив”, одетых в серые кафтаны и барашковые шапки на бритых головах. Из-под шапок свешивались чубы.

Была продекларирована Украинская Народная Республика.

Ще не вмэрла Украина
От Кыва до Берлина!
Гайдамакы разбижалысь...
Дэйчланд, Дэйчланд юбер аллес!

Водворение буржуазного строя немедленно привело к тому, что, как по мановению руки, на рынке появились давно исчезнувшие товары. Не только стало возможным покупать в любом количестве черный хлеб, но в булочных предлагали всевозможные сорта давно забытых белых хлебов и булочек. На базарах цены на овощи, масло, яйца и мясо падали с каждым днем. Самым замечательным в этом явлении было то, что все это произошло внезапно и при наличии оккупационных войск.

Германское командование немедленно завязало связи с представителями русско-немецкого общества, группировавшегося главным образом около евангелистско-лютеранской церкви. Комендант города посетил моего отца в управлении харьковского отделения Всеобщей компании электричества и способствовал тому, что отец смог установить связь с правлением ВКЭ в Берлине. Вскоре он получил подтверждение своей доверенности непосредственно из Берлина.

Войска скоро ушли из города, оставив только те части, которые несли охранно-полицейскую службу. Всюду господствовал порядок, даже больший, чем имелся в военное время до революции.

“Украинская Народная Республика” оказалась недолговечной и вскоре была ликвидирована германцами. При помощи организованного ими и более консервативными элемен-

тами “съезда хлеборобов” была продекларирована передача власти гетману Украины. Таковым был “избран” бывший царский генерал Скоропадский.

Казалось, твердый и устойчивый порядок установился прочно. Вновь воскресла надежда, что и в остальной России тоже в скором времени исчезнет кровавый сумбур, созданный фанатиками и фантастами, и жизнь примет привычные, разумные формы.

Мы с Верочкой решили соединить нашу судьбы и сообщить о нашем намерении родителям. Мы встретили полное одобрение как со стороны моих родителей, так и со стороны отца Верочки, П.И. Бернгарда. Последний очень тронул меня, дав свое согласие в очень теплых и сердечных словах. Венчаться решили, по моему предложению, в лютеранской церкви Св. Вознесения. Я просил пастора совершить обряд венчания на русском языке, что было новеллой в практике протестантских церквей в России. После некоторых колебаний он согласился.

Как раз в это время инженер Б.Ф. Шанько случайно находился в Харькове. Он не только согласился присутствовать на нашей свадьбе, но также предложил мне поехать после свадьбы в Золотоношу и занять мое прежнее место практиканта на старых условиях. Я согласился, считая, что трудно в наше время устроить лучшее свадебное путешествие и провести медовый месяц в более дружеском окружении. Мы условились сейчас же после свадьбы поехать в Киев, провести там три-четыре дня и после прокатиться пароходом по Днепру до Черкасс. Оттуда — через Днепр — в Золотоношу.

Наша свадьба состоялась 16 июня. Как венчание в церкви, так и прием и празднование вечером в доме “Невской Ниточной Мануфактуры”, где жила семья Бернгард, вполне отвечали дореволюционному стандарту. Масса цветов, подарки, шампанское, многочисленные гости... Можно было забыть, что не прошло и года, как чудовищный революционный смерч промчался над расшатанной войною Россией, разрушив все устои порядка, гражданской безопасности и морали и сделав возможным массовые убийства, насилия и грабежи.

Несмотря на то что линия фронта и граница с тем, что теперь называлось населением Совдепией, проходила всего в ста километрах от Харькова, там в это время господствовал благодушный оптимизм. Возвращение к недавнему кошмару казалось невозможным. Немалую роль в укреплении такого ложного чувства безопасности сыграли германские оккупационные войска. Пройдя через город и оставив за собой только немногочисленные посты, они тем не менее принесли с собой такую солидную атмосферу устойчивости, порядка и чистоты, что повторение пережитого невольно всеми исключалось из перспективы.

В Киеве царило большое оживление. Тротуары Крещатика полны людей, куда-то спешащих или просто фланирующих. Среди них можно было видеть германских офицеров, несмотря на войну все еще элегантно одетых, украинцев, иногда в опереточных одеяниях, но большая часть ограничивала свой маскарад только шапкой со свесившимся колпаком. Встречались также и офицеры в старой русской форме. На рукавах у них я увидел шевроны из Георгиевских ленточек. Это были, как мне сказали, офицеры формирующейся Астраханской армии.

Благодаря содействию киевского отделения ВКЭ нам был заказан и оставлен номер в гостинице “Прага” на Владимирской улице. Номер, оказалось, был расположен очень высоко, на седьмом или восьмом этаже. Непосредственно над нами, на крыше, находился ресторан. Он был переполнен каждый вечер до поздней ночи кутящими военными всех армий. Не только за столами сидели офицеры с дамами. Подавали и обслуживали тоже офицеры с салфетками под мышкой. Правда, на их гимнастерках и кителях не было погон, но часто грудь была украшена орденами на цветных ленточках. Такое афиширование своего падения производило неприятное впечатление.

До рассвета звуки музыки, грохот передвигаемой мебели и звон битой посуды, доносившиеся через окно нашего номера, не давали нам покоя. Иногда нестройное пение “Боже, Царя храни” сменяло немецкие хоровые мотивы.

Путешествие на пароходе по Днепру обмануло наши ожидания. Пароход был переполнен, каюта грязна и тесна. Увы, даже сам красавец Днепр весьма мало напоминал восторженные описания Гоголя. Мы рады были сойти в Черкассах. Отсюда, как условились, я послал телеграмму Б.Ф. Шанько.

Шанько встретил нас уже на платформе станции. Он преподнес Верочке большой букет цветов. На улице нас ждал "даррак" вместе с приветливо улыбающимся шофером Волковичем. Мы поехали на квартиру к инженеру И.В. Потемкину. Там нас встретила с распростертыми объятиями его милая жена Лялечка. Сам Потемкин, который более был известен под именем Ванечки, не отставал от супруги, оживленный и шумный, как всегда. Для нас приготовили комнату. Хозяева предложили отдохнуть, имея в виду, что в 8 часов состоится ужин, на котором будет присутствовать вся семья Шанько. В самом деле, я увидел в одной из комнат приготовленный и украшенный стол.

Состоявшийся вечером ужин прошел очень оживленно. Господствовала старая атмосфера традиционных воскресных обедов у Шанько. Первоначальная застенчивость и некоторая нервозность Верочки вскоре исчезли без следа. Этому способствовали теплота и внимание, проявленные Екатериной Александровной Шанько по отношению к ней, и простодушие и естественность Лялечки Потемкиной. Балагурство и жизнерадостность Ванечки Потемкина, да и пара бокалов шампанского, тоже сыграли свою роль.

Строительные работы на постройке линии Гришино — Ровно продолжали вестись, но как? С одной стороны, все было как прежде: управление начальника работ со всеми отделами в Харькове, технический надзор на всех участках и дистанциях, те же фирмы подрядчиков со своими договорами. Изменилось только финансирование. Прежде оно шло из Петрограда, из Министерства путей сообщения. Теперь — из Киева. Прежде оно было в рублях, хотя и худосочных и в процессе деградирования докатившихся до "керенок", теперь — в пестрых карбованцах.

Все как-то незаметно и постепенно изменилось и приняло условный, призрачный характер. По-прежнему выписывались наряды, писались табеля и даже оплачивались счета за какие-то выполненные работы. Однако казалось, что все происходящее несерьезно и что все участники этой игры только и ждут момента, чтобы ее бросить и разбежаться в разные стороны.

Технический персонал конторы участка съежился до двух чертежников и трех десятников. Контора 3-й дистанции состояла из начальника — Потемкина — и одного десятника, если не считать меня.

Моя дружба с Ванечкой Потемкиным окрепла. Он — инженер, мой начальник, я — только студент-практикант, но мы были одного возраста и, скорее, товарищи. В бытность свою студентом Потемкин работал как практикант в строительных организациях, выполнявших подряды. Это очень обогатило Ванечкин практический кругозор и знакомство с методами, применяемыми недобросовестными подрядчиками для обмана технического надзора, принимающего работы. К сожалению, по его словам, недобросовестная практика имела место не всегда с одной стороны.

— Представьте себе такое дело, — рассказывал Ванечка. — До окончательного расчета по договору подрядчик получает аванс. Он нужен ему, чтобы заплатить заработную плату рабочим. Им заготовлен и завезен бутовый камень для мостовых устоев. Камень сброшен подрядчиком с железнодорожных платформ на откос насыпи. Кажется, все в порядке — подрядчик имеет право получить аванс. Не тут-то было! Принимающий инженер заявляет, что он не может установить, сколько камня лежит россыпью, и требует, чтобы его предварительно сложили в штабеля. Ненужная работа! Ненужная потеря времени! Подрядчик обещает заплатить инженеру “благодарность”, и все кончается к обоюдному удовлетворению!

— Иван Васильевич! — вскричал я. — У нас такого не бывало. Ведь это совершенно невозможно!

— Не только возможно, но как раз и случилось, — продолжал Потемкин. — В прошлом году до слуха Бориса Федоровича дошло, что начальник 2-й дистанции Л-кий и техник 4-го участка К-в не только такими делами занимаются,

но просто регулярно второе жалованье получают от подрядчиков. Вы знаете Бориса Федоровича — оба вылетели сейчас же кувырком. К несчастью, К-в был вождем местных большевиков. Он повел в местном Совете отчаянную агитацию против Шанько. Объявил его защитником интересов капиталистов, врагом народа. Только внезапное занятие города немцами спасло его от расстрела.

В конце июля мы, полные приятных воспоминаний о проведенном времени, вернулись из Золотоноши снова в Харьков. Не прошло и двух дней, как я, развернув утром харьковскую газету "Южный край", прочитал на первой странице:

РАССТРЕЛ ЧЕТЫРЕХ МОСКОВСКИХ ЛЕТЧИКОВ

Ñåãî äíÿ â Ì î ñêâå ïî ïðèãî âî ðó ×åêà áûëè ðàññòðåëÿíû ÷åòâåðî ì î ñêî âñêèõ ëåò÷èêî â-èí ñòðóêòî ðî â Êðàñí î é àðì èè — äâî å áðàòüåâ Ëèñòðàòî âû õ è äâî å Êàðï î âû õ

Это известие хватило меня как обухом по голове. Бедный Коля! Бедные его родители! Свершилось то, чего они так боялись. Оба погибли в один день! Только еще более трагично, чем можно было ожидать!

Не прошло и нескольких дней, как я прочитал о гибели Листратова, к нам пришли Леля Турчанинов и его жена. Совершенно неожиданная встреча. Они пробрались каким-то образом через линию фронта из Москвы, ехали дальше на юг и остановились в Харькове на несколько дней у своих знакомых. Леля был в штатском.

Мой первый вопрос был о судьбе Листратова. Увы, сообщение в газете отвечало действительности. Турчанинов рассказал мне о подробностях. Коля, его брат и два других летчика, казачий есаул Карпов и барон Фиттингоф, поступили инструкторами в Красную армию. Фиттингоф имел подложные бумаги на имя брата Карпова, убитого во время войны с Германией. Они сфабриковали себе командировки на Северный фронт, где Красная армия вела борьбу с войсками правительства Чайковского, надеясь перебежать к англичанам, высадившимся в Архангельске. Благодаря предательству они в

последний момент были схвачены на станции Повенец, за которой шла линия фронта. Их привезли в Москву и после обычных пыток расстреляли. Мать Листратова, пользуясь своими связями в театральном и художественном мире, добилась через Луначарского аудиенции у Троцкого, молила о смягчении приговора. Напрасно!

Часто в жизни трагедия сменяется, хотя, быть может, и на короткий срок, комедией, а иногда и прямо фарсом. Так и случилось. Ко мне пришел Турчанинов.

— Вася, ты должен мне помочь! — заявил он.

— Охотно, но в чем дело? Что-нибудь серьезное? У тебя смущенный вид. Уж не собираешься ли ты разводиться?

— Шутки в сторону! Дело серьезное. Я должен одному субъекту набить морду. И ты будешь свидетелем! Пожалуйста, прошу тебя!

Турчанинов рассказал мне следующую историю. Оказывается, Турчанинов, Мария Яковлевна и какие-то еще их знакомые шли вчера вечером по Пушкинской улице. Шли медленно, все в ряд, не замечая, что кто-то сзади безуспешно желает их обогнать. Наконец этот субъект оттолкнул в сторону Турчанинова, проскочил вперед, бросив назад:

— Идут как бараны, заняли весь тротуар!

На это Турчанинов ответил:

— Сами вы осел!

Субъект остановился, повернулся, бросился на Турчанинова и, взмахнув тростью, ударил его по голове, смяв шляпу.

Дальнейшую драку остановили украинские полицейские — вартовые, как они теперь назывались. Участок, к счастью, находился на другой стороне улицы. Был составлен протокол, и стороны разошлись. Дома, однако, Мария Яковлевна нашла, что это недостаточно. Леля, оказывается, должен потребовать от этого господина формального извинения и в случае отказа “набить ему морду”.

Оскорбитель был чиновником Государственного контроля. Адрес его и фамилию Турчанинов узнал при составлении протокола. Напрасно пытался я убедить Лелю, что все дело не стоит выеденного яйца, и убеждал его отказаться от

предприятия. Он утверждал, что в противном случае не сможет взглянуть Марии Яковлевне в глаза: оскорбление мундира.

— Слушай, Леля, это вздор! Ты был в штатском. Даже не в путейской форме, не говоря уже о военной! Наконец, при чем тут я? Ведь ты его не на дуэль вызываешь. Зачем тебе нужен секундант?

Ничего не помогало. Я понял свою роль. Я должен быть свидетелем. В противном случае Мария Яковлевна не поверила бы, что Леля при свойственном ему добродушии выполнил порученное ему задание.

Мы нашли квартиру "субъекта". Я заметил, что кто-то увидел нас в окно. На наши настойчивые звонки и стук дверь долго не отпиралась. Вдруг под дверь подсунули письмо. Там было написано:

"М.Г. Господин Турчанинов! Ваше поведение показывает мне, что я имею дело с благородным человеком... Прошу принять мое полное извинение... примите уверения и т.д. ..."

Леля расцвел и пошел домой, радостный и успокоенный.

"Бедняга! — думал я. — Какие еще пируэты и антраша выкинет твоя милая супруга".

Турчаниновы уехали. В городе жилось спокойно, но ожидаемого окончательного разрешения кризиса, созданного большевицкой революцией, все еще не было видно. Оно должно было прийти только после окончания большой европейской войны. Исход этой борьбы, казалось, не играл роли. Думалось, что и та и другая сторона после того, как у нее окажутся развязанными руки, будет вынуждена заняться ликвидацией этого нелепого, но жестокого и кровавого кошмара, затеянного преступными террористами, сидящими в Московском Кремле.

Еще было свежо воспоминание о походе Турчанинова в защиту своей поруганной чести, как вдруг я сам ввалился против своей воли и желания в еще больший скандал. Не-

умолимое сочетание обстоятельств вынудило мое поведение. У меня не оставалось выбора.

У нас с Верочкой был абонемент в Харьковский драматический театр. Мы сидели в партере, в шестом ряду. Шла комедия Гольдони. Зал был полон, но представление почему-то задержалось. Вдруг рампа осветилась, и из-за занавеса вышел популярный актер Глаголев, встреченный аплодисментами. Он поднял руку и, когда зал стих, обратился к публике с призывом о помощи солдатам, возвращающимся из германского плена. Призыв встретил горячий отклик. В партере появились артисты и артистки с корзинами, собирая деньги. Бумажные карбованцы летели со всех рядов. Их ловили, собирали и передавали из рук в руки, пока они не достигали корзины сборщиков.

Прямо перед нами сидели два молодых еврея. Один из них в студенческой университетской тужурке. Несколько кресел рядом были свободны. Летящая сверху бумажка опустилась на пустое место. Сборщики прошли несколько раз мимо них без того, чтобы кто-нибудь из двоих протянул руку и передал деньги.

Верочка обратилась к сидящему перед ней и сказала:

— Господа, рядом с вами упали деньги. Будьте любезны, передайте их сборщикам.

Ответа не последовало. При повторении просьбы студент повернулся и прошипел:

— Чего вы лезете! Не ваше дело! — Потом, обращаясь к своему соседу: — Вот когда наши красноармейцы...

Верочка вспыхнула:

— Нет, это общее дело! Долг всех — смотреть...

Тут этот субъект повернулся и, оборвав ее, злобно вскрикнул:

— Сударыня, вы глупы!

Обомлев на секунду от этой наглости, я вскочил как на пружине и дал негодяю со всего размаха пощечину.

Театр загудел, как взбудораженный улей. Многие поднялись со своих мест, размахивали руками. Слышались крики:

— Так и надо! Бить их надо, подлецов! Некультурность! Монархист! Смотрите на его наплечники!

Несколько человек пустились врукопашную. Появилась полиция. Вартовые повели нас в какую-то комнату состав-

лять протокол. Полицейские записали наши адреса и показания. Во время составления протокола “потерпевшие” вели себя нахально.

Товарищ побитого заявил:

— Злушай, Яша... Змотри, чтобы в протокол занесли, что он тебе пенсне разбил! Я же юрист! Я таки жнаю. Такой монархист — змотри! Николай Второй на погонах!

Это вывело меня из себя. Я обратился к полицейскому:

— Прикажите этим господам замолчать, или я буду вынужден избить их обоих в вашем присутствии.

Это помогло. Полицейский стукнул кулаком по столу, заявив, что отведет их в “холодную”. Помогло — “юристы” замолчали, заметно побледнев.

Прошло две недели, месяц. Никаких последствий не было.

Глава 3

КРЫМСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Была поздняя осень 1918 года. Громадная карта в окне Купеческого банка, на которой флажками и лентой указывалось положение на фронте, исчезла. Элегантные немецкие офицеры потеряли, казалось, аррогантность* выправки, и солдаты не были больше похожи на прекрасно сделанные автоматы. Неуклюжие бескозырки сменили стальные шлемы, и не стало видно стройно марширующих отрядов. На углах улиц появлялись кучки людей, что-то оживленно обсуждавших и замолкавших при приближении к ним.

Поползли слухи: "В Берлине неблагополучно — революция!" Слухи как будто подтверждались — на улицах стали встречаться офицеры без погон. Воздух был насыщен предвкушением катастрофы. И вдруг свершилось! Повсюду расклеены плакаты на украинском языке, возвещавшие о ликвидации гетманского правительства, переходе власти в руки Украинской Народной Республики и назначении комендантом города Харькова никому не известного полковника Попсуй-Шапко.

Ситуация была ясна. Никто не верил в опереточных гайдамаков и серожупанников. Занятие Харькова большевиками было вопросом недель, если не дней. Вместе с тем сперва шепотом, а вскоре и во всеуслышание заговорили о высадке союзников в Севастополе. Считая, что интервенция союзников теперь неизбежна, и не желая снова переносить прелести большевизма, я решил ехать немедленно в Севасто-

---

* Высокомерие, надменность (от лат. arrogantia).

поль и в случае подтверждения слухов о союзном десанте вернуться в Харьков за Верочкой.

Старшее поколение держалось за насиженные места и не решалось ни на что.

Севастополь. На перроне солдаты в элегантной форме. Синие френчи с золотыми пуговицами, длинные, навыпуск брюки с красными лампасами, лихо заломленные бескозырки с красным околышем, кокарда с надписью “Ubique”.

“Англичане?! — обрадовался я. — Но что за странная форма?”

— Say? Are you British soldiers?* — спросил я.

Солдат улыбнулся:

— No, Sir, we aren’t. We’re sailors-marines**.

Итак, союзники высадились в Севастополе, и эти солдаты действительно были англичане — Королевская морская пехота.

Я пошел в город. На рейде много военных кораблей под английскими и французскими флагами. Среди английских — линейные корабли “Темерер”, “Дреднот”, крейсер “Кентербери”, миноносец “Акорн”. Французские броненосцы “Жан Барт” и “Франс”, крейсер “Мирабо”. Всюду на постах солдаты английской морской пехоты, но уже одетые в хаки. На улицах группы, а иногда и колонны развооруженных немецких и австрийских солдат. То там то сям в уличной толпе офицеры Добровольческой армии с золотыми погонами и трехцветными шевронами на рукавах. Над гостиницей “Кист” громадный “Юнион Джек”.

Ласково светит теплое крымское солнце. Весело бегают по рейду паровые катера и гребные шлюпки, причаливая и отчаливая от Графской пристани.

Скорее назад, пока не поздно, в Харьков за Верочкой!

И вот мы — Верочка и я — в Севастополе! Было очень трудно найти себе приют. Город переполнен все прибываю-

---

* Послушайте, вы что — британские солдаты? (*англ.*).

** Нет, сэр, мы из морской пехоты (*англ.*).

щими беженцами. Но нам повезло. Встреченная мною хозяйка, представительная дама с повелительными манерами, сперва наотрез отказала мне, заявив категорически:

— Женатым не сдаю! — Однако, закрывая дверь, неожиданно остановилась: — Давно вы женаты?

— Да вот уж скоро пять месяцев будет.

Дама улыбнулась и сказала:

— Заходите вместе с женой. Поговорим.

Все устроилось. Комнату нам сдали. Наши хозяева оказались очень милыми людьми. Феликс Осипович Максимович был старик лет семидесяти, морской чиновник в отставке. Все время он проводил, набивая папиросы, которые они с супругой курили непрерывно. Скоро у нас с ними установились теплые, сердечные отношения.

Максимовичи много нам рассказали о недавнем прошлом Севастополя, о ходе здесь "бескровной" революции. Об офицерах, брошенных в топки судов, о целых семьях, утопленных в бухте. Большевиков Максимовичи называли "морлоками", заимствовав это название из фантастического романа Г.Дж. Уэллса "Машина времени". Надо сказать, весьма удачное употребление, стоит только вспомнить, что похищение людей, утаскивание их потом за "железный занавес" стало с годами стандартной практикой большевизма.

В квартире Максимовичей, кроме нас, нашла приют еще одна пара. Это был лейтенант флота Федор Федорович Спаде и его жена, молоденькая и хорошенькая женщина. Гордостью ее были волосы. Когда она их распускала, они стелились по полу.

Мы пили чай и ужинали все вместе. Вскоре наше общество пополнилось еще одним членом. Это был Павлуша Бернгард, брат Верочки, бежавший в последний момент из Харькова, перед занятием его большевиками. Он был гимназистом восьмого класса, но им успели выдать аттестаты зрелости, учитывая политическое положение.

Связь с Харьковом порвалась окончательно. Севернее Перекопа все, что не было занято красными, находилось в руках разных банд. Из банд самой крупной была банда "батьки" Махно.

Деньги, которыми меня перед отъездом снабдили дома, приходили к концу. Поиски работы по технической линии

были безнадежны. Я поместил в местной газете объявление: “Даю уроки английского языка”. Неожиданный успех! Все мои вечерние часы через неделю были расписаны. Мою “клиентуру” составляли главным образом молодые девицы и дамы. Исключение составляли двое военных: генерал Кислый и капитан первого ранга Терентьев. Последний, теперь начальник рейда, оказался интересным человеком. Во время войны он был командиром флотилии подводных лодок. Имел офицерский орден Св. Георгия, что вообще большая редкость, а у моряков — в особенности. Он обращал на себя внимание ярко-рыжими, горящими волосами и исключительной пунктуальностью. На урок он являлся точно с боем часов. Его успехи тоже не оставляли желать лучшего. Увы! Далеко не так было с дамами. Как-то раз не пришли две ученицы, и потом в течение недели пропали все остальные. Загадочность этого внезапного исчезновения моих учениц вскоре объяснилась, и притом довольно просто. Ушел ряд английских кораблей, и на смену им пришли французские и итальянские. Таким образом, оказалось, что мои заработки находились в прямой зависимости от, так сказать, “амурной конъюнктуры”.

Все это и дальнейший опыт научили меня, что самый неблагодарный способ заработка — это уроки. Тяжелое финансовое положение заставило меня согласиться с предложением давать уроки на дому. Это предложение я получил письменно. Предлагалось давать уроки некой девице м-ль Жандр. Семейство Жандр принадлежало — или претендовало на принадлежность — к элите Севастополя. Уроки два раза в неделю. Каждый раз неизменно имел место следующий ритуал. На мой звонок выходила горничная. Меня держали несколько минут в передней. Затем вели к ученице. Как правило, моя подопечная уроков не учила, не проявляла никакого старания. Так продолжалось три недели. Когда я пришел на очередной урок, горничная вынесла мне письмо: меня просили “не трудиться продолжать дальнейшие посещения” и предлагали “не забыть вернуть взятый для просмотра учебник английского языка по системе Гуен”. Гонорар за шесть уроков к посланию приложен не был, также не было никакого упоминания о нем. Я ответил на это послание тоже письменно, по почте. В моем письме я подтвердил, что учебник Гуен действительно находится у меня, и заявил, что он будет возвра-

щен немедленно, когда м-ль Жандр соблаговолит явиться за ним (Екатерининская улица, 72) и при этом не забудет принести до сих пор не уплаченный гонорар за шесть уроков.

Учебник по методу Гуен остался у меня.

Вскоре после этого я встретил на улице нашего хорошего знакомого С. Гофмана. Он, так же как и мы, бежал из Харькова. Надо сказать, что Сережа, как его звали, несмотря на свое русское имя и немецкую фамилию, был во всем, кроме подданства, англичанин. Рано потеряв отца, он с раннего детства воспитывался матерью-англичанкой в английском духе, превосходно говорил по-английски и даже бросался в глаза своим внешним видом типичного англо-сакса. Он обратился в английскую комендатуру, предлагая свои услуги в качестве кого угодно (in any capacity).

— Пока ничего не выходит, — сказал он при встрече, — даю уроки английского языка. Только тухлое это дело. Давал уроки одной девице и вдруг получил письмо от нее, адресованное: “Англичанину с Тотлебенской улицы”, с извещением, что моих уроков больше не требуется. Об оплате за услуги ни слова. Так и не получил ни копейки!

— Сережа, вашу ученицу зовут мадемуазель Жандр!

— Да, откуда вы это знаете?

Я рассказал. Мы посмеялись, а Сережа с тех пор остался для нас “Англичанином с Тотлебенской улицы”.

Несмотря на близость фронта, Севастополь — этот чистенький и аккуратный городок с его строго классической архитектурой — не только не потерял своей элегантности, но, казалось, расцвел. По Нахимовскому проспекту, по Морской улице фланировали морские офицеры, русские, французские, английские и итальянские. Хорошо одетые, хотя, может быть, и не по последней моде, дамы и господа заполняли тротуары и Приморский бульвар. На улицах можно было встретить старые, казалось, навсегда исчезнувшие формы всех ведомств. Нахимовский проспект превратился для петербуржцев в Невский, для москвичей — в Кузнецкий мост, для харьковцев — в Сумскую улицу. В самом деле, каждый мог здесь встретить знакомые лица. Мы тоже имели тут ряд неожиданных и интересных встреч.

Идя раз с Верочкой по проспекту, я вдруг увидел, что навстречу нам движется путейский генерал во всем блеске

формы, с зелеными отворотами шинели, в белых перчатках. Так как я тоже был в форме, то, как полагалось, отдал ему честь, приложив руку к козырьку. Генерал ответил, остановился и подошел к нам. Поздоровавшись со мною и пожав руку, он повернулся к Верочке и представился ей:

— Белелюбский! — и приложился к ручке.

Этот старик с внушительными седыми бакенбардами был известный профессор, крупный инженер-мостовик, председатель Инженерного совета Министерства путей сообщения. Спросив нас, давно ли мы здесь и что собираемся делать, любезно поболтав, он распрощался с нами. Эта встреча доставила мне большое удовольствие. Думаю, однако, что любезность и внимание Белелюбского были обусловлены не столько "солидарностью зеленого канта", сколько, вероятно, румяными щечками и лучистыми глазками с длинными ресницами Верочки.

Другая встреча, обрадовавшая меня, была с семьей Алексеевых. С этой семьей я дружил еще с гимназических времен. Глава семьи — Георгий Сергеевич Алексеев — был одним из совладельцев фирмы "Владимир Алексеев с сыновьями", крупным московским купцом-миллионером, владевшим рядом предприятий и заводов по всей России и в Центральной Азии, связанных главным образом с шерстяной промышленностью. Георгий Сергеевич, представительный мужчина лет пятидесяти, с совершенно белой седой головой и пышными черными усами, украшающими здорового цвета лицо, уже одной своей внешностью обращал на себя внимание. Он, как и его знаменитый брат, создатель Московского Художественного театра, известный под сценическим именем Станиславский, был в высшей степени культурным и интересным человеком. Меценаты, покровители искусства, театра и спорта. Хотя Георгий Сергеевич, директор шерстомойной фабрики Алексеевых в Харькове, не добился такой славы, как его брат, все же под псевдонимом Юрьевский он с успехом выступал со своей любительской труппой в Харьковском Народном доме. Он основал и был председателем харьковского "Спортинг клуба", где процветали теннис, футбол, хоккей и гребной спорт. Его старший сын Пава, теперь офицер в Добровольческой армии, был моим сверстником и товарищем. Дочь Валя держала экзамен на аттестат зрелости одновременно со мной в нашей гимназии. Теперь она стала артисткой в Студии Мос-

ковского Художественного театра. Время, проведенное в кругу этой семьи, встречи с видными представителями искусства и литературы, очаровательные вечера и домашние концерты навсегда останутся у меня в памяти.

Устроившийся где-то на южном берегу, здесь, в Севастополе, Георгий Сергеевич жил вместе с Валей и двумя младшими сыновьями, еще мальчиками. Мы прекрасно провели с Алексеевыми несколько дней, катаясь на лодке по рейду и гуляя по окрестностям.

Нам доставляло большое удовольствие ходить в свободное время на Графскую пристань, смотреть, как причаливают и отчаливают паровые катера и гребные шлюпки англичан. Командовали катерами, сверкающими полированной медью, морские кадеты-мидшипмены. Это были мальчики 15—16 лет — офицеры в миниатюре. С комической важностью, явно полные чувства собственного достоинства, командовали они своими маленькими кораблями.

В 12 часов дня катера и шлюпки привозили отпускных матросов. Они ходили всегда парами, шагали в ногу и так раскачивались, что их неимоверно широкие внизу брюки ритмично развевались синусоидами. При возвращении вечером на суда ритм их походки не всегда был четким. Становилась понятной мудрость их прогулок парами. Часто одной половине пары приходилось поддерживать другую, явно стремившуюся занять горизонтальное положение. Большой такт проявляли в таких случаях их офицеры. Как-то так всегда случалось, что офицер пристально рассматривал облака или какие-то другие предметы в диаметрально противоположной стороне, пока матрос не достигал сравнительно устойчивого положения на скамье катера.

Однажды, сидя на Графской пристани, я увидел господина и даму с двумя девочками, идущих вниз по широкой лестнице пристани. Приглядевшись, я узнал Б.Ф. Шанько и Екатерину Александровну. Действительно, это были они!

Мы засыпали друг друга вопросами. Оказывается, семье пришлось бежать из Золотоноши, бросив все и спасая жизнь. Повторилось то, что было весной 1918 года. Во главе местных большевиков снова объявился тот же техник 4-го участка, ставший теперь председателем Золотоношского совета. Он не мог простить Шанько его непримиримого отношения к

взяточникам и мошенникам. Снова подняли старое обвинение в защите капиталистов и подрядчиков.

Нас совершенно потрясло сообщение, что жизнерадостный и веселый Потемкин умер, заболев “испанкой”.

Из Киева Борис Федорович получил предложение занять пост министра путей сообщения в правительстве Украинской Народной Республики. Тут играло роль, конечно, то, что Шанько не только носил украинскую фамилию, но и прекрасно владел украинским языком. Не будучи никогда “самостийником”, Шанько колебался принять это предложение. Колебания разрешил захват власти большевиками. Теперь семейство Шанько, сев на пароход в Одессе, ехало на родину через Новороссийск в Екатеринодар. В Севастополе они оказались только во время стоянки парохода.

Наше дружное общество, собиравшееся вечером вокруг чайного стола, получило интересное пополнение. По линии Управления порта Максимовичей попросили устроить молодого английского моряка, некоего Дональда Мерфи. Он был так называемый petty officer с корабля “Темерер”. Он должен был работать в порту, в бюро своего начальника, лейтенанта. У Максимовичей не оказалось свободной комнаты, но Павлуша предложил взять его в свою. Мерфи согласился на это с радостью. До войны он был студентом Лондонского университета.

Появление Мерфи дало возможность бросить взгляд на состояние морали в рядах британского флота, на отношение к русской революции. Мерфи утверждал, что среди матросов отсутствуют какие-либо признаки революционного брожения. Все стремятся скорее вернуться домой. Говорят: “Войну мы выиграли, свой долг исполнили. Теперь скорей домой!” В качестве примера Мерфи приводил позицию своей матери, которая писала ему, что в предстоящих выборах она будет голосовать за лейбористов, так как хочет, чтобы Дональд скорее вернулся домой. И это несмотря на то, что его отец, старый шкипер из Лланелли, был убежденным консерватором.

Благодаря Мерфи наш стол обогатился некоторыми деликатесами, которых мы давно не видели. Он много уделял нам из своего пайка. Мы получали теперь шоколад, апельси-

новое варенье, в изобилии чай, замороженное австралийское мясо, не говоря уже о сигаретках. Со своей стороны, желая чем-нибудь отблагодарить Мерфи, я предложил ему некоторые из своих уроков. Мерфи был в восторге, потому что в число уступленных уроков входил урок генерала Кислого.

— Настоящий русский генерал. Мои товарищи не хотят мне верить, — радовался он.

Чтобы облегчить его работу, я познакомил его с методом Берлица.

Вид Севастополя постепенно изменился. Были эвакуированы на пришедших морских транспортах последние немецкие и турецкие военнопленные. Французские часовые и караулы сменили английские. Командование оккупационными войсками перешло от английского адмирала лорда Колтсорпа к французскому генералу Франше-д'Эспре. Гражданская власть была передана Крымскому краевому правительству, организованному вместо прежнего — татарского правительства генерала Сулькевича турецкой ориентации. Новое правительство стояло на платформе "единой и неделимой России", состояло из кадетов и местных деятелей. Председателем Совета Министров был назначен Крым, табачный фабрикант из караимов, министром внутренних дел — Набоков, министром так называемых внешних сношений — М.М. Винавер. Двое последних — известные кадетские лидеры.

Смена англичан французами не очень обрадовала население. К англичанам уже привыкли. Многое из их богатого снабжения попадало в руки населения. Совсем другое дело французы. Они не только не вносили что-нибудь в довольно скудное снабжение города, но, наоборот, занимались тут и там реквизициями. Внешний их вид и дисциплина тоже заставляли желать лучшего. Публика, вероятно, не без основания утверждала, что французские 170-й и 171-й полки были штрафными. Более благоприятное впечатление произвели высадившиеся в порту греческие войска. Эти солдаты — эвзоны в своей экзотической форме, белых плиссированных юбочках и каких-то туфлях с красными помпонами на носках прошли два раза с музыкой по городу и ушли дальше на фронт.

Лейтенант Ф.Ф. Спаде был назначен морским и военным атташе Добровольческой армии при Министерстве внешних сношений. Это министерство было переведено из Симферополя, где находилось все правительство, в Севастополь для удобства сношений с союзным командованием.

Мы с Верочкой поступили на постоянную службу. Степень постоянности, принимая во внимание время и место, была относительная. Верочку зачислили на должность делопроизводителя, а меня на место второго секретаря и английского переводчика в Министерство внешних сношений. Этим успехом мы были обязаны лейтенанту Спаде, с одной стороны, и моей принадлежности к кадетской партии — с другой.

Министерство помещалось в прекрасном особняке, принадлежавшем раньше городскому голове города Севастополя. Особняк стоял в коротком переулке, ответвляющемся от Екатерининской улицы и выходящем на Южную бухту.

Личный состав министерства, не считая обслуживающего персонала, был невелик. Во главе стоял министр Максим Моисеевич Винавер, кадетский лидер, как считалось, консервативного направления, пожилой еврей с окладистой библейской бородой, по профессии — присяжный поверенный. Вторым лицом был его первый секретарь Кремер, тоже еврей, помощник присяжного поверенного. Оба — Винавер и Кремер — постоянно бывали вместе и редко появлялись в канцелярии, где работали все остальные. Среди этих последних— лейтенант Спаде, о котором я уже упоминал, еще один второй секретарь — Пипер, бывший также французским переводчиком, Верочка и я. Пипер служил раньше где-то — кажется, в Сибири — русским консулом. Этот старенький господин, безукоризненно одетый, сдержанный и, как казалось, недалекий, мало походил на живое существо. Он представлялся какой-то абстракцией, карикатурой на дипломата. Его легче было представить на сцене играющим комическую роль, чем действительным участником нашей жизни. Крушение старого, установившегося мира, по-видимому, оглушило Пипера, он не мог прийти в себя, не понимал, что с ним и где он находится. Впрочем, это был безобидный и, скорее, приятный человек. Совсем другим оказался Кремер. Он всегда держался особ-

няком. В то время как мы, не будучи перегружены работой, проводили много времени в дружеской и непринужденной беседе, он избегал всякого контакта с нами. Все же с течением времени он не мог не показать свое настоящее лицо. Раз, припертый к стенке, он перестал скрывать свое презрение ко всем видам “буржуазных, пустых и бессодержательных разглагольствований” о гуманности, порядочности и т.д. и заявил, что только Маркс дал правильный анализ исторического развития. Даже деяния Троцкого и Ленина нашли в нем защитника.

Как мог министр правительства, находящегося в борьбе с большевизмом, в разгар Гражданской войны иметь своим доверенным секретарем явного марксиста? При этом министр, принадлежащий к лидерам кадетской партии?!

Сегодня имело место маленькая сенсация. В Севастополь пришла подводная лодка англичан “М I”. О ее приходе мне сообщил взволнованный Мерфи, уговаривая пойти на пристань и посмотреть на это чудо. Это был военный секрет, о котором даже в Англии никто не знал, и теперь английские моряки не верили своим глазам. Действительно, у пристани стояло пришвартованным необычное судно. Назвать его лодкой было невозможно. По величине это был если не крейсер, то по крайней мере истребитель. Но самым замечательным казалось то, что лодка вооружена громадным 12-дюймовым орудием, помещавшимся в особой башне впереди командной. Сзади находилась вторая, меньшая, зенитная пушка. Мне удалось, исполняя роль случайного переводчика, поговорить на берегу с командиром этой лодки. Его звали капитан Рамзей. Я обратил внимание, что он имел русский офицерский орден Св. Георгия. Орден ему пожаловали за потопление немецкого крейсера в Балтийском море. С. Гофман, который поступил в Добровольческую армию и стал теперь офицером связи, получил приглашение на лодку, был принят там английскими офицерами очень радушно в их кают-компании.

Много лет спустя я где-то прочитал, что эта лодка после войны затонула, погибла вся команда.

Дела на фронте шли неважно. Ничего не было слышно о продвижении на север. Белые войска стояли у ворот Крыма и вокруг Одессы. Положение на Кавказе и у Колчака было неясно. Известия в газетах противоречивы. Ползли зловещие слухи. Местная социалистическая газета “Прибой” травила белых и делала выпады против союзников. Как-то раз, по дороге в министерство, я прошел мимо французского солдата, стоявшего на часах. Он потряс сжатым кулаком по моему адресу и злобно прошипел:

— Il va caputt aux capitalistes et bourgeois!*

Было ясно, что большевицкая пропаганда делала свое дело в рядах французских войск.

Павлуша решил вступить в ряды Добровольческой армии.

— Сидеть, пассивно сложа руки, и ожидать, что с тобой будет дальше, невозможно! — заявил он.

Он поступил в батарею конной артиллерии, формировавшуюся на Северной стороне.

Поступок Павлуши вызвал недоумение со стороны Мерфи. Он считал, что это просто юношеская авантюра. Такое непонимание ужаса большевицкой угрозы было типично для всего Запада. Никто не предполагал там, что речь идет не о борьбе политических партий, а о гибели всего, что дорого цивилизованному человечеству, о приходе на смену этому чего-то жутко дикого и зверского.

Моя работа в министерстве заключалась в чтении многочисленных английских газет разных направлений, выборке из них всего, что могло иметь какое-нибудь отношение к нам, в переводе и ежедневном докладе этих выборок министру. Верочка регистрировала входящую и исходящую почту. Однажды она принесла и показала мне перевод на французский доклад сенатора (Таганцева), производившего расследование убийства французского гражданина, московского фабриканта-металлурга Гужона. Доклад сенатора посылался французскому командованию Франше-д’Эспре вместе с сопроводитель-

* Конец приходит капиталистам и буржуям! (*франц.*).

ным письмом, подписанным Винавером и Кремером. В этом письме обращалось особое внимание французов на то место в докладе, где говорилось, что на месте убийства были найдены патроны русской трехлинейной винтовки. Винавер счел нужным подчеркнуть, что такими винтовками вооружена Добровольческая армия. Была совершенно ясна тенденция дискредитировать Добровольческую армию в глазах союзного командования.

Я показал письмо лейтенанту Спаде. Мы решили сделать копии. Одну взял Спаде, другую я передал в Осведомительное бюро Добровольческой армии через поручика С. Гофмана. Какие последствия имели место, я не знаю. Думаю, что ничего не последовало, так как события вскоре после этого начали развиваться ускоренным темпом и даже драматически.

Павлушина батарея должна была завтра выехать на фронт. Я поехал на Северную сторону проститься с ним.

— Хотите посмотреть на белогвардейскую банду? — сказал мне, смеясь, дежурный офицер, у которого я просил разрешения пройти к Павлуше.

В самом деле, общий облик батареи мало напоминал регулярную военную часть. Половину “солдат” батареи составляли офицеры всех чинов и возрастов, в большинстве случаев пробравшиеся сюда из Совдепии через линию фронта. Пресловутые золотые погоны виднелись редко, да и то так были запачканы, что их только из вежливости можно было назвать золотыми. У многих погоны изображались на плечах солдатских шинелей путем нанесения звездочек и просвета химическим карандашом. Другая половина солдат состояла из штатской молодежи — студентов и гимназистов. Командный состав по внешнему виду мало отличался от рядовых. Однако состояние духа у всех было великолепное. Батарея явно гордилась своей чеканной выправкой. Ружейные приемы производились четко. Винтовки “отрывали” от плеча, каблуками щелкали, ногами “печатали”.

Когда я распростился с Павлушей и возвращался домой, на душе у меня было грустно и горечь охватывала меня. Здесь я видал молодежь, смело идущую на смерть, а там, в тылу, кипели интриги и шипела тайная или явная измена.

Крымская весна была в полном разгаре. Цвел миндаль. Солнце грело. Синее море ласково плескалось об известковые скалы. Справедливость требует, однако, сказать, что и Артиллерийская бухта, где всегда плавали базарные отбросы и всякая дрянь, приносимая прибоем, тоже стремилась внести свою лепту в ежегодную симфонию возрождения природы. Легкий бриз доносил оттуда запах тухлой рыбы и застоявшейся воды.

В отличие от идиллического состояния в природе политическое небо было покрыто грозовыми тучами, темневшими с каждым днем. Белые войска отступили к Перекопу. Статьи в газете "Прибой" становились все нахальнее. Многие имеющие средства паковали свои чемоданы и уезжали на греческих пароходах и турецких феллуках.

Наконец брожение прорвалось наружу. Взбунтовались матросы с французского крейсера "Мирабо", стоявшего в доке для ремонта. Примеру "Мирабо" последовали и другие суда. Офицеров арестовывали и выбрасывали за борт. Почти на всех французских судах были подняты красные флаги. В городе солдаты слонялись по улицам и митинговали. Стоявшие на рейде английские суда вышли на взморье. Среди них красовался гигант "Queen Elisabeth". Орудия на нем весьма недвусмысленно были повернуты в сторону рейда и французских кораблей.

Услышав звуки "Интернационала", я вышел на балкон и увидел, что мимо нашего дома вдоль Екатерининской улицы, заворачивая на Морскую, движется масса французских матросов, солдат и каких-то штатских, перемешанная с рабочими из порта. Над толпой развевались красные флаги. В толпе раздавали и разбрасывали листовки. Я сошел вниз, достал одну листовку и убедился, что в ней на французском и русском языках напечатаны обычные призывы к мировой революции и побуждение к немедленной расправе с "буржуями" и капиталистами.

Голова колонны приближалась уже к углу Морской улицы и Нахимовского проспекта. Вдруг из-за угла внезапно появились высадившиеся на днях в порту алжирцы. Их легко можно было узнать по форме цвета хаки. Алжирцы мгновенно выстроились поперек улицы. Первый ряд лег, второй стал на колено, третий остался стоять. Последовал ряд залпов. Толпа бросилась врассыпную. Улица опустела.

Французское выступление было подавлено. Красные флаги на судах исчезли.

Бои шли у Перекопа. Весь вестибюль нашего министерства был завален чемоданами: это эвакуировалось правительство из Симферополя. В вестибюле я встретил министра внутренних дел В.Д. Набокова, которого я узнал, познакомившись с ним на X кадетском съезде. Лейтенант Ф.Ф. Спаде, отозванный в Добровольческую армию, уехал с женой. Мой образцовый ученик капитан Терентьев пришел проститься с нами и сказал, что он поступил помощником шкипера на греческий коммерческий пароход. Бедные Максимовичи опять готовились встречать "морлоков".

— Винавер и Кремер уезжают на французском миноносце "Бордо", — шепнул мне Пипер.

Я бросился к Кремеру:

— Вы уезжаете? Как же с остальными служащими? Как с делами?

— Дела надо оставить в полном порядке для новых властей...

— Если так, то почему вы уезжаете? Ведь это явный большевизм!

Кремер исчез. Я распахнул дверь в кабинет Винавера. Он сидел за столом и что-то писал. Я подскочил к столу и сказал:

— Максим Моисеевич, вы уезжаете, бросаете министерство, всех служащих! Что это значит?

Винавер побледнел:

— Французы не могут всех взять... А разве вы хотите эвакуироваться?

— А как вы думаете? Что же, вы считаете, я хочу, чтобы нас всех здесь большевики передушили?! — вскричал я в ярости и стукнул кулаком по столу.

— Успокойтесь, успокойтесь, — забормотал Винавер, — я сейчас напишу приказ.

Приказ по министерству был написан. Он гласил, что я назначаюсь "Главноуполномоченным по эвакуации министерства внешних сношений", что мне предоставляется право вступать от имени министерства в переговоры, заключать догово-

ры и т.д. Вместе с копией приказа я получил соответствующие доверенности и удостоверения.

Это была вершина моей, так сказать, “дипломатической” карьеры. Громкое звание и большие полномочия, но слишком мало времени. Прежде всего я составил список желающих эвакуироваться и оправился с ним к военным властям, руководившим эвакуацией. Тем временем я просил Верочку и Пипера организовать в первую очередь уничтожение списков служащих и их личных дел, во вторую очередь — заняться систематическим уничтожением вообще всей переписки. Мне удалось получить в банке деньги и уплатить всем служащим жалованье и месячный оклад в счет командировочных. Мы с Верочкой получили посадочные билеты на транспорт “Кагул” и должны были эвакуироваться в Константинополь.

Чемоданы в вестибюле министерства исчезали один за другим. Винавер и Кремер уехали. Эвакуация начала принимать лихорадочные темпы. Город напоминал развороченный муравейник. Мы тоже запаковывали наши чемоданы и готовились к посадке.

Нас раздирали сомнения. Что мы будем делать в Константинополе без денег, без связей, без законченного образования и специальности? Самое страшное, что нас пугало, — Верочка ожидала через два месяца ребенка.

Наши колебания разрешил неожиданный, устроенный большевиками взрыв на “Кагуле”. Были убитые и раненые. Мы решили остаться, увидав в этом перст судьбы.

Бои шли в непосредственной близости от Севастополя. Английские корабли, стоявшие на взморье, в том числе “Queen Elisabeth”, открыли заградительный огонь, стреляя через город из всех орудий. Грохот канонады сотрясал воздух. Казалось, рушится небо. В ряде магазинов в начале Екатерининской улицы вылетели стекла витрин. Черные сенегальцы вырыли траншею поперек улицы и установили пулеметы непосредственно под нашими окнами.

Канонада длилась всю ночь. С рассветом она утихла. Мы выглянули в окно: траншея была пуста, на улице ни души, царила гробовая тишина. Вдруг где-то послышались музыка и

крики “ура!”. Большевики входили в город. Какие-то люди пробежали вверх по улице. Откуда-то выскочили женщины с красными платочками на голове. Музыка и крики приближались. Вот появилась головная колонна большевицких войск. Шла пехота в шинелях без погон и в шлемах-буденновках. За ней двигалась кавалерия, почему-то в красных рейтузах с золотыми лампасами.

Внешне занятие города против ожидания прошло спокойно. Впоследствии выяснилось, что город сдали на определенных условиях. Для выполнения их часть кораблей союзников осталась на рейде.

Войска красных вскоре были почти полностью выведены из города. Народная “выборная” власть прибыла, как полагается, в “запечатанных” вагонах и начала функционировать. По ночам слышались залпы и отдельные выстрелы.

Через пару недель нам удалось попасть в вагон студентов, “реэвакуируемых” в Харьков. Путешествие туда, длившееся не меньше недели, тоже не лишено было волнений. По дороге мы попали к махновцам. Сверх ожидания они оказались очень либеральными и дружественными, несмотря на свой страшный вид и вооружение. Хуже было во время долгой стоянки на станции Синельниково. Здесь один очень нервный комиссар, все время хватавшийся за висевший у него на поясе маузер, угрожал нас расстрелять. На наше счастье, его кто-то вызвал. Уходя, он заявил, что скоро вернется и “побеседует” с нами. Нас спас неожиданно появившийся паровоз и быстрый отъезд.

Мы вернулись в Харьков.

Много лет спустя, прочитав эту главу, я задумался. Вспомнил свою молодость, надежды... Вспомнил милых старичков Максимовичей, к которым мы так привязались. Что сделали с ними “морлоки”, снова завладев Севастополем? Утопили ли они Феликса Осиповича вместе с морскими офицерами или оба старика остались целы и, выселенные из своей квартиры, влачат жалкое существование, живя в нищете в каком-нибудь углу, как и тысячи им подобных бесправных граждан

Советского Союза? Плавает ли по каким-нибудь морям шкипером на грязном греческом “трампе” боевой капитан 1-го ранга Терентьев? Увы, я никогда этого не узнаю... Как ни странно, о судьбе одного из наших севастопольских друзей я узнал потом из неожиданного источника. В 1940 году, когда Советами были оккупированы Балтийские страны, я прочитал в “Известиях”, что в Риге адмирал латвийского флота Ф. Спаде принимал на торжественном банкете офицеров Советской армии... Таким образом, я узнал, что лейтенант русского Черноморского флота стал адмиралом флота Латвии... Но, Боже мой, что с ним теперь? Прошло еще 25 лет, и я, живя в Швейцарии, получил от одного из моих друзей за океаном только что напечатанную в Америке книжку Елены Ишутиной “Нарым — дневник ссыльной”. Там я прочитал на 59-й странице: “В Парабелели (Нарым) в артели металлистов работал заведующий пекарней латвийский адмирал Спаде. Высокий, плечистый, борода лопатой... Как-то был у нас в конторе. Жаловался, что память у него совсем пропала. Видно, не старость причина, а перемена профессии. Недавно его осудили на два года... за выпуск недоброкачественного хлеба — сырой, и за то, что не следит за чистотой: в хлебе нашли не то мышь, не то кузнечика. Осудили и угнали в Колпышево. Оттуда навряд ли вернется — режим очень трудный”.

Глава 4

СНОВА В ХАРЬКОВЕ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ

Добровольческая армия наступала на Харьков. Террор усиливался с каждым днем. Ночью с улицы Чайковского доносились пулеметные очереди. Население шепотом рассказывало о пытках и зверствах, устраиваемых комиссаром Чека Саенко. Если днем еще можно было без особого риска появляться на улицах, то вечером это стало совершенно невозможным. С приближением белых опасность еще более увеличилась. Большевиками была найдена новая форма преследования. По ночам чекисты окружали какой-нибудь дом в центре города. Из дома выводили всех проживающих там мужчин. Оставляли только тех, которые могли представить начальнику облавы доказательства, что они либо близко стоят к советской власти, либо особо для нее ценны. Захваченных выводили из города, как говорилось, на рытье окопов. Однако многие из уведенных никогда более не возвращались домой.

Вернувшись из Крыма, мы с Верочкой жили на квартире тестя. Как-то ночью, когда все уже спали, нас разбудил неистовый стук в дверь. Вскочив с постели, мы выглянули из-за гардин. Свершилось! Пришла и наша очередь! Дом был окружен конными красноармейцами.

Тесть, кое-как одевшись, пошел вести переговоры, доказывая, что здесь помещается швейцарское консульское агентство и что таковое пользуется правами экстерриториальности.

Тем временем в доме царила паника. Женщины плакали, метались из стороны в сторону, уговаривая мужей и братьев спрятаться на чердаке или еще где-нибудь. Последнее

было, однако, совершенно невозможно. Я пустился на хитрость. Надел высокие сапоги, оставшиеся с практики, тужурку, русскую рубашку под нее. Тем временем П.И. Бернгард сумел немного уговорить начальника отряда. Было заключено соглашение, что он не войдет в дом дальше передней. Там ему будет для контроля показана домовая книга, и он сможет проверить всех проживающих после соответствующего допроса.

Братьев Верочки начальник отпустил по малолетству. Потребовал меня. Последовал следующий диалог:

— Ты кто будешь?

— Студент, даю здесь детям уроки.

Я продемонстрировал студенческий билет Харьковского технологического института. Незадолго до этого я зачислился на механический факультет студентом, не желая бесплодно терять время до возвращения в свой Институт. И даже успел сдать здесь экзамен по термодинамике. Показывая билет, я увидел, что он снабжен печатью с красной звездой. Это был единственный раз в моей жизни, когда я обрадовался этому символу. Начальник повертел в руках билет, вернул его мне и сказал:

— Иди спать спокойно, товарищ!

Хуже было с Гришей, мужем сестры Верочки, Лили. Когда он заявил, что он врач, ординатор университетской клиники, то начальник заорал:

— Ах ты, сволочь! Ординарец, переоделся в штатское! Бери его!

Никакие уговоры не помогали. Его увели. Лиля была в отчаянии.

Все, слава Богу, обошлось благополучно. На следующее утро Гриша вернулся. Кто-то догадался, что он действительно врач.

Следующие дни принесли изменение только в том отношении, что все более и более приближающаяся канонада слышалась все громче и громче.

Утром я пошел к своим родителям, жившим на Максимилиановской улице. Улица находилась в нагорной части Харькова, и оттуда с балкона можно было видеть далеко за город. В бинокль я увидел вдали бронированный поезд белых, вышедший из Чугуевского направления, и перед ним отсту-

пающие цепи красных. Вскоре звуки энергичной перестрелки послышались уже в городе. Радостно взволнованный, я распрощался с родителями и побежал домой. Пушкинская улица выглядела совершенно пустой, когда я вышел на нее. Первым, кто мне встретился, был растрепанный красноармеец без винтовки. Озираясь по сторонам, он скрылся, перемахнув через забор. Идя дальше, я вдруг увидел солдата, да какого! С голубыми погонами на плечах, с русской кокардой на фуражке. Он стоял одиноко с винтовкой в руках. Когда я и еще один откуда-то появившийся прохожий подошли ближе, он закричал нам:

— Господа, господа, проходите скорее! Город еще не совсем занят.

Я пошел дальше. Из боковой улицы, маршируя посередине мостовой, появились трое в штатском, но с винтовками на плече. На рукавах у них были белые повязки, на шляпах засунутые за ленточку куски белого картона. В центре города на Николаевской площади стоял бронированный автомобиль с красной звездой. На мостовой рядом — два убитых красноармейца. Комиссар и китаец. Тут я вспомнил о советском памятнике — красной пирамиде из дерева и гипса, — стоявшем перед собором. Прибежав туда, я изумился: от пирамиды не осталось и следа — ликующее население уже разнесло ее вдребезги.

Между тем город начал наполняться войсками. Большая колонна двигалась по Московской улице. У солдат был усталый, но бодрый и радостный вид. К вечеру белые город заняли полностью. Большевики отступали в беспорядке на Белгород.

Вечером дома я заявил, что получил достаточно и не могу больше сидеть сложа руки и ожидать, соблаговолят ли “товарищи” большевики меня дальше миловать или стащат на Чайковскую, в Чека, для ликвидации. Я поступаю в Добровольческую армию. Верочка, несмотря на то что была на последнем месяце “ожидания”, не протестовала. Родители тоже согласились. Увидев на улице солдата с путейской арматуркой (якорь и топор) на погонах, я узнал, что он из 2-го Заамурского железнодорожного батальона. Батальон занял вокзал и станцию Харьков. Я пошел туда и записался. Через час получил увольнительную записку на три дня. Мне предложили самому позаботиться об обмундировании.

Я не был одинок в своем решении. Многие разделяли мою точку зрения. В течение трех дней Харьков дал 30 тысяч добровольцев.

Такой энтузиазм харьковцев можно легко понять. Слишком памятны были ужасы Чека. После занятия города многие бросились на Чайковскую улицу в надежде спасти своих близких. Перед отходом большевики расстреляли всех еще оставшихся в живых заключенных. В соседнем овраге лежали кучи трупов. На участке дома, занятого Чека, были найдены одиночные и массовые могилы. Многие трупы носили на себе следы пыток и ужасных увечий. У открытых могил происходили душераздирающие сцены, когда ищущие находили своих близких. Трупный запах из открытых могил разносился ветром далеко по городу. Рассказы о виденном привели к тому, что население толпами шло на Чайковскую улицу, желая собственными глазами убедиться в имевшем место.

П.И. Бернгард, выбранный оставшимися представителями консульств председателем Иностранного комитета, получил приглашение командования Добровольческой армии посетить вместе с членами комитета Чайковскую и засвидетельствовать зверства большевиков. Члены комитета, кроме Бернгарда, представлявшего Швейцарию, и Гунтера от Великобритании, были представителями Голландии, Франции, Италии и Греции; они не только все видели сами, но и сфотографировали виденное. Были сняты и засвидетельствованы камеры с найденными там орудиями пыток, трупы с увечьями, так называемые “перчатки”. Последние чекисты получали, опуская руки жертв в кипяток и сдирая потом кожу. Все эти фотографии с подробным протоколом, подписанным всеми членами комитета, направили через французское командование соответствующим правительствам.

Не прошло и недели после освобождения, как жизнь в городе совершенно изменилась. Произошло то же самое, что и год назад после занятия города немцами. Как по мановению волшебного жезла, исчез недостаток продовольствия. Хлеб, масло, мясо появились в неограниченном количестве. Цены падали с каждым днем. Всюду открывались магазины, торговавшие всем, что еще недавно казалось недоступным. Открывались кафе и рестораны. Начали функционировать кино и театры.

Наша “учебная рота” состояла исключительно из студентов, главным образом харьковских технологов. Нас расквартировали в вагонах, стоявших в северном предместье Харькова, где находился железнодорожный ремонтный парк 6. Началась ускоренная военная муштра. Принимая, очевидно, во внимание наш студенческий состав, для нашей дрессировки нам дали особо лютого фельдфебеля. Он орал на нас и гонял безжалостно, доказывая:

— Тут тебе не невырситет — тут головой работать нужно!

Мы переносили все это с юмором, улыбаясь. Жестокая тренировка, с одной стороны, и наша готовность — с другой, привели к тому, что уже через неделю нас сочли возможным выставить почетным караулом на платформе харьковского вокзала для встречи Главнокомандующего генерала А.И. Деникина, и мы не “смарали”. Лихо “отрывали” винтовку от плеча, беря “на кра-а-а-ул!”. Правда, наши штатские предрассудки еще не были полностью ликвидированы. Так, перед этой встречей нам было приказано украсить платформу зелеными ветками. Когда один из нас, услышав этот приказ, имел наивность спросить, где мы должны их наломать, то услышал на это негодующий упрек:

— Где! Что вы, солдаты или шляпы? Чтобы было, и конец!

Мы сообразили и наломали ветки в прилегающих к вокзалу садах “благодарного” населения.

Пока шло наше обучение в “шестопарке”, я мог, хотя и нечасто, отлучаться в город и посещать своих. Там ждала меня неожиданность: появился Павлуша. Он был теперь уже опытный военный. Стал наводчиком в своей батарее. Участвовал во многих боях. Был представлен к Георгиевскому кресту за взятие города Сумы.

Муж Лили Гриша пошел тоже в армию, поступив врачом в лазарет тяжелой батареи.

Ко дню моих именин, 6 июля, Верочка принесла мне в роту торт. Возвращаясь домой, она споткнулась на путях и упала. Это ускорило ход событий. Когда я получил следующую увольнительную записку и пришел домой, я нашел лежащее в кровати рядом с Верочкой маленькое существо — это был мой сын. Описать радость, любовь и тревогу за обоих я не могу. У меня не хватает слов.

Наше обучение кончилось. Вся рота преобразилась, даже внешне. Не только наши теплушки были оборудованы с максимально возможным комфортом, но и снаружи весь эшелон аккуратно покрасили зеленой краской. На дверях вагонов были изображены треугольные трехцветные шевроны.

Батальон имел два паровоза, обслуживаемых нашими технологами в звании машинистов. Один из паровозов — бронированный и прицеплялся к броневспомогателю. Последний состоял из бронированного вагона, вооруженного тяжелыми пулеметами, и вспомогательных вагона и платформ с рельсами, шпалами и прочим ремонтным материалом. Броневспомогатель носил название "Желбат-2". Свой эшелон мы окрестили "зеленой крокодилой".

Нас отправили в только что занятый Чугуев, где мы взяли эксплуатацию головного участка.

Надо сказать несколько слов о взаимоотношениях офицеров и солдат в Добровольческой армии. Хотя чисто офицерские полки времени "первопоходчиков" были теперь значительно пополнены новыми добровольцами-неофицерами — мобилизованными и даже пленными из красных, — все же в "рядах" зачастую находились офицеры. Так, например, взятые в плен и перебежчики офицеры должны были прослужить известное время в рядах для своей реабилитации. При строжайшей дисциплине в строю и на службе между солдатами и офицерами существовали дружеские отношения. К тому же и стиль официальных отношений изменился. Вместо обращения "ваше благородие" и т.д. применялось "г-н капитан", "г-н полковник". В нашем батальоне, благодаря его особому составу, эти новые отношения были очень заметны.

Мы стояли на станции Граково между Чугуевом и Купянском. Недалеко находился большой сахарный завод, занятый красными. Было дано задание — освободить завод. Два наших взвода выступили в поход. Гарнизон завода составляли не регулярные войска красных — завод был занят бандой местных большевиков. Банда невероятно свирепствовала в окрестности, насильничая, грабя, убивая. При нашем приближении большевики пустились в бегство и попытались спрятаться в деревне. Попытки отрезать им отступление не увен-

чались успехом вследствие незнания нами местности. Мы попали в болото. В перестрелке нам удалось убить их предводителя, остальные бежали. (Тошноту и отвращение вызвал у меня поступок одного из наших добровольцев, студента к тому же. Увидев, что убитый комиссар обут в новые лаковые сапоги, он наступил на труп ногой и стащил с него сапоги.)

Наши потери — один раненый. Рана была тяжелая, в живот. У нас не только не было никакой медицинской помощи, но даже и надлежащих перевязочных средств. Прошло три дня, прежде чем удалось отправить его в Чугуев.

После освобождения завода наше командование мобилизовало крестьянские подводы. На заводе их нагрузили сахаром и привезли в эшелон. Два вагона были наполнены сахаром. Это значительно улучшило наше питание. Получая регулярно большие порции сахара, мы обменивали его у крестьян на яйца, терли гоголь-моголь и варили тянучки.

Наступление на Купянск продолжало развиваться. Добровольцы наступали вдоль железнодорожной линии Чугуев — Купянск, донские войска двигались вперед по левому берегу реки Оскол. В Купянске фронты должны были соединиться.

Броневспомогатель “Желбат-2” выехал со станции Граково и быстро катился в направлении на Купянск. В бронированном вагоне было жарко и душно, сами вагоны очень тесные и низкие. Стоять во весь рост можно было только посередине. Их обычно устраивали из стальных, большой грузоподъемности вагонов-гондол для угля и руды. На расстоянии около 20 сантиметров от наружной металлической стены устраивалась деревянная перегородка. Пространство между ней и наружной стенкой засыпалось песком. Сверху боковые стенки перекрывались согнутым металлическим щитом в виде свода. В боковых стенках прорезались бойницы. Обычно на больших перегонах мы ехали на открытом воздухе, сидя на платформах с рельсами. Теперь мы все сидели в бронированном вагоне. Пулеметчики — у бойниц с пулеметами наготове. Вдруг поезд остановился. В вагон вошел соскочивший с паровоза поручик Шимкевич.

— Приготовиться к десанту! — скомандовал он.

Он открыл люк и выпрыгнул на полотно. Мы последовали за ним. Поезд стоял на кривой. Вдали был виден железнодорожный мост через Оскол. Справа и слева стояли деревенские хаты. Сама деревня казалась вымершей. Окна были закрыты ставнями. На улицах пусто.

Мы построились, вышли из деревни и развернули цепь с интервалом в 15 шагов. Цепь пошла вперед. Вскоре послышалось сердитое мяуканье пуль, то там то сям поднимавших вспышки пыли. Поручик приказал нам лечь и продвигаться перебежками. Так мы добрались до моста и залегли в 100—150 метрах от него. Там мы начали обстрел. Наш лютый фельдфебель давал нам прицел, указывая на ошибки, и был просто незаменим. Поручик Шимкевич бегал вдоль цепи, комментировал поведение отдельных звеньев и ни разу не лег, несмотря на обстрел. Постепенно выскакивающие по временам фигуры большевиков перестали появляться, и шлепанье пуль около нас прекратилось. Поручик посмотрел в бинокль, подошел ко мне и сказал:

— Вольноопределяющийся, идемте со мной!

Я встал и пошел за ним. Мы вошли на мост. Перешли на другой берег. Поручик посмотрел направо, налево. Все было тихо. Мы вернулись назад, и я снова лег в цепь. Вдруг на нашем берегу появился красноармеец, махнул белым платком и снова исчез. Поручик махнул рукой и крикнул:

— Иди, иди!

Красноармеец поднялся и пошел к нам. Поручик подскочил к нему, схватил за ворот и дернул. Рубаха разорвалась и обнажила татуированную драконами грудь.

— А, матрос! — заорал поручик и с размаху ударил матроса по физиономии.

Тот покачнулся и на ломаном русском языке начал объяснять, что он немец, из Гамбурга, был в плену. Большевики заставили его вступить в Красную армию насильно. Он хочет только домой. После вопросов и дальнейших изъяснений — частью словами, частью жестами — поручик спросил матроса:

— Слушай, ты! Хочешь с нами большевиков бить?

Матрос кивнул головой:

— Jawohl, Herr Leutnant!*

---

* Так точно, господин лейтенант! (*нем.*)

Услышав это, поручик пришел в восторг, обнял “матроса”, расцеловал его в обе щеки, похлопал по спине и послал в тыл. Трудно сказать, насколько немец был искренен в своих уверениях, но, как показало будущее, он остался верен белым до конца и был одним из самых исправных солдат батальона.

На следующий день добровольцы и донцы, подошедшие вдоль Оскола, заняли станцию и город Купянск.

Эпилогом этих эпизодов, по крайней мере для меня, может служить следующее. К нам перебежал красный командир, бывший поручик Глоба. Он рассказал, что, когда мы с Шимкевичем перешли через мост, он сидел со своим пулеметчиком в кустах на другом берегу и не позволил ему открыть огонь по нам.

С северо-восточного участка фронта нас перебросили на западное направление. При проезде через Харьков я мог снова посетить своих, о которых так тосковал. В Харькове жизнь кипела. Не только имела место обычная при смене коммунистического режима метаморфоза, т.е. смена голода и недостатка продуктов изобилием товаров, но я с удивлением увидел новую трамвайную линию, соединяющую вокзал с центром города. Об этой линии, сменившей конку, разговоры шли годами, а теперь наконец свершилось и было закончено в пару месяцев. О кафе, магазинах и ресторанах не стоит и упоминать. Все приняло нормальный вид. Советская тусклость исчезла без следа.

По дороге мы останавливались и принимали эксплуатацию головных участков в Кременчуге, Знаменке и других местах. Все теперь носило для нас знакомый рутинный характер. Несколько необычным было для путейского глаза то, что мы иногда наполняли тендер паровоза не из функционирующего гидранта, а из пруда и болота, передавая ведра из рук в руки цепью. Бывало также (о ужас!), что мы топили паровоз новыми шпалами, беря их из штабелей.

Не совсем рутинный характер имело происшествие в Знаменке, где мне пришлось выступить в неожиданной для меня роли “бунтовщика”. Произошло это так. Наш каптенармус, солдат сверхсрочной службы, был большой жулик и проделывал с продовольствием какие-то подозрительные махи-

нации. В результате мы иногда получали не совсем удовлетворительную пищу. Раз, когда мы получили на обед суп с тухлым мясом, в вагоне поднялось возмущение. Меня как старшего по вагону (я был в это время уже ефрейтором) просили пойти и заявить протест дежурному офицеру. Я взял в руки миску с супом — это был, в сущности, большой таз из оцинкованного железа — и пошел с ней в канцелярию. Там я заявил:

— Господин прапорщик, позвольте подать протест! — поставив при этом таз на стол.

Прапорщик заорал:

— Что за гадость вы мне ставите на стол!

— По поводу этой гадости я и имею в виду протестовать!

Прапорщик — его фамилия была Пяткевич — вызвал фельдфебеля и приказал поставить меня "под винтовку" на шесть часов.

Постановка "под винтовку" является очень тяжелым наказанием. Винтовку надо держать на плече. Не проходит и часа, как руки начинают неметь, ноги дрожат. В глазах темнеет. Солдат падает. Его освежают водой и ставят снова. Не знаю, как бы я выдержал такую пытку, даже принимая во внимание, что меня поставили без "полной выкладки", т.е. без ранца. Я стоял между двух железнодорожных составов, вроде как в коридоре. Это позволило нашим добровольцам учредить своего рода дежурство и сигнализацию. Вместо того чтобы стоять с винтовкой на плече, я мог держать ее "к ноге", поднимая на плечо при приближении какого-либо начальства. Все функционировало безупречно. Сам прапорщик Пяткевич, по-видимому, сообразив, что немного зарвался, не вылезал из канцелярии и не пытался меня контролировать.

Отстояв положенное время, я вернулся в свой вагон и узнал там, что несколько офицеров выражали в недвусмысленных словах негодование по поводу поступка Пяткевича и советовали подать формальный протест ротному командиру. Отдохнув, подкрепившись и приведя себя в порядок, я пошел к вагону капитана Кирсанова, занимавшего эту должность. Здесь я заявил через вестового, что мне нужно безотлагательно переговорить с капитаном. Капитан открыл окно своего купе, я подошел, взял под козырек и сказал:

— Господин капитан, разрешите подать жалобу!

Капитан разрешил и предложил рассказать, в чем дело. Я не сомневался, что он знает всю историю, но доложил обо всем происшедшем подробно. Заканчивая свое изложение, я сказал:

— Господин капитан, меня особенно оскорбляет то, что прапорщик Пяткевич трактовал меня как какого-то бунтующего солдата-большевика. Я не имею чести носить золотые погоны, но они мне дороже, чем каким-то господам, которые носят их случайно!

Капитан принял мое заявление спокойно и сказал, что устроит расследование.

Этот эпизод наделал много шума в батальоне. Один из наших офицеров раз остановил меня, пожал мне руку и сказал, что батальонный командир полковник Сафонов пришел в ярость, услышав о происшедшем. Кричал, что не позволит, чтобы его добровольцев оскорбляли проходимцы. Капитан тоже получил выговор. Прапорщик Пяткевич скоро исчез из батальона. Во всяком случае, я его больше не встречал.

Вскоре наш батальон принял головной участок на станции Киев.

Марш вперед — Россия ждет
Добровольцев роты!
Смело мы в бой пойдем
За Русь святую!
И, как один, прольем
Кровь молодую!

Так пели мы, маршируя по Крещатику. Мы только что получили новое английское обмундирование. После наших плохо скроенных, грязных гимнастерок и стоптанных, нечищеных сапог мы были теперь одеты как на парад. Из воротников элегантных френчей выглядывали красные полоски шейных платочков. Ноги в аккуратно завернутых спиральных обмотках “печатали” крепкими английскими ботинками киевскую мостовую. Овальные романовские кокарды украшали китченеровские фуражки. Трехцветные шевроны были нашиты на рукавах почти у всех. Ведь 90 процентов роты составляли студенты-добровольцы. Пение сменяла музыка оркестра, игравшего марш “Под двуглавым орлом”. Четкая дробь барабанов следовала за музыкой оркестра. Население толпи-

лось на тротуарах. Из окон бросали цветы, размахивали платками. Сердца у нас радостно бились, глаза сверкали.

Вдруг я увидел на краю тротуара инженера Богатырева. Последний раз, когда мы виделись, он был начальником 3-й дистанции на постройке железнодорожной линии Гришино — Ровно, а я студентом практикантом. Богатырев то размахивал своей путейской фуражкой, то вытирал платком катившиеся у него по лицу слезы. Увы, я не мог выйти из строя или окликнуть его. Если бы он только знал, что я в этих рядах!

Мы дошли до Царского сада. Оркестр продолжал играть. Нас расположили группой на широкой лестнице, ведущей в парк. Впереди сели наши пулеметчики с тяжелыми пулеметами Кольта. Нас фотографировали, снимали для кино. Публика подходила толпами и кричала “ура!”. Нам совали в руки табак и конфеты. Киев, освобожденный от большевицкого террора, мог наконец вздохнуть полной грудью и радоваться будущему.

Хотя мы все еще несли охрану станции Киев, бóльшая часть эксплуатации уже была передана в руки штатских железнодорожников. Фронт, однако, был недалеко, всего в 15—20 километрах, за рекой Ирпень. В городе близость фронта чувствовалась мало. Жизнь била ключом. Кафе на Крещатике со столиками под пестрыми зонтами бойко торговали. Публика фланировала, девицы вели отчаянный флирт с военными. Устраивались балы. Театры были переполнены. В оперетке шел “Орфей в аду”, и на сцене звучало:

Совет чертовских депутатов
Сменил владыку Сатану!

В кабаре громадным успехом пользовались куплеты о военном комиссаре Троцком:

А кто-то жил в салон-вагоне,
Совсем как прежний царь на троне.
В роскошной ванне тут же брился!
Затем он за обед садился.
Четыре повара всегда
Борцу труда
Обед варили!

Может быть, не совсем складно, но публика была довольна.

Наша ремонтно-укладочная команда и броневспомогательный поезд стояли без работы, так как фронт на нашем участке не двигался. Против нас стояли какие-то “советские” войска, которые, как поговаривали, утверждали, что они большевики, но не коммунисты. Они воевали и с нами и с украинцами. Эти большевики и украинцы попеременно отнимали друг у друга Белую Церковь. При занятии города и те и другие устраивали в первую очередь еврейский погром. Тут у них, по-видимому, разногласий не было. В конце августа сообщения с других участков фронта были более чем благоприятны. Белая армия шла вперед, наступала на Орел. У нас царило спокойствие, только изредка доносился глухой гул орудий.

Была темная ночь. Я забылся на момент, как меня растолкал дневальный:

— Господин вольноопределяющийся, тревога!

Я вскочил, протер глаза. На темном небе вспыхивали отблески. Слышался все нарастающий гром орудий. По временам доносилась пулеметная трескотня. Я приказал будить горниста и трубить тревогу. Из вагонов высыпали солдаты, я выстроил их тут же на путях. Наконец — минуты казались мне часами — из вагона вышел ротный командир капитан Кирсанов. Я скомандовал:

— Смирно! — и поспешил к нему с рапортом.

Капитан принял команду. Через четверть часа рота выступила и пошла в бой с оркестром. Мне, как дежурному унтер-офицеру, и прапорщику Рудю, как дежурному офицеру, было приказано остаться с эшелоном и ни при каких условиях его не покидать. Кроме нас, были оставлены машинист, помощник и кочегары. Они пошли в депо растапливать паровозы.

Стрельба разгоралась. Мы с прапорщиком ходили около пустого эшелона. Он увидел мой автоматический 45-й кольт, спросил, есть ли у меня патроны и сколько. У меня было две обоймы по семь штук. Прапорщик сказал, что у него тоже есть кольт, но только два патрона к нему. При такой обста-

новке я не мог не поделиться с ним и отдал ему одну из своих обойм. Тем временем стрельба слышалась все громче и громче. Мимо нас прошел поезд, полный солдат, двигающийся от киевского вокзала по направлению к мосту через Днепр. Мне это не слишком понравилось. Я взглянул на прапорщика — он молчал. Мимо прошло еще несколько поездов, переполненных солдатами. Стрельба перенеслась из предместий уже в самый город. Прошел еще поезд. Солдаты на крышах, на буферах. Пулеметы на площадках вагонов. Однако — ведь это наши солдаты, наши пулеметчики! Они машут нам руками, что-то кричат. Стрельба уже не сзади, а где-то впереди, сбоку, со стороны Полицейской улицы. Нет сомнения, нас обходят! В самом деле, вдруг на насыпь взбираются какие-то солдаты, многие без винтовок, кричат:

— Ребята, давай ходу! — и показывают руками назад.

Я смотрю на прапорщика. Он, как прежде, молчит, только сильно побледнел. Но что это? Паровозный гудок! Да ведь это наш паровоз! Мы бросаемся к нему. Прицепили. Однако нам надо вытягиваться с нашим эшелоном почти на полкилометра навстречу наступающим большевикам. Вытянули, но паровоз необходимо переставить теперь в голову поезда. Мы с прапорщиком вскакиваем на подножки паровоза. Снова обгоняем свой эшелон и наконец прицепляем паровоз к его голове и трогаемся по направлению к днепровскому мосту.

Наш пустой поезд в мгновение заполняется откуда-то появившимися солдатами всех частей и видов оружия. Мы едем, вместе с нами идут и другие поезда по четным и нечетным путям, все в одну сторону: железнодорожный мост через Днепр — однопутный. Перед мостом стоит десятка два поездов, медленно по очереди переезжая Днепр. Поздней ночью приходит и наша очередь. Мы переезжаем и попадаем на станцию Дарница, где нас ожидает рота.

Белая армия ушла из Киева. Только Печерск остался за ней.

На другой день в Дарнице нашу роту выстроили для поверки и переклички. После поверки капитан вызвал меня из строя, произнес несколько теплых слов и произвел меня в старшие унтер-офицеры. Я был очень смущен. В сущности, если бы у меня было больше инициативы и решительности, то вполне вероятно, что я удрал бы, бросив эшелон. Особенно

тогда, когда я видел, что рота проехала мимо. Но приказ был приказ! Ослушаться его я не мог!

Мы приводились в порядок и оставались пока в Дарнице. Сама станция, дачи и даже лес, где на полянках разожгли костры, были переполнены беженцами. Около ста тысяч киевлян бежали через Цепной мост на другой берег Днепра.

Проходя по лесу, я вдруг услышал шум и крики, доносившиеся со стороны группы беженцев. Бросившись туда, я увидел, что публика — по виду все солидные господа — наседает, тащит и бьет какого-то черноватого субъекта. Тот тоже кричит и размахивает какой-то красной книжечкой. Пользуясь авторитетом военной формы и моего кольта, я остановил избиение. Оказывается, толпа приняла этого человека за еврея и, будучи страшно озлоблена на евреев, хотела расправиться с ним. При отступлении наших войск еврейская самооборона стреляла с крыш по отступающим солдатам и беженцам.

На книжечке, которой размахивал пострадавший, я заметил британский герб. Это был британский паспорт, выданный на какое-то греческое имя. Владелец паспорта оказался британским подданным — грек-киприот, исполняющий к тому же должность греческого консула. Я пристыдил “погромщиков”, среди которых, увы, находились профессора Киевского университета. После того как все выяснилось, перед греком извинились. Потащили его угощать. Уходя, грек благодарно тряс мне руку и просил посетить его, если вернемся в Киев.

Не прошло и трех дней, как большевиков снова выбросили из Киева. Я попросил увольнительную записку и пошел в город пешком через Цепной мост. Когда я пришел туда, Крещатик был уже освобожден. Перестрелка шла только в северных предместьях, но скоро и здесь затихла совсем. Большая улица с широкими тротуарами была совершенно пуста, но уже начали открываться окна и, осторожно отворяя дверь, выходили из домов люди. Кому-то пришла в голову счастливая идея — он вытащил на тротуар столик и начал угощать проходящих солдат. Не прошло и получаса, как и другие последовали этому примеру. Тротуары заставили столиками. Ни один дом не желал отставать от другого.

Нормальная жизнь снова вернулась в Киев. Наш батальон взял на себя, как прежде, эксплуатацию головного участка. При первой возможности я навестил греческого консула и был принят очень радушно.

На нашем участке фронта воцарилось спокойствие. На Центральном фронте Добровольческая армия заняла Курск и двигалась на Орел. 1 октября были заняты Орел и Чернигов. Все, казалось, шло прекрасно. Занятие Москвы и конец войны представлялись вопросом если не дней, то недель.

Внезапно похолодало, выпал снег. Наступила ранняя зима. Нашу команду и броневспомогатель перебросили неожиданно и спешно в Нежин. Там мы простояли несколько дней без особого дела, после чего нас отправили ночью на Ворожбу, с Ворожбы на Кременчуг. Оказалось, что в тылу начали действовать банды, они взрывали пути и терроризировали железнодорожников. Мы восстанавливали движение и своим присутствием успокаивали население. Все было бы ничего, если бы с фронта не начали приходить худые вести. Все говорили о плохом снабжении передовых частей, о недостатке обмундирования и продовольствия. Зима к тому же становилась все более суровой. Снег заваливал пути. По обеим сторонам полотна можно было видеть чудовищные гирлянды местами спутанных и оборванных телеграфных проводов. Гололед превратил их в толстые, пушистые белые канаты.

Мы были в Полтаве, когда сдали Орел. Город пробыл в наших руках только две недели. За Орлом последовал Курск.

Ввиду близости от Харькова мне удалось получить короткий отпуск и наконец снова увидеть своих. Как я был рад обнять и расцеловать их! Малютке Олегу, моему сыну, было всего четыре месяца. Радость встречи, однако, отравила тревога. Надо было что-то предпринимать. Наступление красных продолжало развиваться, не встречая отпора. Оставаться в Харькове дальше было невозможно. Я считал необходимым немедленно эвакуировать все семьи в тыл. Мое мнение разделял и Павлуша, тоже в эти дни приехавший с фронта. Его резоны были тем более вески, что часть его принадлежала к группе войск, незадолго до этого во время наступления занявшей Курск и Орел. Однако мы встретили резкий отпор

со стороны моей тещи, не желавшей считаться с действительным положением и руководствовавшейся в своем поведении только семейными симпатиями и антипатиями. Попытки тестя уговорить ее были тщетны. Он сам как швейцарский консул вел переговоры с командованием Добровольческой армии об эвакуации швейцарских граждан и мог бы увезти семейство сравнительно спокойно и вовремя.

Новое добавление ко всем трудностям и тревогам: я заболел! Возвратный тиф. Бредил, температура была очень высока. Почти все время без сознания.

Через неделю приступ кончился. Сознание вернулось. Но встать я не мог. Во время моей болезни все радикально изменилось. Необходимость бежать стала ясной для всех, даже самых упрямых. Но все карты были спутаны. Царили паника и хаос. Когда отъезжал поезд с вагонами, предназначенными для швейцарцев, мой тесть был вынужден ехать с ним как глава колонии. Он смог взять с собой только двоих младших сыновей. Жена его, несмотря на уговоры, не желала уезжать, ожидая отъезда батареи, в которой Гриша, муж Лили, был военным врачом. Когда же сама батарея тронулась в отъезд, то Гриша смог увести в своем санитарном вагоне только Лилю.

Верочка оставалась, бегая в поисках возможности вывезти ребенка и меня. В конце концов ей удалось обеспечить мой отъезд в санитарной летучке. При этом там согласились взять моих родителей как сопровождающих. Взять ее и ребенка, однако, наотрез отказались. Семья Бернгард стремилась в Новочеркасск, где жил и имел свой дом казацкий полковник А.И. Бабкин, женатый на швейцарке, кузине Верочки. Швейцарский эшелон шел прямо в Ростов. Моя же санитарная летучка только до Бахмута. В самый последний момент, благодаря усилиям знакомых, имеющих связи, удалось обеспечить отъезд Верочки с сыном и матерью. Направление было то же — на Ростов и Новочеркасск.

Все это время я поневоле играл пассивную роль, не всегда даже соображая, как идет дело.

Пробыв в пути около недели, моя санитарная летучка доехала наконец до Бахмута. Там меня привезли в дом какого-то еврея, старого клиента “Невской Ниточной Мануфактуры”, адрес которого дал мой тесть. По приезде туда приступ моего тифа достиг апогея. Температура поднялась выше 40°, и я почти все время был без памяти. Верочка же, воспользовавшись тем, что их эшелон задержался на некоторое время в Бахмуте, посетила меня здесь и даже принесла малютку. Но мое состояние было таково, что я либо не сознавал происходившего, либо принял это за бред и забыл. Бедная Верочка вынуждена была снова ехать без меня. Но другое посещение я помню хорошо. Это был мой тесть П.И. Бернгард. Температура упала, и я пришел в сознание. Он рассказал, что довез всех швейцарцев до Ростова, исполнив свои обязанности консула, и считал, что теперь может посвятить себя семье. Всеми правдами и неправдами он добрался до Бахмута и узнал, что его жена и Верочка с сыном уже уехали в направлении Ростова. Он нашел, однако, здесь не только меня с моими родителями, но и тяжелую батарею Гриши. Бернгард пришел проститься со мной. Он был очень смущен и расстроен. Медлить было нельзя: фронт подходил к Бахмуту. Батарея брала с собой только его одного. Он и Лиля могли ехать в санитарном вагоне. Меня взять не могут. Мы обнялись, он поцеловал меня.

Я знал, что Павел Иванович действительно не мог ничего сделать. Не знал я тогда, что мы больше никогда не увидимся!

Ночь была ужасна. Температура, как мне говорили, поднялась выше 41°. Пот катился с меня каскадами. Почти все время я находился без сознания. Когда я утром проснулся, температура была ниже нормальной. Голова ясная. Я чувствовал себя совсем здоровым, только слабым и очень уставшим. Приступ кончился. И вовремя! Занятие Бахмута красными было вопросом одного-двух дней. Наши бедные хозяева нервничали. Никто не хотел встретить красных с больным добровольцем в доме. Отец помог мне одеться. Я перекинул через плечо сумку, взял в руки мой карабин Манлихера. Мы распрощались с хозяевами и вышли втроем на улицу. Идти, но куда? Отец был совершенно растерян, мать плакала. Я взял на себя “командование”. На станцию, конечно! Мы двину-

лись. Вдруг у меня в глазах потемнело, я потерял сознание, упал. Однако это продолжалось только мгновение. Меня подняли. Мы пошли дальше. На станции сидели совершенно потерянные. Отец, человек штатский, не мог ничего предпринять. Меня охватила апатия...

— Эмиль Францевич! Варвара Васильевна! — Кто-то подошел к нам, протягивая руки. — Каким образом вы здесь? Что с вами?..

Это был Фриц фон Фюнер. Когда я был еще маленьким, гимназистом, Фриц был уже "большим" кадетом Полтавского корпуса. Несмотря на разницу в возрасте, мы дружили так же, как и наши родители. Когда Фриц узнал, в чем дело, он побежал нас устраивать, сказав, что у него здесь связи и знакомства. Он был инженером-технологом и заведовал тут каким-то заводом.

Вскоре мы все трое сидели в товарном вагоне на мешках с сахаром. Ночью поезд тронулся. Через несколько дней мы благополучно достигли Ростова.

В Ростове устроились очень комфортабельно в конторе Всеобщей компании электричества, где нам отвели две комнаты. Кроме нас, тут был еще один беженец, из Петрограда, бывший директором Путиловского завода. Это был обаятельный старый господин, который взял на себя ухаживание за мной. Его отношение ко мне было просто трогательно. Должен сказать, что и директор ростовского отделения ВКЭ Башкин также старался облегчить наше положение.

Я очень тосковал и беспокоился о Верочке и Олеге, которые находились всего в сорока километрах от меня, в Новочеркасске. Поехать туда я не мог: был слишком слаб и опасался повторения приступа. Нужно выждать не меньше недели. На фронте же никакого улучшения — отступление продолжалось.

Но медлить дольше было невозможно. Я поехал в Новочеркасск. Нашел там всю семью Бернгард, кроме Павла Ивановича и Гриши с Лилей. Близость фронта чувствовалась здесь больше, чем в Ростове. Канонада была слышна непрерывно. День прошел быстро. Я простился с малюткой. Верочка пошла со мной на вокзал. По дороге я поскользнулся, упал в снег и не мог встать. Тщетно пыталась Верочка поднять меня. Только подоспевшие прохожие поставили меня на ноги. Я так

ослаб, что, оглянувшись вокруг: нет ли кого поблизости, швырнул свой карабин Манлихера в сугроб.

— Верочка, я больше не могу. Не могу дальше тащить!

Тревогу и боль нашего прощания легко можно себе представить.

На другой день рано утром в Ростове я простился с родителями, со стариком беженцем, который обнял и расцеловал меня, как родного, со слезами в глазах, и пошел вместе с отцом к понтонному мосту через Дон. Мы обнялись еще раз, и я зашагал через мост за отступающими обозами на Батайск. До станции Батайск было 5—10 километров. Я шел медленно, едва переставляя ноги по покрытой снегом дороге.

Вот и станция. Я вошел в вокзал, хотел выйти на платформу, однако мне навстречу через дверь толпой ввалились солдаты, выпроваживаемые караулом. Дверь заперли: оказалось, у платформы стоял готовый к отправке поезд с эвакуируемым Управлением путей сообщения. Я вышел со станции и вдруг заметил, что платформа отделялась от улицы только низенькой загородкой. Мигом перелез я через загородку, побежал и, собрав все силы, вскочил на подножку вагона. Поезд уже ускорял ход. Снять меня с подножки поспешивший за мной караул не успел.

Первый этап “самоэвакуации”, таким образом, удался. Но при 15—20-градусном морозе невозможно долго ехать на подножке. Я попробовал открыть дверь. Заперта. Я начал стучать. На площадке появился, судя по форменной фуражке, инженер и отрицательно покачал головой. Тогда я начал недвусмысленно стучать в окно своим тяжелым кольтом, угрожая разбить окно. Это подействовало. Инженер открыл окно и стал меня уговаривать: это, мол, особый поезд путейского управления и ехать мне на нем нельзя.

Я пришел в отчаяние и ярость:

— Что же, прыгать мне, что ли, с поезда или замерзнуть тут на площадке? Сволочи проклятые! В конце концов, я тоже путеец!

Ничего не помогало. Наши крики и препирательства дошли до слуха едущих в вагоне. На площадку выскочил какой-то офицер в незнакомой мне иностранной форме, в пи-

лотке с кисточкой впереди. Узнав, в чем дело, он распорядился открыть дверь, помог мне влезть на площадку. Он настаивал, чтобы я вошел в вагон и лег на его койку. Я отказался категорически, заявив, что не желаю пугать других своим болезненным видом. Горячо поблагодарил его за помощь и сказал, что поездка на площадке вполне меня удовлетворяет.

Несмотря на быструю езду на перегонах, мы продвигались к нашему назначению — Екатеринодару — сравнительно медленно. Поезд часто останавливался на маленьких станциях и подолгу стоял. Кстати, надо сказать, что гуманный бельгиец уступил-таки свою койку. Не мне, правда. На одной из таких мелких станций он узнал, что там лежит тяжело раненный в живот доброволец, и не успокоился, пока не устроил его на своем месте.

От всей поездки у меня в памяти остались только снег, обледеневшие провода и пустые ландшафта.

Я приехал в Екатеринодар в сочельник 1919 года. Зарегистрировавшись у дежурного генерала и получив месячный отпуск по болезни, я узнал в адресном столе адрес инженера Б.Ф. Шанько и пошел к нему. Несмотря на то что квартира была переполнена беженцами, родными и знакомыми, меня встретили сердечно. Поместили в ванной комнате.

Положение на фронте было более чем неблагополучно, но здесь надежда еще не была потеряна. Надеялись, что, отступив к Ростову и оправившись, Добровольческая армия снова перейдет в наступление и повторит успехи начала года. Говорилось также о глубоких рейдах генералов Мамонтова и Шкуро в тылу у большевиков. Такие разговоры не могли не произвести впечатления. Пожалуй, и в самом деле не так плохо!

Приготовления к сочельнику, который празднуется на Кубани по-малороссийски, шли полным ходом. Варили традиционную кутью и взвар, но главным аттракционом должны были быть ликеры. Оказалось, что брат Бориса Федоровича — Арсений, тоже инженер-строитель, политехник, большой мастер в их изготовлении. Действительно, ликеры оправдали свою репутацию и немало способствовали тому, что вечер прошел очень оживленно. Были даже танцы и пение.

Среди беженцев, переполнявших квартиру Шанько, находился присяжный поверенный Н.П. Шубинский, член Государственной думы, принадлежавший к фракции октябристов. Это был живой и интересный человек, очень разговорчивый. Он явно предпочитал общество молодежи. Таких здесь оказалось несколько человек: Вера Александровна Мехина, ее жених капитан Энгельгард, Наташа Шанько и др. С Верой Александровной я познакомился еще в Золотоноше, где ее изводил инженер Богатырев, называя "кадеткой". Болтовня, анекдоты и шутки Шубинского позволяли, хоть и на короткое время, прогнать мрачные мысли. К тому же, балагуря и шутя, он рассказывал иногда интересные вещи. Он был женат на знаменитой артистке Малого театра Е.А. Ермоловой. По его заявлению, у него в жизни три увлечения: театр, юриспруденция и лошади. Согласно этому, он и написал три книги: "Театр", "Коннозаводство" и "Суд".

Интересны были также его характеристики и наблюдения как депутата в Государственной думе. Он считал лучшими ораторами в Думе троих — Маркова, Пуришкевича и Родичева. Последний — лучший кадетский полемист, всегда нуждался, по его словам, в соответствующей "зарядке" перед произнесением своих громовых речей. Вспомнив последний съезд кадетской партии в Москве, я не мог сомневаться в том, что говорил Шубинский. Я сам видал, как Родичев перед своим выступлением, в котором он громил Аджемова, действительно проглотил в буфете три рюмки водки, одну за другой.

Шубинский рассказывал:

— Представьте себе, господа, Родичев как-то раз хватил "зарядки" через край. Бросая гневные противоправительственные перуны с думской трибуны, он покачнулся, оступился. Выступающий после его речи Марков, быстро взбежав на трибуну и подражая пьяному раскачиванию Родичева, вскричал: "Депутат Родичев, очевидно, не различает, где правая (он покачнулся вправо), где левая (такой же наклон влево) сторона!" Взрыв хохота не ограничивался только правыми скамьями.

Однако в одном Шубинский разочаровал нас. Он как-то заявил, что он не только убежденный спирит, но и сам медиум исключительной силы. На спиритических сеансах с

его участием не только стуки, но и другие спиритические явления якобы совершаются с необыкновенной бурностью. Предметы летают, имели место даже воплощения духов. Такие заявления заинтересовали нас чрезвычайно. Даже я, несмотря на свойственный мне скептицизм, поддался общему настроению. Полная неизвестность о судьбе близких и дорогих пробуждала желание вопреки здравому смыслу верить в чудеса.

Увы! Мы сидели до поздней ночи за столом, положив на него руки цепью, но ничего не произошло. Ничто не стучало и не летало.

Сейчас же, после рождественских праздников, я был шафером на военной свадьбе. Решили повенчаться Вера Александровна и капитан Генштаба Энгельгард. Свадебная церемония состоялась в Екатеринодарском соборе. Шумное празднование этого события дало возможность на короткое время забыть все время мучающую тревогу о своих. Боже мой, если бы все с ними было благополучно! Если бы только мы могли снова встреться и обнять друг друга!

Меня устроили на жительство у знакомых Шанько, в семье доктора Телятника. Там я получил даже отдельную комнату. Доктор Телятник был главным врачом екатеринодарского военного госпиталя. Очень интересный человек. Он был не только доктор медицины, но и доктор математики. Мало этого, он окончил консерваторию и прекрасно играл на скрипке. Такой комбинации специальностей и талантов я еще не встречал. Жена его, весьма милая дама, пела прежде в опере. У них было двое детей, мальчики 12 и 14 лет. Жилось мне у них очень хорошо. Доктор приходил каждый день в мою комнату и растапливал печку. Я пытался как-то раз протестовать — напрасно! Доктор скорчил страшную физиономию и заорал:

— Смир-р-ррно! Вольноопределяющийся! Извольте сию минуту лечь на кушетку. Это команда!

Я щелкнул каблуками и вытянулся:

— Слушаюсь, господин полковник!

Мы рассмеялись. Пришлось уступить.

Что делалось на фронте, мы точно не знали. Говорили, Ростов переходит из рук в руки. В тылу не совсем благополучно. Один раз Борис Федорович пришел домой совершенно потрясенный. Он видел, как на площади повесили за измену какого-то члена Кубанской Рады. Он слышать ничего не хотел о военной необходимости, об угрозе, какую эта измена несла. Все напрасно! Борис Федорович был теософ, поклонник Рабиндраната Тагора, йоги!

Однажды, придя домой из города, я увидел у себя в комнате неожиданного посетителя. Сразу я даже не мог узнать его. Это был Павлуша! Но что за Павлуша! Вместо солдата конной артиллерии передо мной была странная фигура. До пояса это штатский, в пиджаке серого цвета и жилете. Помятая шляпа лежала на кушетке. От пояса вниз — военный: рейтузы с леями, кавалерийские английские сапоги, зашнурованные доверху. Шпор, правда, не было. Мы обнялись.

— Скорей, Павлуша, что с Верочкой? Что с другими?

Вот что он мне рассказал:

— Прежде всего — мой папа умер. Все остальные пока живы. Папа ехал с Гришиной батареей. Двигались медленно. Вдруг он заболел. Брюшной тиф. Лежал в Гришином санитарном вагоне. Была высокая температура. Вагон пришлось бросить. Большевики обходили. Шли пешком чуть ли не десять верст. Сердце не выдержало, он умер. Его привезли все же в Ростов. Там похоронили. Верочка в Новочеркасске. Лиля в Ростове у твоих. Новочеркасск занят красными. После этого я просил отпустить меня из армии как иностранца. Меня отпустили. Красные уже входили в Ростов, я был еще в форме. Бросился во Всеобщую компанию к твоему отцу, просил штатское. Он дал, но я успел надеть только пиджак, пальто и шляпу. Не успел расшнуровать ботинки. Убежал в последний момент через мост в Батайск.

Я устроил Павлушу тоже у Телятников. Жили вместе в моей комнате. Каким-то образом Павлуша узнал, что Гришина батарея проезжала через Екатеринодар. Я увидел, что Гриша, несмотря на свой офицерский чин, не имел револьвера, и дал ему из своего арсенала наган, оставив себе только кольт.

Глава 5

НОВОРОССИЙСК И ПЛЕН

Мой отпуск по болезни кончился. У дежурного генерала я получил новое назначение — в Особую отдельную команду 1-го железнодорожного батальона в Новороссийск. Наш 2-й батальон отступил в Крымском направлении.

Прощание со знакомыми, поезд, утомительная дорога... И вот поздно вечером я в Новороссийске. Сырая, холодная погода. Пронизывающий ветер и кромешная тьма. Вокзал переполнен до отказа. На грязном, заплеванном полу, прижавшись друг к другу, тела солдат. Некоторые счастливцы устроились на столах. Запах немытых тел, облака махорочного дыма.

Удалось найти немного места на полу и лечь. Усталость взяла свое. Я закрыл глаза и погрузился в тяжелый сон, как и сотни других вокруг меня.

Так начался новороссийский этап моей военной карьеры.

Особая команда размещалась в железнодорожных вагонах, стоявших в порту. Мне отвели место в вагоне для вольноопределяющихся. Некоторые из них были студенты. Среди них нашелся один харьковец — студент-технолог Федоровский, брат Гали, подруги моей жены по гимназии. Естественно, я очень обрадовался этой встрече. Не мог я тогда предвидеть, какую роль будет играть знакомство с Галей в нашей жизни.

Нашим ротным командиром был капитан Мрачковский, бывший опереточный артист. В одном из офицеров я сразу узнал бывшего студента-путейца Скугаревского, теперь поручика. О его печальной славе в Институте я упоминал уже в

главе “Студенты”. Скугаревский, однако, почел за благо сделать вид, что не узнает меня, и занял официальную позицию офицера по отношению к рядовому. Это меня, впрочем, мало огорчило, хотя такие отношения не были типичны для Добровольческой армии.

Наш батальон нес службу по эксплуатации Новороссийского узла, ставшего теперь головным участком. Мы стояли в части порта, носившей название Стандарт. Здесь находились наливные резервуары для нефти.

Порт, его набережные, причалы, волноломы, зерновой элеватор, краны и пакгаузы интересовали меня чрезвычайно. Все, что я видел, давало мне богатый материал для имевшегося в виду дипломного проекта.

Тогдашний Новороссийск представлял собой пеструю картину. Запасные пути на станции забиты военными эшелонами. В бухте — английские военные корабли, транспорты, торговые суда под разными флагами. В городе — сутолока. На улицах военные всех родов войск и национальностей. Офицеры и солдаты Добровольческой армии, донские и кубанские казаки, американские матросы, индусы-сикхи в тюрбанах, шотландцы в кильтах, австралийцы в широкополых шляпах. На базаре — много давно не виданных товаров: ароматные английские сигареты, американская жевательная резинка, шоколад. Антикварные магазины торговали буквально всем, что сбывают беженцы, начиная от поношенного платья и кончая музейными редкостями и драгоценностями.

Погода стояла мягкая. Явно чувствовался юг. Однако это длилось недолго. Резко похолодало. Началась знаменитая новороссийская бора, разновидность норд-оста, свирепствующая на новороссийском участке Черноморского побережья. Образование здесь этого явления объясняется особыми топографическими условиями. Холодный ветер, притекающий из северокавказских степей, появляется на гребне гор, ограждающих Новороссийскую бухту, и обрушивается вниз, сменяя теплый воздух субтропического Закавказья. Происходит нечто вроде воздухопада. Бешеный поток срывает в городе крыши, опрокидывает вагоны в порту. Сдувая воду с поверхности бухты, он в течение короткого времени обмораживает

стоящие на якоре суда, покрывая их толстой коркой льда. Бывали случаи, что обледеневшие с одной стороны суда опрокидывались и тонули. Так по крайней мере мне рассказывали. Идти навстречу такому ветру почти невозможно. Приходится наклоняться вперед чуть ли не на 45^0 и буквально "выдавливать" каждый шаг.

Однажды во время такой боры я получил увольнительную записку и пошел в город. С трудом я прокладывал себе дорогу, шагая среди снежных сугробов. Колючие иглы жгли лицо и слепили глаза. По набережной навстречу мне шла пара — офицер и закутанная в меха дама. Отдав честь, я двинулся дальше, но дама вдруг бросилась ко мне... Боже мой! Это была Ксения Шульц, самая близкая подруга жены по гимназии. Офицер, капитан Шульц, инженер-электрик и радист, был ее братом. Мы засыпали друг друга вопросами. Я рассказал ей о наших приключениях, о моем драматическом прощании с Верочкой и сыном в Новочеркасске. Ксения записала название моей части. Мы решили встречаться. Действительно, мы встретились еще раз. Но об этой встрече потом.

Дни шли. Когда выдавалось свободное время, я ходил в порт, на причальные пирсы, которые тянули меня к себе как магнит. Во время одной из таких прогулок я познакомился и разговорился с моряками с американского парохода "Сангамон-Филадельфия". Механик парохода пригласил меня к себе, провел в свою комфортабельную каюту и угостил виски. Моя английская форма и, как он сказал, "британский" выговор ввели его в заблуждение. Однако я думаю, что главную роль сыграли пуговицы. Да, пуговицы! Мы все тогда были одеты в английскую форму, и англичане и русские, но то, что нас отличало, были пуговицы. Медные пуговицы! У англичан они горели и сверкали. Наши же ребята не трудились их чистить. Я был в этом отношении исключением. Начищал свои пуговицы ежедневно толченым кирпичом до полного блеска.

Американцы щедро снабдили меня журналами, книгами и газетами.

В санитарном околотке произошла кража. Обокрали больного солдата, и я, как дежурный унтер-офицер, должен был произвести дознание. Околоток был устроен в багажном вагоне. Полутьма, вонь и грязь. Я пробрался среди тесно поставленных коек, допросил больного. Не было сомнения — обокрали санитары. Санитары, как правило, были из пленных. Доказать что-нибудь, однако, трудно. Я записал что мог и отдал рапорт дежурному офицеру. Не думал я тогда, что скоро вернусь в этот вагон!

Я заболел. Голова болит, рвет. Временами теряю сознание. Вот я в околотке. Лежу на нарах. Голые доски, на них только тонкий мешок со свалявшейся соломой. Ни простыни, ни подушки. Вместо подушки мой ранец. Одеяло заменяет шинель. Но английская шинель коротка, не покрывает ног. Холодно. Военный врач расстегивает френч на моей груди.

— Сыпняк! — констатирует он сухо.

— Слава Богу! — вырывается у меня.

— Что вы, рехнулись? Первый раз вижу, что больной радуется сыпняку!

— Очень просто, — отвечаю я, — если у меня сыпняк, то через три недели я либо здоров, либо помер. Если у меня брюшной, то никаких шансов нет. Взгляните только на то, чем нас кормят. Кислые щи! Сырой, недопеченный хлеб! К тому же продолжительность болезни! Положение на фронте не терпит промедления!

Дальнейшее помню только отдельными моментами. Особенно тяжелы были ночи. Вагон едва освещен одной свечкой в фонаре. Холод, воет ветер, раскачивая вагон. Опять бора. Стенания и хрип других больных. Печка давно потухла. Холод становится невыносимым. Пальцы на ногах замерзают. Больные жалобно молят:

— Санитар, санитар, затопи печку!

Никакого впечатления. Никакого ответа. Только храп. Наконец стенания больных становятся невыносимыми и для санитара — не дают ему спать. Он нехотя поднимается и с проклятиями и площадной руганью начинает затапливать потухшую печку. Трещат щепки. Печка дымит. Дым ест глаза, но становится приятно тепло.

Снова приходит сон или, вернее, забытье... Что такое? Я как будто дома. Верочка ласково гладит меня по голове. Я хватаю ее за руку. Слезы катятся у меня из глаз. Но нет, это не Верочка!.. Это Ксения. Пришла меня навестить. Она сидит на койке и угощает меня красным вином!..

Снова мрак и холод, снова жалобные стоны и крики больных, умоляющих санитара затопить печку... Почему, однако, я лежу на снегу? Почему не в вагоне?

Холодно, нестерпимо холодно. Снова храп санитара и крики больных. Я поднимаюсь на койке взбешенный, в ярости кричу:

— Санитар! Сукин ты сын, затопи печку немедленно, или я подам на тебя рапорт!

Нет сомнения, я пришел в себя и начал поправляться.

Когда меня выписали из околотка и я вернулся в свой вагон, меня встретили как воскресшего из мертвых. Оказывается, во время моей болезни было приказано произвести дезинфекцию околотка. Пришел дежурный унтер-офицер и скомандовал:

— Больные, выходи!

Больные один за другим вылезли из вагона. Там зажгли серу и плотно закрыли все двери.

Вдруг один из больных спохватился:

— Ребята, а где вольноопределяющийся?

Санитар и унтер-офицер начали ругаться, обвиняя один другого. Обо мне никто не думал: все равно “он кончился”. На шум и ругань прибежал санитар из соседнего эшелона. Этот человек оказался совсем другого склада. Узнав, в чем дело, он открыл двери, приказал вытащить меня. Я не дышал. Угрожая нашему унтер-офицеру и санитару военно-полевым судом, санитар заставил обложить меня бутылками с горячей водой и непрерывно растирать. Один из моментов остался у меня в памяти: я почему-то лежу в снегу во время болезни. Моим спасителем оказался немец-меннонит, некий Гильдебранд. Я разыскал его и горячо благодарил за расторопность и энергию.

Попытки разыскать Ксению Шульц оказались бесплодными. Однако все подтвердили, что какая-то дама действи-

тельно посетила меня и, несмотря на все увещевания, вошла в наш зараженный вагон и сидела со мной. Такое поведение было типично для Ксении!

Вести с фронта становились все хуже и хуже. Настроение у нас и в городе было подавленное. Находясь в отпуске по болезни, я часто ходил в город. Раз как-то я услышал звуки странной музыки. Поспешив навстречу, я увидел, что это была колонна британских войск. Впереди ехали два конных полисмена, расчищая улицу от толпы. За ними следовал оркестр волынщиков во всем блеске формы мирного времени. Это были шотландцы Seaforth Highlamders*. Лихо заломленные береты украшали торчащие вверх перья. Ярко-красные туники с золотыми пуговицами. Клетчатые плиссированные кильты, голые коленки, пестрые чулки с кисточками и белые гетры. На плечах красиво драпирующиеся пледы, приколотые большой золотой пряжкой. И конечно, то пронзительно визжащие, то стонущие и ворчащие волынки. Во главе оркестра выступал тамбур-мажор, вооруженный длинной булавой, которой он проделывал акробатические движения, бросая ее временами в воздух и ловя на лету. За тамбур-мажором следовал барабанщик с турецким барабаном, упертым в живот, покрытый тигровой шкурой. Он выбрасывал высоко вверх с особым вывертом свои палочки, ударяя в барабан попеременно то правой, то левой рукой. Потом — две шеренги обыкновенных барабанщиков. За ними шли волынщики. Наконец, военный духовой оркестр со сверкающими медью трубами. За большим интервалом, в середине которого маршировали два пеших полисмена с дубинками, шел одинокий офицер с обнаженным шотландским палашом claymore. За офицером — знаменщик между двумя солдатами. Далее длинная колонна шотландцев в кильтах, но уже защитного цвета и с плоскими стальными шлемами на голове.

Зрелище представлялось экзотичное и красочное, особенно на фоне нашей безотрадной, серой и лишенной чего-либо бодрящего жизни. Цель демонстрации была достигнута. Настроение поднялось, хотя и на короткое время.

---

* Пестро одетые (*англ.*).

Бои шли уже около Екатеринодара и Крымской. В Новороссийск прибывали все новые эшелоны отступающих войск.

Я пошел навестить своего знакомого американца на пароходе “Сангамон”. Подход к трапу был отгорожен. У входа стоял вооруженный матрос. Я просил передать книги. Он отказался:

— Бросайте их в море!

Я понял: американцы боялись заразы. Мой внешний вид говорил сам за себя.

В начале марта 1920 года наступило начало конца. Белые проиграли кампанию на Кавказе. Значительную долю вины в этом несли казаки. Уже донцы ограничивали свою помощь тем, что толковали о защите только Донской области, отделяя себя этим от “кадетов”. Кубанцы, руководимые своей Радой, вели совсем подозрительную политику. Неудачи способствовали тому, что в наших рядах упал дух и началось разложение.

В самом Новороссийске стали заметны приготовления к эвакуации. Началась раздача обмундирования из пакгаузов. Несмотря на то что мы были полностью экипированы, нам выдали еще по два комплекта обмундирования и снаряжения. Каждый комплект состоял из шинели, френча, брюк, пары крепчайших ботинок, шерстяной вязаной фуфайки, длинной кожаной безрукавки, надевающейся под шинель, кожаного на меху жилета, двух фланелевых рубашек, двух пар кальсон, двух пар шерстяных чулок, двух фуражек, летней и зимней. Кроме того — ранец, сумка, фляжка, манерка, патронташи и шанцевый инструмент. Мы едва могли дотащить все это до нашего эшелона и набили два товарных вагона полностью. Когда мы были в пакгаузе, меня потрясло то, что я там увидал. Пакгаузы ломились не только от обмундирования и снаряжения, но и от консервов, шоколада, мешков с сахаром. Сверх всего — горы чемоданов с комплектами офицерского обмундирования.

Спрашивается, почему все это лежало на складах и не доходило до фронта, где многие части были разуты и замерзали от холода и временами от голода? Куда шли кожаные безрукавки, сравнительно редко попадавшие солдатам, мы, впрочем, видели. В тылу масса дам щеголяла в модных высоких ботинках. Коричневая кожа выдавала их происхождение.

К сожалению, я заметил, что и некоторые из моих сотоварищей по вагону тоже занимались подозрительными операциями. К ним приходили какие-то штатские. О чем-то шушукались. Как-то раз я видел, как Федоровский вытащил из кармана толсто набитый тысячерублевками бумажник. Откуда? Ведь мы получали всего 50 рублей в месяц жалованья! И тени подобного я не видал в моем прежнем 2-м батальоне. Правда, там состав вольноопределяющихся был другой — все студенты, а здесь, судя по их разговорам, не то киноартисты, не то кинооператоры. Я был возмущен всем этим безгранично. Но что мог я сделать?

В наш вагон пришел ротный командир капитан Мрачковский. Закрыв дверь и убедившись, что здесь только одни вольноопределяющиеся, он сказал:

— Господа, сдача Новороссийска — вопрос нескольких дней. Оставаться и попасть в плен к большевикам нам, офицерам, и вам, добровольцам, невозможно. Отступать в Анапу — только длить агонию. Если будем дружно держаться вместе, то, даю вам свое слово, сумеем уйти.

Мы обещали при всех обстоятельствах держаться дружно вместе. Мрачковский сообщил нам, что он договорился с каким-то греком, владельцем турецкой феллуки. На этой феллуке мы все уйдем морем.

Поздно вечером в тот же день (12 марта 1920 года) нам раздали посадочные свидетельства на один из транспортов. На свидетельствах было обозначено время посадки — 8 часов утра завтра и номер причала. Турецкая феллука, разговоры Мрачковского — все стало представляться в менее трагичном виде. Ночь прошла под гул и грохот залпов морских орудий. Англичане вели заградительный огонь по горам. К утру канонада немного стихла.

Невозможно описать суматоху и беспорядок, царившие повсюду, когда я в 6 часов утра с трудом пробирался сквозь людские массы к пирсу. Из последних сил — перенесенный тиф давал себя чувствовать — добрался до трапа парохода, обозначенного на посадочном свидетельстве. У трапа колыхалась толпа солдат и офицеров, размахивающих такими же бумажками, какую и я держал в руке. Вооруженный караул

не пускал никого. Прорывающихся отправляли назад прикладами, не разбирая чинов. Пароход был набит до отказа. Палуба ломилась от сидевших и стоявших солдат. Пароход оказался захвачен корниловцами. Как ни горько, я понимал, что корниловцы как ударная боевая часть имели право на первую очередь! Наших солдат я не видел на пароходе. Впрочем, нет — на мостике я вдруг увидел капитана Мрачковского и поручика Скугаревского!

Угроза попасть в большевицкий плен стала до ужаса реальной. Мы все знали, что это значит для офицеров и добровольцев. Мы видели изувеченные трупы с вырезанными на плечах погонами и содранной кожей. Я сжал в руке свой кольт... Но, может быть, как-нибудь удастся спастись?

Целый день я напрасно пытался попасть на какой-нибудь пароход. Толпы солдат метались туда-сюда, с пирса на пирс. Выстрелы слышались не только с фронта, но и с пристаней. Временами они переходили в перестрелку. На одном из пирсов сначала сбросили в воду чемоданы, а затем и их владельцев. Если это были интенданты, то черт с ними — они это заслужили!

Я бросил бегать с пирса на пирс. Оставалось только одно — попробовать пробраться к Северной гавани. Может, там что-нибудь удастся.

Я шел по узкой дороге, проложенной через болото. Уже начало темнеть, когда я вышел на шоссе. Английские корабли усиливали заградительный огонь. Воздух сотрясался от мощных ударов. По узкому тракту сплошной массой без интервалов медленно двигались повозки всех сортов и люди. Конные казаки, пешие добровольцы, автомобили, запряженные в арбы верблюды, английские танки и тачанки... Сойти с дороги было невозможно. Справа и слева — болото. Скоро стало совсем темно. В порту начались пожары. Слышались взрывы снарядов и непрерывная трескотня горящих патронов. Зловещие отблески пламени обагряли небо и землю. Временами, когда судовые прожекторы бросали снопы лучей на шоссе, становилось светло как днем.

Где-то впереди послышались крики и отчаянная ругань. Движение остановилось. Сзади продолжали напирать. У од-

ной из телег, где на горе чемоданов сидели две сестры милосердия, сломалось колесо. Сестры цеплялись за чемоданы и не желали слезать. Толпа шумела и стаскивала с телеги сестер. Неожиданно откуда-то из темноты вынырнули два шотландца в своих плоских шлемах. Они растолкали теснившихся солдат. Любезно, но решительно они сняли сестер с телеги. Упершись плечами в телегу и жестами призывая помочь им, опрокинули телегу со всем скарбом в болото. Шотландцы исчезли так же неожиданно, как и появились. Колонна ожила и снова двинулась вперед в направлении Анапы. На ответвлении, где движение регулировалось английскими солдатами, мне удалось пробраться в Северную гавань.

У пирса стоял большой транспорт-лазарет под английским флагом.

— Только для больных и раненых! По особым пропускам! — заявил мне английский офицер и твердо прибавил: — Сожалею, взять не могу.

Чувство безнадежности охватило меня. Я стал пробираться назад. Что делать? Мои невеселые размышления вдруг прервал окрик:

— Василий Эмильевич!

Это была совершенно неожиданная встреча — Леля Турчанинов с женой. Последний раз мы виделись в Харькове два года тому назад, когда Леле по воле его энергичной супруги пришлось играть комическую роль “героя-кавалера”, а мне из-за товарищеской лояльности секундировать ему. Теперь Леля был снова в форме поручика. И он, и его жена имели пропуска на английский госпитальный транспорт.

Мария Яковлевна даже и сейчас осталась верна себе и не оставила тона избалованной “корифейки” балета.

— Василий Эмильевич, идите сию минуту к англичанам и узнайте, когда же наконец нас будут сажать на пароход?

Я пошел, переговорил, узнал, что их бумаги в полном порядке и что пустят сейчас же после погрузки раненых.

Марию Яковлевну эти сведения, однако, не удовлетворили.

— Идите еще раз, вот к этим. — Она указала на группу офицеров, у которых козырьки были с золотым шитьем. —

Делайте, как я вам говорю! — продолжала она, сердито хмурясь.

Я пошел снова и начал говорить, но офицер только показал стеком на сержанта, с которым я уже говорил, и отвернулся.

— Идите к ним еще раз. Скажите им, что нас надо немедленно посадить. Ведь генерал...

Заметив, что я медлю, она вдруг истерически взвизгнула:

— Леля, ты офицер, он — только солдат! Прикажи ему!

Леля смущенно улыбался.

Я вышел из себя:

— Это переходит все границы! Лелька, мне жаль тебя, но я должен уходить. У вас все в порядке, а мне надо еще что-то искать.

— Вы не смеете уходить! Вы должны ждать, пока нас посадят!

Но я больше не слушал, идя на Стандарт, где стоял наш эшелон.

Снова я на шоссе, иду навстречу все еще отступающим, хотя и поредевшим колоннам. Идти в Анапу бессмысленно. Эвакуироваться не удастся... Неужели конец?.. Что с моими дорогими, оставшимися в Новочеркасске? Моя Верочка, мой крошка Олег!.. Мои старики в Ростове! Так много было надежд! Где все мечты? Неужели всему конец? Что делать? Кончать сейчас или ждать последнего момента?

Голова работала напряженно. Было ясно, что большевики захватят тут тысячи пленных. Десять, может быть, двадцать. Среди них добровольцев меньшинство, так как в последнее время наша армия была очень разжижена как мобилизованными, так и бывшими красными из военнопленных. Поголовной ликвидации, следовательно, можно не опасаться. Будут, безусловно, заниматься постепенным выуживанием. Пройдет известное время. Выиграть время — это все. Прежде всего надо слиться с массами. Большевики не должны знать, что я доброволец и студент. Донос вряд ли возможен. Меня мало кто знает. Я долго болел и к тому же прикомандирован из чужого батальона. Товарищи по вагону скрылись в городе, переодевшись в штатское. Я видел, как Федоровский прятал штатский костюм у себя в вещах. Безусловно, он имел связи

в городе. Достаточно вспомнить подозрительных штатских, с которыми он встречался и шушукался. Надо примкнуть к какому-нибудь чужому эшелону. Хотя бы 1-й роты. Там меня никто не знает.

С такими мыслями я добрался до Стандарта. Здесь было светло как днем. Горели пакгаузы и железнодорожные составы. Грохот канонады, доносившийся с моря, сливался с гулом взрывов. Среди пламени и дыма мелькали фигуры, которые волокли какие-то ящики, пакеты и тюки. Шла вакханалия грабежа. Люди тащили самые невероятные предметы: швейные машины, ящики, полные ботинок, картоны с шоколадом, бутылки с вином и шведские примусы, количество которых так изумило меня, когда нас послали за обмундированием. Из пакгаузов выкатывали бочки и тут же разбивали их. Бочки были полны кусками сала. Когда такую бочку разбили около меня, я тоже не выдержал и пытался схватить кусок. Подействовала ли на меня вся эта обстановка или я очень изголодался — не знаю. Сала, правда, я не получил — был слишком слаб, не протолкался. Мне посчастливилось, однако, схватить картон с шоколадом, да еще какой-то кубанский казак сунул мне в руки бутылку с коньяком. Сам он снова исчез в горящем пакгаузе. Рев пожара, грохот обрушивающихся ящиков и крыш, крики гибнущих под ними людей, гудки и сирены отходящих паровозов — все сливалось в какую-то дикую и страшную какофонию.

Бутылка коньяку подкрепила мои силы. Замечательно было то, что я, совершенно не привыкший к алкоголю, выпил ее целиком и ни капельки не опьянел. Или это так мне казалось: настолько напряжены были нервы. Последние пароходы отошли. Надо было готовиться. Я срезал ножом погоны, отпорол добровольческий трехцветный шеврон с левого рукава, снял кокарду с фуражки, вымазал руки в грязи. Маскараду помогало то, что я уже два дня как не брился. Осмотревшись, я нашел эшелон 1-й роты. Там я залез в один из вагонов, полный солдат. Все они были мне незнакомы. Сидели молча, закрыв двери вагона, в темноте. Часы шли. Канонада внезапно прекратилась. Не слышно было больше и пароходных сирен. Даже пламя пожаров, казалось, устало бушевать и по-

степенно затихло. В темный вагон проник предрассветный холод. Светало...

Внезапно в тишину ворвались какие-то крики. Шум нарастал. Крики стали отчетливей. Вдали послышались глухие раскаты “ура!” и пение “Интернационала”. Из-за забора донеслось цоканье копыт. Проскакал конный отряд. На древке развевался красный флаг. Неожиданно, совсем рядом с нами, грянул духовой оркестр. Раздвинув немножко больше дверную щель, мы осторожно выглянули из вагона. Это были наши музыканты. Они построились перед вагонами и встречали большевиков “Интернационалом”. Где они умудрились разучить его? Впрочем, нет ничего удивительного: оркестры формировались почти исключительно из бывших военнопленных.

Мы осторожно задвинули дверь, оставив только узкую щель для наблюдения. Снова наступила тишина. Но вот грубые голоса, крики, шаги. Все ближе...

Дверь откатывается с грохотом.

— Военнопленные?

В вагон вскакивают несколько человек, размахивая револьверами и суча кулаки. Слышатся фантастические по гнусности ругательства.

— Гады белогвардейские! Так вас и так!.. Давай сюда револьверчики! Сейчас пущу всех в расход!

Требования сопровождаются недвусмысленным тыканьем револьвером в лицо, щелканьем курка.

— Эх, мне бы наганчик, — пробормотал красноармеец, выхватив мой кольт и затыкая его себе за пояс.

“Чертов дурак, — подумал я. — Схватил мой великолепный автоматический кольт и еще ругается, что это не наган”. Несмотря на все, стало как-то досадно.

Вслед за первым визитом последовали другие. Требование сдать “револьверчики” сменились требованием подать кошельки, часы, снять сапоги и т.д.

Один из визитеров вытащил меня на свет и скомандовал:

— Снимай хрэнчик!

Но “хрэнчик” остался у меня. Желтизна моей физиономии, очевидно, слишком красноречиво говорила о только что перенесенном тифе.

— Не надо! — буркнул он и отправился в другой вагон за более безопасной одеждой.

В нашем вагоне, если не считать нескольких разбитых физиономий, все обошлось благополучно. Лично мне удалось сохранить золотые обручальное кольцо и крестик и даже ручные часы. Все это я спрятал за околыш зимней фуражки с отвернутыми наушниками. Для того чтобы не вводить никого в соблазн, я измял и запачкал фуражку, сколько было в силах. Хотя визиты прекратились, опасность еще не миновала. Раздававшиеся время от времени вспышки пулеметных очередей напоминали, что опасность не только не прошла, а усилилась. В самом деле, официально в плену мы еще не были. Первое, что напоминало об этом, — приказ выйти из вагонов и сдать все винтовки, бросая их в кучу. После этого нас опять загнали в вагоны.

Возбуждение первых часов прошло. Солдаты стали перешептываться, вытаскивать спрятанную еду. У меня было только немного шоколада. Очень мучила жажда. После длительного совещания и выглядывания из вагона двое решились — вылезли и, раздобыв ведро, наполнили его у железнодорожного гидранта.

Усталость брала свое. Я заснул тревожным сном. Наступил второй день. Голод стал мучить невыносимо. Отходить от вагона никто не решался. На третий день я не выдержал и отправился на разведку. Шаря по соседним вагонам, я вдруг наткнулся в одном из них на труп повесившегося офицера. С ужасом я выскочил наружу.

На одном из путей стоял санитарный поезд красных. Из дверей выглядывала сестра.

— Сестра, мы голодаем, дайте чего-нибудь поесть!

Но сестра только отвернулась и, не сказав ни слова, вошла в вагон. Я хотел уже уходить, но сестра снова появилась в дверях, оглянулась, поманила меня пальцем и, сунув в руку пакетик, скрылась опять в вагоне. В пакете был сахар.

Прошел еще один день. Он ознаменовался тем, что нам неожиданно выдали немного хлеба. Это само по себе приятное событие имело сверх того еще более важное, символическое значение. Согласно практике и теории просвещенного марксистского материализма, было бы нелогично и бессмысленно кормить тех, кто намечен к выписке “в расход”.

Следующий день оправдал мои размышления. Нам приказали выйти из вагонов и выстроиться на путях. Появилась какая-то личность, прошла вдоль фронта и заорала:

— Равняйсь! Смир-р-р-но! — и начала речь.

Присмотревшись ближе, я вдруг узнал “личность”. Короткое время во 2-м железнодорожном батальоне батальонным фельдфебелем служил подпрапорщик Озеров. Это и был он. В своей речи он объявил нам, что мы зачислены в так называемые литерные рабочие команды военнопленных, которые должны теперь доказать своей преданной и самоотверженной работой, что мы заслужили милость советского командования, оставившего нас в живых. Мы должны загладить свои преступления против рабочего класса преданной и самоотверженной работой. Первое, что мы обязаны сделать, — это выявить в своей среде всех “белогвардейских гадов”, спрятавшихся офицеров и добровольцев для немедленной заслуженной ликвидации. Тут Озеров заявил, что несколько таких он уже открыл и ликвидировал.

Для того чтобы не оставалось никакого сомнения, что с ним шутить нельзя, Озеров заявил:

— Да, есть тут кто-нибудь из Харькова? Пусть он знает, что я, Озеров, был правой рукой товарища Саенко! Поняли?

Саенко, известный своими зверствами, действительно завоевал, как я уже писал, жуткую славу палача. Положение становилось для меня трагичным. Что, если он узнает меня? Но как будто нет! Во время своей речи, проходя по фронту, он несколько раз смотрел на меня в упор, ничем, однако, не показывая, что мое лицо ему знакомо. Я решил положиться на судьбу. До сих пор она была во всех опасных положениях милостива ко мне. К тому же я приобрел новую профессию. Один из победителей, роясь в моих вещах, обнаружил несессер с бритвенным прибором и щетками.

— Ты что ж, братишка, парикмахер будешь? — заявил он.

Я почел за благо не отрицать это предположение.

— Ну так побрей меня!

Что я и сделал. За этим клиентом последовали и другие. Так началась моя карьера на парикмахерском поприще. Я брил подбородки и победителей и побежденных. Это имело свою приятную сторону. Иногда я получал кусок хлеба, иногда даже сало.

Вскоре нашу рабочую команду отправили в направлении на Крымскую и далее — на Екатеринодар. Поезд шел медленно, часто и надолго останавливался. Была ранняя весна. Кругом цвела степь. Воздух полнился ароматом цветов. Я никогда не думал, что степь может быть так прелестна. Теперь я понял дифирамбы, которые ей пели уроженцы степей, такие, как мой милый Борис Федорович Шанько. Однако справедливость требует упомянуть, что прелесть эта весьма кратковременна: трава быстро желтеет, все сохнет и ветер поднимает облака пыли.

В пути удавалось менять остатки английского обмундирования, без которых можно было обойтись, на яйца и сало, и я начал заметно поправляться. Мы доехали почти до Екатеринодара и остановились перед мостом через Кубань. Мост был взорван. Нам надлежало работать на его восстановлении. Ирония судьбы: работа по специальности! Но на каких ролях! Я должен был вместе с другими таскать бревна, но слабость давала себя знать, и врач освободил меня от этой работы. Меня сделали посыльным. Ура! Это дало мне возможность пойти в город и разыскать семью Шанько и потом Павлушу.

Шанько жили на своей старой квартире. Дверь открыла моя давняя поклонница — теперь уже 12-летняя Танюша.

Она была изумлена и шокирована.

— Василий Эмильевич! Красный бант?!

Я сказал ей, что это только военная хитрость, маскировка, а я тот же, что и раньше.

К моему глубокому разочарованию, Шанько не могли сообщить мне ничего нового о моих. Зато Павлуша оказался тут. Он с сыпным тифом лежал в военном госпитале, куда его устроил Телятник. Там он доставил доктору много забот. В бреду болтал. Из его слов можно было легко понять, что он доброволец, а не просто швейцарский беженец. Теперь его выписали. Мне дали адрес Павлуши.

Я узнал, что до сих пор почта не функционирует. Население, как я увидел, заметно голодало.

Мне удалось побывать еще раза два в городе. Нашел и Павлушу. Хотя он и выздоровел, но до сих пор страдал галлюцинациями. Так, он пытался уверить меня, что город снова в руках у белых. Он якобы видел листовки, расклеенные в разных местах и подписанные генералом Шкуро. Разубедить его я не мог.

Из Екатеринодара нашу рабочую команду перебросили через Армавир и Белореченскую в Туапсе. От Белореченской мы ехали среди горного ландшафта. Было тепло. Поезд извивался змеей среди нависших скал — то исчезал с глухим шумом в туннеле, то выскакивал на виадук.

Вот и Туапсе. Город казался пустым. Всюду следы недавних боев. Только волны, как всегда, сбегают и плещут по камням.

У моря я неожиданно встретил Володина — студента-технолога, товарища по 2-му железнодорожному батальону Добровольческой армии. Он рассказал мне, что главная часть батальона отступила в Крым. Сам он заболел, отбился, попал потом в кавалерийскую часть, был взят в плен, но уцелел, как и я, скрыв, что он студент. Его сделали писарем в одной из красноармейских частей. Он показал мне, что ему до сих пор удалось сохранить свой Георгиевский крест, спрятав его на груди.

— Только становится опасно. Придется бросить в море.

После однодневной остановки в Туапсе нас отправили дальше в направлении Сочи, на станцию Лазаревская. Там мы должны были восстанавливать железнодорожный мост через реку Шаху. На станции стоял еще один состав — рота 11-го железнодорожного полка Красной армии. Следы недавних боев были здесь еще совсем свежи. Там и сям лежали трупы лошадей. В воздухе висел запах разложения. По ночам выли шакалы.

Первый день по прибытии я посвятил вопросам гигиены. Купался в море и бесплодно пытался освободиться при помощи стирки и внимательного “чтения” белья от несносных сожителей.

Ночь поразила меня своей красотой. Нигде, даже на Украине, я не видал такого количества звезд. С ними конкурировали мириады светящихся мошек, летающих внизу. С моря доносился мягкий ропот волн.

Но вся эта поэзия и красота были отравлены прозой жизни. В новых вагонах, куда нас перевели, оказалось такое количество блох и клопов, что все тело горело от их укусов, как в огне. Только когда я догадался вылезти на крышу вагона, удалось немного заснуть.

Утром нас построили. Из классного вагона вышла группа незнакомых командиров. Раздалась команда:

— Смирно!

Наши нестройные шеренги слегка подтянулись, но большинство стояли, засунув руки в карманы и продолжая переговариваться. Некоторые курили.

Один из командиров вышел вперед, оглядел нас и крикнул:

— От... ставить!

Злобно, с явным презрением взглянув на нас, он неожиданно схватил за грудь одного из солдат и сильно тряхнул его. Подойдя к другому, выхватил у него изо рта цигарку и толкнул его с такой силой, что тот растянулся на земле. Отойдя назад, он начал отчитывать нас:

— Сукины дети, вы!.. Распустились, обнаглели... Бегать и сдаваться мастера!.. В Красной армии за это с вами нянчиться не станут... Я вам, сволочи, покажу, что у нас дисциплина и порядок!.. Рав... няйсь!.. Смир-р-р-р-р... но!!!

Ряды шевельнулись и замерли, как один человек. Оглядев теперь уже стройные ряды, командир другим, уже спокойным голосом сообщил нам, что мы по случаю побед Красной армии и празднования 1 Мая амнистированы и зачислены в ряды Красной армии в качестве военножелезнодорожников 11-го железнодорожного полка. В заключение он скомандовал:

— Лица с техническим образованием — два шага вперед!

Нас оказалось двое — я и один техник. Командир расспросил нас о специальности и опыте. Мне пришлось сказать, что я студент-путеец. Внутреннее чувство подсказывало, что теперь это не будет опасно.

На другой день утром все должны были пойти на работу — уборку лошадиных трупов. Я вышел со всеми, но, когда мы двинулись, меня вдруг подозвал командир и сказал:

— Вы остаетесь. Эта работа не для вас!

Я с любопытством взглянул на него. Аккуратно одетый, с подстриженными усиками, он производил впечатление кадрового царского офицера.

Рота приступила к постройке моста через реку Шаху. Ручной бабой забивали сваи, таскали балки, скрепляя их ско-

бами и в редких случаях болтами. Конструкция моста не внушала доверия. Он явно не имел продольной жесткости. Но, слава Богу, моего мнения не спрашивали, и я молчал.

Мои сожители по вагону были простые ярославские крестьяне, не рабочие. Это меня радовало, и у нас вскоре установились дружеские отношения. Сближению способствовало купание в море. Никогда не видавшие моря ярославцы питали к нему большое недоверие. Сами они ходили купаться на "речку", но всегда, когда я купался в море, сопровождали меня в качестве зрителей. Как-то раз они спросили меня, что там, за морем. Я рассказал им о Константинополе, о Турции. Рисовал им на песке карты. За этим вопросом последовали другие. У меня образовалось нечто вроде класса. Сидя вокруг меня, они слушали, раскрыв рты. Их любознательность была велика. Мой авторитет поднялся до непостижимой высоты, когда я как-то сказал им, что вовсе не нужно лазить на дерево, когда хочешь узнать его высоту. Воткнув в землю вешку, смерив тени вешки и дерева, я рассчитал высоту из подобия треугольников. Аудитория была в восторге, особенно когда один из скептиков взобрался потом на дерево и смерил высоту рулеткой.

В роте имело место "событие". Мы вдруг получили в порядке улучшения питания целого живого теленка. Обычно наше питание было очень неважным. Мяса мы давно не видали. Теленка убили, мясо раздали и в большом котле сварили суп. Когда все было готово, один из красноармейцев подошел ко мне и сказал:

— Товарищ, иди к нам кушать.

Я пошел, взяв свою ложку, не слишком очарованный перспективой, так как обычно они все ели из одной посуды. В самом деле, они сидели вокруг большого таза, держа наготове ложки.

Я собирался присесть к ним, но меня остановили, сказали:

— Нет, товарищ, извините. Мы знаем, что вы так не обыкши. Мы вам особо приготовили.

Мне вручили маленькую миску с большим, аппетитным куском мяса. Такая деликатность тронула меня глубоко.

Как-то раз я заметил среди красноармейцев перешептывания, подавленный смех, широкие улыбки, сопровождаемые непечатными, но весьма сочными и довольными комментариями. В чем дело? Оказывается, несколько комиссаров выехали

в море на моторной лодке, были обстреляны и потоплены английским миноносцем. Это и вызвало у ярославцев такое удовольствие. Если такие настроения не являются исключениями в Красной армии, то еще не вся надежда для России потеряна.

Я узнал, что в Туапсе снова действует телеграф. Пробрался туда при первой возможности и послал телеграмму Верочке, сообщив название своей части. Недели через две я держал в дрожащих руках конверт, написанный знакомым дорогим почерком. Слава Богу! Верочка и Олег живы и здоровы. Верочка работает в Центральной библиотеке Новочеркасска. Мои родители вернулись в Харьков, но "переменили теперь квартиру и живут на улице Чайковского". Вся радость была отравлена! Все харьковцы знали, что по этому адресу располагалась Чека.

Однажды вечером я сидел у моря, погруженный в свои невеселые думы, и вдруг увидел нашего командира и его помощника. Они подошли ко мне и заговорили. После нескольких незначительных фраз осторожно начали выспрашивать меня, что такое случилось с Белой армией. Почему после таких блестящих успехов все внезапно и быстро разложилось? Так же осторожно я указал на разгул и воровство в тылу, на укомплектование боевых частей бывшими военнопленными. Они слушали внимательно. Такие разговоры стали повторяться. Я заговорил откровеннее, встретив сочувствие и понимание. Я сказал, что главной ошибкой было отсутствие лозунгов борьбы, понятных широким массам народа. "Единая и неделимая Россия" — все это хорошо для тех, кому дороги традиции и идеалы, но ничего не говорит простым крестьянам, которые даже не знают, что входит в состав этой "неделимой" и почему это так важно. Говорить о свободе тоже бесполезно. Свобода для тех, кто два поколения назад был рабом, — пустой звук. Для них свобода и распущенность одно и то же. Простому крестьянину прежде всего нужна своя земля, свой дом, свое хозяйство. Нужно было бы провести земельную реформу, хотя бы по столыпинскому об-

разцу, дать крестьянину землю в полную собственность, и народ пошел бы за белыми. Кроме того, нам путало все карты участие в Белом движении всякого рода социалистов. Эти всегда жили в мире фантазий, не привыкли считаться с фактами и у нас занимались только предательством.

Мы начали встречаться с командиром чаще, почти каждый день. Он перестал скрывать, что он бывший офицер, и как-то раз предложил мне бежать вместе с ним и его помощником, тоже бывшим офицером, через горы в Грузию, к англичанам. Я согласился, хотя меня мучила мысль, что я делаю встречу с близкими еще более проблематичной. Командир сказал мне, что он займется подготовкой бегства и в надлежащий момент предупредит меня.

Мои колебания, оставаться или пытаться бежать в Грузию, получили неожиданное разрешение. В "Красноармейской газете" был опубликован декрет о немедленном откомандировании из армии всех студентов высших технических учебных заведений для окончания образования. Это, казалось, был перст судьбы, указывающий мне правильный выход из положения. Командир, к которому я пошел посоветоваться, согласился, что я должен воспользоваться этим декретом. Однако сказал, что он сам не может меня откомандировать, — я должен обратиться к военному комиссару нашей части.

Я пошел к комиссару, жившему в купе мягкого вагона нашего эшелона. Когда я обратился к нему с просьбой откомандировать меня, он заявил:

— Декрет-то декрет, но это не касается бывших белых.

Я начал убеждать его, что в декрете не упоминается о таких ограничениях, что, наконец, нам было заявлено при зачислении в Красную армию, что мы амнистированы. Комиссар продолжал стоять на своем. В процессе разговора я упомянул, что я студент-путеец. Комиссар заявил, что он тоже путеец — служил железнодорожным техником. Потом спросил, где я был на практике. Нашлись общие знакомые инженеры. Он стал любезнее и даже предложил мне выпить вместе с ним чаю. Разговор начал принимать более дружеский характер.

Заметив это, я решил попробовать другую тактику и сказал:

— Товарищ комиссар, пожалуй, вы правы. Кто знает, может быть, на вашем месте и я так же колебался. Однако, мне кажется, есть что-то, что вы можете сделать. Пошлите меня в штаб за разъяснениями, касается ли этот декрет бывших амнистированных белых или нет. Мне кажется, — продолжал я, — что вы, во всяком случае, можете это сделать. Не так ли?

— Это-то я могу сделать, — согласился комиссар, — идите в канцелярию.

Там он сел за машинку, написал командировку, вынул из кармана печать, приложил ее и расписался.

Взяв командировку и поблагодарив комиссара, я вышел из вагона, остановился и прочитал:

"Военножелезнодорожник 11-го железнодорожного полка Красной армии (имярек) командируется в г. Екатеринодар в штаб железнодорожных войск для получения разъяснений по поводу откомандирования из армии студентов высших технических учебных заведений..."

За этим следовало обычное обращение к тем, кого это может касаться, об оказании содействия при проезде, подпись и печать.

Я смотрел на этот документ и не верил своим глазам. В нем нигде не было упомянуто, что я бывший белый. Эта бумажка была, в сущности, полной индульгенцией, отпускающей мне все антисоветские грехи. Не воспользоваться этим — надо быть полным идиотом. Прежде всего надо исчезнуть. Пока комиссар не одумался и не изменил или дополнил текст командировки. Я засунул бумажку в карман френча и зашагал по рельсам в направлении Туапсе. Я не зашел даже в свой вагон, для того чтобы забрать "имущество" — шинель и сумку с бритвенным прибором. Пройдя несколько километров, я решил, что идти в Туапсе опасно. На заставе тоже могут задержать и вернуть. Надо обойти город и станцию кругом. Я свернул в боковую долину и пошел вокруг горы Индюк. Поздно вечером, совершенно измученный, я вышел на какую-то маленькую станцию на линии Туапсе — Армавир. Станция была уже в 15—20 километрах за Туапсе.

На станции стоял и пыхтел паровоз. Я пошел к начальнику станции, заявил, что у меня срочная командировка, и спросил, какие поезда идут на Армавир. Поездов никаких не предвиделось, но имеется паровоз, который туда перегоняют.

Я направился к паровозу и переговорил с машинистом. Тот разрешил мне ехать на площадке впереди паровозной трубы, если это меня устраивает. День и ночь я ехал на этой площадке, был облит водой в туннеле, но все же отдохнул и даже выспался. На другой день вечером мы приехали в Армавир.

Я пошел в город размять ноги. Что мне теперь делать? Ехать в Екатеринодар? Это значит — в Тихорецкой отклониться от направления на Ростов и Новочеркасск, где находятся мои. Попробовать проскочить на Ростов? Я пошел назад на станцию, там увидел странный поезд. Три теплушки впереди и за ними два вагона бывшего Международного общества спальных вагонов. Оказалось, это был экстренный поезд наркома продовольствия и он идет на Ростов. В теплушках ехала охрана наркома. Я решил рискнуть, показал командировку и просил подвезти до Тихорецкой. Получив согласие, я забрался в вагон и залез сейчас же под нары, сославшись на усталость. Поезд вскоре тронулся. По доносившемуся до меня разговору я понял, что охранники, занятые азартной игрой в карты, меня совсем забыли.

Когда мы ночью достигли Тихорецкой, никто меня из вагона не высадил. Я дождался, пока поезд оставил Тихорецкую, и заснул. Спал крепко, а когда проснулся, то увидел, что поезд стоит и что уже совсем светло. Я узнал, что мы на станции Батайск и поезд дальше не пойдет, потому что нарком и комиссары поехали в Ростов на автомобилях.

То, что я добрался до Батайска, было громадным везением. Отсюда до Новочеркасска всего около 40 километров. Но как мне пройти в Ростов через мосты? Ведь на мостах, несомненно, проверка документов.

Я вышел со станции и пошел к Дону, надеясь, что, может быть, мне удастся переправиться на лодке какого-нибудь рыбака. Надежда была слабая. Вдруг я увидел, что по насыпи, ведущей к железнодорожному мосту, медленно движется пустой товарный поезд. Через открытые с обеих сторон вагоны сквозило небо. Прежде чем я успел что-либо обдумать и решить, мои ноги уже бежали к поезду. Я вскарабкался на насыпь, схватился за что-то у дверей вагона, напряг все силы для последнего прыжка, сначала повис, потом нечеловеческим усилием втянулся в вагон. Там я закатился в угол и притаился.

Поезд ускорил ход и въехал на мост. Проехал и вышел на насыпь. Ура! Я на другом берегу! Но осторожность прежде всего. Кто знает, где остановится поезд. Я выглянул наружу: патрулей нет! И выпрыгнул, скатившись по насыпи кувырком.

Не желая портить успеха, я решил в город не заходить, обойти его кругом и сесть на поезд только на станции Аксай, находящейся на лини Ростов — Новочеркасск.

На станции Аксай я нашел "водянку" — поезд, возящий ежедневно в Новочеркасск воду для паровозов. Чем ближе я был к цели, тем больше нервничал и беспокоился. Но, казалось, препятствий больше нет.

Было уже темно, когда поезд доехал до Новочеркасска. Я слез с цистерны, на которой ехал, и зашагал в город. Вдруг услышал:

— Стой!

Патруль. Не слушая моих разъяснений, меня примкнули к группе других арестованных и повели. Мы пришли к дому, окруженному колючей проволокой, — очевидно, Чека. Меня ввели в комнату, где за столом сидел комиссар. Он вскользь посмотрел мою командировку и бумаги, взял часы-браслет, выдвинул ящик стола и положил все это туда.

Меня присоединили к одной из групп арестованных, по-видимому, уже проверенных. Конвоиры, получив распоряжение от комиссара, зажгли факелы из газетной бумаги и повели нас вниз по каменной лестнице в темный подвал. Женщины в одной из групп начали кричать в ужасе, но замолчали после пинков и грубых окриков.

Внизу один из конвоиров открыл дверь в какой-то чулан, показал на меня и сказал:

— Этого сюда. Он не злостный!

Меня втолкнули, засов загремел, ключ щелкнул. Я остался один. Ощупав кругом, я убедился, что камера пуста. В углу нашел немного соломы. "Не злостный" — это давало немного надежды, но тревога не утихала. Неужели все провалится в последний момент?! Можно прийти в отчаяние. Ведь я буквально в нескольких шагах от своих дорогих и, может быть, так их и не увижу!

Всю ночь я не спал. Рано утром снова загремел засов. Меня привели в ту же комнату.

Комиссар выдвинул ящик, отдал мне мои бумаги и сказал:

— Можешь идти.

Ясно: он либо не читал моей командировки, либо не знал, где находится Екатеринодар. Я вышел, сохраняя внешнее спокойствие, хотя мои ноги хотели бежать... Вот памятник Ермаку... Вот собор... Теперь я уже почти бежал... Вот Георгиевская улица, дом Бабкина.

Я вошел во двор, кто-то вышел мне навстречу. Только я хотел спросить: “Живет ли тут семья Бернгард?” — как услышал вскрик:

— Василий Эмильевич?! — Это была горничная Саша.

— Да, это я. Где Верочка, где Олег? Живы ли? Что с ними?

Саша кивнула мне утвердительно головой и повела меня в маленький флигель.

Верочка лежит на кровати. На исхудавшем, бледном личике громадные глаза. Руки тянутся ко мне. Голова острижена... У нее был брюшной тиф, но она уже поправляется... Слезы катятся у меня из глаз. Я падаю на колени и обнимаю ее.

На следующий день мы обсуждаем положение. Формально я еще в Красной армии, послан в командировку в Екатеринодар, а нахожусь в Новочеркасске. В сущности, пока еще не схваченный дезертир. Верочка сообщает мне, что она уже говорила с ректором Политехнического института о возможности моего возвращения. Ректор был очень любезен и обещал помочь. Надо идти прежде всего к нему. Так я и сделал.

Войдя в кабинет ректора и убедившись, что дверь закрыта, я подошел к столу и сказал:

— Господин профессор, я студент-путеец, кончающий курс, — вот мои бумаги. Служил в Белой армии, был взят в плен. Мне удалось получить эту командировку, и я бежал из Туапсе. Можете ли вы меня зачислить студентом?

Профессор посмотрел мои бумаги и сказал:

— Я сейчас дам распоряжение. Не уходите — свидетельство о зачислении вы получите немедленно.

Так и было. Я ушел из института имматрикулированным* студентом.

---

* Сдавшим экзамены, но формально не зачисленным (от *франц.* immatriculer — заносить в список).

Теперь мне оставалось только оформить свое откомандирование из Красной армии. Предыдущие успехи окрылили меня, и я не сомневался в успехе.

На следующий день я поехал в Ростов, явился в Главное управление железнодорожных войск. Там я предъявил свою командировку и новый студенческий билет Донского политехнического института. Заявив, что я случайно попал в Ростов, не зная того, что мне нужно было пересаживаться на Екатеринодар в Тихорецкой, я сказал:

— Товарищи, неужели мне теперь назад ехать нужно? Ведь у вас декрет, наверное, имеется. К тому же занятия в Институте уже начались, и студентом я уже зачислен. Вы, наверное, сами можете меня отпустить.

— Ясное дело, можем!

Машинка застучала, и через несколько минут я стал оснащенным безупречными бумагами "гражданином Советского Союза".

Верочка рассказала мне о пережитом, о том, как был занят красными Новочеркасск. 23 декабря стало ясно, что белые оставляют город. Поезда больше не ходили. По улицам тянулись обозы со скарбом, ранеными и беженцами. Полковник А.И. Бабкин привез розвальни, посадил свою жену, погрузил чемоданы. Сам уехал верхом. Оставшиеся — моя теща Елизавета Андреевна, Верочка, подруга ее по гимназии Неоми, горничная Саша и дети — ютились в маленьком флигеле из двух комнатушек и кухни. У них была только одна кровать. Комнаты заставлены чемоданами. Кроме двух совсем маленьких детей, нашего Олега, которому едва 6 месяцев и дочки Неоми — 8 месяцев, с ними были двое мальчиков, братьев Верочки, — 10 и 15 лет.

В сочельник город совсем опустел. Издалека по временам доносились раскаты канонады. Никто не отваживался выглянуть на улицу. Страх и безнадежность подавляли все. Только Саша не совсем потеряла присутствие духа. В маленькой комнате она отгородила шкафом уголок, завесила его ковром, устроив тайник, чтобы можно было спрятать Верочку и Неоми, которым больше всего грозила опасность.

Ночь прошла без сна. На рассвете вдруг послышался стук. Это была соседка, казачка.

— Готовьтесь принимать гостей, — заявила она, — уже здесь!

Действительно, не прошло и десяти минут, как послышался громкий разговор, тяжелые шаги и стук. Верочка и Неоми спрятались в тайник. Саша распахнула дверь. В комнату ввалились два красноармейца.

— Эй, бабы, где ваши мужики?

Елизавета Андреевна только раскрывала и закрывала рот, не произнося ни слова.

— Ты чаво испужалась? — сказал один, схватив ее за плечо.

Но тут Саша оказалась на высоте:

— Здравствуйте, гости дорогие! И ждали-то мы вас, ждали. Садитесь, уж угощу я вас чем Бог послал. Вот вам и пирожки приготовила, — тараторила она, — даже водочки немного припасла. Чай, устали с дороги.

Красноармейцы присели, поели и ушли.

— Барыня, — сказала Саша, — нам надо взять кого-нибудь на постой, а то Бог знает, кто еще к нам вломится.

Она ушла и действительно привела через некоторое время двоих более пожилых, угостила их, уложила спать. Когда они хотели пройти в другую комнату, отговорила их: там, мол, дети маленькие, только беспокоить будут. Пока постояльцы осваивались, все было ничего. Они даже предупреждали, с кем следует особенно осторожно держаться.

Было решено для большей безопасности сделать всем свидетельства о швейцарском гражданстве: бланки швейцарского консульства, печати и пишущую машинку удалось сохранить. У Верочки к тому же остался ее подлинный швейцарский паспорт на девичье имя. Но как быть с Олегом? Девица с ребенком! Это не должно, правда, особо шокировать большевицкую мораль, но все же решили выдать Олега за сына Елизаветы Андреевны. Неоми и ее дочери тоже напечатали швейцарские удостоверения. Печатали ночью под одеялом, чтобы не слышно было стука машинки.

Первые части ушли. В городе было сравнительно спокойно. Шли только обыски. Однако дня через два все изменилось к худшему. В Новочеркасск вошла часть прямо с боя. Начались пьянство, грабеж, насилия.

Саша сказала:

— Барыня, для того чтобы к нам не всадили кого-нибудь опасного, единственное спасение — взять к себе сыпнотифозных. Я это устрою.

Так и сделали — взяли двух больных. На дверях вывесили даже табличку с указанием, что в доме сыпнотифозный больной. Табличка была подписана красноармейским врачом и заверена его печатью.

Больных через некоторое время увезли, и обыски нас не миновали. Трясли все внимательно, искали оружие. При этом забрали из чемоданов все мужское белье. Но и тут Саша помогла, замуровав где-то за печкой все золотые вещи и пишущую машинку.

Через две недели заболела сыпным тифом Елизавета Андреевна. Тем временем боевые части ушли, и в городе водворился обычный советский порядок жизни. Недостаток всего, и главным образом еды. Но было сравнительно тихо.

Верочка поступила на службу в Центральную библиотеку, предъявив свои швейцарские документы.

Рассказав мне обо всем, Верочка вдруг вскрикнула:

— Вася, что ж мы теперь будем делать? Я — девица Бернгард, ты — студент Спроге!

— Очень просто, дорогая. Пойдем и повенчаемся еще раз по-советски — в ЗАГСе. Кто нам мешает?

Как только Верочка поправилась и встала с постели, мы пошли и “повенчались”. Наши документы автоматически пришли в порядок.

Эпилогом к этому событию может служить следующее. Когда Верочка пришла на службу после нашего “бракосочетания”, сослуживица ее, как и многие другие, работавшие там, жена офицера, сказала ей с упреком:

— Вот таковы вы все! Сначала плачут и жалуются, что муж пропал, уйдя с белыми. Не проходит и года — выходят замуж за красных!

Верочка ответила ей:

— Я скажу вам что-то по секрету. Мой новый “красный” муж и есть мой старый “белый”.

Глава 6

• НОВОЧЕРКАССК. БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ. ВОЛГО-ДОН

Все члены семьи Бернгард, пользуясь своими швейцарскими бумагами, выехали через Харьков и Москву в Швейцарию. Хотя мы другого и не ожидали, все же отъезд матери глубоко огорчил Верочку. Отъезд совершился неожиданно, без предварительных переговоров. Мы были поставлены перед свершившимся фактом. Мы знали, конечно, что наш отъезд невозможен. Мешало мое русское подданство, и Верочка без меня никогда бы не уехала, но то, что она была оставлена, как оставляют при переезде лишние вещи, обижало.

Но что делать... Долго размышлять о происшедшем мы не могли. Положение было отчаянное. Думаю, что не многие молодые пары начинали свою совместную жизнь в более тяжелых условиях. К тому же у нас был двухлетний ребенок. Все это во время военной разрухи, начинающегося голода, в городе, где мы были чужими и не имели ни друзей, ни знакомых!

Трудно перечислить, чего у нас недоставало. У нас не было мебели, одежды, белья, посуды и сотен других вещей, которых никто не замечает, когда они есть, но без которых и бедняк не может обойтись. Гораздо легче перечислить, что у нас было. Первое — это кров. Мы не только имели его, но это благо имелось у нас в избытке. В самом деле, у нас была квартира, далеко по своим размерам превышавшая наши потребности. Квартира состояла из восьми больших комнат, расположенных в бельэтаже каменной виллы. Кроме этого, имелся еще ряд комнат и служб, расположенных в высоком полу-

подвале. Вилла строилась по планам владельца, военного инженера, поражала солидностью конструкции, бетонными сводами полуподвала, окнами, напоминающими крепостные амбразуры, и стенами толщиной в три кирпича. Вместе с тем это была вовсе не древняя, а современная постройка, оборудованная ванной и другими санитарными устройствами, отвечающими уровню XX века. Правда, ванная располагалась почему-то в полуподвале, весьма далеко от спальни в бельэтаже.

Мы получили этот дом в полное наше распоряжение. Произошло это неожиданно. Верочке предложили заведование районной библиотекой, устроенной в реквизированном доме. Две комнаты занимала библиотека, остальные пустовали. В одной из комнат библиотеки стояло несколько шкафов, один большой и два маленьких столика и пять-шесть стульев. Вдоль стен второй комнаты — стеллажи с книгами. Все остальные помещения были лишены какой-либо обстановки, если не считать, что в одной комнате стояла пианола, но без рояля, а в другой — английская кровать с металлической пружинной сеткой.

Вселившись в дом, мы смогли привезти с собой очень немного. Все наше имущество состояло из большого украинского ковра, подаренного нам на свадьбу и каким-то чудом доехавшего до Новочеркасска, двух подушек и одеял, двух хороших крупповских никелевых кастрюль, нескольких тарелок, ножей и вилок, доставшихся нам из брошенного имущества полковника Бабкина. Как оказалось потом, очень пригодились нам полученные из того же источника пила, молоток и щипцы-кусачки. Я очень жалел, что нигде не смог достать топор. Наученный горьким опытом, знаю теперь, что топор является королем всех инструментов.

Устроившись на новоселье, я решил, что на первом плане стоит задача обеспечить наше обиталище отоплением. Вилла, к моему сожалению, имела только центральное амоссовское отопление. Печей нигде не было. Да и обеспечить нормальную печь топливом после водворения “социалистического рая” все равно было бы невозможно. Но осчастливленное население к тому времени сумело изобрести так называемые буржуйки. Это были маленькие, сделанные из листового железа печурки, обычно не более 60 см в длину, имели две конфорки и миниатюрную духовку. Размер духовки позволял поместить в нее

только два-три маленьких пирожка, но все же! Такая печурка позволяла, имея горсточку щепок, не только приготовить обед, но и согреть комнату. Раздобыв такую буржуйку, я обстукал стены, ища подходящий дымоход или вентиляционный канал. Скоро печка была смонтирована.

Однако одна печка без топлива не решает вопроса. В Донской области всегда основным топливом был уголь. Теперь его не было и следа. Для растопки применялся кизяк. Это не что иное, как высушенный коровий навоз, смешанный с соломой. Дерево и щепки применялись здесь всегда в минимальных количествах, что понятно ввиду отсутствия лесов. Угля теперь не было, но, к счастью, до революции на шахтах накопились горы угольной пыли — штыба. Студенты устроили поход к руднику "Шахты", нагрузили штыб на раздобытые каким-то образом подводы и привезли его в Новочеркасск, прошагав в ногу с волами 40 километров.

Проделав эту экспедицию, я немного успокоился: не замерзнем. Но не тут-то было: внезапно наступившие морозы заставили срочно искать материал для растопки. Одна бумага не помогала, нужны были дерево, щепки. Бесплодно обыскав весь дом и окрестности, я пришел к выводу о необходимости принять "революционное" решение и полез на чердак осматривать все стропила. Как я и ожидал и как мое знание строительной механики и теории сооружений подтвердило, в стропилах находились совершенно излишние, ненужные и неработающие части, удаление которых не могло принести вреда.

Поздно ночью мы вдвоем с дрожащей от страха Верочкой влезли на чердак и занялись отпиливанием от стропил излишних элементов. Несмотря на то что шорох пилы в ночной тишине временами казался оглушительным, Новочеркасск спал крепко, и мне удалось обеспечить наше хозяйство растопкой на всю зиму. Правда, озадачивал один момент: как колоть чурбаны, не имея топора, но и здесь нашелся, после некоторых экспериментов, выход. Оказалось, это возможно осуществить, применяя фруктовый ножичек — забивая его молотком и загоняя потом в образовавшуюся щель железнодорожный костыль, которым "пришивают" рельсы к шпалам.

Наш день начинался обыкновенно приготовлением из штыба брикетов. Разведя в тазу немного глины с водой и прибавив эту смесь к штыбу, мы лепили, формуя руками ша-

рики, и клали их сохнуть. Такая лепка брикетов была плохой косметикой для рук. Я с ужасом смотрел, во что превращались постепенно розовые пальчики Верочки. Но и мои руки после таких операций мало подходили для черчения.

После того как вопрос с отоплением разрешился, я занялся освещением. Проводка в доме имелась. Предохранительные пробки отсутствовали. Достать их было невозможно — ни за деньги, ни "по блату". Всюду, где имелся ток, применялись "паучки", сделанные из тонких проволок. Вставив такой "паучок", я немедленно добился результата: свет погас во всем квартале и провода загорелись во многих местах нашего дома. Оказалось, что вся внутренняя проводка из плетеных шнуров была пропитана водой. Расплетя эти шнуры и проведя к нашим лампочкам каждую из этих двух фаз отдельно, я обеспечил подвод от короткого замыкания. Такое решение было необходимо уже потому, что мы топили только одну комнату, в остальных же господствовал мороз. Стены там то покрывались замерзшим инеем, то струйками текущей воды.

Устройство крова для семьи не позволяло упустить из внимания и другой кардинальный вопрос — питание. Главным источником был получаемый мною студенческий паек. Я получал два фунта хлеба в день. Это было главное. Кроме хлеба нам давали раз в неделю пакетик табака — 50 грамм, 100 грамм сахара, иногда одно-два кило ячменя-"шрапнели". Последний, однако, редко, как и 50 грамм подсолнечного масла. Я чуть не забыл упомянуть весьма существенную часть нашего пайка — спички, шесть коробок в неделю. Несмотря на отвратительное качество этого советского продукта, спички при полной обесцененности денег играли роль устойчивой валюты. Верочке удавалось если и не всегда, то иногда выменивать на коробку спичек "корчик" молока для нашего малютки.

Ах, спички шведские, головки советские!
Семь минут вонь, а потом огонь!

Верочка тоже имела право на получение полуфунта хлеба в день по карточкам. Иногда, после многочасового стояния в очереди, и она могла получить этот паек. Черный хлеб был всегда с колючками, часто и с плесенью. Такое питание, несомненно, идеальное с точки зрения диетистов-реформаторов, не только мучило нас голодом, но не давало покоя еще

вот почему: что будет с бедняжкой Олегом? Ведь для него эта пища совсем не подходила. Надо что-то делать. Мы решили купить козу. У Верочки еще оставалось колечко “энгейджмент-ринг”* с бриллиантом и изумрудом. Мы решили попробовать обменять его на козу.

Покупка козы была в некотором роде переломным моментом в нашей жизни. До этого все мысли были заняты только одним: спасем ли мы нашего ребенка? Сердце обливалось кровью, глядя на это маленькое существо, так радующееся жизни и не имеющее никакого представления обо всех угрозах и опасностях, таящихся на его пути. Как-то раз, возвращаясь домой поздно вечером, я прошел мимо детского дома. У ворот стояла подвода. Из дома что-то выносили. Приглянувшись, я увидел, что на подводу складывают, как дрова, маленькие детские тельца. Дети умерли с голоду и замерзли в нетопленом доме.

После долгих поисков и расспросов козу наконец нашли, и обмен состоялся. Однако оказалось, что коза эта молока не дает. Ужас охватил нас. Кольцо было нашим последним ресурсом. Верочка побежала назад с козой. Надо сказать, что, несмотря на сознательный и бессовестный обман, все же люди, продавшие козу, в конце концов сжалились, тронутые слезами и отчаянием Верочки. Кольцо вернули.

Другая найденная нами коза оказалась на высоте. Давала что-то около литра молока в день. С трудом научились доить ее. Бывало, что к концу доения она опрокидывала, дрыгнув ногами, полный ковш. Вскоре мы и к этому приспособились: Верочка доила, а я держал козу обеими руками за задние ноги.

Как-то раз на базаре, пытаясь повыгоднее обменять табак на что-либо съестное, я вдруг получил предложение:

— Слухай, товарищ! Хош, я дам тебе пуд картошки, ты давай мне свой хрэнчик!

Я не колебался. Снял свой китченеровский френч и пошел домой полураздетым, таща на плечах тяжелый мешок. Дома был еще один затрепанный пиджак с чужого плеча, заработанный исполнением чертежных работ — помощь одному из местных студентов.

К сожалению, неуспевающие студенты, работающие “на рабах”, попадались теперь редко. Громадное большинство тоже

---

* Обручальное кольцо (от *англ.* engagement-ring).

бедствовало. Раз мне повезло. Один из студентов, кстати сказать, весьма почтенного возраста, оказавшийся одним из бывших совладельцев кожевенного завода в Батайске, предложил мне сделать для него два курсовых проекта (ему грозило исключение из института за неуспеваемость), один проект бетонной набережной, другой — малого железнодорожного мостика со сплошной стенкой. Мы сговорились на двух парах кожаных сапог. Сапожищи были громадные, тяжеленные и вонючие — юфтевые, но солидные и прочные. Надо сказать, что все население тогда, за малым исключением, ходило в деревянных сандалиях-колодках. Когда студенты после лекции выходили из аудитории и бежали по лестницам, треск сандалий напоминал оживленную перестрелку на фронте.

Думал ли я когда, что преподнесу Верочке в презент такую "элегантную" обувь и что мы оба будем ей радоваться?

Студентов-путейцев, петербургских и московских, на гидротехническом отделении оказалось человек тридцать. Второй по численности была группа студентов-политехников из Киева и Петрограда. Все это были беженцы, отступавшие с Белой армией. Также много путейцев оказалось и среди профессоров. Некоторые из них, такие, как старик профессор Цшохер, принадлежали к старым кадрам Донского института, другие (А.И. Фидман, А.С. Аксамитный и Н.Н. Давиденков) были занесены сюда революцией и Гражданской войной. Старая корпоративная сплоченность сказалась и здесь. Со стороны профессуры делалось все возможное, чтобы облегчить студентам-путейцам возвращение в свои институты в случае, если... Мы почти все верили в это "если". Врангель еще держался в Крыму. По городу временами носились слухи — как всегда, из "верного источника" — то о высадке генерала Улагая, то о восстании калмыков...

Занятия в Институте шли своим чередом. В аудиториях и чертежных господствовала температура ниже нуля. В перерывах между лекциями студенты топали замерзшими ногами, хлопали себя и друг друга по бокам, размахивая руками, как это зимой делали раньше извозчики на бирже. Так как своих книг не было, работать приходилось главным образом в такой же нетопленой библиотеке. Зима, как назло, стояла

жестокая. Улицы были завалены горами снега. Из степей неслись порывы ледяного воздуха.

К весне продовольственное положение стало отчаянным. Мы изголодались. Голова кружилась, в глазах мелькали какие-то круги. Я чувствовал, что дальше не выдержу. Пошел к профессору Фидману, у которого я делал дипломный проект. Фидман был начальником Донского округа внутренних водных сообщений.

— Александр Иванович, — сказал я, — мы погибаем. Мы беженцы. Прибежали сюда с голыми руками. У нас нет абсолютно ничего, что можно было бы продавать и менять. Нас трое, в том числе маленький ребенок. Мой студенческий паек, как вы знаете, недостаточен даже для одного человека. Это все, что имеем на троих. Не можете ли вы дать мне какую-нибудь работу?

В ведении Донского округа ВВПС находилось Управление исследований Волго-Донского канала. Главным инженером был М.М. Гришин. Фидман дал ему, по-видимому, очень хорошие рекомендации обо мне, потому что тот не только взял меня на работу, но и сразу зачислил старшим техником. Персонал Управления, помещавшегося в Новочеркасске, был невелик — кроме меня, еще один техник и два чертежника. Большая часть технического персонала принадлежала изыскательским партиям и находилась в поле на трассе канала между Калачом на Дону и Сарептой на Волге. Изыскательские партии возглавлялись тремя инженерами-путейцами — Каалем, Дравнеком и Махлаюком.

Зачисление меня на должность улучшило наше положение. Деньги не играли большой роли, но и тут мы получали табак и спички и по временам даже, хотя и нерегулярно, немного муки и крупы. Это было очень важно, так как продовольственное положение ухудшалось с каждым днем и грозило достигнуть катастрофического уровня перед новым урожаем.

В Управлении Волго-Дона я сначала занимался увязкой результатов промеров триангуляции, разбитой через водораздел между Доном и Волгой. Затем М.М. Гришин переключил меня на проектирование различных вариантов трассы канала. Узнав, что темой моего дипломного проекта был речной порт у устья Волго-Донского канала на Волге с де-

тальным проектированием железобетонного зернового элеватора, Гришин нашел, что тема эта интересна и для Волго-Дона, и разрешил мне поэтому половину служебного времени посвящать дипломному проектированию. Такая возможность страшно облегчила мою работу.

Взаимоотношения между служащими не оставляли желать ничего лучшего. Вскоре мы смогли убедиться, что и политическая ориентация всех была приблизительно одинакова. В первое время советского господства "свобода слова" хотя и в очень ограниченном кругу, но все же имелась. Только горькая практика будущего приучила постепенно всех молчать там, где нужно. А нужно стало почти всюду.

К нам пришел завхоз, т.е. заведующий хозяйством, и просил всех остаться после службы. Требовалось обсудить какой-то чрезвычайно важный для всех вопрос. Когда мы собрались, нам сообщили, что для распределения среди сотрудников поступило несколько пудов муки. На каждого приходилось по пять кило. Эта часть доклада была встречена нами с большим одобрением. Поднявшиеся оживление и шум, однако, стихли, когда докладчик, подняв руку, заявил, что тут, к сожалению, есть некоторое "но", которое он нам должен сообщить. Мука для предстоящего развеса была ссыпана в деревянный ларь в подвале. Крышка в ларе не была закрыта. Оставили открытым и окно, выходившее во двор. Этим воспользовался кот с соседнего двора. Муки он, правда, не украл — как известно, муку кошки не едят, но он нашел ларь весьма подходящим местом для отправления своих естественных потребностей. На обсуждение был поставлен вопрос — раздавать ли муку или отказаться от нее. Теперь это кажется смешным, но тогда, когда чуть ли не каждый день на улице можно было видеть людей, падающих и умирающих от голода, это не казалось смешным. После горячих прений выбрали комиссию из трех человек. Ей было поручено выяснить степень загрязнения, возможность удаления комков и раздачи оставшейся муки.

Муку распределили. Дома я молчал об имевшем место.

С некоторого времени было приведено в порядок железнодорожное движение. Поезда ходили и раньше, но ездить официально имели право только лица, имевшие специальные

разрешения. Получить такое разрешение могли лишь привилегированные персоны, имеющие связи и знакомства в “сферах”. Билеты вообще не продавались. Население ездило, так сказать, “явочным” порядком. Громоздились на крышах, на буферах, висели на подножках. В дороге одних сгоняли, другие сами сваливались с подножек или стаскивались с них конкурентами. После введения билетов и их продажи стало возможным не только ездить, но даже посылать багаж. Я не замедлил воспользоваться такою благодатью. Написал своей тетке в Москву и получил оттуда два чемодана со своими студенческими вещами.

Прибытие чемоданов казалось невероятным. Чего в них только не было! Белье, рубашки, воротнички, полотенца. Чертежная готовальня, логарифмическая линейка. Несколько книг и, наконец, мой форменный парадный сюртук. К сожалению, не было ботинок. Сюртук обрадовал меня чрезвычайно. Я заканчивал свой дипломный проект и заранее торжествовал, что буду его защищать не каким-то оборванцем, а во всем параде, согласно традициям.

Снабжение по линии Волго-Дона почти не функционировало. Опять единственным источником оставался студенческий паек. Угроза голодной смерти стала жутко реальной. Но вдруг произошло что-то, показавшееся нам чудом. Волго-Дон вдруг объявили ударным предприятием и дали ему “ударный” паек. Паек этот отвечал военному снабжению войск. Нам дали даже полагающееся за прошлый месяц. Я приволок домой больше пуда муки, пуд ячменя, несколько фунтов сахару, табак. Но что нас страшно порадовало, а потом привело в смущение — это 30 фунтов мяса. Мы к тому времени уже забыли, как оно выглядит, не то что его вкус. Сначала Верочка напекла массу пирожков с мясом, мы наелись их вволю. Вкус их казался не имеющим ничего себе равным. Ни один гурман на свете не испытывал такого наслаждения, какое выпало на нашу долю. Наевшись досыта в первый раз за пару лет, мы задумались, что делать с оставшимся мясом. Ведь хранить его негде. Обменять? Нет, слишком жалко. Надо солить! Вот решение! Побегав, я раздобыл фунта два соли. Верочка заняла где-то маленький бочонок. Разрубив и изрезав мясо на ку-

сочки и густо пересыпав все солью, мы поставили бочонок в погреб. Когда мы через несколько дней взглянули на мясо, оно оказалось позеленевшим и приняло такой неаппетитный вид, что нам не оставалось ничего другого, как выкинуть его. В попытке "планировать" наше хозяйство на будущее мы потерпели такое же фиаско, как и наши правители.

Наконец настал день защиты моего проекта. Как я уже упоминал, я решил явиться на защиту в полной парадной форме. К сюртуку, однако, полагаются черные брюки навыпуск. Брюки были в числе вещей, прибывших из Москвы, но не мог же я их заправить в высокие юфтевые сапоги. Это никак не гармонировало бы с крахмальным воротничком и манжетами. Надеть сапоги под брюки невозможно. Брюки просто не налезут на голенища. Наконец я придумал. Отрезал голенища и оставил только опорки. Задача была решена.

Актовый зал института переполнен. Все студенты-путейцы явились "ин корпоре"*. Все профессора-путейцы также налицо. Председательствовал профессор Аксамитный. Официальными оппонентами были преподаватели М.М. Гришин и Калиманов. Защита прошла удачно. Я смог оправдать все принятые мною решения и ответил на все вопросы оппонентов и лиц из публики. Мне присудили диплом первого разряда, отметив в протоколе экзаменационной комиссии проект как "особо выдающийся". Меня особенно тронула теплая овация, которую мне устроили мои коллеги, студенты.

На другой день, когда я пришел на службу, М.М. Гришин пригласил меня к себе и сказал, что он после вчерашней защиты не считает больше возможным зачислить меня "инженером для технических занятий", а находит нужным дать мне место "старшего инженера" и что он уже согласовал это с А.И. Фидманом. Я просто не знал, как благодарить их обоих. В самом деле, они спасли нас от голодной смерти, а теперь дали мне хороший толчок вперед на пути моей профессиональной карьеры.

Карьера! Но где эта карьера? Увы, в советской России. Боже мой, как бы радовал меня всякий успех в старой, доро-

---

* В полном составе (*англ.*).

гой России! В чем Россия нуждается, так это в освобождении. Нужна политическая борьба. Я не сидел сложа руки после революции. Все свои малые силы я вложил в эту борьбу, пренебрегая часто личными интересами, пока не потерпел крушение. Имею ли я теперь право продолжать эту борьбу, когда от меня зависит жизнь двух людей — жены и сына, не говоря уже о моих стариках?..

Когда я вернулся из плена и встретился с женой, я сказал ей:

— Верочка, надо смотреть правде в глаза. Народ против нас! Он нас ненавидит и преследует. Наши убеждения на него не действуют. Мы — противники большевизма, исчезающее меньшинство. Народ, конечно, ошибается. Может быть, он когда-нибудь поймет, где были защитники его прав и где его поработители. Но он сам должен начать бороться за свои права. Пока он этого не начнет, помогать ему бесполезно. Только подвергаться оскорблениям и травле! Теперь я буду только инженером. Я буду бесконечно рад успехам народа, если он сам начнет борьбу против лжи и ужасов большевизма, против глупостей социалистического строя. Но теперь я буду жить и работать только как инженер!

Я проработал еще до середины лета в Управлении исследований Волго-Дона, но Верочка стремилась в Харьков. Да и мне тоже хотелось снова увидеть своих стариков после возвращения в Харьков и ареста. Они сидели по приговору революционного трибунала по обвинению в саботаже. В тюрьме мама болела сыпным тифом. После освобождения отца снова вернули на его старое место директора ВКЭ. Только фирма теперь называлась Государственный трест “Электросила”. Хотя по приговору трибунала все состояние нашей семьи было конфисковано, родители писали, что трест устроил им приличную и даже меблированную квартиру.

Мы решили ехать в Харьков и пытаться устроиться там.

Глава 7

СНОВА В ХАРЬКОВЕ. ГОСПЛАН УКРАИНЫ

Мы бросили Новочеркасск и приехали в Харьков. Желание снова увидеть моих родителей, встретить старых друзей, уцелевших и переживших смутные годы, ожидание второго ребенка, который должен был родиться через три месяца, — все это сыграло роль в принятии решения. Нужно, однако, сказать, что основную роль сыграли также какие-то подсознательные силы, что-то похожее на то, что побуждает цыплят лететь стремглав и прятаться под крылья наседки, не рассуждая, не думая и, может быть, даже во вред себе.

В нашем случае возвращение в Харьков было самое неразумное, что только можно было представить! В Новочеркасске, в Управлении исследований Волго-Донского канала, я занимал место старшего инженера, заслужил хорошую репутацию, имел связи и знакомства в руководящей воднопутейской среде и благодаря этому хорошие перспективы по линии своей будущей карьеры как инженера-гидротехника. Как мы ни были плохо благоустроены, все же имели там квартиру и могли надеяться со временем привести ее в порядок. Наконец, и Верочка как-никак была заведующей районной библиотекой.

А в Харькове? В Харькове мы даже не имели того, что люди привыкли называть “домом”. Остатки семьи Бернгард воспользовались, как я уже говорил, своими швейцарскими паспортами, ликвидировали все в Харькове и уехали, не оставив и следа. Мои родители, у которых по приговору трибунала было конфисковано все имущество, после того как их вы-

пустили из каторжной тюрьмы на Холодной горе, очутились буквально на улице. Отца, правда, сейчас же вернули на место директора треста “Электросила”. В сущности, своим освобождением он был обязан этой надобности. Трест дал им на Московской улице две меблированные комнаты, но рассчитывать устроиться там на постоянное жилье мы не могли. Но самое плохое заключалось в том, что я не имел никакой работы, и, как скоро выяснилось, было очень мало надежд получить что-нибудь подходящее к своей специальности. Харьков в то время был сугубо “сухопутным” городом. Управление внутренних водных путей сообщения было в Киеве, гидроэнергетика вообще в то время не существовала. В Харькове только что организовали отдел мелиорации Наркомата сельского хозяйства УССР, но мелиорация мало меня интересовала, да и, как оказалось, там не было никакой надобности в расширении штата.

Таким образом, перспективы жилья и работы казались малоблагоприятными. Но это еще не все. Из всех городов Советского Союза Харьков оставался для нас самым опасным. Слишком много людей знали нас здесь. Был еще памятен процесс моих родителей, многие видели меня в форме Добровольческой армии. Возвращение в Харьков выглядело по меньшей мере легкомысленно.

Такое легкомыслие в последующие годы оказалось недопустимым, но в 20-е годы было типично. Считалось, что в кругах так называемой интеллигенции опасениям нет места. Кто мог быть здесь большевиком? Ассоциировать “порядочную публику” с “товарищами” в кожаных куртках казалось просто немыслимо. Если среди интеллигентской богемы и можно было найти отдельных коммунистов, то редко. Это были “монстры”, на них показывали пальцами, о них говорили с изумлением.

Мы немного успокоились к концу июля. Благодаря лестным рекомендациям Донского политехнического института меня зачислили ассистентом по кафедре гидротехники на инженерно-агрономический факультет Харьковского института сельского хозяйства и лесоводства. Моим шефом, заведующим кафедрой гидротехники, оказался профессор Ю.В. Ланге. Это

меня очень обрадовало, так как имя Ланге было мне известно из курса гидравлики. Он был изобретателем парциального водомера, запатентованного фирмой Сименса.

Разрешился и вопрос с жильем. Мы получили, правда, только одну, но неплохую комнату в благоустроенной квартире и имели право пользования ванной. Благоустройству квартиры, к сожалению, не отвечало благоустройство улицы. Знаменская улица, находившаяся на окраине города, была не мощена. Деревянные "кладки", заменявшие тротуар, во время революции исчезли без следа. После дождя улица становилась совершенно непроходимой. Мы были все же безгранично рады получить оседлость и готовы были мириться со всеми неудобствами. Хотя наше новое житье находилось очень далеко от фешенебельных "нагорных" кварталов города, где мы жили раньше, тем не менее это был хотя и респектабельный, но бедный район. Здесь жили в своих небольших, но по большей части собственных домиках бывшие мелкие чиновники, служащие и рабочие с находившегося вблизи паровозостроительного завода.

Обзаведение мебелью казалось в первый момент неразрешимой проблемой. Был разгар того, что потом назвали "военным коммунизмом". Все магазины и лавки пустовали. Купить что-либо было невозможно. Разве что на "толкучке" или на базаре. Первое, что удалось достать, — необходимая деталь советского социалистического быта — печка буржуйка. Постепенно, однако, удалось достать самое необходимое. Нашлись некоторые знакомые, которые сочли нужным отдать назад "подаренные" или взятые ими "на хранение" предметы из оставленной семьей Бернгард квартиры.

В конце августа 1922 года моя семья пополнилась еще одним членом. Родилась дочка Нелли. Стало ясно, что наша жилищная проблема нашла только временное решение. Надо продолжать поиски квартиры. Также обострилась еще больше необходимость найти хорошо оплачиваемую работу. Жить на заработок ассистента было невозможно. До сих пор мне не удавалось найти что-нибудь подходящее, хотя я сбился с ног, бегая по всевозможным учреждениям. Я уже отчаялся найти работу по специальности и, как это ни было горько для

молодого инженера, готов был взять что угодно, лишь бы получить заработок.

Работа вдруг нашлась, и притом совершенно неожиданно. Устроил мне это некий горный инженер П.П. Казакевич, которому, между прочим, мы уже были обязаны и получением комнаты на Знаменской улице. Казакевич оказался старым знакомым моего отца. Их связывала общая страсть к шахматам. Я знал его поверхностно, но теперь встречался с ним часто, так как он жил недалеко от нас, на той же Знаменской улице. Как видно будет дальше, встреча с Казакевичем сыграла большую роль в моей будущей карьере, хотя, может быть, и случайно. Однако и сам Казакевич оказался совершенно незаурядной личностью, почему несколько слов о жизни, достижениях и характере этого человека совершенно необходимы.

Как я уже упоминал, П.П. Казакевич был горный инженер, окончил Петербургский горный институт. Начав с ничего, он благодаря своей настойчивости, железной воле, способностям и — увы, этого скрыть нельзя — неразборчивости средств в кратчайший срок сделал блестящую карьеру. Не прошло и двух лет после окончания института, как Казакевич оказался владельцем доходного угольного рудника, участником ряда других не менее выгодных предприятий. Вскоре он стал миллионером, играя все более важную роль в кругах, связанных с тяжелой промышленностью Донецкого бассейна. Он был одним из влиятельных членов Совета горнопромышленников Юга России. Во время войны стал заместителем председателя Всероссийского военно-промышленного комитета.

Казакевич завоевал себе громкую репутацию в промышленных кругах. Как ни высоко оценивались таланты Казакевича, все же более говорилось о других сторонах его деятельности.

— Да, Казакевич молодец, что и говорить! Однако осторожно, не клади ему палец в рот! — Талантливый, шельма! — Циник! — Шакал!

Такие характеристики могли быть плодом злоязычия и зависти, однако то, что я сам слышал из уст самого Казакевича, потрясало и шокировало меня:

— Оставьте, все это наивно! Деньги не пахнут! Говорю вам! Нужно только, чтобы куш был большой. Нельзя продавать

себя в розницу. Конечно, надо соблюдать правила игры. Законы нельзя нарушать! Однако возможности и в их пределах безграничны! Человек без денег — ничто! Во всяком случае, неполноценный человек. Нужно быть богатым. Только тогда можно проявить себя. Нужно иметь тысяч пятьсот, золотом, конечно! Это минимум. Больше — желательно, но не обязательно!

Его не имеющий границ цинизм и способность абсолютно хладнокровно, без тени сентиментальности оценивать обстановку момента всего лучше могут иллюстрировать его собственные слова:

— В начале апреля 17-го года встречаю я Коновалова — министра Временного правительства. Я его хорошо знал по Военно-промышленному комитету... Павел Павлович! — говорит он мне... Все идет прахом... Ленин и Троцкий... Солдаты митингуют... Нас не слушают... Что делать?.. Да что вам советовать — все равно не сделаете!.. Бесполезно, говорю я... Но все же, просит он. Ладно! Вы ведь арестовали ряд царских министров!.. Судить! Многие, вы говорите, сами ни в чем не виновны. Ну что же! Арестуйте немедленно Ленина и Троцкого и еще пару нахамкисов и повесьте на фонарях Дворцовой площади, налево — Ленина с "товарищами", направо — царских министров!.. Население будет в восторге... Вот это власть! Твердая и революционная! Все будет в порядке... Вы в ужасе?.. Говорил же я вам, что советовать вам бесполезно... Какие вы правители?!

Справедливость требует, однако, упомянуть, что этот беспардонный циник проповедовал также необходимость помогать людям, попавшим в тяжелое положение или нужду:

— Если можете, всегда помогайте другим. Немного старания не слишком вас утомит. Конечно, не во вред себе. Делайте это совершенно бескорыстно, не требуя вознаграждения немедленно. Так важно иметь друзей повсюду. Когда-нибудь они тоже смогут помочь вам!

И это действительно невозможный Казакевич помог мне, когда я на своем пути зашел, казалось, в тупик. Случилось это так. Услышав рано утром звонок, я пошел открыть дверь. На пороге стоял, покручивая свои большие, с "заемом" усы, Казакевич.

— Берите свою шапку и идем. Я нашел что-то для вас! Потом, потом узнаете. Идемте!

Никакие мои просьбы рассказать, в чем дело, не помогали. На все вопросы Казакевич повторял:

— Увидите, увидите. Идемте.

Мы сошли с трамвая на Пушкинской улице и пошли по Садовой. Вдруг я заметил, что Казакевич совершенно определенно направляет свои шаги к входу в здание Совнаркома Украины. Я обомлел и остановился:

— Павел Павлович, что вы хотите?

Мы были уже у дверей. Казакевич крепко сжал мой локоть, сердито сверкнул глазами через свое золотое пенсне. Я не мог вырваться и устроить скандал на пороге Совнаркома. Проклиная Казакевича в душе, я должен был войти вместе с ним. Казакевич поговорил у стола пропусков. После телефонного запроса нам выписали пропуск, и мы пошли. На входной двери первого этажа висела табличка: "Государственная Плановая комиссия — Укргосплан". В конце плохо освещенного коридора я прочитал на двери: "Зам. Пред. Укргосплана т. Ашупп-Ильзен".

Все еще держа меня под руку, Казакевич открыл дверь и вошел в комнату. Махнув рукой поднявшемуся ему навстречу секретарю, он не останавливаясь прошел в другую комнату. Полный тревоги и внутренне кипя и негодуя на Казакевича, втянувшего меня в опасную авантюру, я шел за ним, стараясь скрыть обуревавшие меня чувства.

В комнате за столом сидел человек лет сорока пяти. В глаза бросалось его сходство с Лениным. Тот же выпуклый, лысый лоб, подстриженные усы и бороденка. Это был зам. пред. Госплана, швейцарский коммунист, доктор философии Ашупп-Ильзен.

— Товарищ Ашупп-Ильзен, — начал Казакевич. — Позвольте представить вам инженера Спроге. Молодой, но совершенно исключительный инженер! Поэтому возьмите ваше перо, макните его в чернила и пишите приказ о зачислении его на службу в качестве моего помощника. Только в таком случае вы можете рассчитывать на получение моего доклада в срок и надлежащего качества!

...Когда мы вышли на улицу, я не знал, как благодарить Казакевича. Обещанный оклад в три раза превышал мой заработок ассистента. Смущало и немного тревожило то, что я, бывший белогвардеец, попал неожиданно на службу так близ-

ко к центру большевицкого заговора. “Но с другой стороны, — думал я, — может быть, это и лучше”. Кто станет искать бывших белых под крылом Совета Народных Комиссаров? Однако в какой работе я должен теперь помогать П.П. Казакевичу?

— Мне поручили написать работу, исследующую и сравнивающую перспективы и преимущества развития тяжелой индустрии здесь, на Юге и на Урале, учитывая наличие каменного угля, руды, условий транспорта, рынков и т.д.

— Павел Павлович, — вскричал я, — но как же я буду вам помогать?! Ведь в тяжелой индустрии мои познания равны нулю. Я путеец, гидротехник, не металлург, не горняк! — Я снова был в ужасе, даже вспотел.

— Никогда не надо думать, что другие больше вас знают или могут. Вы еще не начали работу. Что бы вы ни делали, начиная, считайте, что вы можете это сделать лучше, чем другие. Это необходимо. Остальное придет само по себе. Идемте теперь в дом Совета Съезда горнопромышленников Юга России. Там в библиотеке я покажу вам, какие материалы нам будут нужны.

Три недели я работал день и ночь. Читал технические отчеты предприятий, статистические сборники, анализировал балансы, чертил диаграммы и графики. Вскоре довольно объемистый доклад, убедительно доказывающий преимущества Юга, был готов и должен был поставлен на обсуждение в Госплане. Теперь Казакевич предложил мне написать статью для газеты “Экономическая жизнь” под заглавием “Урал или Юг”. Имея уже готовым доклад Казакевича, я считал это задание пустяковым и согласился. Но, увы, Казакевич не только не одобрил мою статью, но перечеркал ее всю.

— Друг мой, так газетные статьи не пишут! Это не доклад. Газетные статьи надо писать хлестко. Ни к черту ваше писание не годится. Переделайте!

Я переделал.

Время работы с Казакевичем было для меня большой школой. Его руководство оказалось незаменимым. Отчетливая критика, твердые указания. Отделение существенного от второстепенного — это умение было ему свойственно в высшей мере. Такое умение является необходимой предпосылкой для всякого инженера, ведущего большую творческую работу.

После окончания работы с П.П. Казакевичем меня зачислили на постоянную работу в производственную секцию Укргосплана в качестве технического секретаря. Во главе секции стоял член президиума инженер-электрик Кузнецов. Отдельными отраслями промышленности ведали несколько членов секции. Число их в течение времени менялось. В тот момент их было двое. Один занимался вопросами топлива, другой — промышленности. Вопросы энергоснабжения вел обычно непосредственно сам председатель секции Кузнецов. Вторым техническим секретарем был М.А. Петров, инженер-технолог, исключительно милый и сердечный человек. С ним и его семьей у меня вскоре завязались самые дружеские и сердечные отношения.

Процедура плановой работы была такова. В секцию поступали вносимые ведомствами предложения. Иногда они вносились ими по собственной инициативе, иногда по требованию Госплана. Эти предложения рассматривались на заседаниях, на которые кроме заинтересованных ведомств и учреждений приглашались выбранные по усмотрению председателя эксперты. Председательствовал на таких заседаниях соответствующий член секции. Технические секретари составляли подробные протоколы. Составленные на основе этих протоколов доклады вносились в президиум Госплана. Там доклады обсуждались вновь при участии представителей других секций. Принятые постановления вносились потом на утверждение правительством в Совнарком. В Укргосплане, кроме производственной секции, имелись еще секции: экономическая, транспортная, сельского хозяйства и городского хозяйства.

Через некоторое время я начал хорошо справляться с работой, особенно когда понял, что в протоколы нужно вносить не то, что говорили ораторы, а то, что они, по-видимому, хотели сказать. Из всех комиссий нашей секции меня наиболее интересовала постоянная комиссия — Комиссия по электрификации Украины (КЭУ). Надо сказать, что эта Комиссия также лежала ближе сердцу и А.М. Кузнецова.

Когда я немного огляделся на новой службе, то увидел, что попал в совершенно исключительное советское учреждение. По крайней мере таким был Госплан в начале 20-х годов.

Я слыхал, что где-то в писаниях коммунистического Саваофа — Карла Маркса говорится, что победоносно завершивший социальную революцию пролетариат должен использовать бывших владельцев и капиталистических директоров для управления социализированными предприятиями как ответственных служащих. Несомненно, что идеи подобного рода играли роль при организации Госплана. В самом деле, партийными коммунистами здесь были только некоторые члены президиума. Все остальные сотрудники, занимающие руководящие посты, — председатели секций, члены секций — беспартийные. Даже среди прочего персонала — делопроизводителей, канцеляристов и т.д. — коммунистов надо было искать с фонарем.

Имена руководящих сотрудников хорошо знали те, кто раньше имел дело с кругами финансов, промышленности и администрации. Так, Кузнецов был отпрыском хорошо известной именитой фамилии купцов-миллионеров из Дорогомилова в Москве, инженер-теплотехник С.Н. Целибеев — бывшим владельцем ряда крупных бань в Петрограде, доктор медицины Михаил Абрамович Френкель — не только популярный врач, но и крупный домовладелец и видный член Харьковской городской управы, председатель экономической секции Ал. Карлович Шмидт — бывший губернатор Кишиневской губернии, Ф.И. Ширяев — известный харьковский купец-оптовик и т.д. Привлекаемые этими руководителями эксперты-специалисты тоже обычно принадлежали к классу “недорезанных буржуев”. Чтобы закончить картину, упомяну в качестве курьеза, что бывший одно время швейцаром Госплана старичок Суковкин и тот оказался бывшим уездным предводителем дворянства.

Такая обстановка в Госплане успокоила меня. С другой стороны, работа тут привела к знакомству, контактам и дружбе с рядом интересных и талантливых людей. Это был странный советский “заповедник”, в котором нашли себе приют и возможность работать люди, лишенные после большевицкой революции права на жизнь. Они отдавались здесь работе полностью, находя в ней забвение. Разрабатывая порученные им вопросы, они искренне стремились найти лучшее решение заданного им направления, с которым они часто бывали не согласны. При этом они не были перебежчиками к коммуниз-

му. Нет, я скоро убедился, что почти все относились к нему отрицательно, иронически. Они только считали, что советская власть, плохо или хорошо, была фактом, с которым приходится считаться. Саботировать они не хотели и не умели.

Что же сказать о коммунистическом руководстве Госплана? Во-первых, то, что коммунисты представляли здесь особую, замкнутую группу. С массой беспартийных сотрудников они не имели другого, кроме служебного, контакта, если не считать пары исключений. Во-вторых, состав их часто менялся.

За все время моего пребывания в Госплане постоянно оставался на своем месте только заместитель председателя Госплана А.И. Ашупп-Ильзен. Этот швейцарский доктор философии, типичный эдель-коммунист, несомненно, давал лицо тому Госплану, в который я тогда попал. Когда он приехал в Россию, не знаю. По-русски Ашупп-Ильзен говорил достаточно хорошо. Думаю, что в Россию его привел коммунистический восторг. Нашел ли он тут то, что искал, — это вопрос. Может быть, ответ на это дает тот факт, что он был горький пьяница. О пьяных оргиях Ашуппа с участием его постоянного собутыльника, управляющего делами Госплана Дорошенко, циркулировали легенды. Дорошенко, беспартийный, был в прошлом крупный петроградский адвокат.

Из постоянно меняющегося состава начальства Госплана наиболее видной персоной был Г.Ф. Гринько. Имя его я слышал еще до революции. Он, учитель гимназии, пользовался в кругах интеллигенции большой популярностью. Таким вниманием Гринько был обязан, несомненно, своей "прогрессивности", условию необходимому и достаточному в дореволюционные времена. Пробыв в Госплане председателем года полтора, он затем поднялся на вершины советского Олимпа, став наркомом финансов СССР. Однако такие достижения советского политического "альпинизма" сопряжены с большими опасностями. В 30-х годах Гринько был расстрелян как "враг народа".

Обращал на себя внимание другой — остававшийся на посту короткое время — председатель Госплана М. Полоз. Но тут не его таланты или умственные способности, о которых в Госплане витали нелестные слухи, делали эту фигуру красочной. Играла роль его наружность. Полоз был ростом не меньше сажени. Стройный, пропорционально сложенный светлый блондин с красивыми голубыми глазами, он был все-

гда хорошо одет — в те времена большая редкость. Большевики одевались обычно в полувоенную форму, заведенную еще Керенским. Но даже не элегантность Полоза была главной причиной, привлекающей к нему внимание. Усы. Круглое и свежее лицо Полоза было украшено парой усов, пышность и длина которых не имели себе равных.

Миша Полоз, как его называли госплановские анекдотисты, был не то купянский, не то старобельский помещик. По линии украинского национализма он попал в круги "боротьбистов" и через них к большевикам, проделав тот же путь, что и Гринько. Нужно ли упоминать, что он закончил свою карьеру, как и Гринько, — его "ликвидировали" во время одной из очередных "чисток".

Пожалуй, следует упомянуть еще одного зампреда Госплана. Это С. Брон. Его выходящая из ряда вон наглость и изворотливость поражали. Я имел возможность видеть его раз в "действии", когда он председательствовал на общем собрании сотрудников Госплана при выборах так называемого месткома, т.е. представительного профсоюзного органа служащих. После неожиданного полного провала списка кандидатов, предложенного коммунистической ячейкой, он быстро "исправил" положение. Прежде чем кто-либо успел открыть рот, провалившиеся кандидаты были выбраны, а их конкуренты оставлены за бортом. Несомненно, такие таланты помогли ему в его дальнейшей карьере. Он организовал и стал в Соединенных Штатах Америки председателем "Амторга" — компании, номинально числившейся торговой, фактически же бывшей центром советского шпионажа. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Часто встречавшееся раньше имя исчезло со страниц советской прессы.

Госплан и Совнарком УССР в первое время помещались в одном доме. Госплан — в нижнем, Совнарком — в более представительном втором этаже. Близкого контакта между этажами, однако, не существовало. "Наверху" все было коммунизировано и никаких беспартийных служащих. Тем не менее близкое соседство давало возможность иногда бросить взгляд на то, как живут и работают в высоких советских сферах.

Председателем Совнаркома первое время был Х. Раковский. Потом его сменил В.Я. Чубарь.

В начале 1923 года по предложению А.М. Кузнецова Госплан назначил меня членом секции и членом Комиссии по электрификации Украины (КЭУ). Наша производственная секция была преобразована в секцию энергетики. Вопросы промышленности переданы в экономическую секцию. Для проработки топливных вопросов пригласили инженера-теплотехника С.Н. Целибеева, занявшего место заместителя председателя секции Кузнецова. Еще один горный инженер был назначен членом секции. Число технических секретарей — инженеров разных специальностей также увеличилось до трех. Реформированная таким образом секция должна была теперь заняться подготовкой к разработке на основе изучения производительных сил "пятилетнего плана". В чем заключался этот "пятилетний план", никто точно себе не представлял.

Это было время так называемой новой экономической политики — нэпа. Возникавшие повсюду мелкие предприятия быстро сгладили вопиющие недостатки советской экономики в области снабжения населения предметами первой необходимости. Поверившие коммунистическому обещанию — "всерьез и надолго", крестьяне снова начали снабжать города продовольственными продуктами. Пустые полки магазинов заполнились. Этому еще больше помогла удачно проведенная денежная реформа и введение твердого рубля. Казалось, что наступил конец социалистическим благоглупостям. Возникла даже надежда, что и террор неминуемо смягчится, если не исчезнет совсем.

Никто не предвидел грядущего будущего.

В секцию зашел П.П. Казакевич. В руках он держал толстый запечатанный и перевязанный шнурком пакет.

— Во что, — обратился он ко мне, — я сегодня очень занят. Буквально минуты свободной нет. Пожалуйста, отнесите этот пакет на Чернышевскую улицу, дом 75. Отдайте там в комнате 12. Сделайте это непременно сегодня!

Я согласился. Когда я нашел указанный дом, то увидел, что это была Польская миссия. Я поколебался момент... Огляделся. Улица пуста. Я вбежал в подъезд и, назвав комнату, отдал пакет остановившему меня швейцару. Улица была по-

прежнему пуста, когда я вышел из дома. Я облегченно вздохнул. Мне стало ясно, почему у Казакевича не было сегодня времени. Но разве я мог отказать ему после всего, что он сделал для меня!

Связанное с нэпом улучшение материального положения, исключительно приятная атмосфера, господствующая в Госплане, успехи моей педагогической работы на инженерно-мелиоративном факультете, где у меня установились хорошие отношения как с моим шефом профессором Ю.В.Ланге, так и со студентами, — все это заставляло по временам забывать, что мы жили в условиях советского режима, при котором никогда не может быть речи об устойчивости, о безопасности. Да и как это могло быть, когда граница между легальным и криминальным не отвечала нормальным человеческим представлениям! В самом деле, уже один факт рождения человека в "буржуазной", непролетарской семье мог сделать его преступником, если бы это отвечало в данный момент очередному изгибу партийной линии. Правда, на это иногда закрывали глаза, но факт оставался фактом: его всегда могли вспомнить и сделать соответствующий вывод.

Первым напоминанием нам об этом стал арест С.Н. Целибеева. Шок был чувствительный. Что инкриминировалось ему, неизвестно. Его прошлое или настоящее? Еще долго мы, близкие к нему по работе, ждали своей очереди. Но, очевидно, для Госплана это был единичный случай. Дальше ничего не последовало.

Угроза нашему маленькому советскому благополучию подходила с другой стороны — со стороны, так сказать, домашнего фронта. Уже через год после приезда в Харьков нам удалось найти себе маленькую, но совершенно отдельную квартирку. Район Москалевки, где она находилась, был далеко не аристократическим, квартира не только не имела ванны, но и прочие "удобства" оказались достаточно примитивными, но все же в ней было три комнаты, кухня и маленькая веранда. Всеми правдами и неправдами нам удалось ее довольно уютно меблировать. Появилась возможность принимать гостей.

Мы завязали ряд новых знакомств. Все это были люди, с которыми я сталкивался по работе в Комиссии по электри-

фикации Украины и на инженерно-мелиоративном факультете. Не удивляло, что все они оказались инженерами-путейцами и строителями, имеющими то или иное касательство к гидротехнике. Нас объединяли общие интересы нашей профессии и принадлежность к особой касте советского общества, известной тогда под названием “спецы”. К этому моменту эволюции советского общества за “спецами” было признано право на существование; доверием, правда, они не пользовались. Им предоставлялась ограниченная свобода действий в их специфической области, но все же они рассматривались как потенциальные враги. Неизбежным следствием этого положения было большее, чем когда-либо, взаимное понимание, дружба и сближение среди представителей этой советской касты. То же и в нашем случае. Мы часто встречались и делились опытом и знаниями. Постоянными членами нашей компании были инженеры: С.П. Говоров, Н. Липенский, В.П. Тихомиров, А.Г. Леш.

С.П. Говоров, работавший раньше начальником изысканий шлюзования Днепра, был теперь главным инженером общества сельской электрификации “Электрика”. Н. Липенский руководил работами по переустройству Харьковского железнодорожного узла, А.Г. Леш был начальником отдела мелиорации Наркомзема УССР. В.П. Тихомиров занимался изысканиями для гидроэлектростанции у Александровки на Южном Буге.

Мы также восстановили связи со старыми знакомыми из дореволюционного времени. Это были две подруги Верочки по немецкой гимназии — Тамара Шиллер, теперь Копцева, другая — Галя Федоровская, теперь Михалева. С их мужьями мы не были раньше знакомы. Встретившись с той и другой, мы очень обрадовались старым знакомым. Обе постоянно бывали в доме Бернгардов как зимой, так и летом на даче. Мы спешили поделиться с ними повествованиями о пережитом, своими чаяниями и надеждами. Ничего не скрывали: ведь обе — старые подруги Верочки. Галя к тому же дочь полицейского, и брат ее служил со мной в Добровольческой армии.

Муж Тамары, Владимир Николаевич Копцев, оказался не совсем мне незнакомым. Я вспомнил его полную высокую фигуру, лицо, украшенное парой пышных усов, нагловато вы-

зывающий взгляд глаз. Было это еще во время моей бытности студентом Университета. Копцев тогда председательствовал в Союзе студентов-академистов и пользовался плохой репутацией, прославившись своими кутежами и разгулом. Я, либеральный студент, с пуританским к тому же мировоззрением, смотрел на эту фигуру с отвращением.

Теперь, после того как мы оба попали в категорию "еще не дорезанных буржуев", мы постепенно начали находить некоторые общие точки соприкосновения и дошли если и не до полного согласия, то до понимания точек зрения другого. Несомненно, что мы раньше принадлежали к двум разным мирам. Несомненно также, что мы оба имели весьма смутное представление об идеалах чуждого каждому из нас мира. Каждый идеализировал свое окружение и нисколько не старался понять и оценить то, что имелось у других. Я возмущался, видя аррогантность черносотенцев, может быть, даже справедливо, но при этом не замечал такой же аррогантности прогрессистов.

Копцевы рассказали нам свои злоключения. Когда передовые части Добровольческой армии в 1919 году заняли Донецкий бассейн и приближались к Харькову, Копцев был схвачен Чека как заложник, посажен в подвал вместе с некоторыми видными харьковскими купцами, в том числе Уткиным, Жевержеевым, Токаревой и др. Среди арестованных находился также известный монархист профессор Вязигин и его ассистентка Э. Бенике. Многих арестованных после избиений и издевательств расстреляли еще в Харькове. В это число попали все названные, кроме Бенике, которую, как и Копцева и других оставшихся в живых, перед самым занятием Харькова белыми погнали сначала по этапу, потом довезли до Орла, где снова заключили в застенки Чека. Там Бенике вместе с другими сидела, ожидая очередного расстрела, и совершенно неожиданно была освобождена вошедшими белыми войсками. Копцев был тронут до слез, когда узнал, что в части, освободившей их, служил брат Верочки. Мы со своей стороны могли сообщить Копцеву, что с Эллой Бенике мы встретились потом в Новочеркасске, уже при большевиках, куда она попала после отступления Белой армии.

Копцевы тоже стремились на юг. Докатились до Армавира. Вернулись потом в Харьков. Оба нашли теперь служ-

бу. Копцев работал в качестве оценщика в ломбарде, Тамара — счетоводом в банке.

Много общего в чувствах и в пережитом очень сблизило нас с Копцевыми. Образ вызывающего и глупо-надменного вождя студентов-академистов постепенно побледнел. Вскоре я увидел, что Володя — наивный и малоосведомленный идеалист, трогательно верный своим божкам и кумирам, но вместе с тем очень добрый и мягкий человек. Трогательно выглядела его любовь и преклонение перед Тамарой. Он считал себя совершенно недостойным ее любви и был предан ей без меры.

Поскольку его чувства лояльности оказались незатронутыми, он был готов внимать новым для него политическим аргументам.

Муж второй подруги Верочки — Гали Федоровской — был Николай Константинович Михелев, совершенно молодой человек, как казалось, даже моложе ее самой. По словам Гали, он был юрист. Встретившись с Галей, Верочка страшно обрадовалась найти ее живой и невредимой. Ведь они были такие близкие подруги! Галя засыпала нас вопросами. Мы рассказали ей всю нашу одиссею. Я обрадовался возможности сообщить ей, что ее брат был жив до сдачи Новороссийска. Сказал ей, что он, вероятно, эвакуировался, умолчав, однако, о той роли, которую он и его сотоварищи играли перед эвакуацией.

Оказалось, что Галя с мужем жили недалеко от нас. Они стали часто бывать у нас. Не проходило и дня, чтобы Галя или Николай не приходили к нам. В последнем я нашел охотного собеседника, вернее сказать, слушателя. Я научил его играть в шахматы, и, должен сказать, в скором времени он превзошел своего учителя, что, впрочем, было нетрудно. Я также начал давать ему регулярно уроки английского языка, причем он делал большие успехи. Мне, конечно, и в голову не приходило брать какую-нибудь плату за эти уроки. Верочка, не щадя своих сил, бросилась помогать устраиваться молодой паре. Ведь по сравнению с ними мы, женатые уже четыре года, обладали опытом и житейской мудростью! Когда через год у них родился сын, мы стали восприемниками. После этого Верочка вынуждена была посвящать большую часть времени им. Но все это было бы ничего, если бы мы не заметили, что первоначальные просьбы Гали стали постепен-

но превращаться в требования. При малейшей попытке отказа — надутые губы и даже резкие реплики.

Так продолжалось два года. Кризис наступил, когда нам удалось летом снять дачу в Липовой Роще. Дача была дорогая, но мы решили не считаться с этим, так как наша маленькая дочка Нелли выздоравливала от коклюша и мы надеялись, что на свежем воздухе она скорее поправится. Когда Михелевы узнали, что там две комнаты, нам пришлось уступить им вторую. Но мало этого: когда мы собрались переезжать, то Галя вдруг заявила:

— Вы не смеете переезжать, пока Нелли совсем не выздоровеет! Заразит Сереженьку!

Нам пришлось уступить и поехать позже. Во время пребывания на даче там все время господствовала напряженная атмосфера. Нужно было нечеловеческое терпение, чтобы выносить все колкости и выпады Гали. В последние дни лета я уже радовался окончанию дачного благополучия и возвращению в город: там у нас по крайней мере были отдельные квартиры. Однако судьба не пощадила нас. По какому-то совершенно ничтожному поводу Галя подняла крик. Все попытки успокоить ее были тщетны. Побледнев, чуть ли не с пеной у рта она начала кричать, распахнув предварительно окна:

— Вы... Вы... Да знаете ли вы, кто такой Николай?.. Да он вас всех “к ногтю возьмет”! Вася — белогвардеец, доброволец!.. Собирает вокруг себя только “контриков”... Коля только пальцем шевельнет... Вас в два счета ликвидируют!

Мы обомлели. Чего угодно, но такой низости мы не ожидали. Я сжимал и разжимал кулаки. Губы дрожали. Михелев сидел молча и, казалось, улыбался уголками рта.

Мы почти не спали ночью. То, что произошло, не было неожиданностью. В мире Советов нам не было места. Мы можем некоторое время тешить себя иллюзиями, думать, что мы живем, как и другие, увлекаться работой, но все это мираж! Да и имеем ли на это право, когда все честное и доброе, что было в России, погибло либо в кубанских степях, либо в застенках Лубянки?..

Утром я пошел на станцию, не зная, вернусь ли домой. Что будет с Верочкой, с детьми — этими маленькими созданиями, так радующимися жизни и не подозревающими, что им угрожает?

Вдруг я услышал за собой быстрые шаги, и чья-то рука легла мне на плечи. Это был Михелев.

— Слушайте, Василий Эмильевич, — сказал он, — после того, что было вчера, мы не можем больше встречаться. Одно я хочу вам сказать: кто бы я ни был, будьте покойны. С вами ничего не случится. — Он протянул мне руку и крепко сжал ее. — Вы всегда были так дружественны ко мне. Так много делали для нас. Я этого не забуду. Даю вам слово. Прощайте!

Михелев сдержал свое слово. Прошли дни, недели, месяцы — все было спокойно. На службе в Госплане я тоже не замечал ничего подозрительного. Постепенно мы успокоились.

Михелевых я больше не встречал. Они сейчас же после нашего отъезда уехали с дачи. Как я потом случайно узнал, Михелев был не только советским следователем, но и профессиональным провокатором. Это все обнаружилось во время показательного процесса харьковских юристов. Вскоре после этого его послали в Маньчжурию, где велась война с Маньчжоу-го. Там он был убит на фронте.

Глава 8
ДНЕПРОСТРОЙ

Последние полтора года я, оставаясь членом секции энергетики, был занят почти исключительно вопросами использования водной энергии. Такое положение дела вполне отвечало моим желаниям. Служба в Госплане перестала быть работой только для заработка, работой, которой я тяготился и к которой не имел призвания. Неопределенность функций Госплана в то время способствовала этому, что и позволило мне направлять работу в желательном для меня направлении. Я старался при разработке переданных мне вопросов особо напирать на техническую сторону. Отсутствие на Украине какого бы то ни было экспертного технического совета способствовало этому. Такая тенденция уже потому не встречала особого сопротивления, что Госпланы, в том числе и Госплан РСФР, образовались из комиссий экспертов-инженеров, разработавших План электрификации РСФСР (ГОЭЛРО). На Украине ту же роль сыграла КЭУ — Комиссия по электрификации Украины, председателем которой был А.М. Кузнецов, теперешний руководитель секции энергетики.

Кузнецов, сам инженер-электрик, передал мне анализ и критику всех водохозяйственных и гидравлических вопросов, попадавших в секцию. В числе таковых были проекты гидроэлектростанций на Южном Буге, проект “Шлюзование Днепра” и проект гидроэлектростанции на Десенке около Киева.

Большую роль в укреплении авторитета секции энергетики как экспертного органа сыграло рассмотрение проекта

гидростанции на Десенке. Проект этот был выдвинут и проводился Киевским исполкомом. Идея проекта принадлежала заведующему электроснабжением Киева инженеру Тырмосу. Этот весьма способный, энергичный и настойчивый пожилой еврей, располагающий большой протекцией и влиянием, проводил проект, преодолевая на пути все сопротивления. Строительная и электромеханическая части проекта были разработаны известной австрийской фирмой "Пфлетчингер" и содержали ряд интересных технических деталей и новшеств, в том числе применение тогда еще малоизвестных турбин Каплана. Несмотря на это, проект имел свою ахиллесову пяту, не замеченную как инициаторами, так и фирмой "Пфлетчингер", разработавшей конструктивные чертежи. Проток Десенка в своем естественном состоянии имел ничтожную пропускную способность. При пропуске расходов воды, положенных в основу проекта, вода в Десенке должна была подняться на такую высоту, что предусмотренный напор полностью исчезал. По ряду условий технического и экономического порядка увеличение пропускной способности протока путем углубления его было невозможно. Все это я мог доказать категорически детальными гидравлическими расчетами. Провал этого широко разрекламированного проекта наделал много шума. Отголоски шума докатились до Москвы и Ленинграда.

Не прошло это без последствий и для секции энергетики. Авторитет ее значительно поднялся. Президиум Госплана Украины постановил организовать в секции особую Комиссию водного хозяйства и назначил меня ее председателем. Это развязало мне руки, и я смог теперь сконцентрировать свое внимание на вопросах шлюзования Днепра, дать им новый толчок и другое направление. А.М. Кузнецов, перегруженный такими вопросами, как снабжение топливом, строительство харьковской районной станции "Эсхар", которая была его детищем и где он был председателем правления, вопросами так называемого кустования станций Донбасса, дал мне полную свободу действий.

Вопрос шлюзования Днепра имел долголетнюю, можно сказать, вековую историю. Соединение обоих судоходных участков Днепра, разъединенных порогами, занимало внимание путейского ведомства со времени известного путешествия

Императрицы Екатерины II вдоль Днепра. Сооруженные в первой половине XIX века по проекту французского инженера Деволанта каналы для обхода порогов оказались совершенно непригодными. Благодаря большим скоростям воды в них не было возможно не только взводное судоходство, но и спуск судов вниз мало чем отличался от спуска их по так называемому казачьему ходу, где искусные и смелые казачьи лоцманы проводили среди скал и стремнин свои примитивные, но прочные ладьи — "дубы". Министерство путей сообщения не оставляло, однако, мысли организовать транзитное судоходство на Днепре. Ряд проектов разрабатывался один за другим. Теперь все эти проекты предусматривали шлюзование. В проектах принимали участие все видные инженеры путейцы-водники. На рубеже XX столетия профессором Тимоновым впервые было предложено использование водной энергии параллельно со шлюзованием. Перед Первой мировой войной известный гидравлик профессор Б.А. Бахметьев также разработал проектные предложения шлюзования и использования водной энергии Днепра, отвечающие тогдашнему уровню техники. Предложения легли в основу проекта Управления по шлюзованию Днепра. Эта организация, начавшая производить на Днепре необходимые изыскания и исследования еще до революции, просуществовала некоторое время и после нее. Работами тут руководил профессор В.Л. Николаи.

Все эти проекты подходили к разрешению вопроса только с учетом проблем водного транспорта. Использование водной энергии если и предусматривалось, то играло подчиненную роль.

Новый толчок вопрос шлюзования Днепра получил после разработки Плана ГОЭЛРО. Разработавший водноэнергетическую часть этого плана профессор И.Г. Александров подошел к проблеме Днепра совсем по-новому. Он считал, что порожистый участок Днепра между Екатеринославом и Волчьим Горлом является огромным источником энергии и поэтому проект в первую очередь должен предусматривать наиболее полное его использование. Вопрос транзитного транспорта разрешится при этом параллельно и без затруднений. Для разработки проекта Александрова была организована проектная организация Днепрострой, однако не в пределах ве-

домства путей сообщения, а под эгидой ВСНХ, ведавшего в то время промышленностью и энергетикой.

Таким образом, имелось два конкурирующих проекта: Александрова — “Днепрострой” и Николаи — “Шлюзование Днепра”. Каждый из них имел своих горячих сторонников и своих врагов. Проект Николаи исходил из недр ведомства путей сообщения и, естественно, находил там поддержку. Само вторжение посторонних в сферу деятельности этого ведомства считалось совершенно непозволительным. Широкие путейские круги поддерживали проект Николаи просто в порядке корпоративной солидарности, часто не зная ни того, ни другого проекта. Правда, и И.Г. Александров был тоже инженер путей сообщения, но питомец московского, а не петербургского института, да к тому же работал больше всего по железнодорожному строительству и ирригации в Средней Азии.

В самой секции Госплана шансы проекта Александрова были до сих пор невелики и тоже по линии, не имеющей ничего общего с техническими или экономическими достоинствами. Дело в том, что председатель секции Кузнецов терпеть не мог Александрова. Александров со своей стороны не выносил Кузнецова. Каждая их встреча кончалась взрывом. У них было много общего, но многое резко контрастировало. Оба талантливы, полны инициативы. Обладали большими и глубокими знаниями в пределах своей специальности, но при этом удивляла широта познаний в смежных и часто отдаленных областях техники и экономики. Оба обладали даром слова. Одинаково были нетерпимы к посредственностям, позволяли себе совершенно недопустимые по резкости выпады в адрес своих оппонентов, создавая, таким образом, повсюду себе непримиримых врагов. Оба обращали на себя внимание своей — даже в условиях советской действительности — элегантной внешностью. Тут кончалось их сходство. Кузнецов по происхождению был отпрыском купцов-миллионеров. Что заставило его в студенческие времена сделаться социал-демократом и марксистом, трудно представить. Вероятно, презрение к своей среде. Надо заметить, что после революции он, однако, не стал коммунистом.

Александров в отличие от Кузнецова происходил из очень бедной среды. Он был незаконным сыном француза-гувернера и девушки-служанки в богатом доме. Это я узнал от самого

Александрова, когда мне пришлось в 1933 году собирать биографические материалы о нем для порученной мне приветственной речи на праздновании его 30-летней научной деятельности в Московском Доме ученых.

Когда я обратился к Александрову с соответствующими вопросами, он сказал:

— Мой отец — большой подлец. Мать — тамбовская крестьянка — замечательная русская женщина!

Семья хозяина его матери — крупного русского железнодорожного магната фон Мекка — не оставила без поддержки брошенную с ребенком женщину, помогла дать образование умненькому и миловидному мальчику. Он учился сначала в городском училище, потом реальном училище, поступил по конкурсу и окончил Московский институт инженеров путей сообщения. Как и Кузнецов, в дореволюционное время Александров был социал-демократом, но, так же как и тот, не стал большевиком после революции.

Взаимный антагонизм Кузнецова и Александрова обещал мало хорошего для выбора правильного решения днепровской проблемы.

Я получил подробные материалы по обоим проектам и занялся их внимательным изучением.

Проект Николаи предусматривал постройку двух плотин со шлюзами и гидростанциями у каждой. Одна, более высокая, намечалась ниже Волнигского порога, вторая, малой высоты, ниже Волчьего Горла. Напор на второй плотине ограничивался условием неподтопления существующего железнодорожного моста у Кичкаса. Как и следовало ожидать, проект Николаи обеспечивал полностью нужды транзитного судоходства. Слабым местом проекта была его энергетическая сторона. Отсутствие крупного водохранилища не позволяло в какой-либо мере зарегулировать сильно изменяющиеся расходы воды Днепра. Кроме того, при весеннем паводке поднятие горизонта воды ниже плотины уменьшало напор на каждой из двух плотин на высоту этого поднятия. При этом на нижней, невысокой плотине напор исчезал почти полностью. В результате возможная выработка энергии была крайне ограничена и в лучшем случае могла удовлетворить потреб-

ности только местного городского хозяйства Екатеринослава и Александровска.

Полную противоположность представлял проект Александрова. Здесь энергетика была поставлена во главу угла. Проект предусматривал постройку только одной высокой плотины ниже Волчьего Горла, с подпором, перекрывающим все пороги вплоть до Екатеринослава. Естественно, такая высокая плотина, поднимавшая горизонт воды выше кичкасского моста, обусловливала необходимость его сноса и устройства новых мостовых переходов. Однако при такой высоте плотины образовывалось грандиозное водохранилище емкостью четыре кубических километра воды. Полезный объем этого водохранилища позволял в значительной степени сгладить неравномерную водоносность Днепра и использовать воду весеннего паводка следующей зимой, когда потребность в энергии увеличивается. Стоимость осуществления проекта не только не превышала стоимости проекта по схеме Николаи, но, напротив, была значительно меньше, даже при условии необходимости устройства новых мостовых переходов вместо кичкасского моста. Полностью обеспечивая нужды транзитного судоходства, проект давал громадное количество энергии весьма низкой себестоимости. Низкая себестоимость позволяла поставить вопрос об использовании этой энергии для производства электростали, ферромангана и алюминия. И эта часть проекта была детально проработана и доказана автором, профессором И.Г. Александровым.

Для меня не оставалось теперь никаких сомнений, что надо поддерживать и проводить проект Александрова.

Ясно было, что поддержку проекта Александрова надо организовывать в двух направлениях: по линии официальной, т.е. Госплана, и линии технической общественности. Во время раннего нэпа еще допускалось более или менее свободное обсуждение чисто технических вопросов, но речи не могло быть о дискутировании вне партии каких бы то ни было экономических или политических вопросов.

Зная враждебное отношение Кузнецова к Александрову, я решил, что доклад последнего в секции энергетики может привести только к отрицательным результатам и скороспелым, предвзятым заключениям. Поэтому я предложил Кузнецову пригласить для доклада не Александрова, а Николаи.

— Александр Михайлович, — сказал я ему, — не думаете ли вы, что Александрова не стоит приглашать? Ведь проект его мы получили, я его очень подробно изучил. Знаю каждую деталь. Подробного доклада Николаи у нас, напротив, не имеется. Только скудные материалы. Если Николаи приедет сам и доложит свой проект, то я со своей стороны могу пополнить его доклад своим сообщением о проекте Александрова, сравнив оба решения и указав на преимущества и недостатки той или другой схемы.

Кузнецов согласился, и было решено устроить расширенное заседание секции с приглашением заинтересованных ведомств и участием представителей других секций Госплана. Со своей стороны я подготовил список вопросов, которые намеревался предложить Николаи и которые должны были привести к конкретизации сравнения обоих вариантов.

Накануне заседания произошло непредвиденное — заболел Кузнецов. Председательство на заседании взял на себя зампред Госплана Ашупп-Ильзен. Доклад Николаи не принес ничего нового. После доклада я сделал свое сообщение по проекту Александрова, особо оттеняя различия обоих проектов. Я старался сделать понятным для участников заседания — неспециалистов, что двухплотинный проект всегда будет дороже, чем одноплотинный, так как две плотины требуют устройства фундамента в русле два раза, а основания и фундаменты являются самыми дорогими элементами гидротехнического строительства. Я указал, что при двухплотинном варианте, при той же величине используемого напора и расхода воды, значительно возрастет стоимость машин. Не только потребуются два комплекта машин, но и турбины в каждом комплекте должны будут больше по величине. В заключение я отметил, что в проекте Николаи полностью отсутствует разработка вопросов экономического обоснования. Поставив профессору Николаи ряд заранее мною сформулированных вопросов, я облегчил формулировку и обоснование принятых потом постановлений. Интересно отметить, что все эти постановления были приняты без каких-либо протестов при молчаливом согласии Николаи.

Постановления категорически отвергали решение днепровской проблемы по проекту Николаи и указывали на необходимость принятия всех положений проекта Александрова.

Отсутствие такого предвзятого оппонента, каким был Кузнецов, несомненно способствовало спокойному ходу обсуждения и принятию отчетливых формулировок постановлений, но и его присутствие едва ли могло что-нибудь изменить: слишком велика была разница в качестве проектов.

Желая заручиться также поддержкой широких инженерных кругов, я еще до заседания секции энергетики сделал доклад о проекте Александрова в Ассоциации инженеров. Имела место оживленная дискуссия, и в результате были приняты резолюции, выражающие полную поддержку этому проекту.

Ассоциация инженеров, образованная после Февральской революции, объединяла инженеров без различия специальностей по всей России и имела отделения во всех главных городах. В тот момент Ассоциация представляла странную аномалию советского строя. До сих пор она представляла собой действительно свободную организацию со свободными выборами. Это было следствием того, что в инженерной среде коммунисты тогда были редки, как белые вороны. С другой стороны, большевики, занятые ожесточенной внутрипартийной борьбой, просто не успели добраться до этой последней цитадели хотя и ограниченного, но все же свободного мнения. Насколько далеко доходила эта аномалия, показывает то, что председателем правления Всероссийской ассоциации оставался профессор, горный инженер П.П. Пальчинский, последний комендант Зимнего дворца во время Октябрьского переворота. Конечно, такое положение не смогло сохраняться долгое время. В 1927 году Ассоциация была разогнана, Пальчинский арестован и расстрелян.

Чувствовалось, что вопрос о Днепрострое сошел с мертвой точки. Вернувшись после болезни, А.М. Кузнецов не поставил мне никаких упреков, решившись считаться с фактом или, может быть, признав правильность решения, невзирая на свою антипатию к И.Г. Александрову.

Ко мне стали поступать со всех сторон просьбы сделать доклад или написать статью о Днепрострое. Я написал ряд статей в журналах и газетах, в том числе в “Бюллетенях Госплана УССР”, в “Экономической жизни” и др.

Кузнецов вызвал меня к себе:

— Василий Эмильевич! Сегодня в два часа мы идем с вами в Совнарком. Чубарь хочет, чтобы мы информировали его о Днепрострое.

Я был заинтригован. В.Я. Чубарь являлся в то время Председателем Совнаркома. Хотя в Госплане я встречал в лице тех или других членов президиума представителей большевицкой власти, однако это был, так сказать, ассортимент второго разбора (как швейцарский коммунист Ашупп-Ильзен) либо персоны, которые лишь впоследствии выдвинулись на первые места в советской Олимпе, как, например, Гринько, харьковский гимназический учитель, ставший потом наркомфином СССР. Теперь мне предстояло встретиться впервые лицом к лицу с одним из тех, кто действительно стоял на вершине советской диктатуры.

Мы поднялись по широкой лестнице Совнаркома, занимавшего особняк, принадлежавший раньше харьковскому пивному королю Игнатищеву. Наверху секретарь предложил нам пройти в кабинет наркома. Мы вошли. Из-за большого письменного стола навстречу нам поднялась крупная фигура. Пожав нам руки, Чубарь попросил занять места у большого стола, стоявшего в стороне. Я занялся раскладыванием на нем чертежей. Тем временем, отвечая на вопрос Чубаря, Кузнецов начал докладывать ему о состоянии дел с харьковской районной тепловой станцией "Эсхар". Это дало мне время оглядеться.

Прежде всего бросилась в глаза массивность обстановки. Я узнал потом, что это было правилом в высоких советских сферах: грандиозные письменные столы, гигантские книжные шкафы, тяжелые кожаные кресла, тумбы, пальмы в кадках. Хотя и мастодонт письменный стол, и глубокие кожаные кресла в стиле сдержанного модернизма начала столетия были сами по себе неплохи, однако нельзя было не заметить, что вся обстановка принадлежала двум комплектам. Если невольным "поставщиком" одной части мебели стал пивовар Игнатищев, то другая часть появилась здесь, несомненно, в порядке "социализации" какого-либо другого купеческого особняка или усадьбы Харьковской губернии. Книжный шкаф при ближайшем рассмотрении оказался почти пуст. За толстыми зеркальными стеклами я увидал только один ряд книг в крас-

ных переплетах — творения Ленина. Наличие полного собрания сочинений Ленина, как я потом мог много раз убедиться, было обязательным во всяком кабинете советского начальства. Эти “творения” издаются и переиздаются в советской России без конца. Однако число их читателей обратно пропорционально числу изданий.

Наблюдения мои вдруг прервали.

— Василий Эмильевич, — услышал я голос Кузнецова, — расскажите Власу Яковлевичу об особенностях проекта Александрова.

Я не заставил себя долго ждать. Кузнецов не перебивал меня. Когда я закончил, Чубарь начал задавать мне вопросы. Я мог рассмотреть теперь его вблизи и внимательнее. Это был человек высокого роста. Крепко сложенная фигура, темная, зачесанная назад шевелюра, большие усы. Мне он показался типичным представителем полуинтеллигенции. В отличие от других советских вождей, знакомых по портретам, в лице его не было ничего отталкивающего. Говорил он по-русски, а не по-украински. Это приятно удивило меня, принимая во внимание его украинскую фамилию и свирепствующую тогда украинизацию. Одет он был в обычную тогда большевицкую форму: френч хаки, брюки галифе, высокие, хорошо вычищенные сапоги. Заданные мне вопросы были немногочисленны, и, казалось, Чубарь удовлетворился моими разъяснениями.

Вопрос Днепростроя захватил внимание и украинских националистических кругов. Круги эти одно время усиленно кокетничали и кооперировали с большевизмом, ободренные темпами украинизации, проводимой на Украине. Вмешательство одного из представителей этих кругов носило такой забавно-наивный характер, что жалко обойти его без упоминания.

Я вдруг получил от Совнаркома, непосредственно от Чубаря, предложение дать срочно, в 24-часовой срок ответственное и категорическое заключение по письму инженера-технолога Гната Хоткевича. Письмо это, адресованное на имя Председателя Совнаркома, обращало внимание на “...опасность, угрожающую Украине и ее индустриальному развитию в случае принятия к исполнению проекта Днепростроя, разрабо-

танного московским инженером Александровым. Постройка намечается в совершенно малозаселенном районе, вдалеке от индустриальных центров. В то же время около большого индустриального города Харькова, в непосредственной близости от него, имеется некая балка Караванная...".

Далее следовало (я цитирую автора дословно): "...Правда, *воды в балке нет*, как данной величины, но..."

Отсутствие воды не останавливает инженера Хоткевича. Он берет нивелир, определяет уклон лога и, пользуясь гидравлическими формулами, определяет то количество воды, которое могло бы протекать, если бы она заполняла балку до высоты, выбранной им. "Сотворив" воду и пользуясь выбранной им высотой, Хоткевич получает расход и напор, необходимые для использования водной энергии и возможность постройки мощной гидростанции, могущей конкурировать с Днепростроем.

Как я узнал, Хоткевич действительно окончил Харьковский технологический институт, получил диплом. Считался видным украинским поэтом. Как говорили, хорошо играл на бандуре.

В Госплане имели место важные перемены. Назначили нового зампреда Госплана, некоего Бориса Климентьевича Викторова. Как говорили, он был инженером. Немедленно после своего назначения он вызвал меня и заставил подробно информировать его о проекте. Викторов впоследствии сыграл большую роль в истории Днепростроя. Пути наши не раз пересекались, и, как ни странно, мы имели общие точки соприкосновения и в прошлом.

Это был не совсем обычный коммунист. Стройный, худощавый блондин среднего роста, Викторов обладал прекрасными манерами, хорошо владел словом, говорил культурным голосом. Во время Гражданской войны он был начальником инженеров Красной армии, хотя окончил только несколько курсов Московского Императорского технического училища. Во время Мировой войны мобилизован как студент, произведен в офицеры. Был на Кавказском фронте во время революции. Выбран солдатами в Совет солдатских депутатов за "революционные" заслуги. В самом деле, он мог претендо-

вать на звание заслуженного “политкаторжанина”, отсидев студентом пару месяцев в крепости. При этом он не был профессиональным революционером, и все произошло, скорее, на почве избытка жизненных сил, разгильдяйства и легкомыслия. В студенческие годы Викторов вращался в компании молодежи, студентов и молодых офицеров “просвещенного” направления. Оригинальничанье, фрондирование, попойки были правилом дня. В этой компании подвизался также один из студентов нашего Московского института путей сообщения, некий Вильям Мак-Киббен. Когда я поступил в Институт, его британское имя и фамилия заинтересовали меня. Контакта с ним, однако, не имел. Он уже кончал Институт. Я не мог не заметить того, что Мак-Киббен носил на своей студенческой тужурке два академических значка, университетский и Михайловской артиллерийской академии. Мне рассказали, что он окончил математический факультет Московского университета и как-то раз, поспорив в пьяном виде с артиллеристами, заключил с ними пари, что он в несколько месяцев сдаст весь курс академии. Его каким-то образом приняли в академию, и он выиграл пари. После этого вышел в отставку и снова вернулся в Институт. Во время войны Мак-Киббен был призван как офицер запаса и командовал первым русским отрядом бронированных автомобилей. Викторов, если и не мог похвастаться такими академическими успехами, в готовности ко всяким эскападам не уступал другим. Говорят, что как-то раз, впуская к себе поздно вечером запыхавшегося приятеля, он услышал:

— Борис, я узнал, что сегодня у нас будет обыск. Будь другом, спрячь!

Викторов спрятал. Обыск действительно был, но у Викторова. Нашли нелегальную литературу, и его посадили в крепость. Викторов был женат на сестре Мак-Киббена. С Мак-Киббеном я потом встречался. Как инженер-путеец он вел исследования реки Лены в Сибири.

Эти подробности прошлого Викторова я узнал много позже своего первого знакомства с ним, по частям и случайно. Поэтому за полную верность всех деталей не могу ручаться.

С Викторовым у меня скоро установился хороший деловой контакт. Я легко мог ввести его в курс дела. Он сам не раз ездил в Москву, беседовал там с Александровым, стал стойким сторонником его проекта.

Наконец не осталось больше сомнений в том, что решение принято. Летом 1925 года в газетах было опубликовано:

"...Принимая во внимание важность и актуальность вопросов электрификации Днепра, назначается Высшая правительственная комиссия по вопросам Днепровского строительства под председательством тов. Л.Д. Троцкого..."

Назначение Троцкого председателем Комиссии поразило нас. Не только публика, но даже и партийные круги не понимали тогда, что за этим назначением скрывается вовсе не важность вопросов электрификации, а только желание изолировать опасного конкурента в борьбе за власть от его сторонников. Не прошло и года, как этот большевицкий полубог должен был бежать, спасая свою голову.

Первое заседание Комиссии состоялось в Москве. Украинский Госплан назначил своими представителями Викторова и меня. •"Боже мой, — думал я тогда, — я — член Комиссии Троцкого!"

Я мог представить себе все, что угодно, но только не такой парадокс! Но факт оставался фактом, каким бы несуразным он ни казался. Все же, выехав в Москву, я несколько побаивался за свою шкуру: слишком близкий контакт с такими персонами мало мне нравился.

Первое заседание этой теперь официально названной Плановой по Днепрострою комиссии было устроено в помещении Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ СССР).

В большом зале стояли группами и разговаривали человек 20—30. Среди них я увидел профессора Александрова с двумя-тремя знакомыми мне инженерами, профессора Е.В. Близняка, крупного гидротехника, в свое время главного инженера Обь-Енисейского пути, теперь редактора журнала "Водный транспорт", и многих других, тогда еще мне незнакомых лиц. По большей части это были видные инженеры, путейцы-водники и инженеры-электрики, многие из них — члены Центрального электротехнического совета. На

стенах были развешены и на столах разложены чертежи. Около них велась оживленная, хотя и неофициальная дискуссия. Так продолжалось не менее часа-двух. Вдруг в зал принесли подносы, полные бутербродов с зернистой и паюсной икрой, с семгой и другими давно после революции забытыми деликатесами. Это отвлекло внимание от чертежей. Гул голосов смолк. Все толпились у бутербродов, с почти неприличной торопливостью набивая себе рты. За бутербродами последовали стаканы с чаем. После угощения объявили, что мы должны завтра утром явиться на Курский вокзал, где нас будет ждать экстренный поезд: мы поедем в Александровск и Кичкас, где и состоится заседание.

Экстренный поезд, ожидавший нас на вокзале, состоял из двух салон-вагонов, трех вагонов Международного общества спальных вагонов и пары мягких вагонов. Меня поместили в купе вместе с Викторовым. В соседнем купе разместился Александров. В этом же вагоне находились некоторые другие инженеры Днепростроя, которых я раньше не знал и с которыми рад был познакомиться. Среди них были инженер Д.К. Заорский, начальник технического отдела, и профессор М.Е. Кнорре, заведующий отделом производства работ и смет.

Инженер Заорский был пожилой господин с круглой, коротко остриженной головой. Большие, свирепо топорщившиеся усы противоречили мягкому взгляду добрых, приветливо улыбающихся глаз. Он обладал тяжеловесными, но приятными манерами, был молчалив. Во время войны он значился начальником работ по постройке Мурманской железной дороги и приобрел известность, применив в большом масштабе впервые в России паровые экскаваторы.

Профессор М.Е. Кнорре, сухощавый, с подстриженными рыжими усиками и в золотом пенсне, живой и насмешливый, раньше владел и руководил известной строительной фирмой “Кнорре и сын”. Фирма эта славилась своими успехами в проведении особо трудных и ответственных работ по строительству. Ряд мостов Сибирской железной дороги был выстроен этой фирмой. Еще до сегодняшнего дня на пилонах Троицкого моста в Ленинграде сохранились доски с упоминани-

ем, что быки и каменные мостовые пролеты выстроены фирмой “Кнорре”.

В разговорах с новыми знакомыми день прошел незаметно. Наступил вечер, и мы стали устраиваться на ночь.

Поезд стоял, когда я проснулся утром. Было 7 часов. Викторов еще храпел. Я оделся и вышел в коридор. Публика просыпалась. Я выглянул в окно. Поезд стоял на станции Александровск. Начали разносить бутерброды и чай. Поезд вдруг двинулся и поехал по направлению к Днепру. Мы остановились перед кичкасским мостом, нам предложили выйти из вагонов. Мы толпились перед мостом, с любопытством глядя на салон-вагон. Дверь открылась, и из вагона выскочил охранник, у пояса которого болтался большой маузер в деревянной кобуре. Следом выскочила собака, громадный доберман-пинчер, повод которой схватил второй, откуда-то появившийся охранник. Наконец, в дверях показалась знакомая по карикатурам и плакатам фигура. Троцкого нельзя было не узнать. Его характерные черты лица, его пенсне, его бороденка казались в натуре еще более утрированными и подчеркнутыми, чем на сатирических изображениях.

Троцкий быстро зашагал к мосту. Охранник торопился за ним. Навстречу ему от моста шел, опираясь на палку, старик — железнодорожный сторож. Старик снял шапку и поклонился. Троцкий остановился и обратился к старику:

— Ну, дед, как думаешь, будет постройка?

Старик сплюнул, вытер рот кулаком и сказал:

— Хто иого зна? Скильки годив мириють, а досы ничого не обозначулось!

Мы перешли мост. Внизу ревел Днепр, прорываясь через Волчье Горло. Надо сказать, что кичкасский мост, перекрывающий одним пролетом Днепр, несмотря на многие технические несуразности конструкции, производил большое впечатление. Перейдя его, мы дошли до станции Кичкас. Там стояли два автомобиля. Троцкий, Александров и еще кто-то сели в них. Я с инженерами Днепростроя пошел пешком в Управление изыскательской партии, помещавшееся недалеко от берега, в доме, принадлежавшем ранее богатому немецкому колонисту Лену.

Когда мы рассматривали геологические коллекции и слушали пояснения геолога, мое внимание обратили на одну

даму. Оказалось, это была жена Александрова, сестра инженера Заорского. Мне сказали, что она очень талантливая женщина, экономист с высшим образованием и занимает ответственный пост в Госплане СССР. Меня удивило, что она и Александров держались всегда в стороне друг от друга. Потом я узнал, что вскоре после поездки они развелись.

В два часа дня мы все снова собрались в одном из домов Кичкаса, где для нас был приготовлен обед. Столы расставили в нескольких комнатах. Я сел вместе с инженером А.Г. Лешем, начальником отдела мелиорации Наркомзема УССР в Харькове. С Лешем я был знаком и дружил. Встреча с ним меня обрадовала. Пока мы обменивались впечатлениями, публика вдруг зашевелилась. В комнату вошли Троцкий, Викторов и Александров. Троцкий занял место во главе нашего стола, рядом с ним сели Александров и Викторов. До меня долетали только отдельные слова их разговора, но создавалось впечатление, что Троцкий относится к проекту скорее положительно, чем отрицательно.

Обед прервался неожиданным, не лишенным интереса эпизодом. К Троцкому пробралась какая-то фигура и прошептала ему что-то на ухо. Он неохотно поднялся и вышел на террасу. Мы направились один за другим туда же. Оказалось, что сюда явился весь комсомол Александровска. На транспарантах, которые принесли манифестанты, были надписи: “Да здравствует товарищ Троцкий, соратник Ленина!”, “Да здравствует мировая революция!” и т.д.

Когда Троцкий появился на террасе, раздались крики:

— Товарищу Троцкому — ура!

“Ура” повторили три раза. Троцкий поднял руку. Все ожидали речи, но все, что он сказал, было:

— Спасибо... Грамотно писать — вот что надо, товарищи!.. Тут вот надо поставить запятую... Пишется: РЕ...ВО... люция, а не РИ...ВА...люция... До свидания! — Он резко повернулся и ушел в комнаты.

После обеда мы пошли на пристань. Там на большом пароходе разместилась не только вся многочисленная Комиссия со всеми экспертами, представителями ведомств и местной власти, но и на этот раз очень заметные чекисты в форме. Пароход пошел сначала к месту будущей плотины,

затем вниз по течению и далее по Старому Днепру обратно к Кичкасу.

Во время довольно продолжительного путешествия Троцкий сидел на верхней палубе. Здесь, окруженный влиятельными партийцами, стоявшими по бокам и легшими у его ног, он был сфотографирован. Мне тоже удалось немного сбоку снять эту группу.

На пароходе мне пришлось пережить несколько встреч. Я говорю "пережить" потому, что если некоторые из них были просто интересны, то одна могла бы кончиться для меня катастрофически.

Викторов познакомил меня с инженером П.С. Главацким. Он представлял собой странную аномалию. Был беспартийным, тем не менее занимал пост заместителя наркома путей сообщения Украины. Это объяснялось тем, что он организовал после Гражданской войны восстановление разрушенных железных дорог, провел это энергично и удачно и был награжден орденом Красного Знамени. Орден этот он носил теперь на груди вместе с академическим значком царского времени, представлявшим, как известно, императорского орла. Такой симбиоз орла и красного знамени был не только странен, но и опасен. В самом деле, как я позже узнал, Главацкий не уцелел — после какой-то очередной кампании его расстреляли.

Вторая встреча угрожала неприятными последствиями непосредственно мне. Представляя меня члену Коллегии Наркомзема Украины агроному М.М. Вольфу, Викторов назвал мою фамилию. Вольф взглянул на меня и неожиданно спросил:

— Как поживает ваша матушка Варвара Васильевна?

Я опешил. Оказывается, это был тот самый агроном Вольф, который до революции служил в Харьковском губернском земстве и хорошо знал мою мать. Я не мог не вспомнить при этом, чтó она мне рассказывала. Когда моих родителей выпустили из тюрьмы, где они сидели, осужденные революционным трибуналом, мать встретила случайно на улице Вольфа. На его вопросы она ответила:

— Ах, ужасно, Моисей Моисеевич! Проклятые большевики посадили нас ни за что в тюрьму, хотели расстрелять, отняли и ограбили все. Сын пропал где-то в Белой армии!

Он посочувствовал, они расстались, и только после мать узнала, что Вольф — коммунист, и притом видный.

Такая встреча на пароходе, полном чекистов, и в присутствии такой персоны, как Троцкий, грозила мне печальными последствиями. Во все время этой экспедиции я чувствовал себя как приговоренный к смертной казни. Однако ничего не произошло. Вольф, очевидно, молчал.

Я встретился с ним еще раз через несколько лет в связи с волжскими проектами. Он был тогда членом Коллегии Наркомзема уже СССР в Москве. Как и раньше он любезно разговаривал со мной. Не прошло и пары лет, как я прочитал о нем в газете "Известия". Там был опубликован список "вредителей, шпионов, саботажников и диверсантов", приговоренных к высшей мере наказания и казненных. Среди 120 имен видных партийных было и имя члена Коллегии Наркомзема СССР М.М. Вольфа.

Бедный Вольф! Кто мог подумать тогда, что ему, а не мне угрожала ликвидация...

После поездки на пароходе мы вернулись к вечеру в Кичкас. Ночевали в наших спальных вагонах. На следующее утро должны были ехать на место второй плотины по двухплотинному варианту Николаи. Выйдя на улицу после завтрака, мы увидели штук 20 автомобилей. В сущности, претендовать на звание автомобиля могли только три-четыре, остальные выглядели весьма подозрительно. Большей частью это были легкие грузовики со скамейками, получившие после Октябрьской революции среди широкой публики кличку "хамовозов". Первыми сели Троцкий и Александров и немедленно поехали, перепугав запоздавшего и вдруг откуда-то выскочившего личного телохранителя первого. Этот, не долго думая, грубо вытолкнул из второго автомобиля приличную пару не то экспертов, не то представителей местной власти и стремглав помчался за Троцким. Я вместе с профессором К. Кругом и А.Г. Лешем попали на автомобиль, скорее напоминавший моторизованную тачку. Очевидно, в Александровском округе для этой экспедиции было собрано все, что имело колеса и мотор.

После осмотра мы остановились в селе Волниги. За обедом, организованным, очевидно, в лучшей хате села, Троцкого посадили в почетный угол, украшенный многочисленны-

ми иконами. Перед иконами горели лампады. Странное, почти святотатственное зрелище! Троцкий делал вид, что ничего особенного не произошло, и не сделал никаких замечаний по этому поводу.

Вечером в Кичкасе, в Управлении изысканий, состоялось заседание. Троцкий председательствовал. Единственный доклад сделал геолог Днепростроя Яковлев. Предполагалось, что все знакомы с проектом, почему сразу перешли к прениям. Троцкий предложил тем, кто имеет какие-либо возражения против идей проекта, высказаться и привести свои мотивы. Противники проекта выступали слабо. Они ограничивались по большей части вопросами, на которые Александров давал исчерпывающие, хотя и не всегда вежливые ответы.

Троцкий, которого раздражала вялость дискуссии, заявил:

— Какое мнение имеет Наркомат путей сообщения? Кто здесь представитель Наркомата?

Представителем был профессор Е.В. Близняк. Близняк был связан инструкциями, враждебными проекту, но, будучи большим дипломатом, не хотел компрометировать себя необоснованными утверждениями. Его выступление сводилось приблизительно к следующему:

— Вопрос еще неясен... С одной стороны, нельзя не признать... С другой... следует подработать... Если... то... однако... и т.д.

Речь его вдруг резко оборвал в середине слова Троцкий, лицо которого вдруг исказилось злой гримасой. Между черной бороденкой и усами сверкнули белые хищные зубы.

— Товарищ Близняк, вас сюда пригласили как опытного и знающего инженера. Я не желаю слушать ваше виляние туда-сюда. Я требую категорического и ответственного ответа!

Близняк побледнел и смешался. У него даже голос изменился, когда он начал отвечать на вопросы Троцкого. Вопросы эти формулировались точно и не позволяли давать уклончивые ответы. Близняк был вынужден сказать многое не так, как ему хотелось.

Мы пошли ночевать в наши вагоны. Викторов сказал мне, что в Москву мы не поедем, а возвращаемся в Харьков.

Вернувшись в Харьков, полный впечатлений от встреч и виденного в Москве и Запорожье, я должен был посвятить больше внимания педагогическо-научной деятельности, несколько запущенной за это время. Продолжая быть ассистентом профессора Ю.В. Ланге на инженерно-агрономическом факультете Харьковского сельскохозяйственного института, я получил предложение читать лекции и вести курс гидравлики на инженерно-архитектурном факультете Харьковского технологического института. В то же самое время Институт водного хозяйства в Киеве, учитывая мой доклад на I Всероссийском гидрологическом съезде и работы по гидрологии Северного Донца, избрал меня своим научным сотрудником.

Акционерное общество "Электрика", где я был консультантом по гидротехнике, начало строить гидроэлектрическую станцию у Александровки на Южном Буге. Проект составлялся В.П. Тихомировым и консультировался мною и А.Г. Лешем. Мне пришлось в связи с этим проектом ездить несколько раз на Южный Буг и познакомиться с его порожистой частью. Собранные материалы позволили мне потом опубликовать в журнале "Водный транспорт" статью о возможностях водохозяйственного и энергетического использования этого участка реки.

Некоторое время казалось, что вопрос Днепростроя перестал двигаться вперед, однако осенью 1925 года проект был передан для детальной технической экспертизы в Центральный электротехнический совет. Снова Госплан Украины командировал Викторова и меня своими представителями. Мы приняли деятельное участие в продолжительных и часто бурных дискуссиях, защищая все позиции проекта. В результате экспертиза полностью одобрила проект, подняв только смету со 120 до 150 миллионов. Мы и тут протестовали энергично, но в этот раз безуспешно, поддерживая цифру Днепростроя.

В Москве ходили слухи, что Троцкий потерял свое влияние, что он где-то в командировке, не то в Махачкале, не то в Средней Азии. Как известно, Троцкий действительно попал в опалу и потом бежал за границу. Мы, непосвященные, узнали об этом только много времени спустя.

В начале 1926 года советское правительство решило пригласить для оценки проекта Днепростроя авторитетную американскую экспертизу. С этой целью в Соединенные Штаты командировали особую комиссию, которая должна была ознакомиться там с достижениями гидротехнического строительства и выбрать экспертов. Председатель комиссии — член Главэлектро И.А. Цишевский, коммунист из инженеров, один из тех, которые, как Кржижановский, Красин, Классон и др., группировались около Ленина и подсказали ему идею электрификации России. Другими членами комиссии были назначены Викторов и Александров. Как секретарь комиссии поехала Т.П. Марецкая — служащая Днепростроя. О ней следует сказать несколько слов, так как ее судьба была тесно связана с судьбой как Днепростроя, так и профессора Александрова и его друзей.

Т.П. Марецкая была единственной женщиной, которая окончила математический факультет Петербургского университета еще в дореволюционное время. В Днепрострое она руководила бюро гидравлических и водноэнергетических расчетов. Она обладала не только блестящей эрудицией, но и большой инициативой при разрешении тех вопросов, где еще не имелось разработанной методологии. При этом никак не походила на “синий чулок”. Это была милая дама с мягкими, спокойными манерами, с полным отсутствием всякого жеманства и ломания. В работе она была среди других таким, как и все, товарищем, делающим общее дело. Ей было около 30 лет. Хотя и не классическая красавица, она все же обращала на себя внимание своей миловидностью.

Комиссия проехала по Соединенным Штатам, посетила все крупные гидротехнические строительства и привезла решение рекомендовать в качестве эксперта полковника Хью Л. Купера. Полковник Купер был известен в Америке как выдающийся пионер в области строительства гидроэлектрических станций. С его именем связаны многие первые крупнейшие начинания в этой области. Достаточно упомянуть лишь гидростанцию Керкук на Миссисипи и знаменитую плотину Вильсона на реке Теннесси.

Поездка этой комиссии имела и другое, политическое значение. Соединенные Штаты в то время не признавали советское правительство. Большевиков справедливо рассмат-

ривали как политических фанатиков и узурпаторов. Теперь приезд из России людей, которые по внешности, манерам и интересам мало отличались от людей аналогичного уровня и профессии в Соединенных Штатах, создавал иллюзию, что в Советском Союзе все более или менее нормализовалось. Особенно большое впечатление произвело на американские деловые и технические круги наличие в комиссии женщины-инженера. Известный американский журнал "Power" опубликовал статью Т.П. Марецкой о корреляционной зависимости катастрофических половодий от солнечных пятен. Другой технический журнал поместил ее портрет и написал, что эта женщина не только крупный специалист, но и выглядит к тому же как lady of society*.

Мне кажется, что этот побочный и непредвиденный успех экспедиции, с одной стороны, подготовил почву для рузвельтовского признания Советов, с другой стороны, показал большевикам, как важна посылка за границу ученых, музыкантов и артистов для пропаганды коммунизма. Простые американские обыватели, которых годами обрабатывала дореволюционная эмиграция лживой пропагандой о "полицейском строе" царской России, узнавая русские достижения в науке, искусстве и технике, склонны были приписывать все это новой советской культуре. Как далеко иногда доходила наивность американцев, показывают слова И.Г. Александрова. Вернувшись в Россию после своей поездки, он как-то рассказал мне следующее:

— Был я в кинематографе — повели хозяева-американцы. В картине показывалась война белых с красными. Как только стали наступать красные — аплодисменты, овация, весь зал хлопал. Я спросил: что это? Так все сочувствуют коммунизму? Ах, нет, говорят мне, зачем? Ведь у вас до 17-го года было крепостное право. Всякие князья, что хотели, делали с народом. Потом их погнали к черту, как у нас английского короля. Теперь у вас тоже республика. Ура!

Была и оборотная сторона медали. Александров вернулся поклонником Америки. После того как человек подышит свежим воздухом, трудно и горько возвращаться к советской действительности.

---

* Светская дама (*англ.*).

— Вы представьте только, Василий Эмильевич, — рассказывал мне потом, когда мы ближе познакомились, Александров, — этот сукин сын Цишевский не оставлял меня одного ни на минуту. Бегал за мной даже в уборную!.. Когда мы у Ниагары перешли границу, мне достаточно было показать только визитную карточку. Таможенник попросил оставить ее ему на память... Когда я переехал границу СССР, к себе на родину, меня раздели донага!

Американцы приехали летом. Было решено, что я буду работать вместе с инженерами Днепростроя во время американской экспертизы, — считалось, что мое знание проекта и английского языка облегчит и ускорит работу. Никто из днепростроевцев по-английски не говорил.

Мы встретились впервые на харьковском вокзале. Американцев сопровождал заместитель главного инженера по административной части Д.К. Жабицкий, руководителем американской группы был инженер М. Томпсон (доверенный Купера), главным проектировщиком — Ф. Файфер, инженер Хаккет был электриком.

Я безгранично радовался возможности встретиться с людьми из свободного мира.

Первое время между нами и американцами господствовала несколько напряженная атмосфера. Чувствовалась какая-то натянутость в отношениях. Начать с того, что американцев, несомненно, смущала наша одежда. Ни один из нас в то время не носил шляпу. Шляпы не были еще легализованы в Советском Союзе. На головах либо малореспектабельные кепки, либо сохранившиеся с царского времени форменные фуражки, однако без кокард. Одеты мы были в старые, потрепанные пиджаки, полувоенные френчи и если и новые, то нескладно пошитые толстовки — продукт новых достижений Мосширпотреба. Заглаживание складок на брюках давно отошло в область преданий и легенд. Естественно, американцы нащупывали с нами контакт осторожно, боясь попасть впросак. В Москве имел место забавный случай. Посланный на Брестский вокзал встретить американцев молодой инженер, знавший немного английский, посадил Файфера в автомобиль и получил за это двугривенный “на чай”.

Кичкас нас неожиданно поразил. Дом Лена, где помещалось Управление изысканий Днепростроя, был превращен в нечто, в идеале приближающееся к гостинице “Интурист”. Кроме двух больших комнат внизу, отведенных для работ, и отдельного кабинета для американцев, все остальные помещения были преобразованы для жилья. На окнах висели гардины, на столах стояли цветы. Кровати и умывальники сверкали необычной для советской жизни чистотой. Наверху устроили казино, в котором были поставлены даже пальмы. На дверях комнат укрепили дощечки с фамилиями тех, для кого эти комнаты предназначались. В каждой комнате можно было найти расписание со временем и меню: “Breakfast, lunch & dinner”*. Все на английском языке.

Все эти чудеса оказались продуктом распорядительности, находчивости и энергии зам. глав. инженера Д.К. Жабицкого. Американцы скоро заметили его организационные таланты, окрестив его “Big Boss”. Дальнейшим сюрпризом было то, что официант и даже повар говорили по-английски! Где таких разыскали в Запорожье? Последнее, впрочем, было заботой, вероятно, не столько Биг Босса, сколько Чека. Кто знает?

Кстати, несколько слов о Жабицком. Этот человек, игравший тогда большую роль в Днепрострое, ходил всегда с красным эмалированным флажком в петлице, был очень разговорчив, всегда в курсе того, что происходит в партийных и правительственных кругах. Я очень долго считал, что он коммунист, и держался с ним сугубо осторожно. Впоследствии оказалось, что он беспартийный, скорее, даже из “бывших”, в прошлом — видный петербургский адвокат. Будущее показало, что Жабицкий оказался неплохим человеком, но все же я думаю, что осторожность с ним была уместна. В Советах люди не всегда делают то, что они хотят.

Первая встреча с американцами на неофициальной почве имела место вечером во время обеда. Мы пришли к обеду в тех же самых одеяниях, в которых ходили целый день. Представьте себе смущение обеих сторон! Американцы явились в

* “Завтрак, ленч и обед” (*англ.*).

черных жакетах, накрахмаленных рубашках и галстуках-бабочках. Надо отдать честь их такту — свои жакеты “Tuxedo” они упаковали снова в чемоданы. Мы их больше не видели.

Сначала моя работа была очень тяжела. Мне приходилось переводить повсюду и за всех; кроме этого, по всем вопросам приходилось делать вводные доклады. Потом, однако, у русских и американцев нашелся общий язык формул, которому помогали отдельные слова из словаря. Русские также скоро научились думать в кубических ярдах, футах и фунтах. Меня стали тревожить меньше. Постоянный контакт с американцами привел к тому, что у меня наладились с ними близкие и дружественные отношения, особенно с Томпсоном. Последний дал мне кличку Док, которая осталась за мной при всех сношениях с ним. М-р Томпсон, м-р Файфер тоже стали просто Томпсоном и Файфером.

До приезда Купера Томпсон хотел проверить перспективы потребления будущей энергии Днепростроя. С этой целью он должен был ознакомиться с промышленностью прилегающих районов. Вдвоем со мной он объездил Запорожье, Екатеринославщину и Кривой Рог. Тут интересно отметить теперь кажущийся невероятным советский либерализм эпохи нэпа. Иностранцу не только было позволено посещать отдельные заводы, смотреть их на месте, знакомиться с производством, но даже совершить это без соответствующего “ангела-хранителя” от Чека, только в сопровождении случайного беспартийного инженера.

Когда мы на Запорожском металлическом заводе ожидали директора в приемной, Томпсон обратил мое внимание на висевший на стене портрет Карла Маркса и спросил меня:

— Слушайте, Док, кто шерстоносное животное? — Fur bearing animal.

Вопрос этот доставил мне немало удовольствия. Ясно, что это была не случайность.

В Кривой Рог нам пришлось ехать не в скором поезде, не в спальном или мягком вагоне. На этих линиях в обращении были только обыкновенные жесткие вагоны, грязные и переполненные до пределов возможности. Я спросил Томпсона, как ему понравилась эта поездка.

— Прекрасно, все было хорошо, — сказал он. — Только, если бы я знал это раньше, захватил бы с собой противогаз!

Проживание под одной крышей с американцами, общие поездки по окрестностям привели к сближению и взаимному пониманию. Не обходилось, конечно, без курьезов. Как-то раз, проживая с тремя американцами в лучшей гостинице Екатеринослава, я последним явился к обеду.

Меня встретил хохот и заявление:

— Кто приходит последний — платит за всех!

Что я и сделал. Однако это обошлось мне в чувствительную сумму, серьезно нарушившую наш советский домашний бюджет. Как правило, мы все едва дотягивали до конца месяца, и то обычно занимая деньги друг у друга. У американцев такие расходы оплачивала фирма. Они вс вносили в записную книжку, даже трамвайные билеты, предъявляя потом к оплате только итог. Томпсон, увидев у одного из наших инженеров оборванную подкладку и заштопанные локти пиджака, начал допытываться у меня, какие оклады мы получаем и как оплачиваются наши командировочные расходы. Я рассказал ему об окладах, о так называемых оправдательных документах, которые должны писаться на каждую мелочь. Томпсон был потрясен и после этого не позволял никому из нас за что-нибудь платить, забегая всегда вперед.

Несмотря на разность лет — Томпсон мог бы быть моим отцом, — у меня с ним начали складываться не только дружеские, но даже теплые отношения.

Проверка проекта подходила к концу. Томпсон сказал мне:

— Я телеграфировал Куперу, что условия здесь таковы, что миссис Купер может приехать сюда спокойно. — Он подмигнул мне: — Нужно взять с собой все туалетные предметы.

Вскоре Томпсон и Биг Босс — Жабицкий — поехали в Москву встречать Купера.

О приезде Купера и Александрова в Кичкас я узнал рано утром. Я проснулся, разбуженный настойчивым стуком в дверь.

В комнату вскочил возбужденный, весь красный Жабицкий:

— Вставайте, Василий Эмильевич! Они приехали: Купер, его жена, Иван Гаврилович! Они еще не встали, спят. Салон-вагон стоит на станции. Что делать? Это будет мировой скандал!

— В чем дело, Дмитрий Константинович, ничего не понимаю! Какой скандал? Почему? — спрашивал я.

Надо сказать, что полгода назад, после американской поездки, Александров развелся со своей женой Александровой-Заорской и сошелся с Т.П. Марецкой. Теперь она сопровождала Александрова. До сего времени какого-нибудь официального оформления этого нового брака, однако, не было.

— Ведь это ужас, Василий Эмильевич! — продолжал Жабицкий. — Что будет, когда Куперы заметят, что Иван Гаврилович и Марецкая выйдут из одного купе! Все это в том же вагоне, где едут и Куперы!

Я старался успокоить Жабицкого как мог, но внутренне улыбался. Новая роль заместителя по административной части: Биг Босс — хранитель нравов!

Все обошлось благополучно. Куперы решили считаться с "местными нравами", делали вид, что ничего не замечали, и всегда потом трактовали Марецкую как супругу Александрова.

Купер с женой, Александров и др. вскоре пришли в дом Лена. Томпсон представил меня Куперу. Последний одарил меня парой комплиментов, похлопал по плечу и заявил, что много слышал от своих обо мне.

Купер был человек лет 60 с лишним. Полная, небольшого роста фигура с достаточно выпуклым брюшком увенчивалась непропорционально большой головой. Полное лицо с большим ртом освещалось парой живых голубых глаз. Выпуклый высокий лоб прикрывался отступившими далеко назад ярко-рыжими волосами. Солидных пропорций нос украшал это малопривлекательное на первый взгляд лицо.

Полную противоположность представляла внешность его жены. Всюду, где у Купера черты лица и пропорции фигуры уклонялись от нормы в сторону гротеска, у нее отклонение шло в сторону элегантности и изящества. Надо иметь в виду,

что это не была молодая и цветущая женщина, а стареющая дама лет пятидесяти. Какую роль тут играла косметика и make up, не берусь судить, но, несомненно, сохранение такой внешности было следствием большого ухода, внимания и баловства. Наблюдая потом это здесь, в Кичкасе, я не мог не вспомнить о тревогах, лишениях, страхах и непосильной работе, которые стали уделом "освобожденной" советской женщины.

После объезда достопримечательностей Днепростроя на моторных лодках, во время которого мне пришлось занимать главным образом дам, так как Купер, Александров и Томпсон находились в другой лодке, мы вернулись к вечернему обеду. Биг Босс превзошел самого себя. Сервировка и меню не оставляли желать ничего лучшего. Купер был в великолепном настроении, шутил, балагурил, дурачился. Вероятно, очень понравившаяся Куперу рябиновка, которую он назвал "Red Vodka", сыграла некоторую роль, развязав ему язык, но потом я убедился, что все эти экспромты, даже казавшиеся невзначай сорвавшимися с языка, имели определенную цель. Он явно старался показать, что он простой человек из народа, не избалованный жизнью. При всем том его анекдоты и шутки давали понять, что он, полковник Купер, незаурядный человек. Будущее показало, что нарисованный Купером автопортрет, по крайней мере в отношении ума и таланта, отвечал действительности. О чем он тогда умолчал, это о том, что он честолюбив и не останавливается ни перед чем для достижения своей цели.

Забавен и характерен рассказанный Купером случай. Во время войны его назначили начальником американской базы в Бордо. Отсюда и военный титул. База должна была быть построена в кратчайший срок.

— Вдруг я получаю от военного министерства депешу, — рассказывал Купер. — "Обращаем Ваше внимание, что такие-то причалы и склады должны быть закончены ни в коем случае не позже 1 августа. Невыполнение этого приказа повлечет... и т.д.". Я им отвечаю: "Ваш приказ абсолютно невыполним!" Следуют гром и молнии из министерства, требуют объяснений. Я им отвечаю: "Приказ невыполним, потому что все уже готово и закончено 1 июля!"

Купер был северянин, янки, и очень много ораторствовал о лени, халатности и никчемности южан.

— Только мы, янки, когда пришли на Юг, разбудили их ото сна нашей активностью и предприимчивостью.

Однако нет правил без исключений. Жена Купера была южанка. Он гордился ею, и мне очень понравился ее певучий, протяжный выговор.

Когда мы после обеда сидели за вином и сигарами (американскими), послышался шум. Жабицкий выскочил расследовать, в чем дело. Оказалось, что какой-то изобретатель добивается свидания с Купером. Узнав об этом, Купер выразил желание выслушать его. Изобретение, как это часто бывает, было вздором, но интересен был мотив, почему изобретатель добивался свидания с американцем. Ему, изобретателю, известно из географии, что в Босфоре существует постоянное течение воды из Черного моря в Средиземное через Дарданеллы. Поэтому если устроить большое колесо и одну сторону оси опереть на одном берегу, а другую на другом, то колесо будет вращаться и можно будет без плотины получить большое количество энергии.

— Однако, — как заявил автор этого проекта, — Дарданеллы и Константинополь мы, к сожалению, не получили после войны, поэтому эта идея не может быть нами использована. — Он надеется, что американцы заинтересуются этим предложением.

Купер выслушал этот бред с важной миной, просил меня поблагодарить автора и сказал:

— После такого щедрого подарка я считаю себя обязанным в свою очередь предложить вам тоже интересную идею, которую я, к сожалению, не смог использовать. По дороге сюда на пароходе ко мне подошел один господин. Он спросил меня, действительно ли я тот самый Купер с плотины Вильсона. Получив подтверждение, он не мог скрыть своего разочарования моей наружностью: “Not much to look at”*, но все же прибавил, что тем не менее он готов поделиться со мной одной идеей, которую я как инженер-гидротехник не могу не оценить. Громадная доля тоннажа трансатлантических пассажирских пароходов, сказал он, занята угольными бункерами. Если в середине Атлантического океана насыпать

* “Не на что смотреть” (*англ.*).

остров, устроить на нем склады для угля, то, завозя туда уголь дешевыми фрахтерами, можно значительно увеличить полезный тоннаж пассажирских судов, пополняя бункеры во время остановки на этом острове. Я рад, — продолжал Купер, — предоставить эту идею в распоряжение автора босфорского проекта как малую компенсацию за его любезность.

Такие непринужденные разговоры были правилом в вечернее время. Дополнительное оживление и облегчение для меня принесло прибытие инженера-электрика Алейникова, присланного Центральным электротехническим советом. Он свободно говорил по-английски и этим снял с меня часть нагрузки по переводу.

Дни были посвящены интенсивной работе. Американцы занимались составлением окончательного заключения и сидели все время одни в своей комнате.

Тем временем миссис Купер проводила день в прогулках вместе с Марецкой. Местные власти, очевидно, инструктированные сверху, пригласили миссис Купер посетить детский приют в Кичкасе. После осмотра ей предложили написать что-нибудь в книге для почетных посетителей, указав при этом на подписи различных “именитых людей” Советского Союза. Миссис Купер написала что-то. Управляющий настаивал на необходимости написать перевод. Это было сделано. Надпись миссис Купер гласила:

“Тот, кто помогает ребенку-сироте, помогает самому Господу Иисусу Христу!”

Смущение управления приюта не имело границ. Книгу спрятали.

Работы экспертизы в Кичкасе закончились объездом районов Днепростроя и поездкой в Екатеринослав с посещением местных заводов. Во время пребывания в Екатеринославе Купер неожиданно встретил другого американского эксперта — консультанта по горной промышленности. Оба выразили свою радость встречи продолжительным и энергичным похлопыванием друг друга по плечу. Этот американец был некий Джеймс Стюарт от фирмы “James Stuart & Cook”.

В то время как наружность Купера оставляла желать много лучшего, Стюарт представлял собой образец элегантного и

безупречно одетого господина. Высокого роста, стройный, лет сорока пяти, с красиво посаженной головой, покрытой аккуратно подстриженными волосами стального цвета, он обращал на себя внимание здоровым цветом лица и хорошими манерами. Стюарт казался идеальным типом южанина, джентльмена-аристократа. Наши дамы были им очарованы. Этому немало способствовала его галантность и живые улыбающиеся глаза.

После встречи с ним в вестибюле гостиницы Купер сказал мне:

— Эти южане! Если бы не мы, янки, то они до сих пор бы спали. Лежали бы на солнышке и почесывались!

— Но как же? Ведь Стюарт — крупный инженер, директор большой фирмы.

— Ах, Стюарт! Повторяю вам: мы их разбудили. Они всегда нуждаются в том, чтобы кто-нибудь их подталкивал. Обратите внимание: Стюарт всегда под влиянием винных паров.

Тут, кажется, Купер был прав. Наши инженеры где-то подглядели, что Стюарт постоянно возит с собой большой чемодан, полный бутылок с коньяком.

Меня поразило, что в Америке через 60 лет после междуусобной войны старая вражда и неприязнь между Севером и Югом до сих пор не забыта.

Разговоры с Купером и другие эпизоды дали мне возможность лучше понять его характер и ключ к объяснению его последующего поведения и деятельности. Купер — крупный инженер с мировым именем, несмотря на свой талант, ум и несомненный американский патриотизм, при всем презрении к большевикам сыграл весьма печальную роль в подготовке признания СССР и в дальнейшем преступном флирте рузвельтовского окружения с коммунизмом. Честолюбие и желание играть большую роль не только в технике, но и в политике заставило его заключать компромиссы со своей совестью. В одном из разговоров Купер сказал:

— Когда человек добьется независимого положения, хорошего материального обеспечения, его уже меньше интересуют деньги. Он хочет играть роль в политике, в обществе. Он хочет стать персоной!

Как известно, Купер потом стал председателем Русско-Американской торговой палаты. Так этот стойкий республиканец стал одним из пионеров политики рузвельтовских демократов.

Мы объездили еще раз заводы и силовые станции Екатеринослава, Верхне-Днепровска, Ново-Московска и Кривого Рога. В Кривом Роге мы посетили одну небольшую районную электрическую станцию. В здании, оштукатуренном снаружи терразитом, стояла внутри большого машинного зала, в углу, небольшая горизонтальная машина старого типа.

Бывший со мной Стюарт заявил:

— В Америке мы такую машину поставили бы просто под деревянный навес, если бы вообще не выбросили ее вон.

Он обратил также мое внимание на линию передачи на стальных мачтах, ведущую от станции, заметив, что у себя американцы в аналогичном случае ограничились бы деревянными столбами. Несколько рассердившись, я указал ему, что все, что он видит, ново и является, несомненно, претворением в жизнь плана электрификации усилиями какого-нибудь местного большевицкого сатрапа. В дореволюционное время русские предприниматели умели считать не хуже американцев и таких глупостей не наделали бы. Здравого смысла у русского народа всегда было достаточно.

Во время этой поездки Стюарт взял реванш по отношению к Куперу. Когда мы заговорили о нем, Стюарт сказал:

— Полковник Купер! Да этот инженер даже для спасения собственной бессмертной души не сумел бы проинтегрировать самую простейшую функцию! — Помолчав, он прибавил: — Знаете ли вы, что означает “Л” в его имени? Его ведь зовут Хью Л. Купер. “Л” стоит вместо “Линкольн”. Он родился во время междуусобной войны, и его родители — яростные янки — в припадке патриотизма окрестили его Линкольном. Теперь он стесняется этого и прячет “Линкольна” за буквой “Л”!

Мы вернулись в Москву. Следующим этапом должен быть доклад Купера в Центральном электротехническом совете. В ожидании доклада я ходил каждый день в Управление Днепростроя. Я был у профессора Кнорре, когда меня

вызвали в кабинет Александрова. Там я нашел и Викторова.

— Василий Эмильевич! — встретил меня Александров. — Решено, что на заседании вы будете переводить доклад Купера. Вы хорошо знаете проект. Техническая терминология вас не затруднит, как это могло бы быть с профессиональными переводчиками. Мы очень просим вас помочь.

Не считая возможным отказаться, я согласился.

На заседание явились члены совета, принадлежавшие к секциям сильных токов и общего строительства. Все это были крупные инженеры с репутацией, заслуженной еще в дореволюционное время. Назову только несколько имен: профессора Шателен, Воронов, Круг, Москвитинов — электрики, профессора Кениг, Васильев, Кандыба — путейцы-водники. Средний возраст их не меньше 60 лет. Это своего рода инженерный сенат. Что характерно для этой стадии советской эволюции, так это то, что среди всей этой публики не было ни одного коммуниста. Советы еще не могли подготовить на смену свои технические кадры, а крупная профессиональная интеллигенция и думать не хотела о какой-либо возможности ассоциирования себя с политическими авантюристами и заговорщиками из подполья.

Американскую консультацию представляли полковник Купер и его сотрудники. Официальными представителями Днепростроя были профессор И.Г. Александров и профессор М.Е. Кнорре.

Заседание открыл профессор Шателен. Слово предоставили Куперу. Сначала я немного волновался. Роль переводчика, да еще в таком большом и авторитетном собрании, была для меня нова. Однако я скоро успокоился. Купер говорил медленно, формулировал свои мысли отчетливо и ясно, давал мне после каждого абзаца время на перевод. Доклад шел гладко, без пауз и замешательств. Забавна была принятая Купером поза. Он стал рядом со мной вполоборота к собранию, поставив меня лицом к нему, и обнял правой рукой за плечи. Это объятие дало мне особую уверенность, и я переводил точно и полно.

Купер начал свой доклад так:

— Первое, что хочу сделать, — это выразить, как я ценю возможность быть здесь. Приехать в страну, находящуюся на

расстоянии трети пути вокруг земного шара, — это само по себе необычно, — продолжал он. — В России в течение пяти недель находились два наших инженера, в нью-йоркской конторе мы тоже занимались рассмотрением проекта. Мы смогли выполнить свою задачу так успешно благодаря исключительной, выдающейся работе инженеров Днепростроя. Я говорю вполне искренне: за весь свой тридцатипятилетний опыт я никогда не видал такой хорошей работы, как в данном случае. Это нами ценится особенно, потому что богатый опыт знакомства с аналогичными работами в других странах никогда не давал такого примера.

Далее Купер подробно остановился на всех технических деталях проекта, включая плотину, гидростанцию с оборудованием, судоходные шлюзы и т.д. Он заявил, что его инженеры исследовали перспективы рынка энергии, пришли к положительным выводам и подтвердили проектные предложения. Он особо подчеркнул исключительную дешевизну производства энергии, сказав буквально:

— Я могу без всяких оговорок утверждать, что Днепровский проект в силу этого является одним из самых ценных, пока еще не осуществленных проектов в мире!

Доклад произвел глубокое впечатление. Оппозиция проекту, ведомая Кенигом и Васильевым, пыталась скомпрометировать утверждения Купера во время вопросов, но и тут потерпела фиаско. На все вопросы он отвечал так же точно и ясно. Когда Васильев не без язвительности указал на то, что Купер категорически отвергает необходимость устройства ледозащитной стенки на Днепрострое, в то время как сам устроил ее на гидростанции Кеокук, Купер сказал:

— Совершенно верно. Построил такую стенку. Одна из моих многочисленных ошибок. Мы потом ее убрали, взорвав за ненадобностью. Удовлетворяет ли мой ответ профессора?

Однако Васильев не унимался. Он вытащил какой-то американский журнал и с торжеством демонстрировал его, указывая, что еще какое-то предложение Купера было в Америке отклонено. Я перевел Куперу, о чем шла речь. Внимательно выслушав, он сказал:

— Скажите, пожалуйста, профессору, — здесь он отвернулся и отвесил глубокий поклон в сторону Васильева, —

что это было бы большой ошибкой — думать, что в Америке дураков меньше, чем здесь!

Последовал общий взрыв хохота и затем некоторое смущение. После исчерпания всех вопросов Купер закончил выступление следующими словами:

— Пользуюсь настоящим случаем, чтобы выразить вам самую искреннюю признательность за доставленную мне возможность присутствовать и говорить здесь. В конце концов, мы, инженеры, принадлежим к одному и тому же классу. Музыка и инженерное искусство интернациональны, и поэтому мне доставило большое удовольствие встретиться с вами, хотя я не мог разговаривать с вами на вашем языке. Спасибо!

После этого заседания Викторов сказал мне, что я должен оставаться в Москве и ждать дальнейших распоряжений.

Александров появлялся в Управлении только на короткое время, совещался при закрытых дверях о чем-то с Викторовым и вновь исчезал. О положении проекта и намечающихся в "сферах" решениях меня информировал каждый день Д.К. Жабицкий. Откуда он получал все эти сведения, я узнал, зайдя как-то раз утром в его кабинет. Там сидел начальник проектного отдела А.И. Мельников.

Жабицкий предложил мне сесть и сказал, обращаясь к Мельникову:

— Ну, как же было дальше, Александр Иванович?

— Очень хорошо. Вчера Малютин сказал, что Ворошилов и Куйбышев считают, что нужно строить не откладывая. Наркомфин должен изыскать источники финансирования. — Мельников назвал еще какие-то имена, говорил авторитетно, рисуя положение.

Когда Мельников вышел, я спросил Жабицкого, откуда он все это знает. Жабицкий сказал, что жена Мельникова, Мария Павловна, — сестра наркома Рабоче-крестьянской инспекции, сестра Мельниковой — замужем за шефом ГПУ Менжинским.

После этого разговора мне стало понятным, почему Мельников занимал ответственный пост в Днепрострое, несмотря на не раз обнаруживавшееся незнание элементарных техни-

ческих вопросов. Случалось, что он вместо ответа отсылал за справкой к своим сотрудникам, ссылаясь на занятость. Стало понятным и ироническое отношение его сотрудников к своему шефу, их усмешки и намеки на “потонувший” якобы на Свири вместе с баржей германский диплом Мельникова.

— Идемте к Ивану Гавриловичу! — сказал мне Викторов.

Когда мы пришли, Александров сообщил мне, что он, Викторов и Купер едут завтра в Крым к Председателю Совета Народных Комиссаров Рыкову. Купер должен сделать ему лично доклад. Мне опять предстояло играть роль переводчика. Я был неприятно поражен. Перспектива мне не улыбалась. Времени оставалось мало, я опасался, что мне будет устроена какая-нибудь политическая проверка. Однако делать нечего. Отказываться было бы еще опаснее. Я согласился.

Купер, Александров и Викторов встретились со мной на Курском вокзале. Ехали мы в особом салон-вагоне, который прицепили к курьерскому поезду. В вагоне оказался еще один спутник — начальник Главэлектро Цишевский, который сопровождал Александрова в Америке. Каждый из нас имел свое отдельное купе, но мы сидели по большей части вместе в салоне.

Купер был душой общества. Занимал нас рассказами, шутил. Александров и Викторов не отставали. Только Цишевский сидел, как надутая жаба... К вечеру я очень устал от постоянных переводов, пошел спать и заснул как убитый.

Когда я проснулся, мы подъезжали уже к Севастополю. Вид на Большую бухту сменялся темнотой туннелей. Лазурное небо, голубая вода и белые скалы. Старая, знакомая картина. Только на рейде не было кораблей. Думал ли я, что когда-нибудь вернусь сюда? Да еще с таким визитом!

На перроне нас встретили какие-то персоны и повели к выходу, где стояли два больших “роллс-ройса”. В один сели Купер, Александров и я, в другой — Цишевский и Викторов с “персонами”. Последние быстро тронулись вперед, мы за

ними. Вскоре мы выехали из города. Ехали Золотой долиной, я наслаждался чудным крымским пейзажем. Мягкие зеленые холмы там и сям, белые скалы, виноградники, спрятанные в зелени домики. Купер смотрел по сторонам, задавал мне вопросы. Я показал ему Балаклавскую бухту, упомянул Инкерман. Названия были ему не чужды. Он вспомнил даже "The charge of the light brigade"* Теннисона, чем немало удивил. Такого знакомства с литературой в нем я не предполагал.

Мы ехали в имение Мухалатка. Там, оказывается, был Дом отдыха членов правительства. Мухалатка расположена где-то между Форосом и Алупкой и раньше была имением миллионера-винодела.

Ландшафт приобретал все более и более живописный вид. Долина суживалась. Покрытые лесом склоны становились круче. Дорога извивалась, переходя с одной стороны на другую по переброшенным через ущелье мостам. Внизу каскады воды прыгали с камня на камень. Мы приближались к Байдарским воротам. Зная, какой эффект производит внезапно открывающаяся панорама при проезде через Ворота, я взглянул на Купера. Я не ошибся в своих ожиданиях.

Купер вскочил, рот у него раскрылся:

— Бог мой, — вскричал он, — это великолепно!

Узкий горизонт внезапно расширился, казалось, беспредельно, замыкаясь синей полосой моря. Спускающиеся от крутых скал склоны были покрыты сосновыми порослями, кипарисовыми рощами, виноградниками. Там и сям из зелени поднимались построенные из белого камня виллы. Прямо под нами на выступе скалы, но все еще высоко над морем стояла форосская церковь с золотыми куполами. Дорога спускалась серпантинами, то прижималась к горам, то исчезала за поворотом, то скрывалась в туннеле.

Мы проехали еще 10—20 километров и вдруг остановились перед шлагбаумом, закрывающим ответвление дороги в сторону. Из будки вышли два красноармейца, посмотрели какие-то бумаги, которые им показали в первом автомобиле. Шлагбаум подняли, мы поехали дальше. Скоро остановились

---

* "Атака легкой бригады" — стихотворение английского поэта А. Реннисона (1809—1892).

у второго шлагбаума. Тоже будка, тоже красноармейцы, опять проверка документов. На этот раз более тщательная — “персона” из первого автомобиля была приглашена в будку и пробыла там минут пять. Я увидел, что заграждение не ограничивалось только одним шлагбаумом. Направо и налево тянулись проволочные заграждения в три-четыре ряда. Там и сям стояли вышки с прожекторами. На вышках — часовые с ручными пулеметами. Наконец мы снова тронулись и проехали около полукилометра. Обсаженная с обеих сторон кипарисами дорога уперлась вдруг в монументальные барочные ворота. Металлическая решетка высокой изгороди была усилена колючей проволокой, за воротами — еще один шлагбаум. После переговоров ворота распахнулись, шлагбаум подняли, мы въехали. Автомобиль остановился, и нам предложили выйти.

Мы пошли по аллее, обсаженной цветущими олеандрами. Бросились в глаза лужайки, покрытые подстриженным газоном. Такой газон я не видал уже много лет после революции. Направо, в стороне, теннисный корт, обнесенный высокой металлической сеткой. Оттуда доносились голоса и слышны были удары ракетки. Навстречу нам шел человек, одетый в белые фланелевые брюки, в белых ботинках, в теннисной рубашке, с ракеткой в руках. Когда он подошел ближе, я раскрыл глаза от изумления: это был военный нарком Ворошилов! Я узнал его по многочисленным портретам на плакатах, намозоливших всем глаза в Советском Союзе. Но там мы всегда его видели если не в военной форме с буденновкой на голове, то по крайней мере в кожаной куртке, перекрещенной пулеметными лентами. Должно быть, изумление, обрисовавшееся у меня на лице, сыграло свою роль. Ворошилов внезапно свернул на боковую дорожку и зашагал к корту.

Мы подходили к портику виллы, украшенному пальмами. Навстречу вышел Г.М. Кржижановский, председатель Госплана СССР. Я узнал его сейчас же, так как видал раньше во время заседаний Плановой по Днепрострою комиссии.

Цишевский представил Купера и нас Кржижановскому. Мы вошли в вестибюль и прошли в большой зал. Зал был декорирован и обставлен в стиле ампир. Золото с белым. На полу большой, мягкий ковер, в котором утопала нога. На стенах несколько картин в золоченых рамах. Мы шли дальше.

Всюду чистота, блестящий паркет. Кржижановский вывел нас на террасу. Открывавшийся оттуда вид был прекрасен. Прямо перед нами простирался большой, формальный сад, замыкавшийся по сторонам подстриженными боскетами. Волюты и лучи этого цветочного ковра обрамляли расположенный в середине действующий фонтан. Этот цветник был окружен с трех сторон обширным парком английского типа. Четвертую, замыкающую сторону образовывало море. Темно-синее небо с небольшими белыми барашками и лазурное море завершали картину.

Пока мы любовались этим видом, на террасу вошла хорошо одетая дама. Кржижановский представил нас ей. Оказалось, что это его жена. Она пригласила нас к стоящему на террасе накрытому столу.

Сервировка стола была безупречна, начиная с белоснежной скатерти и накрахмаленных салфеток на тарелках и кончая хрусталем бокалов и цветами у каждого прибора. Сервировке отвечало меню, начавшееся закусками и водкой. Я обратил внимание на присутствие рябиновки, любимой водки Купера. По-видимому, вкусы его были известны. Прислуживала за столом горничная, одетая в темное платье, белый передничек, с такой же белой наколкой на голове. Вина, превосходные крымские, разносил лакей в черном пиджаке.

Я сидел между Купером и Кржижановским. Разговор за столом шел в общем, “о погоде”. Серьезных тем не затрагивали. После десерта Кржижановская распростилась с нами. Подали сигары (гаванские), херес и портвейн (импортные).

После обеда было заявлено, что нарком готов принять нас. Мы пошли. Повел нас Цишевский, так как Кржижановский тут же откланялся и ушел. Когда мы вошли в кабинет, Цишевский взял меня под руку, отвел в сторону и сказал:

— Товарищ Спроге, когда вы будете переводить, не называйте товарища Рыкова по-английски “товарищ”, а говорите всегда “господин премьер-министр”. Понятно?

Я подтвердил.

Скоро дверь открылась, и Рыков вошел. Мы поднялись со своих мест. В отличие от Кржижановского, Цишевского и Викторова, которые здесь были одеты по-европейски, Рыков был одет в русскую рубашку с вышитым воротничком, под-

поясанную шнуром с кисточками. Мы поздоровались и заняли свои места в больших кожаных креслах. Оглядевшись, я увидел на стене большой портрет Ленина. Это мне напомнило, что я нахожусь у большевиков.

Я не мог не обратить внимание на новую манеру Купера: подавая руку Рыкову, он вытянулся и чуть ли не шаркнул ногой. Сел он как-то на краешек кресла, положив свои веснушчатые руки на колени. На вопросы отвечал отрывисто, как солдат, рапортующий командиру. Несмотря на эту комедию, ответы его на вопросы Рыкова были, как всегда, содержательны, полны и точно сформулированы.

Рыков спросил Купера о том, какого мнения он о правильности решения поставленных проектом Александрова задач, о качестве самого проекта и его разработке. Я заметил, что Рыков страшно заикается и говорит приблизительно так:

— С-с-с-к-к-к.. ска...ж-ж-жите... п-п-п-п-по...

Купер подтвердил исключительную экономичность проекта и безукоризненное качество его разработки. Дальнейшие вопросы Рыкова касались срока постройки и других деталей. Очень интересен был вопрос Рыкова и ответ Купера о том, какие капиталовложения потребуются в индустрию района, чтобы полностью и эффективно использовать энергию Днепростроя. Купер сказал, что американский опыт показал, что каждый доллар, вложенный в гидростанцию такого пионерного типа, привлекает девять долларов капиталовложений в индустрию.

Рыков, по-видимому, удовлетворился ответами Купера, встал и распрощался с нами. Мы вышли. У входа нас ожидали автомобили. Дальнейшее направление было на Ялту, где нам подготовили комнаты в гостинице “Россия”.

По дороге в Ялту я снова взял на себя роль гида, показывая Куперу и описывая достопримечательности Южного берега Крыма. Мы заехали на Ласточкино Гнездо, стоявшее на высокой скале. Отсюда отправились в Ливадию, которая, как известно, была раньше царской резиденцией. В самой Ливадии я, конечно, раньше не бывал, но, будучи еще гимназистом, проживал рядом, в непосредственно граничащем Мукурларе. Поэтому я легко мог сравнить легкую охрану в виде редко рас-

ставленных отдельных часовых этой царской резиденции с тем, что я видел в Мухалатке. Мне припомнился еще один эпизод из этого времени. 1910 год, у Ялтинского мола пришвартована императорская яхта “Штандарт”. На молу внизу у поднимающегося наверх трапа будка и перед ней один матрос-часовой. Я подошел ближе, желая сфотографировать яхту. В этот момент подъехало несколько автомобилей, и из них в сопровождении ряда офицеров начала выходить царская семья во главе с самим Императором. Они подошли к трапу и стали подниматься наверх. Я снял свою гимназическую фуражку. Императрица заметила меня и слегка кивнула головой.

Какой контраст с охраной “вождей народа” в Мухалатке!

Нас поместили в гостинице “Россия”. Здесь все находилось в руках “Интуриста” и поэтому мало отличалось от того, что было в дореволюционное время. После волнений и впечатлений дня я спал плохо, заснул только под утро.

После завтрака мы пошли с Купером посмотреть Ялту. На набережной зашли в магазин купить открытки. Купер набрал штук тридцать-сорок с видами Ялты и Крыма. Я спросил цену. Когда я сказал Куперу, что они стоят 50 копеек штука, он пришел в ярость, с треском швырнул открытки на прилавок и вскричал:

— Что они меня, за идиота, что ли, считают?! Открыткам красная цена десять копеек штука!

Он повернулся и вышел, долго еще ругаясь по дороге.

В полдень мы выехали назад в Севастополь. По пути решили посетить Алупку с ее замечательным дворцом, парком и знаменитой Львиной террасой. Дворец был теперь превращен в музей и открыт для публики. Когда мы приехали, оказалось, что музей по какой-то причине закрыт. Цишевский пошел разыскивать директора музея, который вскоре появился с ключами.

Пока мы ждали впуска, к воротам подъехал еще один большой автомобиль, в котором сидели две странные фигуры. Одна из них — старик с круглым лицом, одутловатыми щеками, покрытыми щетиной по крайней мере не менее трех дней давности. Одет он был в длинную русскую рубашку

навыпуск. Объемистый живот подвязан шнурком. Рубашка невообразимо грязна. Расстегнутый ворот обнажал толстую шею и ряд подбородков. Сопровождающая его женщина выглядела так же непривлекательно, тоже стара, толста, безобразна и неряшлива.

Увидев их, Купер ткнул меня пальцем в бок, мигнул глазом в их сторону и прошептал:

— Look! Look! Mad jew! Who are they?*

Удовлетворить его любопытство я не мог. Двери открыли, и мы пошли за хранителем музея. Странная пара шла за нами.

Во время осмотра я рассказал Куперу частью то, что сам знал о дворце и Воронцове-Дашкове, частью то, что нам сообщил хранитель музея. Дворец был построен по проекту знаменитого архитектора Барри, строителя зданий парламента в Вестминстере и Лондоне. Этим объясняется стиль тюдоровской готики, преобладающий в постройке. Только знаменитая терраса с великолепными мраморными львами, выходящая на море, использует мавританские мотивы. Такая эклектика только благодаря исключительному гению строителя создала стройный и великолепный ансамбль.

Купер восторгался всем виденным. В одном из залов на стене висел портрет графа Воронцова-Дашкова. Я сказал, что это бывший владелец. Купер отвесил портрету глубокий поклон.

— Я хочу этим выразить мое восхищение его вкусом, — заявил он.

Посмотреть парк и “Хаос” мы, к сожалению, не смогли и поехали дальше. На этот раз мы все, несмотря на сопротивление Цишевского, заехали посмотреть форосскую церковь. Она была заброшена, запущена и ободрана внутри. Поднимаясь по каменной лестнице на площадку, где стояли наши автомобили, мы были вынуждены сойти в сторону и прыгать с камня на камень, так как ступени лестницы использовались “торжествующим пролетариатом” для весьма прозаического назначения. Купер с отвращением выругался и плюнул.

Вскоре мы приехали в Севастополь. Здесь я увидел, что памятник адмиралу Корнилову и матросу Кошке снесен. Графская пристань и гостиница “Киста” сохранились. Очень хо-

---

* Вы только поглядите! Сумасшедшие евреи! Кто они? (*англ.*)

телось походить по городу, с которым у меня было связано столько воспоминаний, но это не удалось. Мы пообедали на Приморском бульваре.

Наш поезд уходил в 7 часов вечера. К моему удивлению, салон-вагон отсутствовал, и нас разместили в купе спального вагона бывшего Международного общества. Купе были двухместные, и меня поместили с Купером.

Пока я устраивался, Купер вышел в коридор, но не прошло и минуты, как он вскочил назад, радостно возбужденный и улыбаясь во весь рот.

— Он здесь, он здесь! Mad jew! — вскричал он. — Теперь вы познакомите меня с ним. Ну идите! Идите же!

Мне ничего не оставалось, как выполнить его просьбу. Я пошел неохотно. В коридоре этой персоны не оказалось. Я заглянул в купе. Он сидел все в той же грязной рубахе и читал какую-то книгу. Я передал ему просьбу Купера, сказав, что Купер — крупный американский инженер, строитель плотины Вильсона и других больших гидростанций. Упомянул, что он только что был принят т. Рыковым.

“Персона” неохотно отложила свою книгу и не слишком любезно сказала:

— Пусть приходит.

Я пошел за Купером. Последний вскочил, довольный и оживленный, и пошел за мной. В дверях он остановился, глубоко поклонился, протянул руку, еле пожатую “персоной”, и сказал:

— Я американский инженер. Проехал три тысячи миль, чтобы прибыть сюда. Здесь все интересует меня. Расскажите мне о России, и я с удовольствием расскажу вам об Америке, которая, безусловно, интересует вас.

В ответ на это “персона” заявила:

— Америка совсем не интересует меня!

Неожиданность ответа поразила Купера. Он подпрыгнул на месте, хлопнул себя по ляжкам и вскричал:

— Да это просто великолепно! Ужасно интересно! Первый раз встречаю человека, который не интересуется Америкой! Вы, несомненно, были там?

— Нет, я не был, но я знаю все, что нужно.

— Вот как! А что же вы знаете?

На это “персона” заявила ему, что ей прекрасно извест-

но, что Америка — страна самого худшего сорта капитализма. Население ее бессовестно эксплуатируется трестами и картелями и т.д.

Когда я перевел это, Купер пришел в ярость и сказал:

— Да откуда вы это все взяли, раз вы сами никогда в Америке не были?

На это последовал ответ:

— Из книг, из многочисленных публикаций!

— Скажите ему, что все эти книги сумасшедшие. Все это фантазия, ложь и вздор! Невероятная чепуха!

Разговор начал принимать неприятный оборот. Во избежание скандала и неприятных последствий я начал смягчать в переводе формулировки. Я сказал, что Купер сомневается в добросовестности таких книг, считает, что положение вещей в Америке отображено искаженно. “Персона” со своей стороны тоже начала беситься. Что-то бормотала себе под нос. Я сидел, зажатый между двумя озлобленными стариками, не зная, что делать. При этом они сначала сидели лицом к лицу, теперь повернулись спиной.

Купер взял себя в руки и обратился к “персоне” с вопросом, кто он по профессии. Тот заявил, что он председатель Контрольной комиссии партии. Я был ошеломлен. Вот этого еще недоставало! “Персона” оказалась не кем другим, как сверхчекистом.

Тут я несколько смешался и сделал ляпсус в переводе, назвав Контрольную комиссию по-английски Верховным партийным судом (Supreme Party Court). Эта неточность дала возможность Куперу поставить следующий вопрос:

— Председатель Высшего партийного суда! Так вы юрист?

— Нет, я не юрист. У нас судья не должен быть непременно юристом. Суд судит, руководствуясь классовым самосознанием и социалистической совестью!

На это последовала негодующая тирада Купера:

— Как может Верховный судья не быть юристом? Он должен знать законы, а то он все переврет!

В сторону мне:

— Говорил я вам, что он сумасшедший.

Дальнейший разговор перешел в перебранку. Купер, заметив, что я смягчаю в переводе его выражения, стал требовать буквального перевода.

Наконец он овладел собой, встал, поправил выскочивший из жилета галстук, поклонился и сказал уже совершенно спокойным тоном:

— Я искренне благодарен вам за интересный разговор. Я всегда готов возобновить нашу дискуссию, если вы этого пожелаете. Снова благодарю вас за вашу любезность.

Мы вышли. Возвратясь в свое купе, Купер сказал:

— Говорил я вам с самого начала, что он сумасшедший. Ведь я оказался прав.

В заключение этого эпизода можно только прибавить, что я потом узнал имя нашего собеседника. Это действительно была важная коммунистическая персона. Один из "ленинской гвардии", некий Сольц. Впоследствии он, так же как и Рыков, был ликвидирован в порядке партийной склоки.

В Харькове обнаружилось, что у нашего спального вагона загорелась букса. Нас высадили. В результате разных переговоров, из-за которых поезд задержали не меньше чем на два часа, к нему прицепили старый трехосный вагон. Туда посадили Купера и, конечно, меня. Очевидно, этот отдельный вагон рассматривался как замена салона для Купера. Остальные разместились в других вагонах переполненного поезда. Наш "салон" был полон пыли и освещался свечами. Полностью мы оценили "комфорт" этого вагона, когда легли спать. Изголодавшиеся сонмы клопов набросились на нас со всех сторон. Я стонал и ворочался, пытаясь заснуть. Только под утро я забылся на короткое время, а когда проснулся, Купер сидел уже чисто выбритый, умытый и свеженький и даже не жаловался.

По приезде в Москву я узнал, что нам предстоит еще один визит. На этот раз к председателю Высшего Совета Народного Хозяйства Куйбышеву. Снова я должен был сопровождать Купера. Это значило посещение "запретного Кремля". Поехали мы туда только втроем: Купер, Цишевский и я. Впустили нас через Никольские ворота после телефонного запроса. Сейчас же за воротами наши пропуска были снова проверены. Совет Народных Комиссаров помещался в зда-

нии прежних Судебных Установлений. В вестибюле последовала новая тщательная проверка документов и пропусков, предъявленных Цишевским, и новый телефонный запрос. Та же процедура повторилась, когда мы вышли из лифта. Наконец мы попали в кабинет Куйбышева.

Куйбышев был одет в обычную большевицкую форму — френч, рейтузы и высокие сапоги. Мне бросилась в глаза его большая шарообразная голова. Разговор с ним не принес новых впечатлений. Доклад и манера Купера стали повторением того, что было в Мухалатке.

Когда мы вышли из Совнаркома, я заметил, что кремлевские площади асфальтированы, чего не было раньше. Вдали я увидел Царь-пушку и Царь-колокол на прежних местах.

— Кто это — Сталин? — спросил меня Купер. — Я должен сегодня ехать к нему.

Хотя это был уже конец 1926 года, я услышал это имя в первый раз. Ленин, Троцкий, Ворошилов, Рыков и другие, более мелкие звезды советского политического экрана были мне известны. Дзержинский, Менжинский не давали забыть о себе. Но Сталин... Никогда не слыхал! Правда, мы вращались в кругу, не имеющем никакого неофициального контакта с партийными, но все же — теперь это кажется просто невероятным — имя Сталина большинству советского населения было в то время совершенно неизвестно.

— Слушайте, Дмитрий Константинович, — обратился я к вошедшему в этот момент Жабицкому. — Купер меня спрашивает, кто такой Сталин. Можете ли вы объяснить ему?

Жабицкий сказал, что Сталин — это Первый секретарь партии. Практически главное лицо в ней. Все кардинальные решения правительства согласуются с ним. Я передал Куперу содержание объяснений Жабицкого.

— А, понимаю, — вскричал он. — Это то же, что и у нас в Нью-Йорке! Таммани-Холл! И босс Таммани-Холл — Мерфи? Сталин — такой же босс!

На другой день я смог наконец возвратиться в Харьков. После большой политики — мелкие советские тревоги и заботы. К тому же предательство и шантаж Гали были еще свежи в памяти.

Решение о Днепрострое было принято и объявлено официально. Назначено Правление из трех лиц: председатель — Квиринг, заместитель его — Викторов, член — И.Г. Александров. Первые два, конечно, коммунисты. При Правлении — технический совет под председательством и руководством Александрова. В распоряжении Правления технический отдел. Технический отдел Правления должен был вести всю генеральную проектировку, все исследования и инспекцию строительных работ. Здесь же должна числиться иностранная консультация. В Кичкасе организовывалось управление строительных работ. Начальником был назначен инженер-электрик А.В. Винтер, как говорили, личный друг Рыкова, бывший коммунист. Его заместителем стал инженер-путеец Б.Е. Веденеев, только что закончивший строительство Волховской гидростанции.

Такая сложная и громоздкая структура управления объяснялась вовсе не грандиозностью строительства, а только типичным для большевизма недоверием к техническому персоналу и попыткой введения, таким образом, перекрестного контроля. Это неизбежно должно было привести к столкновению и спорам, особенно ввиду неясного разделения функций и ответственности отдельных частей организации.

Профессор Александров приехал в Харьков и предложил мне место заместителя начальника технического отдела и заведующего проектным подотделом Правления Днепростроя. Он сообщил мне, что начальником технического отдела будет Мельников, так как Заорский уходит по личным соображениям. Предложение казалось лестным и очень обрадовало меня, но, с другой стороны, вызывало некоторые опасения. Меня смущала моя молодость. Ведь прошло всего пять лет, как я получил диплом. Как отнесутся ко мне видные инженеры, такие, как Кнорре, Бовин и другие, имеющие зачастую профессорские знания и многолетнюю практику? Желание уехать из Харькова, возвращение куда принесло мне столько беспокойства и опасностей, и в некоторой степени предложенный мне оклад в 600 рублей червонцами, т.е. по золотому паритету, сыграли свою роль — я согласился.

Мои опасения оказались необоснованными. Весь персонал Днепростроя встретил меня в Москве более чем привет-

ливо. Профессор В.Т. Бовин пригласил меня к себе домой, и, когда я ему откровенно рассказал о своих тревогах, он сказал:

— Успокойтесь, Василий Эмильевич. Ваше приглашение не только идея Ивана Гавриловича, но и наша общая. Ведь мы вас хорошо знаем. Совместная почти двухлетняя работа в экспертизах сделала вас как бы старым нашим сотрудником. Мы все, без исключения, одобрили выбор Александрова.

Исключение, впрочем, было — А.И. Мельников. Но он молчал.

Уже в декабре 1926 года я приехал в Москву и вступил в должность. Семья пока осталась в Харькове.

Сейчас же по приезде я получил задание срочно, в течение трех дней, разработать критику и возражения на поступивший непосредственно от председателя Госплана СССР Кржижановского проект нового варианта Днепростроя. Этот проект, предусматривающий перенос плотины вниз по течению, к острову Хортица, сводил на нет всю проделанную Днепростроем работу. Этот новый вариант был выдвинут бывшим сотрудником Днепростроя инженером Могилко. Могилко, близко стоявший к коммунистам, поссорился с Александровым и стал его яростным врагом.

Нападение было рассчитано неприятелями Александрова очень ловко и внесено как раз перед приступом к работам, так чтобы на рассмотрение и критику оставалось минимальное количество времени. Для меня это оказалось очень тяжелой пробой. Только благодаря дружной работе всего проектного отдела я был готов со своими возражениями и разработками ко дню заседания.

На заседание, председательство на котором вместо Александрова взял на себя сам Кржижановский, пригласили всех записных врагов Днепростроя и Александрова. Американская консультация, напротив, не была приглашена совсем.

После выступления Могилко наступила моя очередь. Путем демонстрации сравнительных чертежей и расчетов для обоих вариантов я смог убедительно доказать полную необоснованность изменения уже принятого решения. Дополнительный удар варианту Могилко нанесла геология. Мы только что

получили геологический профиль для места плотины по этому варианту. Оказалось, что тут совершенно отсутствует возможность устройства основания плотины на скале.

Положение стало настолько ясно всем, что Кржижановскому не оставалось ничего другого, как отклонить вариант Могилко.

Такие проволочки, интриги и подкопы, очень вредные для дела и весьма опасные для тех, кто действительно отдается творческой работе, как мне пришлось убеждаться не раз потом, были правилом в Советском Союзе. Они являлись всегда следствием ожесточенной — иногда скрытой, иногда явной — внутрипартийной борьбы.

Надо было устраиваться в Москве и искать квартиру. Положение почти безнадежное. Уповал только на так называемых застройщиков. Надо, однако, объяснить, что подразумевалось под термином “застройщик”.

Плановое социалистическое строительство привело к тому, что жилищный фонд не только не увеличивался в связи с приростом населения, но даже уменьшался. Плата за квартиры взималась не по их действительной стоимости, учитывающей амортизацию и ремонт, а по “социальному положению” квартирантов. Дома постепенно разрушались из-за отсутствия ремонта. Новые не строились совсем. Увеличение числа отдельных квартир производилось процессом, известным из биологии, — делением клеточек. Квартиры делились сначала пополам. Далее на отдельные комнаты. Одна комната — одна семья. Далее комнаты делились на части. “Капитально” деление производилось при помощи фанерных перегородок, более яростно — шкафами. Все это было деление вертикальными плоскостями, но известны случаи, когда в богатых и высоких особняках комнаты делились горизонтальными плоскостями путем устройства помостов.

В середине 20-х годов положение стало совершенно невозможным. Выход из него был найден — частным лицам разрешили за свой счет и на свой риск ремонтировать ставшие нежилыми помещения, руины, сараи, конюшни и т.д. При этом лица эти получали право сдавать в аренду нововыстроенные помещения, назначая плату по собственному усмотре-

нию и беря так называемые въездные. Таким образом, как это всегда бывает при социализме, зашедшем в тупик, решение находилось в уступках “изжитому” капитализму.

Такие предприниматели-“застройщики” нашлись и действительно принесли облегчение. Правда, в скором времени они были также ликвидированы, как и другие “нэпманы”. Пока, однако, “новая экономическая политика” — нэп — не была еще отменена, и я возлагал все мое надежды на “застройщиков”.

Работы как у нас в управлении, так и у американцев шли лихорадочным темпом. В первую очередь технический совет должен был утвердить план и методы производства работ. Постройка высокой бетонной плотины поперек мощной водоносной реки не имела примера в европейской практике. Только разве в мировой практике плотина Вильсона и Асуан в Египте могли считаться за прецедент.

К моему удивлению, оказалось, что Купер не единственный иностранный консультант. Помимо него была привлечена консультация немецкой фирмы “Сименс-Бау Унион”. Это казалось тем более странно, что Купер должен был не только консультировать, но и руководить всеми работами, снабжая строительство даже рабочими чертежами. Такое сведение его роли единственно к роли советчика не только снимало с него ответственность, но и стояло в полном противоречии с громадной суммой платежей по договору с ним. Мне известно, что по договору он должен был получить 5 миллионов долларов, которые ему потом и уплатили. Несуразность приглашения второй консультации объяснялась обычным советским недоверием и уже упомянутой мною системой перекрестного контроля. Назначенный начальником работ А.В. Винтер, имевший большие партийные связи и к тому же сам бывший служащий “Сименса”, был, несомненно, виновен в этом. Как показало будущее, не только 800 тысяч рублей золотом, заплаченные “Сименсу”, оказались выброшены бесполезно, но и упрямые попытки Винтера протащить идеи “Сименс-Бау” хотя бы частично обошлись очень дорого строительству. Не менее пары миллионов, если считать только заказ ненужного оборудования.

К заседанию технического совета “Сименс-Бау” представила свой план. С внешней стороны это было совершенство. Книга большого формата, страниц триста, напечатанная на меловой бумаге, переплетенная в мягкий красный переплет с золотым тиснением, иллюстрированная фотографиями из каталогов “Сименса”. К книге приложена такая же папка с чертежами, напечатанными в красках. Содержание, однако, оставляло желать много лучшего. Не останавливаясь на деталях, можно указать на три главных элемента этого плана: 1) применение бетонных перемычек; 2) бетонирование плотины при помощи громадного кабельного крана с жесткой распоркой, пролетом 100 метров и высотой 50 метров, но с ничтожной подъемной силой — всего 5 тонн; 3) пропуск воды во время постройки через донные отверстия в плотине.

План был разработан в Берлине без того, чтобы кто-нибудь из сименсовских инженеров посетил место постройки. Хотя “Сименс” — старая, с солидной репутацией электротехническая фирма, нельзя того же сказать о ее филиале — строительной фирме “Сименс-Бау Унион”, новой организации без опыта строительства на больших реках. Это объясняет целый ряд ляпсусов ее плана, которые были замечены уже при первом просмотре материалов русскими инженерами. Нашлись и другие промахи, которые можно было объяснить только спешной работой. Проверяя устойчивость предложенного “Сименс-Бау” крана, мы установили, что он опрокидывается ветром.

Заседание технического совета открылось под председательством И.Г. Александрова. Когда слово предоставили Куперу, меня, как всегда, просили переводить.

Купер, знакомый с планом “Сименс-Бау”, начал свой доклад так:

— Джентльмены, то, что я сейчас вам продемонстрирую, и то, что вы услышите от меня, совершенно необычно. Никогда во время своей обширной и многолетней практики я не разрабатывал план производства работ так детально и никогда не предоставлял такой громадный материал утверждающим инстанциям. В самом деле, вы увидите здесь не только 15 листов синек! Я повторяю: 15 листов синек! Мало этого, к ним приложена еще одна большая таблица!

После этого язвительного выпада в сторону “Сименса” Купер перешел к изложению своего плана. Основными чертами его были: 1) ряжевые перемычки; 2) применение для бетонирования плотины локомотивных кранов с подъемной силой 40 тонн и 3) пропуск воды во время постройки методом, изобретенным Купером и впервые примененным им на Миссисипи при постройке плотины Кеокук, а потом на плотине Вильсона. Этот метод, исключительно удобный при постройках на многоводных реках, получил в России название “гребенка” и позже стал стандартным, будучи потом примененным на всех плотинах — на Волге, Днепре, Ангаре и т.д.

В последовавшей дискуссии на защиту плана “Сименса” выступил только один А.В. Винтер. Не будучи строителем, он не смог сколько-нибудь убедительно аргументировать свою позицию. Даже его собственные сотрудники во главе с Веденеевым выступили за принятие плана Купера. Выступление Веденеева из-за тактических соображений не могло быть достаточно определенно и категорично, что заставило Александрова наконец сказать:

— Слушайте, Борис Евгеньевич, в конце концов, строить придется вам. За какой план вы окончательно?

Веденеев встал, краснея и переваливаясь с ноги на ногу, и сказал, исподтишка поглядывая на Винтера:

— Если бы разговор шел только обо мне, то я, конечно, принял бы американский план. Но поскольку существует и другой план, я, должен попробовать и другой, хотя бы частично.

После этого американским и германским консультантам было предложено попытаться согласовать по возможности их планы. Консультанты удалились. Когда они вернулись, и заседание возобновилось, Купер заявил:

— Мы совещались с “Бау Унионом” и в результате пришли к полному согласию! Мы единодушно согласились, что наши планы так же невозможно смешать, как воду и масло!

Результатом заседания технического совета стала резолюция о принятии в основу плана американской консультации и о заказе оборудования, намеченного этим планом.

Подготовительные работы в той части, которая могла быть выполнена, не ожидая прибытия американского оборудования, развернулись полностью. Планировалась строительная площадка, строился поселок для технического персонала. Я часто ездил на строительство, проверяя разбивку работ геодезистами. Иногда мне удавалось заезжать в Харьков, где оставалась моя семья. Поездки в Кичкас были весьма комфортабельны. Правление Днепростроя арендовало у НКПС салон-вагон, который каждый раз прицеплялся к курьерскому поезду. В Кичкасе вагон ставили на запасной путь, и мы оставались в нем ночевать. Вагон, между прочим, принадлежал раньше Царскому поезду и был отделан весьма шикарно. Комфорт вагона стал причиной того, что мы часто подвозили в нем "гостей" — большей частью второстепенных членов Украинского правительства, едущих в Харьков. Иногда это были интересные встречи.

Я всегда сопровождал И.Г. Александрова во всех его поездках. Часто с нами ездил и Б.К. Викторов. Как-то раз он захватил с собой Вильяма Мак-Киббена. Было интересно познакомиться с ним ближе. Оказалось, он принадлежал тоже к "мокрым" путейцам и заведовал сейчас исследованиями реки Лены в Сибири. Мак-Киббен почти не говорил по-английски и отзывался на прозвище Васька.

В одну из таких поездок случился забавный инцидент. Наш поезд уже отходил от Курского вокзала. Я стоял на площадке вагона и вдруг заметил бегущего по платформе и размахивающего руками Викторова. Он едва умудрился вскочить на площадку. В сущности, если бы я не схватил его за воротник и не втащил в вагон, дело могло бы кончиться весьма печально. Поставив его на ноги и заметив, что он был более чем навеселе, я пошел в свое купе.

Не прошло и минуты, как Викторов появился у меня:

— Василий Эмильевич, чего вы тут сидите один? Идем ко мне!

Я пошел за ним. В купе у него сидел на диване нарком финансов Украины Каттель. Викторов посадил меня рядом с ним, а сам сел на пол, поджав под себя ноги.

— Вы только посмотрите, Василий Эмильевич! — сказал он, ткнув в Каттеля указательным пальцем. — Борода лопатой! Рубашка навыпуск! Сапоги! Настоящий ярославский мужик! Ха-ха!

Каттель криво улыбнулся:

— Ах, Борис, я ведь знаю, что ты антисемит! Знаю, знаю!

Видно было, что Каттелю не очень нравилась игривость Викторова, но последний не унимался. При первой возможности я постарался уйти.

В вагоне, кроме Каттеля, оказался другой харьковец — заместитель председателя Госплана УССР А.И. Ашупп-Ильзен. Еще в бытность мою в Госплане я знал о его приверженности бутылочке, и теперь я мог убедиться в этом воочию. К вечеру, когда они все собрались в салоне, попойка возобновилась. Разговор и хохот становились все шумнее. И.Г. Александров и я вынуждены были тоже выпить по стаканчику, упорно отказываясь следовать их примеру дальше.

Настойчиво пристававший ко мне Ашупп-Ильзен погрозил мне строго пальцем и заплетающимся языком пробормотал:

— Ах ты, Спроге! Знаю я, что ты... тер-р...р-р...рорист!

Что это значило? Была ли это просто пьяная болтовня или в самом деле он знал что-нибудь обо мне?

В Харькове Викторов и его приятели вышли, и мы могли доехать до Кичкаса в спокойной обстановке.

Весьма странным в это время было положение представителей профессиональной интеллигенции, главным образом инженеров. Мы, так называемые спецы, вели двойную жизнь. С одной стороны, в наших технических бюро мы пользовались уважением, имели авторитет и часто большие полномочия. Мы были окружены воспитанными и образованными людьми. Вмешательство партийных элементов в жизнь и работу было лишь спорадичным и переносилось нами как неприятное, но стихийное, от Бога или природы обстоятельство. Что-то вроде холодного дождя или слякоти на улице. Бывало, иногда налетали циклоны и смерчи, как, например, “Шахтинское дело”, но кто из живущих у подножия вулкана думает постоянно о возможности извержения? Некоторые из нас имели к тому же интересную и захватывающую работу, как это было со мной. Даже оплата труда — правда, только на более высоких постах — стала к концу 20-х годов сравнительно приличной.

Но стоило выйти из дверей своего учреждения, сесть на трамвай и прийти домой, как все изменялось радикально. Белый воротничок выдавал вас. Показывал, что вы принадлежите к обреченному классу, к “паразитам”, “недорезанным буржуям”. Вас толкали и оскорбляли на каждом шагу. Озлобленный и разочарованный пролетариат, получивший вместо “социалистического рая” только новые цепи, срывал свое негодование на вас. Этому способствовала коммунистическая пропаганда, ищущая козлов отпущения. Беда была тому, кто переставал быть “незаменимым”. Советская власть всегда могла использовать его как очередную жертву в каком-нибудь процессе “вредителей” или “врагов народа”.

Квартирный вопрос получил если не разрешение, то по крайней мере отсрочку, позволяющую мне заняться переводом семьи из Харькова в Москву. Совершенно неожиданно Мельников предложил мне снять пополам, вместе с ним дачу в Сокольниках. Дача была очень хороша. Каждый из нас получал по две большие комнаты. Кроме того, для совместного пользования оставались обширная терраса и службы. Я согласился, радуясь возможности соединиться с семьей и обеспечить детям лето на свежем воздухе. У Мельникова был тоже маленький сын, возраста моей дочки, т.е. пяти лет.

Казалось, удачное решение было, однако, сведено почти на нет. Причиной стала супруга Мельникова, Мария Павловна. Я уже упоминал о ее родственных связях с высокими персонами советского Олимпа. Она не преминула сейчас же после приезда об этом напомнить. Само по себе это было бы ничего. Плохо то, что она считала, будто ее привилегированное положение дает ей право третировать окружающих самым возмутительным образом, говорить им в лицо самые невозможные дерзости. Особенно страдали от нее кроме нас ее прислуга и супруг А.И. Мельников. Бедняга дорого платил за свою незаслуженную карьеру! Ее обращение с прислугой надо было видеть, чтобы поверить. Сидя на нашем конце длинной террасы, мы могли каждый день наблюдать ритуал приема отчета от прислуги о произведенных покупках. Надев лайковые перчатки (прикасаться иначе к деньгам, по ее словам, было невозможно — деньги переносят заразу), она пере-

считывала каждую копейку. В случае расхождения в счете поднимался крик, сопровождаемый хлопаньем рукой по столу. Несчастная девушка дрожала, бледнела и краснела, слезы катились у нее по щекам. Мы не могли сначала понять, как подобное обращение могло быть возможным в стране "торжествующего пролетариата". Потом стало ясно. Девушка была раскулаченная крестьянка, вероятно, поставленная на место шурином Марии Павловны.

Несмотря на всю нашу осторожность, избежать конфликтов не удалось. Дело дошло до полного разрыва "дипломатических отношений", весьма неприятного для меня и для Мельникова. В конце концов, формально я был его заместителем. На службе Мельников старался по возможности сгладить шероховатости. Я со своей стороны шел в этом ему навстречу.

Мы вздохнули облегченно, когда мне осенью удалось найти квартиру у "застройщика" тут же, в Сокольниках.

Первые два года постройки Днепростроя сыграли решающую роль в моей инженерной карьере, пополнив теоретическую подготовку тем, что американцы называют know how. Мне очень помогли мои близкие и дружеские отношения с американскими инженерами. В противоположность некоторым из моих коллег я никогда не ставил американцам вопросов с единственной целью озадачить их или проверить их теоретические познания. Я старался усвоить как можно больше из их богатого практического опыта. С американской стороны я встретил полное понимание и сочувствие. Каждый раз, когда я приезжал на место работ, шеф американской консультации инженер М. Томпсон в своем автомобиле часами возил меня по всем уголкам грандиозной постройки, делая свои критические замечания и давая пояснения. Материала для критики, особенно в первое время, было достаточно. Винтер вопреки постановлению технического совета и рекомендации американской консультации заказал специальное оборудование у "Сименса" и пытался соорудить на левом берегу бетонные перемычки, предложенные этой фирмой. Заделанные в валунное дно Днепра, перемычки опрокинулись и развалились. Дорогое оборудование для их сооружения осталось

лежать на складах и бесполезно ржавело. Только влиятельные коммунистические связи спасли Винтера от неприятных последствий. Всякого другого инженера уже давно на показательном суде обвинили бы во вредительстве и расстреляли. Была, однако, и положительная сторона в этой истории. Попытки протащить какие-нибудь предложения "Сименса" провалились окончательно к большому облегчению строителей, включая и самого Веденеева. Оставалось только часто неумелое использование американских идей механизмов, что было понятно, принимая во внимание новизну таких методов для русских инженеров. Со временем это должно было сгладиться.

В самом начале строительства Купер предложил Правлению Днепростроя отправить меня к нему на год в Америку для ознакомления на месте с американскими постройками и работой в его нью-йоркском бюро. Правление согласилось. Когда Викторов, теперь уже председатель Правления, вызвал меня и сделал это предложение, я был ошеломлен. Это осуществление мечты моей жизни! Но как я мог согласиться? Поездке советских граждан за границу предшествовала предварительная политическая проверка. Сначала заполнялась обширная анкета. Кроме данных о "социальном" происхождении, требовалось приведение всех адресов мест пребывания за 20 лет. ГПУ проверяло все эти анкеты и адреса месяцами. Для меня это было совершенно невозможно. Всплыла бы и моя "дипломатическая" служба в Крыму, процесс в революционном трибунале моих родителей и мое участие в Белой армии. Как ни горько это было, я решил отказаться от предложения. Свой отказ я мотивировал тяжкой болезнью отца.

Мне не оставалось ничего другого, как компенсировать себя тем, что я мог узнать от американцев на нашей постройке. В самом деле, я знакомился здесь не только с американскими методами, но и с русскими ошибками в их применении. Мог воочию видеть то, что мы шутя называли "коэффициентом косолапости".

Руководимый мною проектный подотдел технического совета успешно закончил проработку частичного изменения американского плана работ путем применения дополнитель-

но к локомотивным кранам вантовых дерриков. Предложения эти были приняты, и я мог теперь включить в свою работу разработку предварительного проекта использования Нижнего Днепра от Запорожья до Херсона.

В связи с этим я часто объезжал Нижний Днепр от Кичкаса до Херсона на моторной лодке. В одну из таких поездок, отъехав от Кичкаса, я взял рулевое колесо из рук моториста и правил сам. Я направлял лодку по вехам того, что в воднопутейской практике называется “обстановкой” фарватера. Мы были на середине Днепра, бывшего в этом месте шириною больше километра. Вдруг непосредственно перед собой я заметил понижение поверхности воды — следствие ускорения течения, причиной которого был скрытый под водой камень. Я растерялся, крепко вцепился в колесо штурвала и не делал попыток обойти камень вправо или влево. Лодка наскочила на камень и... перескочила через него. Я взглянул на моториста — он был бел, как полотно. Думаю, что я не отличался от него. Наше счастье, что я растерялся и ничего не сделал. Если бы я попытался повернуть, мы наскочили бы на камень боком и опрокинулись. Пока что мы обломали только винт, и лодка дала небольшую течь, так как в некоторых местах разошлись швы металлической обшивки. Беда произошла оттого, что течение Днепра, суженного поставленными перемычками, значительно ускорилось и нас больше сносило вниз, чем я учитывал.

Нам повезло. Еще немного — и мы с мотористом могли бы внести свою лепту в статистику несчастных случаев на Днепрострое. Таких случаев уже насчитывалось более двух десятков. Большей частью это были убитые при взрывных работах, свалившиеся с лесов и сорвавшиеся в воду при устройстве перемычек.

Надо иметь в виду, что многие такие случаи нет никакой возможности предупредить. Американская статистика показывала, что на гидротехническом строительстве погибает обыкновенно в среднем один человек на каждый миллион стоимости работ. По американской смете, Днепрострой должен был стоить 75 миллионов долларов. Фактические затраты достигали суммы примерно 100 миллионов. Число погибших от несчастных случаев во время постройки было действительно около ста человек, что подтвердило правильность

прогноза. Эта цифра стала мне известна, но я сомневаюсь, что ее можно было бы найти в официальной советской отчетности. Было бы еще более интересно установить, какое количество технического персонала погибает на советских стройках и предприятиях в порядке обвинения во вредительстве и других антисоветских преступлениях. Думаю, что статистика дала бы не менее показательные цифры.

Александров распорядился сейчас же после моего зачисления в штат Днепростроя, чтобы мой стол поставили к нему в кабинет. Постоянное пребывание вдвоем в комнате чрезвычайно сблизило меня с ним. Став свидетелем почти всех его переговоров с членами Правления, представителями иностранных фирм, руководящими инженерами со строительной площадки, консультантами и другими лицами, я мог как никто другой, понять и оценить инженерную и экономическую эрудицию этого совершенно исключительного человека. Богатство и смелость его творческих идей, казалось, не имели границ. Вместе с тем я не мог не видеть и недостатков его характера. К числу таковых следует в первую очередь отнести его нетерпимость и резкость по отношению к посредственностям. При столкновении с ними он совершенно не стеснялся в выборе слов для квалификации своих соперников, говоря это им чуть ли не в лицо. Этим он приобрел себе массу врагов.

Когда он, вернувшись из поездки в Америку и разговаривая с Викторовым, вдруг услышал, что Мельников в его отсутствие требовал увеличения жалованья, Александров нахмурился, сверкнул глазами и сказал:

— Почему вы не вышвырнули этого мерзавца, Борис Климентьевич? Вы ведь беспартийный!

Начальника работ А.В. Винтера, который тоже был “принудительным ассортиментом”, он не называл иначе, как “этот дурак Винтер”.

Его отношение к другим, действительно интересным и талантливым людям было очень внимательным, дружественным и полным уважения. Достаточно упомянуть как примеры консультировавших у нас по разным вопросам С.А.Чаплыгина — крупнейшего математика, В.Е. Грумм-Гржимайло — ме-

таллурга, М.В. Жолтовского — архитектора и П.П. Пальчинского. Эти известные профессора высоко ценились Александровым за их знания и конструктивную критику.

Александрову удалось собрать вокруг себя преданных и лояльных сотрудников. Это были большей частью люди, солидные знания которых позволяли понять и оценить его смелые, но хорошо продуманные идеи и концепции. Со своей стороны он платил им полным доверием в их специальной области и всегда был готов защищать их интересы, нисколько не ревнуя к успехам. Среди них можно упомянуть строителя — профессора М.Е. Кнорре, гидравлика — профессора В.Т. Бовина, экономиста — профессора Шапошникова, статика — профессора Дубяго, инженера путей сообщения, потом профессора, В.М. Малышева.

В обращении со своими сотрудниками И.Г. Александров был прост, никогда не принимал облик мудреца или большого начальства. Лишен какой-нибудь тени лицемерия. Я ни разу не слыхал, чтобы Александров когда-нибудь назвал кого-нибудь в разговоре "товарищем". По-видимому, это обычное советское обращение застревало у него в горле. Он или совсем избегал обращения, или называл по имени и отчеству. Для нас, ближайших сотрудников, он изобрел обращение "отец". Это было тем более забавно, что "отец" часто бывал более чем в два раза моложе "сына".

Александров часто получал предложения написать ту или другую статью. Если вопрос не имел особо принципиального значения, он обращался к кому-нибудь из нас. Происходил разговор приблизительно такого рода:

— Слушайте, отец! Мне предложили написать статью для Советской энциклопедии об энергетике. Хотите взять это удовольствие на себя?.. Условия: вам — гонорар, мне — слава! Согласны?

Вопрос разрешался к общему удовлетворению. Вначале Александров проверял написанное, после двух-трех проб стал ограничиваться только вопросом:

— Читали все внимательно, отец? Не наврали нигде?

— Нет, будьте спокойны — все в порядке.

— Давайте сюда. — Он подписывал не читая.

Тучи на политическом горизонте вновь сгустились. Было сообщено о “заговоре”, во главе которого стоял фон Мекк. В числе заговорщиков упоминался также П.П. Пальчинский. Обвинения выдвигались обычные, стереотипные: вредительство, шпионаж и т.д.

Иван Гаврилович был очень расстроен и сказал мне:

— Петя (Пальчинский) — и шпионаж! Никогда этому не поверю!

После расстрела “главарей” “центра” последовала обычная волна арестов и расстрелов. Снова вопросы личной безопасности вытеснили все другие мысли из головы. Работа выполнялась механически. Никто не знал, вернется ли он домой, уйдя утром на службу, или, ложась в постель, не проснется ли ночью, услышав на улице шум мотора черного “ворона”.

Несколько месяцев назад мы узнали об аресте нашего хорошего знакомого, инженера К.Г. Шпельти. Шпельти был металлургом, специалистом по прокатке труб. В дореволюционное время он занимал пост директора трубопрокатного завода Шодуар в Екатеринославе. Теперь он был главным инженером Брянского завода там же. Последний раз я видел его два года назад при моем посещении этого завода вместе с Томпсоном. Мы узнали как-то, что он сидит в пересыльной тюрьме Бутырке в Москве. Верочка отважилась и решила принести ему передачу. Раза два ей это удалось, но потом передачу отказались принять, заявив, что Шпельти куда-то выслан. Узнать куда так и не удалось. В советской практике всякий контакт с “врагами народа”, даже самого невинного характера, очень опасен. Нормально знакомые после ареста избегают встреч даже с семьей арестованного, боясь доноса.

Вернувшись домой со службы в один из таких дней, я сидел поздно вечером, пытаясь читать какую-то книгу, но мысли отказывались сконцентрироваться. Вдруг я услышал звонок у входной двери. Я пошел открывать. Передо мной стояла знакомая фигура, которую я сейчас же узнал, несмотря на то что нижняя часть лица у человека была закутана шарфом.

— Александр Михайлович! — вскричал я в изумлении.

— Да, это я, — ответил он.

Это действительно был А.М. Кузнецов, председатель секции энергетики Госплана Украины.

— Входите, входите! — сказал я.

Он вошел:

— Василий Эмильевич! Я в бегах! Каждую минуту меня могут арестовать. В Госплане уже схватили многих!

Кузнецов сказал мне, что не ищет приюта. Он остановился у родственников, однако у него большая просьба ко мне. Он просит меня достать ему бланк с грифом Днепростроя и с поставленной внизу печатью. Конечно, я не мог отказать ему в этой просьбе, хотя и не был в восторге. Мы уговорились, что он заедет к нам на другой день в 7 часов вечера за этим бланком. Он надеялся сфабриковать себе командировочное удостоверение и куда-нибудь с ним уехать. Но куда? Я даже не спросил его — все это казалось мне слишком фантастическим. Кузнецов представлялся мне малопригодным для роли смелого авантюриста.

Я достал бланк на другой день. Труднее было раздобыть круглую печать, которая хранилась у Викторова. Путем легкого обмана и пары минут неприятных переживаний удалось и это. В 6 часов я был уже дома и ожидал Кузнецова. Он не пришел. Его схватили ночью. Мы снова увиделись с ним через пять лет, после его возвращения из ссылки.

Волна массовых арестов спала. Снова стало возможным отдавать работе больше внимания, чем раньше. А работы было много. Сейчас же после моего окончательного переезда в Москву Александров передал мне чтение курса и ведение практических занятий по курсу “Водное хозяйство и энергетика” на инженерно-гидротехническом факультете Тимирязевской академии. Дав мне вначале ряд ценных указаний, он потом все три года, пока я оставался там, не беспокоил меня, предоставив полную свободу. Такое отношение обязывало, и приходилось посвящать почти все свободные вечера подготовке курса. Но этого мало. Александров провел мое назначение помощником главного консультанта УГЛИАЗОТа. Он сам был главным консультантом. Сокращенное название УГЛИАЗОТ значило не что иное, как Управление главного инженера азотной промышленности. Задачей этой организа-

ции было отыскание источников дешевой энергии для добывания азота из воздуха. Александров предложил гидростанцию на реке Чирчик, притоке Сырдарьи. Пока я разрабатывал эскизно разные решения для этой мощной станции, но в дальнейшем предстояли поездки в Среднюю Азию, что меня очень интересовало.

В это же время меня выбрали и утвердили членом Центрального электротехнического совета по секции гидротехнического и общего строительства. Там мне пришлось брать на проверку и экспертизу отдельные проекты или их части.

Получая хорошее жалованье пока еще не потерявшими своей стоимости червонцами и имея сравнительно большой дополнительный заработок, я решил привести в исполнение давнишнюю мечту — поехать с семьей в Ленинград и провести недельку в этом милом моему сердцу городе, поселившись в хорошей гостинице. Забыть там, хоть на время, прелести советской жизни. Мы сняли большой номер в гостинице "Европейская". Эта гостиница вместе с другой — "Асторией" — принадлежала к группе отелей "Интуриста" и была малодоступна обычной советской публике. Проникновение туда обеспечила моя принадлежность к Днепрострою.

"Европейская" ничем не отличалось от первоклассных гостиниц Европы. Не было даже неизбежных фаворитов советской системы — клопов, и в уборные можно было ходить, не надевая высоких резиновых сапог. Замечательно и то, что цены в ресторане были не выше, а может быть, даже дешевле, чем в других аналогичных советских учреждениях. Широкие слои советской публики отпугивались от посещения этого капиталистического оазиса остроумно разработанной системой заграждений. Тут не было колючей проволоки, не требовались пропуска. Надо было только уметь, пройдя вертящиеся двери, проскользнуть мимо внушительного швейцара, одетого в расшитый золотом мундир, миновать солидного портье, подозрительно осматривающего посетителя, раздеться в комфортабельном гардеробе с помощью двух услужливых служителей, пройти между пажей, выхватывающих из рук портфель, и, наконец, войти в лифт под оком высокомерного лифтера. Мало кто отваживался на это.

Во время нашего проживания там моя маленькая дочка, которой было шесть лет, раз как-то сказала мне:

— Папочка, я хочу покататься в лифте. Можно?

Я согласился. Мы спустились вниз. Я пошел купить папиросы в киоске. Идя по вестибюлю, мы увидели, что один из четырех лифтов готовился отправиться, но лифтер, увидав нас, остановился, открыл дверь, поджидая нас. Мы вошли. В лифте стоял еще кто-то.

Вдруг я услышал голос:

— Василий Эмильевич, узнаете ли меня?

Я поднял голову:

— Константин Гаврилович! Возможно ли это?

Это был К.Г. Шпельти. Он сказал, что живет в третьем этаже. Мы вышли вместе с ним.

— Да, это я. И еще не на свободе. Арестован. Но, вот видите, они поселили меня здесь. Устроили в соседнем номере мое бюро. Я разрабатываю программу новых трубопрокатных заводов. Мой "ангел-хранитель" живет в моей комнате. Но его сейчас нет. Он даже пускает теперь меня одного ходить по отелю. Хотите, зайдем ко мне?

Я, однако, отказался, быстро сообщив ему о жене и матери. Обещал сообщить им о нашей встрече. Мы расстались. Через несколько месяцев я узнал, что его выпустили, назначив главным инженером треста Трубосталь, организованного в Харькове.

После того как американцы в Кичкасе переселились в свои коттеджи, выстроенные по их чертежам и планам, Томпсон просил меня при всех моих посещениях строительства останавливаться не в общежитии для приезжающих сотрудников, а у него. Он взял с меня слово, что я, приехав на станцию Александровск, буду звонить ему по телефону оттуда, чтобы он мог поехать и привезти меня к себе на своем автомобиле.

Когда я приехал к нему в первый раз, он, открыв дверь, схватил мой чемодан и, несмотря на мое сопротивление, сам понес его наверх в отведенную для меня комнату. Там на постели лежала приготовленная для меня пижама. Он показал мне также ванну с предназначенными для меня полотен-

цами и купальным халатом. Предложив мне отдохнуть, он сказал, что обед будет в 6 часов. Просил не стесняться, если я захочу остаться один. Если, наоборот, я ищу общества, то он просит меня в гостиную, где я могу найти также книги.

Его жена, пожилая дама, не уступала ему в любезности. Вскоре я действительно почувствовал себя как дома.

Гостеприимством Томпсона я пользовался несколько раз. В этих встречах чувствовался, однако, элемент нереальности. Казалось, что каким-то чудом я из тусклой советской жизни переносился в другой мир. Мир, в котором я снова находил что-то давно потерянное и забытое: вежливость, внимание, теплоту и понимание.

Томпсон сказал мне как-то:

— Поразительно! Жили мы, разделенные расстоянием в несколько тысяч миль. Встретились случайно. И что же? Оказалось, что у нас те же интересы, что во многом мы думаем одинаково. Мы, люди одного круга, часто ближе друг к другу, чем к своим соотечественникам!

Дом Томпсона и весь американский поселок были уголком Америки на территории СССР. Американцы не только вели здесь жизнь согласно своим привычкам и обычаям, но они получали все необходимое из Америки. В договоре их с Советами был пункт о беспрепятственном и беспошлинном ввозе предметов первой необходимости в размерах, необходимых для домашнего хозяйства. Этот пункт позволил мне познакомиться с достижениями американской кухни. Миссис Томпсон жаловалась, однако, что ей недоставало свежих продуктов. В силу этого ей пришлось получить некоторое представление о прелестях социалистического хозяйства. Она, оказывается, садилась в свой автомобиль и ездила в город Запорожье за покупками. Там, не долго думая, становилась в очередь и терпеливо выстаивала, пока не получала желаемого. Такого пассажа местное ГПУ, очевидно, не предвидело. Жаль, что миссис Томпсон не знала ни одного слова по-русски, а то бы ее впечатления могли обогатиться услышанными в очередях разговорами. Кстати, о языке. Как-то раз, во время обеда, миссис Томпсон ушла в кухню, откуда вскоре донеслись звуки оживленного разговора. В кухне, кроме нее, была только прислуга-украинка Женя, которую Томпсоны называли Дженни.

Томпсон подмигнул мне и сказал:

— Обратите внимание, Док, как они говорят. Жена думает, что ее поймут лучше, если она будет говорить на том языке, который она плохо знает. Она говорит с Дженни по-испански!

Вероятно, есть что-то в этом методе, неизвестном ученым-лингвистам, потому что украинско-испанский антант достигался всегда без затруднений.

Взаимное понимание между мной и Томпсоном не оставляло желать ничего лучшего. При этом оно не ограничивалось только техническими вопросами. Я отбросил в сторону все опасения, говорил с ним откровенно, как я до сих пор мог говорить только с немногими из моих близких русских друзей. С его стороны я встретил полное понимание. Он сам многое заметил, был возмущен, потрясен до глубины души тем, что он видел. Со своей стороны он платил мне тоже полным доверием.

Согласно договору, Купер должен был приезжать каждый год на постройку и представлять ВСНХ СССР доклад о состоянии работ. Томпсон предварительно приготовил доклад. Купер ожидался в июле 1928 года. Как раз перед его приездом я был у Томпсона. Он только что закончил писать доклад. Объем доклада был около 20 страниц написанного на машинке текста. Томпсон показал его мне и попросил прочитать и в случае необходимости поправить spelling*, сказав, что он даже письмо своей жене не может написать, не заглянув несколько раз в словарь. Я был польщен и обрадован и, конечно, согласился. То, что я там прочитал, превзошло мои ожидания. Беспощадная, резкая, но обоснованная критика как вообще советских методов, так и сумбура, устроенного Винтером и его присными. Некоторые места этого доклада остались у меня в памяти, и я могу процитировать их буквально:

“...Когда увидишь небольшую строящуюся водонапорную башню, окруженную громадными деревянными, спирально поднимающимися лесами... когда заметишь в глубоком котловане толпы копошащихся людей, несущих на носилках большие камни и наполняющих руками ковши американского крана,

---

* Орфографию (*англ.*).

спустившего их вниз... то спрашиваешь себя: что это? — строится ли это пирамида в Древнем Египте или это постройка гидростанции в XX столетии?..”

Я надеюсь, что оригинал этого доклада сохранился до наших дней в архивах фирмы “Hugh L. Cooper”, 101, Park Avenue, New York, N.Y.

На другой день после приезда Купера я спросил Томпсона, подписал ли Купер этот доклад. Томпсон нахмурился и сказал:

— Нет, не подписал. Все переделал. Сказал: все это верно, но деньги они платят хорошо и аккуратно. В конце концов, за все эти глупости расплачиваются только они сами. Пусть учатся — это тоже стоит денег!

Я должен был прекратить посещения Томпсона. По дороге со станции, где он встретил меня, Томпсон сказал:

— Мне ужасно неприятно сообщить вам это, но вы знаете шофера, которого к нам прикомандировали и который говорит по-английски? Он хороший человек и сказал мне, что его вызывали в ГПУ и спрашивали, кто тот инженер, который часто ночует у меня.

Хотя после скандального опыта с бетонными перемычками Винтер достаточно излечился от “сименситиса”, предоставив ведение работ своим помощникам Салову и Веселаго в полном согласии с американцами, отношения между Александровым и им не только не улучшились, но даже резко ухудшились. Александров обратился в ВСНХ с требованием устранить Винтера.

— Либо этого дурака уберут, либо я уйду сам, — заявил он.

Однако партийные связи и влияние оказались сильнее, чем здравый смысл и порядочность. Инициатор и автор Днепростроя Александров должен был подать в отставку. К чести Винтера, надо сказать, что и он сам был смущен и сделал попытку найти компромисс. Зная мои близкие теперь отношения с Александровым, он пригласил меня к себе и просил убедить его не покидать Днепрострой. Александров не поддавался никаким уговорам и твердо настаивал на своем требовании. Его отставку приняли.

Правление Днепростроя, технический совет и технический отдел ликвидировали. Мне и другим сотрудникам предложили аналогичные места во вновь устраиваемом техническом отделе строительства в Москве, но мы почти все решили уйти с Александровым.

Было учреждено новое Управление главного инженера Нижнего Днепра во главе с И.Г. Александровым, и мы перешли туда.

Я не порвал своих отношений с Томпсоном и другими американцами. Проезжая через Кичкас, я по возможности всегда посещал их. За год до окончания постройки Томпсон, который в фирме Купера скрывался за буквами “& Co”, заявил Куперу категорически, что он больше не желает портить нервы, ведя без конца “идиотские переговоры” с Советами, и уехал в Америку. Куперу пришлось прислать на его место своего брата Декстера, который до сего времени был занят проектом использования приливов в бухте Fundy Bay в штате Мэн. Я имел удовольствие познакомиться с ним. Образованный инженер, окончивший Шарлоттенбургский политехникум в Берлине, он, однако, лишен был блеска и оригинальности, отличавших его брата.

Глава 9

• С ДНЕПРА, ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ АЗИЮ И ЛЕНИНГРАД, НА ВОЛГУ

Управление Нижнего Днепра, куда мы перешли после ликвидации Правления Днепростроя, должно было в свою очередь прекратить существование как самостоятельная организация и влиться во вновь образующийся Государственный институт по проектированию водных сооружений. Профессор И.Г. Александров, недавно избранный действительным членом Академии наук СССР, был назначен директором и главным инженером этого учреждения. Гипровод, как сокращенно называлось оно, должен был принять на себя проектировку всех проблем и крупных сооружений, до сих пор ведшуюся разными проектными учреждениями в Средней Азии, главным образом в Ташкенте. Для приема работ в Средней Азии Александров назначил комиссию под председательством своего партийного заместителя. Им стал некий Сыромятников, сменивший после ликвидации Правления Днепростроя беспартийного заместителя Александрова по административной части — Д.К. Жабицкого.

Надо сказать, что в конце 20-х годов одновременно с укреплением единовластия в партии начала проводиться все больше и больше коммунизация всех учреждений. В то время как раньше такая проектная организация, как Днепрострой, не только не имела партийного шефа, но даже ни одного коммуниста в своих рядах, теперь это стало невозможным. Если во главе учреждения по необходимости еще оставался беспартийный специалист, то он получал партийного заместителя. Наличие комячейки стало необходимым. Для этого в учреж-

дения сажались сотрудники, которые для дела были только балластом. Как заместитель Александрова Сыромятников был исключительно вреден. Иногда такие доверенные властей предержащих, чувствуя свою бесполезность, находили себе область, где они могли проявлять свою активность без особого вреда для дела, не суя свой нос туда, где они ничего не понимают, но Сыромятников оказался человеком другого сорта. Он был типичным интеллигентом левого направления. По профессии — юрист, помощник присяжного поверенного. Во время Октябрьской революции он, по его словам, "захватил власть" в городе Ярославле для большевиков. Как это случилось, трудно представить тем, кто его знал. Это был взбалмошный, глупый и крайне трусливый человек. Скорее думаю, что не он захватил власть, власть его захватила. Его просто вынесло волной революции на эту роль. Он, как мы видели это не раз, смертельно боялся в первую очередь своих хозяев. Нас он тоже боялся, опасаясь, что мы, как интеллигенты, можем скомпрометировать его перед bona fides* большевиков из пролетариев.

Кроме председателя Сыромятникова другими членами комиссии стали инженеры В.М. Малышев и я, секретарем — инженер А.Л. Тарасевич. Все трое мы знали, что нам предстоит мало приятного при таком руководстве.

Кроме участия в этой комиссии Александров поручил мне, как своему помощнику по линии УГЛИАЗОТа, где он был, как я уже упоминал, главным консультантом, проверить на месте ряд позиций по составляемому нами проекту мощной Ташкентской гидроэлектростанции. Работа эта была уже по совместительству и оплачивалась особо. Выполнить ее я мог за счет своего отпуска. Кроме того, я должен был выполнить порученный мне раньше объезд наших работ на Нижнем Днепре.

В результате я мог скомбинировать все поручения поездки и отпуск следующим образом. Поездка из Москвы в Кичкас. Вниз по Днепру, оттуда нашей моторной лодкой до Херсона. Снова поездом до Одессы. Морем из Одессы до Батума. Несколько дней отпуска в Батуме. Поездом до Тифлиса. Автомобилем через Дарьял во Владикавказ. Оттуда в Баку, где

---

* Добросовестностью (*лат.*).

я уговорился встретиться с Малышевым. Вместе с ним через Каспий в Красноводск. Наконец, оттуда в Ташкент для встречи с Сыромятниковым и Тарасевичем. После приема работ в Ташкенте нашей комиссией я мог заняться за счет остатка отпуска своим частным поручением по УГЛИАЗОТу и организовать экспедицию по реке Чирчик с предгорья Тянь-Шаня в поисках мест, подходящих для постройки водохранилищ в горах.

Поездка на нашей большой и довольно комфортабельной моторной лодке доставила мне много удовольствия. Полному удовлетворению мешало только беспокойство о Верочке и детях, оставшихся в нашей сокольнической "вилле" среди враждебного пролетарского окружения. Комары, правда, тоже не давали себя забыть. Но все же на лоне природы среди широкого Днепра можно было лучше, чем где-либо, забыть о серых, но всегда тревожных буднях советского существования.

На четвертый день мы доехали до Херсона, откуда я поездом отправился в Одессу.

Одесса, в которой я был первый раз в жизни, очаровала меня. Правда, теперь город был пуст, казалось, он спит. В порту не видно иностранных кораблей, на улицах почти никакого движения, но все же проспекты, эффектная широкая лестница, спускающаяся к морю, оставляли неизгладимое впечатление.

Я достал билет в Батум. Получил каюту 1-го класса на пароходе, вернее, теплоходе "Грузия", одном из двух новых теплоходов, только что принятых в эксплуатацию. Советские газеты были полны описанием удобств и красот, имеющихся на нем. "Грузия" выходила в море завтра, что дало мне возможность лучше ознакомиться с городом.

Теплоход превзошел мои ожидания. Он принадлежал к числу таких парадоксальных явлений в советской России, как и гостиницы "Интуриста" в Москве и Ленинграде. Войдя на него, можно было забыть, что живешь в советском "раю" с его хлебными очередями на улице, с переполненными квартирами,

вмещающими теперь четыре-пять семейств там, где раньше жила лишь одна. Комфортабельные каюты, салоны, одетые в короткие, до талии, белые жакеты стюарды. Чистота! Простор!

Наглядевшись на игру дельфинов, я пошел в ресторан. Заказав обед, начал рассматривать публику. Преобладали мужчины, очевидно, как и я, командированные. Некоторые даже за обедом вытаскивали из портфелей какие-то бумаги и обсуждали их друг с другом.

Одна пара — среднего возраста господин и сравнительно полная дама — обратила на себя мое внимание. Господин был одет в белую теннисную рубашку, хорошо заглаженные белые фланелевые брюки, белые ботинки. Гладко выбритую физиономию украшали маленькие подстриженные усики. Дама была одета хотя и сдержанно, но весьма элегантно. Бросалась в глаза редкая в то время прическа, несомненно, обязанная своим происхождением хорошему парикмахеру. Время от времени она вскидывала к глазам висевший на длинной золотой цепочке лорнет. Нельзя было не заметить, что эта пара обслуживалась особо внимательно. Я видел, что метрдотель как-то раз повернул назад официанта с каким-то блюдом и, по-видимому, почему-то извинялся, низко кланяясь и разводя руками. Странная картина в советском государстве. Кто могли быть они? Однако не иностранцы, потому что отдельно долетавшие слова их разговора с метрдотелем показывали, что они говорили по-русски.

Вдруг до моего слуха донеслась английская речь. Я обернулся и увидел, что у соседнего столика сидит одинокая дама, которая, показывая пальцем в мою сторону и громко повторяя английские слова, напрасно пытается добиться понимания от официанта. Я счел себя обязанным прийти ей на помощь и предложил свои услуги переводчика. Дама очень обрадовалась, попросила меня пересесть к ее столику и завела со мной оживленный разговор. Разговором это, правда, можно было назвать весьма условно. Она засыпала меня вопросами, на которые я едва успевал отвечать. Оказалось, что она американская журналистка, некая мисс Паттисон, едет в Новороссийск и оттуда дальше в Царицын на Волге. Пока вопросы были более невинного характера, я отвечал ей охотно, но вскоре она начала задавать такие вопросы, что я, несмотря на мое страстное желание удовлетворить ее любопытство, вы-

нужден был отделываться ничего не значащими общими местами или отговариваться незнанием. Я старался направить разговор на достопримечательности ландшафта и т.д. На другой день, когда мы плыли мимо Южного берега Крыма, это стало легче, так как было достаточно материала для разговора в этой плоскости, но меня начали мучить угрызения совести. Имею ли я право молчать? Ведь это журналистка. Не следует ли мне воспользоваться случаем и полностью и правдиво рассказать ей про все ужасы бесправия, насилия, уничтожения всего честного и порядочного? Того, что путешествующие иностранцы сами никогда не смогут увидеть в советском государстве, потому что все это ловко скрыто за кулисами "Интуриста". Но что пользы в этом? Если даже эта журналистка и опубликует то, что я ей расскажу, многие ли ей поверят? Все так называемое прогрессивное будет кричать снова о клевете на Советский Союз, занятый "замечательным новым экспериментом по созданию освобожденного от эксплуатации человеческого общества". Одинокий голос случайного инженера, потонув в хоре авторитетных заявлений всяких Горьких, Бернардов Шоу, Эррио и др., не будет все равно услышан. Одно несомненно: за откровенность пришлось бы тяжко поплатиться, и не только мне, но, согласно советской практике, и всей моей семье — жене, детям и родителям. В самом деле, билеты в каюты были именные, и никто, кроме меня, с американкой не разговаривал. Нет, я должен молчать! Я плохо спал всю ночь, мучимый этими мыслями, и даже обрадовался, когда американка покинула теплоход в Новороссийске.

Теплоход шел вдоль Черноморского побережья. К сожалению, мы в Туапсе и Сочи останавливались ночью. Это помешало мне вновь взглянуть на те места, где я пережил столько волнений, тревог и надежд. Море было спокойно, небо безоблачно, и на теплоходе не чувствовалось большой жары. Красота Черноморского побережья с его буйной субтропической растительностью и замыкающими горизонт высокими снежными горами заставила побледнеть крымские впечатления. Ландшафт Крыма представлялся теперь красивой, но несколько слащавой декорацией. В нем недоставало мощи и величия Кавказа.

В Батуме я пробыл два дня. Жара и духота были невыносимы. Несмотря на вполне европейский вид улиц и построек, элементы экзотики встречались на каждом шагу. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я сходил с теплохода, были туземные носильщики. Согнувшись так, что спина принимала горизонтальное положение, носильщик позволял своему товарищу накладывать на нее не менее 10—12 чемоданов. Вся эта пирамида привязывалась потом веревкой. Нагруженный таким образом, носильщик спускался потом по сходням, чудом сохраняя равновесие. Такая акробатика не вызывала ни у кого из местных удивления. По-видимому, это было совершенно обычно. Удивляло, что пальмы, которые я привык видеть только в кадках, росли на улицах прямо из тротуара. Жестикуляция и галдеж населения на базаре и у лавок заставляли думать, что происходит что-то совершенно выходящее из ряда вон, а не просто покупка дыни или пары апельсинов.

Я взял в Батуме билет до Тифлиса в спальном вагоне Международного общества. Несмотря на жару, я хорошо выспался и встал, когда мы уже проехали Сурамский туннель. Я стоял в коридоре и смотрел в окно, когда в одном купе открылась дверь и в коридор вышел тот самый элегантный господин, которым я любовался на теплоходе “Грузия”. Но каково было мое изумление! Он был одет не как раньше, в летний штатский костюм, а в форму ГПУ. На петличках было четыре ромба, что означало высший чин, соответствующий генералу. А я-то считал его за каким-то чудом уцелевшего представителя класса “бывших”! Пару лет после этого я начал часто встречать на советских портретах его хорошо мне запомнившиеся черты. Это был шеф ГПУ Ягода.

Много лет спустя, в Мюнхене, я узнал, кто была ехавшая с Ягодой дама. Во время одной из конференций мне пришлось ночевать в номере вместе с известным русским журналистом из эмигрантов Лоллием Львовым. Когда я ему рассказал о моей поездке на “Грузии”, он порылся у себя в чемодане, полном газетных вырезок, и показал мне один портрет.

— Она? — спросил Львов.

Да, это была действительно та дама. Оказалось, что она артистка, жена сына Горького, которую Ягода отбил у него. Львов назвал мне ее фамилию, но я забыл.

По дороге в Баку я остановился на сутки в Тифлисе, решив оттуда поехать автобусом через Дарьял во Владикавказ и только там сесть на поезд, идущий в Баку. И не пожалел о своем решении. В Тифлисе я увидел новый, мне незнакомый и экзотический мир. Даже советская серость и оборванность не смогли затушевать ярких и красочных пятен то там то сям, бросающихся в глаза. Я не могу долго останавливаться на этом: описание моих впечатлений потребовало бы не строк, а страниц. Достаточно сказать, что уже одна толпа, переполнявшая тротуары и кишевшая в узких и кривых переулках, резко отличалась от сумрачных и молчаливых советских масс. Много шума и жестикуляций! Весьма забавно было то, что все молодые кинто — грузины, обращающие на себя внимание стройностью фигур, щеголяли, как правило, в кожаных шоферских крагах на соответственно тонких ножках. Несолидность этих опор уравновешивалась до известной степени у старшего поколения массивностью носов и брюхатостью. Женское население Тифлиса, молодое и старое, было по большей части одето в туземные платья и круглые шапочки и вуали, из-под которых свешивались косы.

Что меня особо поразило в Грузии — это архитектура церквей и замков. Церкви со своими круглыми башнями, увенчанными коническими крышами и выстроенные из естественного камня, сдержанными и элегантными украшениями напоминали романский стиль. То, что многие были выстроены не позже VII столетия нашей эры, красноречиво напоминало, что я находился в стране старой христианской культуры, много древнее русской.

В Баку я встретил В.М. Малышева. Переночевав в совершенно европейской гостинице, мы провели день, осматривая старый город, вполне сохранивший свой азиатский характер. Поздно вечером сели на старый колесный пароход и

легли спать в душных каютах. Ночью сильно качало. Утром мы достигли Красноводска.

Совершенно лишенный растительности, город произвел на меня гнетущее впечатление. Песок и неумолимая жара. Я был рад сесть вечером в поезд. Там тоже пыль, жара и духота, но мы по крайней мере куда-то ехали.

В Ташкенте мы пробыли почти три месяца. Устроились в лучшей гостинице города — "Регине". Один номер занял я с Малышевым, в другом поместились Сыромятников и приехавший вместе с ним Тарасевич. Наша работа по приемке проектов шла гладко, однако раз все чуть не окончилось катастрофой.

Как-то утром, встав и одевшись, мы с Малышевым собирались идти, как обычно, в Управление ирригационных работ. К нам пришел Тарасевич. Мы беседовали о чем-то несущественном. Болтали, шумели, может быть, несколько больше, чем обычно. Хохотали.

Вдруг дверь с треском распахнулась. На пороге стоял Сыромятников. Седые космы торчали, лицо искажено гримасой. Выпученные глаза злобно оглядывали нас. Изо рта вырывались какие-то задушенные звуки, смешанные со взвизгиванием. Можно было только разобрать:

— Вы, вы... Я вас!.. Я... вас!.. Вы вместе... Всегда вместе... Я... я!

Дверь захлопнулась. Сыромятников исчез. Мы стояли, изумленно раскрыв рты. В чем дело? Что это значит? Тарасевич ничего не знал.

— Господа, этот идиот что-то вообразил. Несомненно, он побежал жаловаться на нас в ГПУ. Я бегу, надо его догнать. Надо остановить!

Я выскочил в коридор — Сыромятникова и следа нет! На улице я увидел его, уже заворачивающего за угол. Я ускорил шаги, почти побежал. Догнал. Взял его под руку.

— Товарищ Сыромятников! Что произошло? Мы ничего не понимаем. Вероятно, какое-нибудь недоразумение. В чем дело?

Сыромятников замедлил немного шаги, но молчал. Мы дошли до следующего угла, и мне удалось увлечь его за него.

Это уже достижение! Направление, по которому мы шли теперь, было не так опасно. Я повторил свой вопрос.

Сыромятников взглянул на меня и начал:

— Вы всегда вместе. Постоянно шушукаетесь. Мне ничего не говорите. Когда я вхожу — замолкаете. Это заговор. Я ничего не знаю, что вы думаете. Это не может быть спроста. Я не допущу...

Я начал успокаивать его. Указал ему, что у нас, инженеров, есть свои особые интересы и темы, которые для неспециалистов могут быть только скучны и непонятны. Но если его что-нибудь из технических вопросов интересует, то я всегда готов дать ему все возможные разъяснения. С другой стороны, и я, и мои коллеги тоже были бы ему благодарны, если бы он сам не отказался дать нам некоторую ориентировку по хозяйственно-политическому значению тех или других ирригационных проектов. Я напомнил ему также, что и Малышев, и Тарасевич, в сущности, еще совсем молодые люди. Болтают часто всякий вздор и хохочут неизвестно отчего.

Наши шаги стали замедляться все больше и больше. Тон разговора становился спокойнее и спокойнее. Когда мы обошли квартал гостиницы “Регина” два или три раза вокруг, Сыромятников успокоился окончательно. Инцидент казался исчерпанным.

Что бы было, если бы мне не удалось уговорить этого психопата? ГПУ не любило прекращать начатые раз дела.

Вместе с инженерами УГЛИАЗОТа я совершил экскурсию в предгорья Тянь-Шаня вдоль долины Чирчика. Целью поездки был осмотр и выбор мест для плотин водохранилищ. До Ходжикента мы ехали автомобилем. Из Ходжикента дальше в горы — верхом. Поездка эта была для меня весьма поучительна.

Во-первых, я познакомился ближе с характером и природой Туркестана. До сих пор это знакомство ограничивалось только жарой, всюду проникающим запахом бараньего сала и хождением на базар в туземную часть города для покупки пестрых шелковых халатов и изделий из кованой меди. Теперь я собственными глазами наблюдал жизнь и цивилизацию, едва ли изменившуюся за последние две тысячи лет.

Удовольствие отравляли сонмы больно кусающихся мошек, от укуса которых тело покрывалось нарывами, лезущая в глаза и набивавшая нос тончайшая лссовая пыль и ползущие из всех щелей скорпионы.

Вторым, не менее важным поучением, которое я вынес из этой поездки, было то, что для езды верхом недостаточно иметь только лошадь и седло, — надо иметь достаточную тренировку и умение. Задор может сократить время этой тренировки до минимума, но его одного мало. После первой поездки мне пришлось залечивать свои "огорчения", пролежав в кровати не менее трех дней. Сидеть я не отваживался.

Мы вскоре закончили свою работу в Ташкенте и поехали в Москву, сидя по большей части в вагоне-ресторане курьерского поезда. Мимо окон проносился пустынный ландшафт Кызылкума. Изредка можно было видеть всадника-киргиза или запряженного в арбу верблюда.

Еще три дня и три ночи, и нас снова захватят тревожные будни советской жизни. Все же мы возвращались немного освеженными и отдохнувшими.

В Москве я имел неожиданную встречу. Я шел по Никольской улице и увидел, что кто-то, показавшийся мне знакомым, идет мне навстречу. Приглядевшись получше, я узнал Б.Ф. Шанько. Он тоже узнал меня и спешил ко мне, протягивая руки. Мы засыпали друг друга вопросами. Прошло почти 10 лет с тех пор, как мы виделись последний раз в Екатеринодаре. Я рассказал ему про нас. Он дал мне свой адрес, и мы сговорились встретиться.

При первой возможности мы с Верочкой пошли навестить Шанько. Они теперь жили в доме служащих Казанской железной дороги, недалеко от Каланчевской площади. Это был большой шестиэтажный дом. Мы открыли входную дверь и вошли в плохо освещенный голыми, горящими красным накалом лампочками вестибюль. Внизу стояла кабина лифта, очевидно, превращенная в чулан. Шанько жили на третьем этаже. Мы стали подниматься по мраморной, но невероятно загаженной лестнице. Ее не мыли, несомненно, со времен революции.

Все парадные двери квартир, выходивших справа и слева на лестницу, были удалены и допускали свободный вход в еще более тускло освещенные коридоры. На дверях прибиты или приклеены таблички с именами квартирантов. Каждая дверь имела кольца для висячих замков. Почти повсюду у дверей стояли помойные ведра, прикрытые фанеркой или картоном. Пахло кислой капустой, стиркой, какой-то гнилью. Несомненно, было также участие кошек в этом пестром аккорде ароматов.

Я чиркнул спичкой и прочитал фамилию на дощечке. Шанько жили здесь. Я постучал. Дверь открыла Екатерина Александровна. Сзади стоял Борис Федорович, и за ним мы увидели хорошенькую молодую девушку. Это была Танюша.

Когда мы немного успокоились и сели за стол, я смог осмотреться. Комната Шанько была сама по себе неплоха, имела балкон, выходивший на улицу. Я увидел тут несколько вещей из их старой, красивой и солидной обстановки. В комнату мы вошли через часть, отгороженную для Тани. Перегородка была выполнена шкафами и багетом, с которого спускались портьеры. В большей части комнаты за ширмой скрывалась кровать, остальная часть комбинировала столовую с гостиной. Хорошие вещи, со вкусом декорированные стены, несколько картин при всей тесноте показывали, что тут сохранился кусочек старого культурного мира.

Оказывается, Шанько узнали, что я уцелел, еще в 1926 году, увидев фотографию группы наших и американских инженеров в журнале “Огонек”. Под снимком были напечатаны все наши фамилии. Но это все, что они знали. Мы рассказали им нашу одиссею. Со своей стороны они рассказали о себе.

То, что пережила семья Шанько, типично для судьбы большинства русских инженеров. Очередное открытие “вредительства”. Ночные аресты. Исчезновение сослуживцев одного за другим. Звонок и стук ночью: “Телеграмма!” Обыск. Распарывание матрасов и подушек. Увод Бориса Федоровича. Томительные месяцы неизвестности. Наконец: “Приговорен к ссылке на пять лет”.

Самым ужасным кроме избиения и запугивания во время допросов было то, что ссыльные “контрреволюционеры” в тюрьмах и лагерях смешивались с уголовными преступниками, ворами, проститутками и убийцами. И не только смешивались, но отдавались им полностью во власть. Тюремные и

лагерные старосты назначались, как правило, из уголовных. Тут Борису Федоровичу повезло. Как-то раз после бани уголовники украли у него единственные брюки и, что еще хуже, очки. Положение его было совершенно отчаянное. Полуслепой, окруженный хохочущими бандитами, он не знал, что делать. Но произошло что-то неожиданное. Громадный уголовник-убийца, терроризовавший всех, вдруг взял бедного Бориса Федоровича под защиту. Пересыпая свою речь ругательствами и жуткими угрозами, размахивая своими страшными кулачищами, он потребовал, чтобы "отцу" немедленно вернули штаны и очки, а то...

Очки и брюки появились, как по мановению волшебного жезла.

Не прошло и года, как Б.Ф. Шанько был неожиданно возвращен из ссылки. Никаких объяснений или извинений не последовало. После этой истории Борис Федорович получил предложение перейти на Службу пути Московско-Казанской дороги в Москву. Они и переехали сюда с Таней. Старшая дочь Наташа была замужем за известным советским чтецом-декламатором Антоном Шварцем. Она жила теперь в Ленинграде, и родители встречаются с ней редко. Пути их разошлись.

То, что Шанько рассказывал о привилегированном положении уголовных, не было для меня новым. Об этом говорили все, кому удалось вернуться из ссылки. Уголовники причислялись Советами к так называемым социально близким элементам. Такую формулировку можно было часто встретить в советских газетах и репортажах о судебных процессах против убийц, насильников и воров. И уголовники это знали. Верочка вспомнила, что когда она носила передачу в Бутырскую тюрьму арестованному К.Г. Шпельти, то должна была подолгу стоять в очереди перед окошком. Через эту очередь время от времени проталкивались, работая локтями, бабы. На протесты надменно и с чувством особенного достоинства отвечали:

— Мы без очереди! Мы — уголовные! Мы не контрики.

И в самом деле, их принимали без очереди.

В Москве мы часто встречались с этой милой семьей. Потом мы уехали в Ленинград и там узнали, что Танюшу вдруг арестовали и сослали в Казахстан. Она со своими подру-

гами изучала итальянский язык. Собираясь вместе, они читали “Божественную комедию” Данте. Им приписали организацию контрреволюционного кружка, религиозную пропаганду и т.д.

Старики Шанько вскоре уехали — вероятно, к Тане. Мы потеряли их из виду.

После распределения привезенных нами из Средней Азии проектов я получил назначение на должность главного инженера проекта “Машинное орошение Ферганы”.

Проект предусматривал сооружение гидроэлектрической станции на реке Нарын, недалеко от ее впадения в Сырдарью. Энергия гидростанции должна была служить для питания насосных станций, поднимающих воду для орошения трех степей: Учкурганской, Чартаксайской и Кызыл-Ярской. Ферганская долина, где находились эти степи, представляла собой котловину овальной формы длиной около 250 и шириной около 100 километров. По краям долины, у подножия высоких гор, окружающих ее, расположены плодородные оазисы, где находились все селения и города — Коканд, Наманган и Андижан на севере, Фергана и Ош — на юге. Все эти оазисы были расположены в пределах так называемых вееров. Такой “веер” представляет собой не что иное, как пучок оросительных каналов, исходящих из одной точки спустившегося в долину и вымершего потока. Каналы эти туземного происхождения, существуют уже столетия и орошают земли, лежащие ниже их. Орошение более высоких плато возможно только путем машинного подъема воды насосными станциями.

Рассмотрев привезенные из Средней Азии материалы, я увидел, что для осуществления проекта необходимы новые топографические, геологические и водные изыскания. Место начальника изысканий согласился по моей просьбе взять на себя инженер П.П. Пушкарский. Очень осложняло работу то, что в согласии с поставленными сроками изыскательные работы должны были начаться уже в декабре. Правда, место работ находилось на 41-м градусе широты, благодаря чему можно было рассчитывать на сравнительно мягкую и короткую зиму, но, с другой стороны, нельзя упускать из виду, что

Ферганская долина расположена на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Все это сильно беспокоило нас, так как срыв сроков грозил тяжелыми последствиями. Все свои надежды я возлагал на упорство, железный характер и настойчивость Пушкарского, который всегда умудрялся выходить из тяжелого положения. Я знал его близко и дружил с ним. На этого человека я мог полностью положиться.

Пушкарский немедленно уехал в Фергану. Я обещал ему приехать туда для консультации и инспекции в середине декабря.

Наученный горьким опытом, я выбрал перед отъездом хорошее кавалерийское седло и послал его в изыскательскую партию. Партию Пушкарский уже организовал и пустил в работу. Эта учкурганская изыскательская партия вскоре в шутку получила название учпоповской партии. Причиной было то, что "уч" по-узбекски значит "три". В партии случайно оказалось три техника, все по фамилии Поповы. Все притом не братья и не родственники. Это забавное совпадение было вскоре нарушено. В партию приняли четвертого техника, и тот оказался... тоже Попов.

До Ташкента я доехал с полным комфортом в спальном вагоне бывшего Международного общества. Но уже в Ташкенте действительность напомнила мне, что я нахожусь в Советском Союзе, да к тому же в Средней Азии. Поезд пришел поздно вечером. Погода совсем не соответствовала тому, что можно было ожидать на дальнем юге. Шел снег. Температура — около 10^0 мороза. Взяв извозчика, я поехал в гостиницу "Регина". Свободных номеров не оказалось. Извозчик начал меня возить по всему городу, по всем местам, которые могли бы претендовать на название если не гостиницы то по крайней мере номеров. Тщетно. Все было занято. Наконец, получив категорический отказ впустить меня хотя бы в переднюю последней гостиницы, я снял свой чемодан и сказал, что буду сидеть всю ночь на подъезде. Тут, на мое счастье, на шум наших переговоров выскочил один из постояльцев, какой-то агроном. Эта добрая душа, увидев мое отчаянное положение, предложила мне

поместиться в его комнате. Мы провели прекрасный вечер, чему немало способствовали самодельные ликеры из запасов этого доброго самаритянина. Я хорошо выспался.

Утром пошел на вокзал. То, что я там увидел, был кошмар. Сцена из дантевского ада. Зал вокзала был переполнен туземцами до отказа. Сплошная человеческая масса колыхалась туда и сюда, галдела, размахивала руками. Пробраться к кассе было невозможно. Тут не помогли бы никакие имеющиеся у меня командировочные удостоверения. Вся надежда на “бакшиш”. Носильщик согласился, но потребовал дополнительно к стоимости билета 20 рублей. Я обещал ему это, дал деньги и командировочное удостоверение для покупки билета. Он уверил меня, что билет будет. Он гарантирует. Поезд в Андижан отходил в 2 часа.

Половина второго — ни носильщика, ни билета! Без десяти минут два! Все по-прежнему. Тщетно я бегал по вокзалу, ища носильщика. Вдруг в толпе я увидел его. С трудом протолкавшись, я вскричал:

— Где же билет?

— Чего вы волнуетесь? Сказал — будет — значит, есть. Вот вам! — Он сунул мне билет и командировку.

Я вручил ему обещанный “бакшиш” и побежал на платформу. Поезд начинал уже двигаться. Я вскочил на подножку.

Кондуктор, стоявший в дверях, взял билет, взглянул на него и заявил:

— Куда вы, товарищ, лезете? У вас жесткий, а вы прете в мягкий!

В самом деле, билет был не в мягкий вагон, как я заплатил, а в жесткий. Несмотря на то что поезд уже прибавил ходу, я соскочил на платформу. Проверив еще раз билет, я увидел, что он был не только в жесткий, но и станция назначения была не Андижан (450 километров), но Урсатьевская (50 километров от Ташкента). Вне себя от ярости, я пошел в железнодорожное ГПУ, показал им билет и рассказал, как было дело. Носильщика разыскали, накричали на него, заставили вернуть деньги.

Я должен был снова идти в город и искать пристанища. На этот раз мне повезло. Я переночевал, получил на другой день билет и уехал. Уезжая, увидал из окна вагона моего носильщика. Он тоже узнал меня, ухмыльнулся и даже помахал ручкой.

В Учкургане на станции меня встретил Пушкарский. Чемодан положили на арбу, сами поехали верхом, так как Пушкарский привел с собой второго коня, оседланного моим новым седлом. Пушкарский жил не в кишлаке, а у головы только что законченного нового инженерного оросительного канала Янгиарык, в домике будущего надзирателя.

Пушкарский сообщил мне о ходе дел. Дополнительную триангуляцию уже закончили. Вели теперь мензульную съемку. Ужасно мешала совершенно невозможная и непредвиденная погода — снег и холод. Постоянно висела угроза попасть в руки повстанцев-басмачей и быть замученными ими до смерти.

Как-то раз вечером нашу изыскательскую партию окружила группа вооруженных до зубов всадников. Это и были басмачи. Их предводитель, который немного говорил по-русски, спросил, кто мы и что делаем. Узнав, в чем дело, он сказал:

— Ага, большой арык будет!

Поговорил со своими, после чего они уехали, не тронув ничего. Говорят, что если бы они узнали, что это были землемеры или агрономы, то конец был бы другой. Было бы чудо, если бы остались в живых. Им, вероятно, перерезали бы горло, замучив и искалечив предварительно. Так ненавидели их туземцы, которым Советы не позволяли сеять вместо хлопка пшеницу и у которых отнимали землю для совхозов.

Нельзя не отметить и другую сторону этого события. Какое признание обычно незамечаемой профессии — инженеров! Представители других профессий: писатели, политики, музыканты, актеры — превозносятся при жизни до небес. После смерти им ставят памятники, пишут их биографии. Инженеры, творения которых часто по гениальности замысла, по трудности выполнения являются уникумами, остаются не замеченными при жизни и забытыми на другой день после смерти. Между тем, как справедливо сказал кто-то, изобретение паровоза сделало для сближения человечества больше, чем все философы и поэты с сотворения мира.

Говоря о поэтах, надо заметить, что, уезжая из Москвы в Фергану, я решил взять с собой что-нибудь для чтения. Но

что же? Это должно быть что-то портативное, что можно положить в карман. С другой стороны, это должно быть что-то, что можно читать много раз не скучая. Если бы я был очень религиозен и не жил в Советском Союзе, я взял бы Евангелие. Но, я решил взять с собой карманное издание Рубайата Омара Хайяма. Этот персидский поэт, открытый и переведенный на английский язык в середине прошлого столетия Фицджеральдом, жил и прославился в Средней Азии. Более знаменитый там как математик и астроном, он написал свои поражающие глубиной мысли-четверостишия в конце XI века. Но его философия не потеряла своего смысла и до наших дней и не раз утешала меня в большевицкой Москве. Часто, полный тревоги и опасений, я вспоминал его четверостишие:

Налей бокал, моя родная. Он гонит прочь
Сожаления о прошлом и страх перед грядущим.
Завтра?! — Ну что же. Завтра я сам могу примкнуть
К минувшим семь тысяч раз в прошедшее годам!

Я следовал его поучению и находил успокоение. Большинство советских инженеров, ища забвения, и без Омара Хайяма открыли его рецепт.

Теперь, во время моего пребывания в Ферганской долине, Омар Хайям оказал мне неожиданную услугу, и притом вовсе не в области психологии или эстетики.

Утром, во время завтрака, Пушкарский сказал мне:

— Слушайте, Василий Эмильевич! В кишлаке, в кооперативе, говорят, дают мануфактуру для белья. Давайте поедем туда, попробуем получить. В Москве мы этого удовольствия давно не имели.

Мы сели на лошадей и поскакали галопом в кишлак. Привязав лошадей, вошли в лавку. На полках лежало действительно что-то в роде коленкора. За прилавком стоял толстый узбек в тюбетейке.

Пушкарский начал, показывая на себя и меня пальцем:

— Мануфактур, мануфактур?

На это последовало:

— Китаб бар? Китаб бар? Кнышка у табе есть?

Пушкарский на минуту замешкался, а я вытащил из кармана книжечку Рубайат Омара Хайяма. Узбек протянул руку, взял книжку, перелистал страницы и на последнем чистом

листке написал что-то по-арабски. После этого нам отмерили по 10 метров материи. Мы заплатили и вышли из лавки.

Такой эффект персидской поэзии в советском “товарообмене” трудно было предусмотреть!

Я объездил с Пушкарским наши работы в Учкурганской степи. Техники, делающие теперь мензульную съемку, вели работы в совершенно нечеловеческих условиях. Для прочерчивания направлений на планшете приходилось снимать перчатки. Пальцы коченели на морозе. Колючий снег слепил глаза. Отогреться где-нибудь не было возможности. Жили они в палатках. Там же по вечерам при свете коптящей керосиновой лампы делали необходимые вычисления. Чтобы хоть немного затеплить свое жилье, они поставили палатки в овраге, что как-то защищало их от ветра. Палатки они умудрились поставить в два слоя: меньшую внутри, большую снаружи. Внутри — чугунные печурки, жестяные трубы от которых были выведены через вход в палатку.

Мороз и холодный ветер держались упорно. Снега, однако, больше не было. Ветер, налетавший порывами, поднимал иглы с земли и крутил их в воздухе.

Распрощавшись с Пушкарским и изыскательской партией, я вернулся через Наманган и Коканд в Ташкент.

Из Ташкента мне удалось заехать на один день в Самарканд. Останки величественной архитектуры: Регистан, Биби-Ханым, медресе — говорили о высоком уровне канувшей в Лету старой культуры. Игра красок глазурованных кирпичей, смелые арки — все это, даже в современном, полуразрушенном состоянии, оставляло неизгладимое впечатление.

Нельзя было также не заметить и характерных явлений новой “социалистической культуры” — длинных толкающихся и ругающихся очередей за хлебом.

Геройская и самоотверженная работа изыскательской партии Пушкарского оказалась ненужной. Не прошло и двух месяцев после моей поездки в Фергану, как наркомат неожиданно закрыл кредиты на проект “Машинное орошение Ферганы”. Мы получили предложение сдать все новые и

старые материалы Ташкентскому ирригационному управлению.

При отправке материалов мы не могли найти одного плана из числа привезенных нами из Средней Азии. Все, и я в том числе, помнили, что этот план 23 был не что иное, как кусок $^1/_4$ листа ватмана, без координат и совершенно бесполезный для проекта, тем более что мы тут сделали новую съемку. Мы отослали все материалы с этим объяснением. Несмотря на это, получили с обратной почтой категорическое предложение прислать "не досланную вами съемку Чартаксайской степи за 23". Мы снова написали подробное объяснение, подтверждающее никчемность пропавшего плана. Это письмо подписал директор Гипровода академик И.Г. Александров.

Все было тщетно. Ничего не помогло. В ответ пришло послание с недвусмысленными угрозами. В нем подчеркивалась "абсолютная недопустимость невозвращения важных плановых материалов съемки в пограничном районе", официально принятых членами приемочной комиссии. Далее указывалось, что в случае невозвращения в 10-дневный срок дело будет передано государственной прокуратуре.

Я был в отчаянии и ждал каждую ночь приезда черного "ворона". Всякий арест был бы для меня роковым. Всплыла бы и Белая армия, и крымская "дипломатическая" деятельность, революционный трибунал, осудивший моих родителей... Мы все слишком хорошо знали, как Советы умели сочинять из ничего целые обвинительные романы. Еще не отзвучали раскаты дела "Промпартии" и "Шахтинского процесса". Самое главное, погибну не только я, но и вся моя семья, бедные дети!

Нет сомнения, этот клочок ватманской бумаги пропал безвозвратно. Вероятно, кто-нибудь из техников взял его, чтобы завернуть колбасу, и выбросил потом.

Подавленный этими мыслями, я сидел в своей комнате, когда ко мне вошел Пушкарский, который на днях вернулся из Ферганы.

— Что вы мне дадите, если я принесу вам пропавший план? — спросил он улыбаясь. — Мы нашли его за шкафом. Положили наверх за ненадобностью, и он скатился за шкаф.

Слава Богу, кошмар кончился! Мы могли теперь ответить этим господам обоснованно и с доказательствами. От какого пустяка зависит иногда судьба людей!

Летом 1930 года И.Г. Александров удостоился “высокой чести” получить орден Ленина, который он был вынужден теперь постоянно носить в петличке. В то время пожалование советских орденов представителям интеллигенции было редко. Такое отличие носили по большей части весьма сомнительные субъекты, заслужившие его за работу такого характера, которая мало отвечала стандартам обычной порядочности.

Т.П. Марецкая и сам Иван Гаврилович любили собирать у себя по вечерам общество молодежи. Вечера эти проходили оживленно и весело. Постоянно бывая там с Верочкой, я не мог не заметить, что тут бывала публика только такого сорта, который не вызывал у нас никаких опасений политического характера. Естественно, что поздравления Ивана Гавриловича с орденом звучали несколько иронически:

— Поздравляем, так рады за вас! Знаете ли вы, Иван Гаврилович, что вы можете теперь бесплатно ходить в баню? Привилегия орденоносцев!

Иван Гаврилович отшучивался:

— Бросьте, бросьте! Выпьем лучше за процветание отечества и наше благополучие!

Небольшое общество, постоянно собиравшееся у Александрова, ограничивалось, в сущности, четырьмя парами. Это были Малышевы, Тарасевичи, Ломновские и мы с Верочкой. Об инженере Малышеве я уже упоминал. Это был верный и преданный сотрудник Александрова, сам деятельный и активный проектировщик. Впоследствии Александров переключил его на разработку проблемы использования реки Ангары. А.Л. Тарасевич был еще совсем молодой человек, получивший свой диплом вскоре после того, как поступил на Днепрострой студентом-техником. Он принадлежал к семье, которая по всем правилам большевицкой практики должна была быть ликвидирована, но не только уцелела, но даже пользовалась известными привилегиями. Отец Тарасевича — профессор, медик и бактериолог. Он пользовался славой крупного ученого. Мать — урожденная графиня Стенбок-Фермор. Профессор Тарасевич представлял СССР в Лиге Наций по вопросам здравоохранения и медицины. В 1927 году он поехал в Женеву. Возвращаясь в СССР через Берлин, он покончил с собой, повесившись в отеле “Адлон”. Что побудило его к этому, я не знаю. Наш А.Л. Тара-

севич был перед войной студентом Гейдельбергского университета, интернирован немцами и провел всю войну на немецком крестьянском дворе. Работа и жизнь там сделали его горячим поклонником всего немецкого. Вернувшись, он окончил строительный факультет Московского ВТУ. Ломновский был юрист из лицеистов. Его жена, молоденькая дама из общества, усилиями Марецкой превратилась в неплохого техника-гидролога.

А.Л. Тарасевич как-то сказал мне, что он с женой и семьей брата проводит обычно отпуск в своем родовом имении в Волынской губернии.

— "Родовом имении"! Вы шутите: какие теперь родовые имения?

— Нет, в самом деле, наше родовое имение. Большевики ведь вернули его нам. Правда, только усадьбу, но все же, — ответил он мне.

— Ах, это, вероятно, за заслуги вашего батюшки? — высказал я свое предположение.

Тарасевич улыбнулся:

— Нет, зачем? Просто потому, что нас очень любят евреи. Ведь мой дед когда-то был генерал-губернатором Новороссийского края и не раз спасал евреев от погрома в Одессе. А евреи, знаете, не забывают сделанного им добра.

Я вспомнил тут угрозы и предательство Гали и совершенно неожиданную роль, какую в этой истории сыграл ее муж Н.К. Михелев. Надо сказать, что мы после узнали, что он еврей, что его зовут или звали даже вовсе не Николай, а Ной. Кто мог думать, что профессиональный провокатор проявит столько признательности и благодарности?

Александров решил командировать меня снова в Среднюю Азию, на этот раз по линии УГЛИАЗОТа. Я должен был объездить трассу канала, посетить места проектируемых водохранилищ и плотин, подготовить свои замечания. Сам он обещал приехать через пару недель. На месте работ управление УГЛИАЗОТа должно было приготовить мне все нужное для экспедиции. В помощь командировали Тарасевича.

Как я, так и Тарасевич были очень рады этой поездке. Мы начали готовиться. Тарасевич, у которого оказались благодаря отцу большие связи в медицинском мире, обещал раздобыть достаточно хинина, которого нельзя было достать ни в одной аптеке. Хинин — импортный товар. Для закупки его надо было тратить валюту. Однако тратить недостаточную валюту советское правительство было готово на что угодно, только не на обеспечение здоровья населения. Человеческая жизнь всегда котировалась на советской бирже очень дешево — товара этого было много. Расход и убыль его легко и постоянно возобновлялись. И нельзя сказать, что это нелогично, если встать на марксистскую материалистическую точку зрения. Как инженер-гидротехник, я часто приходил в соприкосновение с вопросами последствий затопления и подтопления территорий и тем самым с вопросами малярии. До революции в России, как правило, не наблюдалось больших зараженных малярией пространств, исключая такие отдаленные районы, как некоторые места в Средней Азии. Отсутствие хинина привело к тому, что приезжавшие оттуда разнесли заразу повсюду. Заражению подверглись окрестности Харькова, где раньше о малярии и не слышали. Правда, потом спохватились, начали открывать малярийные станции и т.д. Но последующая борьба всегда труднее, чем профилактика.

Мы уехали. Тарасевич раздобыл хинин, и мы решили принимать его по утрам и вечерам. Сам он ораторствовал, что ему теперь все нипочем. Он привил себе какую-то “тетравакцину”. Мы наслаждались нашей поездкой. Четыре дня в комфортабельном купе спального международного вагона, где все так мало напоминало советскую примитивность и опрощение, уже само по себе давали чувство освобождения. Перспективы интересных поездок верхом в горы, где ничто не напоминало нам “темпы”, интриги, тревоги и волнения Москвы, радовали нас еще больше. Может быть, такие чувства и мысли не слишком разумны и мы напоминали страуса, прячущего голову в песок, но все же человеческий организм требовал разрядки постоянного нервного напряжения. Заменой таких поездок, дающих ощущение отстраненности, у нас мог служить только алкоголь. Действительно, пьянство в

советской России среди профессиональной интеллигенции достигло таких размеров, какие были неизвестны в царское время.

Я объездил с Тарасевичем всю трассу канала и окрестности. Верховая езда больше не мучила меня. Несмотря на пыль, усталость и страшную жажду, мы наслаждались. Как-то раз после того, как пришлось провести в седле несколько часов, мы стояли на берегу туземного канала. Быстро текущая вода казалась прозрачной и чистой. Томила страшная жажда. Пить воду из канала было бы, однако, безумством. Каналы служили туземному населению источником водоснабжения, но они же исполняли и роль канализационных водостоков.

Тарасевич вдруг заявил:

— Как хотите, я терпеть дальше не могу. Пойду и выпью!

Никакие мои уговоры не помогали, он заявил, что привит от тифа и ему ничего не будет. Он набрал кружкой воды и выпил.

Уже темнело, когда мы подъезжали к окрестностям Ташкента. Тут уже и я не выдержал. Увидев какой-то киоск, выпил там квасу. В сущности, это было так же малоблагоразумно, как и поступок Тарасевича. Кто и как делал этот квас? Кипятили ли при этом воду?

Прошло несколько дней, и Тарасевич заболел. Температура была больше 40^0. Бред. Я растерялся, но помогли инженеры УГЛИАЗОТа. Тарасевича удалось устроить в больницу в отдельной комнате. Ожидая Александрова, который должен был приехать через несколько дней, я ходил навещать Тарасевича каждый день. Бедняга, приходя иногда в сознание, страшно волновался, что из-за его болезни мы не выполнили все задания Александрова. Я пытался как мог успокоить его.

Александрова я встретил на вокзале. Первый его вопрос был о состоянии Тарасевича. Я рассказал ему, как все было. Как мне удалось устроить его в больницу и обеспечить хороший уход и какую мне помощь оказал инженер Левинсон из

УГЛИАЗОТа. Последний, так же как и я, посещает Тарасевича в больнице каждый день. Я упомянул, с каким нетерпением Тарасевич ожидал приезда Александрова и как волновался, что мы не полностью закончили подготовку материала. Заканчивая, я сказал:

— Ну вот, завтра вы сами увидите.

Александров промолчал.

На другой день я зашел в комнату Александрова.

— Иван Гаврилович, — сказал я, — надо двигаться, прием в больнице только от девяти до одиннадцати. Потом нас не пустят.

Александров нахмурился:

— Идите сами, я не могу.

Я остановился: подобное мне и в голову не приходило.

— Иван Гаврилович! — вскричал я. — Александр Львович так ждал вас, так волновался...

— Чем я могу помочь? Я не врач... Все это ни к чему!.. Кстати, имейте в виду, что завтра мы выезжаем в долину Чирчика. Я уже сговорился с УГЛИАЗОТом.

Я ушел, возмущенный таким эгоизмом. Что он, боялся заразиться? Какая глупость! Ведь у Тарасевича не что другое, как брюшной тиф. Правда, в очень тяжелой тропической форме.

Мы выехали целым караваном. Кроме Александрова и меня, главный инженер УГЛИАЗОТа, геолог Пфлаумер и переводчик. Нас сопровождали не менее десяти туземцев. Все разместились в трех автомобилях весьма подозрительных марок и арбах, нагруженных всякой всячиной: палатками, седлами и т.д. В Ходжакенте арбы и автомобили были разгружены и все распределено на вьючных ослов — ишаков. Наши лошади были оседланы, и мы поехали дальше верхом.

Проехав вверх по течению Чирчика километров двадцать, мы свернули в боковую долину притока Кок-Су. Здесь дорогу сменила узкая тропа, шириной немногим больше полуметра. Склоны долины становились все круче и круче. Долина вскоре приняла характер ущелья. Тропа, сузившись еще более, превратилась в так называемый балкон — вырубленный в скалистом склоне уступ. С одной стороны этого усту-

па поднималась почти вертикально на десятки метров стена, переходившая выше в почти такой же крутой склон долины, поднимавшийся до облаков. С другой стороны “балкона” скала падала отвесно вниз на глубину не меньше 50—60 метров. Внизу пенился и ревел холодный поток, перескакивая с камня на камень. Иногда тропа переходила, пересекая долину, на “балкон”, прижавшийся к склону другого берега. Соединяющие берега узкие, не больше метра шириной, мостики с пролетом около 10 метров были лишены перил. Помост их образовывали круглые жерди, лежавшие поперек двух длинных деревянных балок, простиравшихся с берега на берег. При проезде даже только одного всадника мостик сильно прогибался, качался и реагировал на каждый шаг осторожно ступавшей лошади.

Первое время езда по этим “балконам” и мостикам вызывала головокружение, и сердце не раз замирало, когда казалось, что лошадь оступилась. Постепенно, однако, невозмутимое спокойствие этих невзрачных туземных лошадок пробуждало к ним доверие, и прежняя неуверенность исчезала.

Чем выше мы поднимались, тем чище и прозрачнее становился воздух. Безоблачное небо синело. Солнце пекло невыносимо, лучи его падали почти отвесно. Поднимавшаяся вверх от “балкона” стена раскалилась и пылала жаром. Ничто не давало тени, негде было скрыться хотя бы на минуту.

Наш караван, растянувшийся чуть ли не на полкилометра, двигался шагом. Ритмичное поскрипывание седла и покачивание действовали убаюкивающе. Мешала только страшная усталость. Мы ехали так уже много часов.

Солнце садилось, когда мы достигли расширения долины, образовавшего небольшую площадку, поросшую травой и деревьями. Решено было устроить здесь привал на ночь. Лошадей расседлали. Сопровождавшие нас туземцы развели костры и начала расставлять палатки. Скоро до носа донесся традиционный туркестанский аромат жареного бараньего сала — приготовлялись шашлыки из мяса только что зарезанного барашка.

Тут можно было спуститься вниз к воде. Вода была очень холодная — Кок-Су питался ледниками. Бурное течение исключало возможность выкупаться, но все же можно было помыться и освежиться.

Поужинав и напившись чаю, мы начали устраиваться на ночь. В палатках расстелили кошму — толстые войлочные одеяла из бараньей шерсти. Кошма, по уверению туземцев, предохраняет от залезания в кровать фаланг, ядовитых пауков аккуртов, каракуртов и даже скорпионов. Овцы пожирают все зоологические деликатесы без всякого вреда для себя. Этим, вероятно, и объясняется предохранительная роль кошмы.

Как я ни устал, прежде чем лечь спать, я посидел несколько времени, наслаждаясь окружающим. Тишина, полное безлюдье. Темное небо, покрытое мириадами звезд... Легкий ласкающий ветерок. Высокие горы кругом, казалось, отгораживали нас от всего полного лжи, злобы и подхалимства коммунистического мира. Можно было хоть на время забыть о существовании красной Москвы.

Ночью стало очень холодно. Я вылез из палатки, разыскал еще одну кошму и накрылся ею.

Мы провели несколько дней в экспедиции и вернулись в Ташкент. Александров потребовал, чтобы я не задерживался и ехал немедленно с ним в Москву, мотивируя это необходимостью спешной обработки собранных нами материалов. Мне с трудом удалось выбрать время и сбегать в больницу. Тарасевич был без сознания, ожидали кризиса. С тяжелым сердцем я поехал в Москву.

Наш поезд остановился на несколько минут в Рязани. И.Г. Александров вышел из купе на платформу купить газету. Поезд тронулся и шел уже несколько минут, когда он вдруг молча протянул мне газету. Я прочитал объявление Гипровода о смерти Тарасевича.

На Казанском вокзале нас встретили вдова Тарасевича, его брат Кирилл и Т.П. Марецкая. Увидев Александрова, Марецкая бросилась к нему вся в слезах и рыдая. Мы все хорошо знали ее сердечность и отзывчивость. Это было типично для Марецкой. Вдова Тарасевича тоже плакала, но казалась все же спокойнее.

Александров, несомненно, чувствовал угрызения совести после смерти Тарасевича. Конечно, он не был виноват в ней. Конечно, он ничем все равно не мог помочь ему. И все же его нежелание посетить больного и спешный отъезд — все это было проявлением той стороны его натуры, которая обеспечила ему успех в профессиональной деятельности: логическое мышление, рационализм, нежелание считаться с несущественным, игнорирование условностей и традиций, стоящих у него на пути и затрудняющих достижение цели.

Теперь он всячески старался облегчить положение семьи Тарасевича. Он принял на службу в Гипровод вдову Тарасевича, оставшуюся с двумя детьми. Она была зачислена техником в гидрологический отдел, находившийся в заведовании Марецкой. Последняя взяла на себя лично инструктирование и обучение Тарасевич. Эта энергичная и весьма способная дама делала под таким руководством быстрые успехи. Достаточно сказать, что несколько лет спустя она окончила вечерний техникум и получила звание инженера узкой специальности. Но этим не ограничилась помощь семье Тарасевичей. Познакомившись во время этих дней с братом Александра Львовича, Кириллом, Александров устроил его секретарем Национального комитета СССР Всемирной энергетической конференции, где сам он был председателем комитета по высоким плотинам.

Кирилл Львович, профессиональный музыкант, окончил Московскую консерваторию и играл в числе первых скрипок в Большом театре. Профессия его, казалось, мало подходила к новой должности, но помогло то, что он свободно владел немецким и французским языками. Это было необходимо для ведения корреспонденции и контакта с иностранными посетителями. Для последней роли Кирилл Львович подходил более, чем кто-либо другой, — хорошо воспитан, бросался в глаза своей наружностью. Стройный брюнет с голубыми глазами и правильными чертами лица воплощал идеальный тип кельтов — своих предков. Ко всему Тарасевич был, вероятно, в то время в Москве наиболее элегантно одетым советским гражданином. Этим он был обязан тетке, бывшей женой Ромена Роллана. Приезжая в Москву на поклон своим кумирам, Роллан всегда оставлял свои заграничные костюмы племяннику. Таким образом, К.Л. Тарасе-

вич располагал не только изысканным, но и богатым гардеробом.

С самого начала нашего знакомства Кирилл Львович и я почувствовали взаимную симпатию. Симпатия эта потом перешла в близкую дружбу.

Государственный институт по проектированию гидротехнических сооружений — Гипровод решено было перевести в Ленинград. Академик Александров был очень недоволен этим решением. Я, наоборот, очень рад. Я любил этот город. Мне были так понятны строки А.С. Пушкина:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

Санкт-Петербург был действительно окном в Европу. Свежий воздух, хлынувший с Запада через это окно, прогнал затхлую атмосферу средневековой татарщины и снова вернул Россию в семью европейских народов. Все культурные достижения России в области науки, искусства и литературы обязаны этому короткому, но блестящему "петербургскому" периоду истории.

Все темные силы, справа и слева, сознательно и бессознательно чувствовали эту роль Петербурга. Их пропаганде обязано распространенное в широких слоях русского общества представление о Петербурге как о городе нездоровом, полном туманов и моросящего дождя. Такое представление совсем не отвечает действительности. В самом деле, вероятно, они сами очень удивились бы, узнав из точных многолетних метеорологических наблюдений, что годовое количество осадков в Петербурге на 100 миллиметров меньше, а число часов солнечного сияния больше, чем в Москве. Они также узнали бы, что средняя годовая температура выше, а весна начинается раньше, чем в Москве. Наконец, статистика здравоохранения показывала, что процент заболевания туберкулезом в Москве был выше, чем в Петербурге.

Чем же объяснить такую плохую славу Петербурга? Откуда она пошла? Как возникла? Почему так упорно держится?

Легче всего ответить на последний вопрос. Достаточно только вспомнить английскую поговорку: “Give a dog a bad name and kill it”*.

Дурную репутацию Петербург получил не сразу. Еще в начале XIX столетия Пушкин им восхищался, другие, в худшем случае, его не хулили. Как это ни может показаться на первый взгляд парадоксальным, дурной репутацией Петербург обязан трем обстоятельствам: распространению высшего образования в России, народническому движению и изобретению паровоза и строительству железных дорог.

Действительно, в многочисленные высшие школы Петербурга ежегодно съезжалось со всех концов России множество молодежи. Приезжали молодые люди в Петербург осенью, после жаркого и солнечного лета, проведенного дома в каких-нибудь Прилуках или Золотоноше. Дождливая и холодная погода — это правило для большей части территории всей России. Но у них эта погода всегда ассоциировалась с Петербургом. Весной повторялось то же самое в обратном порядке. Не заметив из-за начала экзаменов солнечного и ласкового петербургского лета, они возвращались домой, помня только о дождях и холоде, пережитых осенью и ранней весной.

Народникам Петербург претил своей стройностью, культурным обликом, так мало согласующимися с “опрощением”. Строгие, сдержанные по стилю портики и колонны военной столицы и резиденции приводили их в ярость. Задыхаясь от злобы, они писали и кричали о “казарменных желтых фасадах”, каменных пустынях площадей и проспектов. Справа к этому хору поносителей присоединялись ненавистники Запада — славянофилы, искавшие свой идеал в средневековой отатаренной Руси. В архитектуре они изобрели псевдорусский “петушиный” стиль и пытались протащить его даже в Петербург.

Наконец, третьим обстоятельством, способствовавшим установлению дурной репутации Петербурга, были, как я уже указывал, железные дороги. Это очень просто. До их изобретения слои населения, создающие “общественное мнение”, проводили лето если не в самом городе, то в его прекрасных окрестностях, в Царском Селе, Петергофе, Гатчине, Павлов-

---

* “Дай собаке плохое имя и убей ее” (*англ.*).

ске. Теперь на лето они начали уезжать на Ривьеру, курорты Германии или даже юга России — в Ялту, Гурзуф, Минеральные Воды Кавказа. Так же как и студенты, они не знали или забыли прекрасное петербургское лето.

Советский Ленинград был, конечно, не императорский Санкт-Петербург, но все же отблески западной культуры здесь были более заметны, чем в Москве.

Не надо думать, что отношение сотрудников Гипровода к предстоящему переезду в Ленинград в значительной степени определялось такими же соображениями, какие были у меня. У большинства главную роль играли материальные соображения. Устройство квартир было обещано только руководящему персоналу. Это сразу уменьшило число желающих переезжать. Горячими сторонниками перевода, кроме меня, были только Марецкая и несколько других сотрудников, бывших петербуржцев. Выяснилась необходимость набора нового технического персонала в Ленинграде. В противном случае разработка отдельных проектов могла бы задержаться, если не совсем остановиться. Принимая это во внимание, Александров решил предварительно послать меня в Ленинград в качестве временно исполняющего обязанности директора Гипровода. В помощь мне он прикомандировал Д.К. Жабицкого, который в Гипроводе после появления партийного заместителя Сыромятникова служил экономистом. Жабицкий должен был организовать хозяйственную часть, нанять помещения для бюро, вести переговоры с местными властями и т.д. Нас поместили в гостинице “Европейская”, которая была мне знакома после неожиданной встречи с К.Г. Шпельти.

Во время нашего почти трехмесячного проживания здесь я не мог не заметить специального оборудования этого отеля “Интуриста” для подслушивания разговоров в ресторане и, вероятно, также в отдельных номерах. В ресторане во время пьяного скандала кто-то опрокинул стол, и оттуда выскочил микрофон. Сидя недалеко от скандалистов, мы это увидели. Как известно, ресторан “Европейской” был любимым местом встреч советских boss’ов, управляющих предприятий, партийных и беспартийных. Там обычно праздновались и встречи с иностранцами, коммивояжерами разного сорта. Думаю, что

ГПУ собирало там достаточно материала для своей деятельности. О высокой эффективности этого оборудования говорит, например, то, что мне рассказала кузина Верочки, тоже бывшая швейцарка, вышедшая замуж за очень удачливого инженера-металлурга. Как-то раз он с женой решил закусить и потанцевать в этом ресторане. Не прошло и дня, как он был вызван в ГПУ, где подвергся очень подробному допросу: какую цель он преследовал своим посещением? Откуда у него средства для этого?

Мы заканчивали нашу работу. Для размещения бюро нам отвели часть помещений Географического музея, расположенного на углу Адмиралтейского канала и Галерной улицы. Это был прекрасный особняк XVIII века, выстроенный Луиджи Руской для графа Бобринского. В качестве временного приюта для переводимого из Москвы персонала впредь до приискания и оборудования квартир Гипроводу предоставили виллу в Царском Селе, принадлежавшую раньше генералу Стесселю, заслужившему недобрую славу во время Японской войны.

Набор недостающего инженерного персонала шел успешно. В этом мне большую помощь оказал инженер-политехник, секретарь известного гидравлика, академика Н.Н. Павловского. Приняв этого инженера в Гипровод по рекомендации Павловского, я получил не то, на что рассчитывал, но мне не пришлось раскаиваться. Арташес Тигранович Акопджанянц, как его звали, был, как видно из фамилии, армянин, лет сорока. Просидев в Политехническом институте, как говорили, не менее 15 лет, он умудрился все же получить диплом, но его таланты лежали совсем в другой области. Как агент для поручений, мастер добывать все, что угодно, “дефицитное”, он был незаменим. Очень услужливый, он и сам любил набирать себе всевозможные поручения. Очевидно, Акопджанянц видел в этом своего рода спорт. Как секретарь академика Павловского, которому он был предан телом и душой, он обладал большим кругом знакомства среди инженеров — гидротехников, путейцев и политехников. Ему я и обязан успешным набором недостающих специалистов, которых он приводил ко мне.

Заключая договор с Географическим музеем, я познако-

мился с его директором Семеновым-Тян-Шанским. После подписания нашего соглашения Семенов обратился ко мне с просьбой устроить в Гипровод его знакомую даму. Она окончила курсы чертежников, но, не будучи членом профсоюза, не могла поступить на службу. С другой стороны, она не могла стать членом профсоюза, не будучи на службе. Один из советских бюрократических парадоксов. Обычно они разрешались тем, что кто-то нарушал порядок. Если этого не замечали — все приходило к счастливому концу. Если нет... то могло произойти что угодно. Пользуясь нашим "межпланетным" положением между Москвой и Ленинградом, мне удалось завершить эту операцию без особых затруднений. Дама эта, очень хорошенькая и молодая, — некая Людмила Ильинична Баршева, урожденная Крестинская. Ее муж Баршев был писателем. Баршева со своей стороны просила устроить ее подругу Е.М. Мокржицкую, что мне тоже удалось. Ее я зачислил своей секретаршей. Мокржицкая хорошо говорила по-английски, чему я особенно был рад, так как в то время лица, говорящие по-английски, встречались редко.

Людмила Ильинична очаровала наших инженеров, которые наперебой старались обучить ее тонкостям чертежного искусства. С Мокржицкой мы очень сблизились. Она начала давать уроки английского языка моему сыну, ее мать — моей дочке.

Я так подробно остановился на зачислении этих дам потому, что через знакомство с Баршевой мне удалось бросить взгляд на житие представителей писательской и художественной богемы, продавшейся большевикам.

Мне удалось обменять свою квартиру в Сокольниках на половину квартиры в Ленинграде. Гипровод при этом обязался произвести необходимые перестройки для раздела. Раздел был спланирован так, что я получал отдельный выход, правда, на черную лестницу. Кроме того, Гипровод устанавливал ванну и все санитарные устройства. Отдельная квартира с ванной и кухней, да еще в центральном районе Ленинграда, в советских условиях редко достижимый идеал. Вход с черной лестницы был недостатком, но ведь и парадный ход вместе с недействующим лифтом мало отличался по чистоте от черного хода.

Я привез семью из Москвы. До окончания ремонта мы поселились на даче Стесселя в Царском Селе. Казалось, все устраивалось к лучшему. Однако в Советах никогда не следует предаваться излишнему оптимизму.

Первая неприятность была связана с переездом. Моя обстановка и книги, которых оказалось 16 больших ящиков, шли из Москвы по железной дороге малой скоростью. Не питая большого доверия к советским нравам, я очень побаивался за благополучие моих ящиков. Их могли в дороге разбить, и мои ценные книги погибли бы. Свою и раньше хорошую библиотеку мне удалось значительно пополнить. Надо сказать, что первые после революции годы оказались чрезвычайно благоприятными для библиоманов. Масса частных библиотек, в том числе великокняжеских, была разграблена. "Просвещенные" власти еще не сообразили, какие ценности этого порядка появились на рынках и толкучках. Интересы широких слоев населения тоже были направлены в сторону картофеля, а не книг. Ценные и редкие книги можно было покупать за бесценок, иностранные — в особенности дешево: по два рубля за килограмм.

Угроза моей библиотеке шла, однако, с другой стороны, совершенно неожиданной. Недели через три после отправки имущества из Москвы я получил извещение о том, что мои вещи прибыли в Ленинград. Горя нетерпением удостовериться в целости книг, я сам отправился за их получением. Там меня встретил сюрприз. Хотя повестку о приходе вещей я получил только вчера, мне заявили, что я должен заплатить полежалые за три дня, и притом в размере 200 рублей за каждый день. В случае невзятия в 10-дневный срок мои вещи подлежат ликвидации как невостребованные. Оказалось, что пакгаузы Ленинградской товарной станции в силу каких-то причуд советского планового хозяйства были забиты до отказа грузами. Для ускорения разгрузки железной дороги управление приняло революционное решение — увеличить размер полежалых в 20 раз и сократить срок хранения. Мне также разъяснили, что если бы я назвал ящики с книгами "домашними вещами, бывшими в употреблении", то и провоз стоил бы меньше, и полежалые были бы нормальные. Напрасно я бегал по всем инстанциям вплоть до начальника управления дороги — всюду получал отказ

пересмотреть принятое решение. На другой день бухгалтер Гипровода дополнительно “обрадовал” меня сообщением, что ни жалованья, ни аванса я не могу получить, так как банк сообщил, что выплата переведенных нам из Москвы денег задержится на 10—15 дней. Последнее явление бывало не редкостью в Советском Союзе.

О моем разговоре с бухгалтером узнал Акопджанянц. Он прибежал ко мне:

— Что я слышал! Верно это? Давайте сюда ваши накладные. Я вам все устрою!

Напрасно я доказывал, что все это безнадежно, что я уже повсюду был и говорил. Акопджанянц не сдавался. Наконец мы решили поехать еще раз в управление дороги вместе.

Большая комната была перегорожена барьером с металлической сеткой. Перед каждым из трех окошек стояла колыхающаяся, толкающаяся и ругающаяся советская очередь. Я показал, к какому окну мы должны стать в очередь. Акопджанянц сказал:

— Давайте ваши бумаги. Садитесь здесь и ждите. Я все сделаю сам.

Я сел. Арташес пошел, но и не подумал стать в очередь, а протолкнулся к самому окошку. Шум и крики поднялись до апогея. Акопджанянц что-то орал и размахивал кулаками. Вдруг он просунул голову в окошко и закричал, маня рукой пробегавшую за решеткой девицу:

— Эй, вы там! В красном платочке! Идите же сюда! Да, это я вам говорю! Идите скорей!

Что он там говорил, не знаю. Только через минуту открылась какая-то дверь. Акопджанянц исчез, чтобы вскоре вновь появиться, но уже за решеткой. Он пробегал за решеткой еще пару раз, направо и налево. Минут через десять он был снова в зале, шел мне навстречу, протягивая бумаги:

— Вот — все улажено. Полежалые сняли!

Что бы я делал, если бы не Акопджанянц?! Да что бы вообще делало все советское социалистическое плановое хозяйство с его постоянными “узкими местами”, “срывами плана” и т.д., если бы не было таких акопджанянцев? Во многих случаях они уже официально узаконились в качестве “агентов по снабжению”. Неофициально они назывались “толкачами”. Наш неофициальный толкач — Арташес Тигранович

Акопджанянц — стал необходимым рычажком в аппарате технической части Гипровода, вытаскивая из затруднений того или другого из нас. Делал он все это просто из любви к искусству, поскольку дело касалось нас. Его труднопроизносимое имя было любовно сокращено нашими инженерами в Шестиграновича.

Если первая неприятность, пережитая нами после переселения в Ленинград, разрешилась благополучно и носила характер легкой комедии с элементом хлестаковщины, то вторая, по существу своему абсолютно невозможная в нормальном культурном обществе, могла бы иметь трагические последствия для всей нашей семьи.

Мы жили уже месяца два на даче Стесселя в Царском Селе, когда я узнал, что сюда переезжает также семья А.И. Мельникова. Перспектива проживания в одном доме с этой "гранд дам" большевицкого бомонда снова, после пережитого на даче в Сокольниках пять лет назад, казалась малоприятной, но то, что потом произошло, было хуже, чем я ожидал.

Почти все летние вечера мы проводили в прогулках вместе с детьми в чудных царскосельских парках. Часто к нам присоединялся кто-нибудь из семейств инженеров, проживающих тоже на вилле. Иногда мы оставались в прекрасном цветнике сада, сидя на скамеечках и беседуя с соседями. Выйдя как-то раз в сад и поздоровавшись с сидящими в цветнике, среди которых находилась жена только что назначенного партийного заместителя И.Г. Александрова, коммуниста из рабочих Кактыня, мы шли по дорожке около дома. Вдруг окно комнаты Мельникова распахнулось. В окне появилась физиономия М.П. Мельниковой, искаженная злобной гримасой. Размахивая кулаком, она высунула несколько раз язык и прокричала:

— Интервенты!.. Интервенты!.. Интервенты!!!

Окно захлопнулось.

Все это было до крайности постыдно и глупо, но в советских условиях тут был и другой элемент. Выпад был явно рассчитан в бенефис жены Кактыня. Это был донос. Применение к нам эпитета "интервенты" из обычного советского ругательного словаря было, конечно, нелепо. Что милая Мария Павловна имела в виду — это желание сообщить, что мы контрреволюционеры.

Мы, конечно, были очень обеспокоены. Знает ли она действительно что-нибудь обо мне или это только выстрел “на ура”? Я считал, что она ничего не знает, в противном случае мы уже давно были бы ликвидированы. Мы провели бессонную ночь, обсуждая “за” и “против”.

На другой день я уехал на службу. Верочка вышла в сад. Ее увидела жена Кактыня, подошла, пожала ей руку и сказала:

— Слушайте, товарищ! Как вы только можете спокойно переносить то, что эта стерва вам кричит? Да я ей просто глаза бы выцарапала!

Инцидент не имел последствий.

После назначения Кактыня партийным директором я смог снова вступить в свои обязанности начальника сектора инженерных сооружений. Эта работа доставляла мне большое удовлетворение, так как отвечала моим склонностям. Успеху работы также немало способствовало то, что новый штат сотрудников включал ряд весьма знающих и способных специалистов: гидравликов, конструкторов и статиков.

В весьма короткое время мы выполнили детальный проект большой плотины на реке Мургаб у Таш-Кепри в Средней Азии. Поехав в Москву, я с успехом защитил проект в назначенной для этого экспертной комиссии.

Вторым из интересных проектов, разработанных нами в это время, был проект плотины из каменной наброски на реке Урал для водоснабжения Магнитогорского металлургического комбината. Высокие плотины из каменной наброски в Европе были совершенно неизвестны и построены лишь в ряде случаев только в Америке. Когда этот интересный проект продвинулся достаточно, мы сообщили нашим заказчикам, что даже при исключительном напряжении сроков строительства из-за условий наполнения водой водохранилища вода комбинату не может быть дана раньше чем через три года. Наше сообщение подействовало, как удар грома. Меня немедленно вызвали в Москву, в Высший Совет Народного Хозяйства СССР. Я сделал там доклад члену Президиума профессору Долгову. При этом я узнал здесь об очередном скандале социалистического планирования.

Строящийся Магнитогорский комбинат должен был использовать превосходную уральскую железную руду с выплавкой ее на угле Кузнецкого бассейна в Сибири. До сих пор эта руда выплавлялась на древесном угле, что очень ограничивало производство. Было решено создать здесь крупнейшие в СССР сталелитейные заводы. Заводы предполагалось оборудовать самыми большими в мире домнами, мартенами и т.д. К проектированию привлекли в качестве консультантов крупные американские фирмы, в том числе фирму "Фрейн". Когда строительство уже началось, выяснилось, что пропускная способность Сибирской железной дороги ограничивает подвоз в нужных размерах угля из Кузнецкого бассейна. Это заставило изменить масштаб запроектированного комбината, нарушив связанность и рациональность его схемы. Отдельные цеха оказались слишком отдаленными друг от друга, что обусловило ненужные длинные пробеги. Но этого мало. Вскоре последовало новое открытие: не хватает воды! До сих пор металлургические заводы (не гиганты) либо располагались на берегу больших рек (как Брянский на Днепре), либо сама их величина ограничивала потребность в воде. Грандиозные масштабы производства стали, запроектированные в Магнитогорске, неожиданно уперлись в вопрос водоснабжения. Урал, в сущности, небольшая река с весьма малым стоком летом и зимой. При производстве стали в разных процессах затрачивается около 60 тонн воды на одну тонну стали. Приняв во внимание, что для тонны стали требуется всего две-три тонны руды, можно видеть, какую громадную роль играет водоснабжение. Как ни парадоксально, но вода является чуть ли не главным сырьем. Сталь делается из воды!

Проектируемое нами водохранилище, образованное плотиной из каменной наброски, могло, как я уже указал, дать воду только через три года. ВСНХ СССР дал теперь новое поручение Гипроводу: найти возможность ускорить снабжение водой комбината по крайней мере на полтора года.

Обсудив это положение вместе с академиком Александровым в Москве, мы решили изучить возможность получения воды до готовности водохранилища путем перекачки ее в долину Урала из естественных горных озер в его верховьях. Мы немедленно организовали экспедицию под руководством инженера Угинчуса, нашли подходящие озера, произве-

ли необходимые съемки. Для выкачивания воды из озер я решил применить плавучие насосные станции и такие же плавучие водоводы на понтонах.

Найдя это решение, мы успокоились. Если поднимется вопрос о провале планов по Магнитогорску, то на нас свалить вину будет невозможно: воду мы дали.

Во время моих приездов в Москву вечера я обычно проводил у Александровых, неизменно получая приглашения либо от Ивана Гавриловича, либо от Татьяны Петровны. Между прочим, Александров медлил с переездом в Ленинград, что ему и удавалось. Он также задерживал перевод гидрологического и водохозяйственного отдела, находившегося под руководством Марецкой.

Как-то раз вечером мы — Александров, Марецкая и я — сидели и пили чай, ведя, как всегда, оживленный разговор. Вдруг Иван Гаврилович встал и вышел в соседнюю комнату. Мы продолжали с Татьяной Петровной разговаривать, но я заметил, что она как-то сникла. От прежнего оживления не осталось и следа. Она нервно сжимала в руках носовой платок.

Минут через десять Александров вышел одетый в элегантный черный вечерний костюм, купленный им во время заграничных командировок. Он обратился ко мне:

— Вот что, друг мой. Мне нужно в Госплан, в одну комиссию.

Я вскочил и сказал:

— Я тоже пойду домой. Мне еще нужно...

Александров остановил меня и, положив руку на плечо, снова посадил в кресло:

— Что вы торопитесь? Танюша сделает вам еще чайку. Да и я, может быть, скоро вернусь.

В смущении я не знал, что делать. Я увидел, что Татьяна Петровна побледнела, замигала глазами и отвернулась. Александров вышел.

Желая нарушить неловкое молчание, я начал:

— Знаете, Татьяна Петровна, наш Магнитогорский...

Но Марецкая внезапно поднялась, секунду поколебалась, хотела что-то сказать, но вдруг слезы брызнули у нее из глаз.

Она прижала платочек к лицу и выбежала в соседнюю комнату. Оттуда послышались всплески воды в умывальнике, потом все стихло. Наконец дверь открылась, вошла Марецкая.

— Минуточку, Василий Эмильевич, я сейчас сделаю чай, — сказала она.

Но мне не хотелось оставаться. Отговорившись неотложной работой, я распрощался с ней и ушел.

Это происшествие взволновало меня. Что это было? Конец "большой любви"? Шитый белыми нитками обман казался недостойным такого большого человека, каким был Александров. Обидно и за Татьяну Петровну. Как-то не хотелось видеть ее в роли брошенной любовницы. Эта роль мало подходила ей...

После окончательного переселения и устройства новой квартиры в Ленинграде мы могли заняться вопросами образования детей. Живя в центре города, можно было рассчитывать привести в исполнение мою мечту — обеспечить детям знание языков, в первую очередь английского. Моя секретарша Е.М. Мокржицкая уже преподавала английский моему сыну. Живость ее характера и юмор привели к тому, что не прошло и года, как сын сделал большие успехи. Я со своей стороны добился, что он начал читать по-английски со словарем. Осенью 1932 года мне удалось после долгих разговоров перевести Олега из обычной советской школы в единственную в то время в СССР английскую школу.

Школа эта предназначалась для детей английских и американских коммунистов, соблазненных советской пропагандой и переселившихся в парадиз рабочего класса. Число таких поклонников коммунизма в то время было еще невелико, поэтому число учеников в школе могло быть пополнено двумя-тремя русскими детьми, в число которых и попал мой сын.

Приведя сына в школу, я увидел, что, хотя классы английской школы помещались в доме нормальной советской школы на Выборгской стороне, практически школы были изолированы друг от друга. Никакого контакта не существовало. Различались внешний вид детей и их одежда. Мальчики-"англичане" были почти все в пиджачках-блейзерах, коротких

штанах с голыми коленками и высоких чулках с отворотами; девочки — в плиссированных юбочках, блузках с галстучками. И те и другие аккуратно причесаны и умыты. Бросался в глаза здоровый и непринужденный вид этих детей. Их советские сверстники, бедно одетые, обращали на себя внимание, наоборот, своими бледными личиками, казались сдержанными и запуганными. Мое первое впечатление подтвердилось тем, что я услышал на родительских собраниях в английской школе. Тут не раз дискутировался вопрос, почему "наши" дети так плохо дисциплинированы и непослушны, в то время как русские "сознательны" и дисциплинированны. Этот вопрос постоянно поднимала некая миссис Мортон, по-видимому, очень фанатичная коммунистка. (К семье Мортон мне придется еще раз вернуться, хотя бы потому, что мой сын Олег очень подружился с сыном миссис Мортон, Аланом.)

Я познакомился с директоршей школы и учителями. Директоршей была русская Соловьева, безукоризненно и с хорошим выговором владевшая английским языком. Остальные учителя, мужчины и женщины, были не англичане, а американцы. Я с любопытством смотрел на эту публику. Что заставило этих людей бросить родину и приехать сюда? Обманулись ли они в своих мечтах? Нашли ли то, что искали? Ответы на некоторые вопросы я вскоре получил. Так как Олег владел английским языком не в совершенстве, я попросил одного из учителей, некоего Франка Гонека, давать ему частные уроки. Гонек был американский коммунист из Калифорнии, окончивший Университет в Окленде.

Вскоре мы увидели, что Гонек, несмотря на свою партийность, оказался очень милым человеком и что его взгляды, например на выбор подходящей литературы для чтения детям, не отличались от наших. Он рассказал нам, как приехал в СССР. Увлеченный идеей построения "бесклассового, свободного общества", он решил бросить место учителя и поехать в "обетованную" страну. Будучи бедным человеком, Гонек не мог позволить себе роскоши купить железнодорожный билет до Нью-Йорка и проехал туда от Калифорнии в своем автомобиле. Продав автомобиль, он смог заплатить за проезд до Ленинграда. У него осталось после ликвидации имущества еще несколько сотен долларов. Его и еще нескольких таких же чудаков встречали весьма торжественно.

На перроне играл духовой оркестр, был устроен банкет с речами и тостами. Гонеку было заявлено, что он может пользоваться всеми правами и привилегиями советских граждан. Тут же он подписал заявление о принятии советского подданства. Вскоре наступило разочарование. Не прошло и нескольких дней, как в гостинице, где его поселили, украли все сбережения Гонека, которые, как он думал, помогли бы ему устроиться на новой родине. Его жалобы в советскую милицию не привели ни к чему. Протесты встречали смехом. Советское учительское жалованье не давало возможности возобновить изношенную одежду. Бегая зимой в одном дождевике, Гонек, избалованный калифорнийским климатом, простудился и заболел. Поправка требовала усиленного питания, врач рекомендовал ему фрукты, апельсины. Но апельсины в Ленинграде в это время экзотика, недоступный фрукт, который можно было видеть разве только в отелях "Интуриста". Население позабыло даже, как апельсины выглядят. Единственный фрукт, который Гонек нашел, была клюква!

Как-то раз он явился на урок в совершенно растерзанных чувствах. Когда я его спросил, в чем дело, Гонек заявил, что его "вычистили" из партии и отняли партийный билет. Не было ничего удивительного: Гонек на партийном собрании вздумал излагать свои мысли и теории о том, каков должен быть "истинный" коммунизм.

Верочка старалась как могла подкормить беднягу. Благодарность его не имела границ. Мы со своей стороны были очень благодарны ему за уроки. Олег сделал большие успехи и мог теперь объясняться совершенно свободно по-английски.

Я уже упоминал, что Олег особенно подружился с Аланом Мортоном. Обоих объединяло отрицательное отношение к обязательным в советских школах наушничеству и доносам. Алан много рассказывал о порядках в английских школах и находил в Олеге сочувствующего слушателя. Оказалось, что семья Мортон принадлежала к числу тех английских рабочих, которые приехали в СССР за счет леди Астор. Прерываемая на митинге коммунистическими выкриками, она предложила отправить за свой счет в "рай рабочего класса" тех, кто пожелает жить там не менее двух лет и работать, как русские рабочие. Джеймс Мортон взял семью — жену, сына и дочь, приехал в Ленинград и поступил рабочим на Пути-

ловский завод. Я часто встречался с Мортонами на родительских собраниях. Мне казалось, что двигательной силой в мортоновской авантюре была миссис Мортон. Джеймс казался спокойным, молчаливым. Миссис Мортон, наоборот, всегда говорлива и жива. Даже своим видом, с пенсне на носу, она напоминала мне русскую интеллигентку-нигилистку.

Много лет спустя я узнал о судьбе этих асторовских большевиков. В 1950 году в Лондоне вышла книга, автором которой была Нора Меррей (Nora Murray. "I spied for Stalin" — "Я шпионила для Сталина"). Н. Меррей была русская, во время войны она вышла замуж за англичанина. Ей единственной удалось уехать с ним в Англию. Нора Меррей пишет, как она встречалась с миссис Мортон в Ленинграде в 1941 году:

"Миссис Мортон расплакалась, когда увидела меня. Хотя ей было всего 50 лет, выглядела она больной и истощенной. Она показала мне на пустые стены и зарыдала:

— Смотрите, что они сделали со мной. Меня исключили из партии. Мою работу мне запретили, и все потеряно. Никто не смеет приходить ко мне. Никто со мной не разговаривает... Вы помните моего мужа Джима? Вы знаете, почему мы приехали сюда? Можете ли вы поверить, что я, его вдова, могла бы шпионить в России и сообщать все британской разведке?.. Однажды меня вызвали в народный суд... Там были три мои сотоварки по работе, которые показали, что я изменница... Все ложь с начала до конца... Не было ни фактов, ни деталей... Когда они увидели, что все это слишком глупо... они удовлетворились тем, что утверждали, будто я — антикоммунистка и враг народа... Они признали меня виновной... У меня отняли партийный билет... Я потеряла свою работу... Вы видите, Нора, что я теперь сломанная и убитая женщина... Если бы леди Астор могла видеть нас, она узнала бы, что была права относительно России. О, как бы я хотела, чтобы мы сюда не приезжали!"

Во время войны Алан погиб на фронте, он был советским офицером. Та же судьба постигла и его друга, моего бедного сына Олега.

Франк Гонек, однако, оказался счастливее. В 1932 году Ф. Рузвельт был выбран президентом Соединенных Штатов Америки. Первым государственным актом этого фатального человека, самомнение и ограниченность которого привели впо-

следствии к порабощению свободных стран Восточной Европы коммунистической тиранией, стало признание советской России. В Москве открыли американское посольство. Ф. Гонек бросился туда. Первая поездка кончилась неудачей. В посольстве заявили, что он советский гражданин, и в выдаче паспорта ему было отказано. Гонек вернулся убитый. Только после второй поездки он получил американский паспорт. Он буквально не чувствовал под собой ног от радости. Вскоре Гонек распрощался с нами и уехал в Америку.

Мы жили в Ленинграде. Здесь больше, чем в каком-либо другом городе советской империи, можно было хоть на время забыть о серой, скучной, беспокойной советской действительности. Одни прогулки летом по набережным Невы, когда

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса,

а река кажется потоком расплавленного серебра, наполняли сердце радостью и успокаивали нервы. В воскресенье можно было ездить в окрестности — в Гатчину, Павловск, Царское Село, Петергоф. Посещать там дворцы и музеи. Даже просто гуляя по улицам, можно было найти то там то здесь какой-нибудь уличный фонарь или решетку кованого железа изысканной красоты и изящества. Но даже это скромное счастье не могло быть прочным в стране, где человек не является хозяином своей судьбы.

И.Г. Александров приехал наконец в Ленинград, посетить подчиненный ему и разросшийся Гипровод. К этому времени помещение в Географическом музее оказалось недостаточным, и нам отвели дом бывшего монастыря Иоанна Кронштадтского на Карповке. Александров должен был утвердить размещение отделов и бюро и познакомиться с ленинградским персоналом. О его приезде я узнал из телеграммы, полученной от него вечером. Рано утром на другой день я послал нашего Шестиграновича встретить его на вокзале и устроить номер в “Астории” или “Европейской”.

Вернувшись и доложив об исполненном поручении, Акопджанянц медлил уходить из кабинета. Наконец, когда мы остались одни, он наклонился и зашептал:

— Александров приехал не один. У него в купе... Нет, не она... Другая... Знаете...

Я оборвал разоблачения Акопджанянца, заявив, что меня не интересуют частные дела. Он удалился разочарованный, но я не сомневался, что эта информация разнесется теперь по всему Гипроводу.

Бедная Татьяна Петровна!

Меня вызвали персонально в Наркомзем СССР. Там я встретил человек 15 инженеров, знакомых мне по Центральному электротехническому совету, по Днепрострою, по встречам в Средней Азии. Это были главным образом гидротехники, энергетики и специалисты по ирригации. Среди прочих — профессор Костяков, инженер-агроном, специалист по гидромодулю, профессор Глушков, директор Всесоюзного гидрологического института, инженер С.П. Тромбачев, главный инженер Среднеазиатского управления ирригации, начальники строительства правого и левого берега Днепростроя Салов и Веселов.

К нам явился член Коллегии Наркомзема некий Рейнгольд и заявил, что мы созваны сюда, чтобы дать обоснованное расчетами заключение по вопросам ирригации земель Заволжья на базе мощных гидростанций на Волге. Мы должны дать законченный доклад в три дня для представления "вождю партии и народа" товарищу И.В. Сталину. Далее Рейнгольд объявил нам, что мы не имеем права покидать Москву до окончания этой работы. Мало того, мы должны являться на работу в 9 часов утра и оставаться до 10 часов вечера. Завтрак, обед и ужин нам будут сервировать здесь, в Наркомземе. Все имеющиеся в Наркомземе материалы предоставляются в наше распоряжение. При такой обстановке нам не оставалось ничего другого, как распределить работу между собой.

Салов, Веселов и я взяли на себя эскизное проектирование Волжского узла сооружений: плотины, гидростанции и судоходных шлюзов, а также составление к этому сметных соображений и плана производства работ. Наша работа шла гладко, так как мы знали друг друга по Днепрострою и принадлежали, так сказать, к одной школе — Хью Л. Купера. Когда нам недоставало исходных материалов или времени

для точного расчета, мы применяли сообщенное нам Купером правило “Guess it by half and double it”*.

Мы выполнили свою работу в срок, определив возможность орошения больших площадей Заволжья путем машинного подъема воды на базе энергии Волжской гидростанции. Стоимость мероприятий оценили приблизительно 10 миллиардов золотых рублей.

Через несколько дней мы получили по экземпляру нашей работы в виде напечатанной на хорошей бумаге брошюрки.

Приехав в Ленинград и занявшись текущими делами, я вскоре забыл о вызове в Москву и Наркомзем. Я считал, что это была очередная попытка коммунистических “вождей” вытащить сельское хозяйство из ямы, в которую его завело применение на практике “мудрых” теорий Маркса и Энгельса и других пророков социализма. В самом деле, невероятный скандал: страна при отсталом капиталистическом хозяйстве была житницей Европы, если не мира, а теперь уже десятилетия постоянно страдает от недоедания, а временами и просто от голода! Искались всякие магические решения. Один раз было вдруг открыто, что решение принесут бобы. Бобы эти пропагандировались с треском и шумом. Устраивались собрания и митинги. Сорок тысяч агитаторов было пущено в деревню поучать недогадливых крестьян. Не прошло и года, как все с бобами затихло. Очевидно: сели на бобах! Новыми спасителями социализма были призваны теперь свиньи. Свиньи, как известно, питаются отбросами. Отбросы ничего не стоят. Ура, решение найдено! Снова пропаганда: “Социалистическое общество без свиней немыслимо! В каждой советской семье должна быть свинья!” И эта очередная кампания быстро стихла. Отбросов для свиней не нашлось. Несознательные советские граждане сами съедали их. Свиньям ничего не оставалось. За свиньями роль спасителей перешла к кроликам. Кроликов сменил арахис. Арахис — это китайские орешки. Эти орешки, вероятно, упомянуты где-нибудь в творениях К. Маркса, потому что не одни только советские правители увлекались ими, но и английские

* “Угадай наполовину и помножь на два” (*англ.*).

социалисты во время правления усатого Макдональда ухлопали на эту затею в Африке сотни миллионов фунтов стерлингов. И там все кончилось позорным фиаско.

Когда я думал об этом, то, конечно, не знал будущего. Как оказалось и как следовало ожидать, эксперименты марксистов на этом не остановились. “Великий вождь” Сталин занимался “защитными посадками”, которые должны были спасти от суховеев. Последовавший за Сталиным Никита Хрущев увлекался потом “нетронутой целиной”; провалившись на ней, искал спасения в кукурузе. Кукуруза “лопнула” в свою очередь, и теперь Хрущев ищет спасения в химии и удобрениях.

Не знал я тогда, что это новое увлечение ирригацией засушливого Заволжья в скором времени свалится мне на голову.

Было 8 часов вечера, я отдыхал дома, когда мне принесли телеграмму. Вскрыв ее, я прочитал:

“Марецкая при смерти. Немедленно приезжайте. Тарасевич”.

Единственным поездом, с которым я мог ехать, была “Красная стрела”, отходившая в половине первого ночи. Схватив маленький чемоданчик, я бросился на вокзал. Так как я не имел заказанного заранее билета, то пришлось принять особые меры к его получению. Если бы не спасительная коррупция, что бы делали советские граждане, которым нужно ехать во что бы то ни стало по своим частным делам?.. Крупный “бакшиш” помог — билет я получил.

В Москве на вокзале меня встретил Тарасевич.

— Поздно, поздно. Ничего теперь не поделаешь. Сегодня утром она умерла. Отравилась вероналом... Иван Гаврилович! Во всем виноват!.. Мало того... Не только это!.. Вы только послушайте!

Он рассказал мне, как было дело.

Утром, как всегда, в квартиру Александрова пришла уборщица. Дверь в спальню была закрыта. Уборщица занялась уборкой в другой комнате. Из спальни до ее слуха донеслись какие-то странные звуки — не то всхлипывания, не то икота. Она остановилась, прислушиваясь. В этот момент дверь открылась, и вошел Александров. Увидев уборщицу он сказал:

— Оставьте уборку. Сегодня не надо. Татьяна Петровна немножко нездорова. Ничего особенного... Доктора? Нет, доктора не надо. Ну идите же.

Уборщица ушла. Однако, вместо того чтобы идти домой, она бросилась в московское бюро Гипровода, разыскала там вдову Александра Тарасевича и рассказала, что видела и слышала. Обе они вернулись на Петровские линии, в квартиру Александрова. У уборщицы был ключ. Они открыли дверь и вошли. В квартире, кроме лежащей без памяти на кровати в спальне Марецкой, никого не было. Энергичная Тарасевич немедленно вызвала карету "скорой помощи". Татьяну Петровну отвезли в Склифосовского. Приняты всевозможные меры. Тарасевичи, имеющие хорошие связи в медицинском мире, обеспечили наилучший медицинский уход. Все напрасно. Было слишком поздно. Татьяна Петровна скончалась, не приходя в сознание.

Я уехал из Москвы, не повидавшись с Александровым. Такая встреча была бы выше моих сил. Такую же позицию заняли и другие близкие знакомые. Приехавший из Америки Купер заявил, что Александров для него больше не существует.

Все же встреч по службе нельзя было избежать. Приехав через месяц снова в Москву, я встретился с Александровым в Гипроводе. Он стал неузнаваем. Это была тень человека. Всегда сидевшие глубоко глаза ввалились еще глубже. Кожа туго обтягивала кости черепа. Совершенно белые теперь волосы заметно поредели. Нет сомнения, он страдал. Хотя простить его я не мог, все же какое-то чувство жалости шевельнулось у меня в душе. Я старался его подавить, но все же полностью отделаться от него не мог. Слишком близок я был к этому человеку и знал также, что если не я, то никто другой не поддержит его в нужде. Я чувствовал и видел, что он ждет от меня какого-нибудь примирительного жеста. Надеется на это. Но нет, не сейчас! Слишком глубоко возмущение. Может быть, потом, со временем, когда боль обиды за погибшую Татьяну Петровну смягчится.

Почему я так близко принимал к сердцу происшедшее? Причиной было то, что за последние десять лет нашей совместной работы я не только лучше, чем кто-либо другой, узнал и понял этого из ряда вон выходящего человека, но и сам Александров по отношению ко мне часто проявлял несвойствен-

ное ему внимание и теплоту. Я был, вероятно, единственным из его сотрудников, с кем он делился своими мыслями и говорил откровенно.

Мне пришел на память один из наших разговоров. Он как-то сказал мне:

— Друг мой, не слушайте сердца. Оно заведет вас в беду. Помните: человек живет только один раз. Все должна решать голова. Сердце протестует. Страдает. Но это только до поры. Пройдет немного времени — забудется!

О значении Александрова как инженера и ученого, о его талантах и достижениях я говорил уже достаточно. Узнав его как человека, я увидел пример (ярко выраженный пример) шизофрении натуры. В самом деле, в нем было два человека. Один — с холодным аналитическим умом, все строго и беспристрастно взвешивающий, временами циничный и беспощадный. Другой — чуткий, понимающий тончайшие нюансы душевных движений, внимательный и даже нежный. Вторая натура этого человека очаровывала женщин, и притом лучших из них. Такой была Марецкая и, вероятно, Заорская-Александрова.

Как сложилась такая натура? Мне кажется, это понятно. Живой, чуткий мальчик, больно сознающий свое положение “кухаркиного сына”, рос рядом с миром, полным духовных интересов и культуры, таким понятным и все же недоступным. Отчуждение и обида остались навсегда. Это сделало его материалистом и социалистом в царское время. Однако он не стал коммунистом в советское: другая сторона натуры удержала его от этого. В своих разговорах со мной он не раз иронизировал по адресу коммунизма и его присных. После своих поездок в Соединенные Штаты он стал страшным поклонником этой страны.

Глава 10

НИЖНЕВОЛГОПРОЕКТ

На первой странице сегодняшнего номера “Известий” я прочитал декрет “партии и правительства” от 23 мая 1932 года об орошении Заволжья на базе постройки плотины и гидростанции на Волге около Камышина. В подписанном Сталиным декрете значилось, что должно быть орошено 4 миллиона гектаров лучших земель южного Заволжья путем механического подъема воды из Волги и построена на этой реке плотина с гидроэлектрической станцией, шлюзами, обеспечивающими беспрепятственный пропуск Волжского судоходства. Все это должно быть осуществлено к 1937 году. Далее в декрете следовало: “Учредить для этой цели организацию Нижневолгопроект. Во главе организации поставить в качестве начальника и главного инженера академика И.Г. Александрова”.

Прочитанное очень встревожило меня. Моя работа в Гипроводе в должности начальника отдела инженерных сооружений была лучшим, на что я мог рассчитывать. Здесь я был в окружении высококвалифицированных инженеров и не имел никакого соприкосновения с представителями власти и их присными. Наконец, вот уже год, как я получил оседлость в Ленинграде. Моя квартирка здесь, имея свои недостатки, свойственные квартирам, перестроенным из больших петербургских, все же имела отдельный, изолированный вход, ванную комнату, кухню и три комнаты. Почти идеал в советских условиях. К тому же это хотя и обесчещенный именем Ленина город, но все же Петербург. Город, который я так люб-

лю и так хорошо теперь знаю. Назначение И.Г. Александрова в Нижневолгопроект угрожает мне тем, что он потащит меня за собой в Москву.

Я не ошибся. В тот же вечер я получил срочную телеграмму: •“Немедленно приезжайте Москву. Александров”.

Приведенные мной мотивы личного порядка были сами по себе уже достаточны, чтобы расстроить меня, но это не все. Имелась и другая сторона, которая могла привести кого угодно в отчаяние.

Орошение на площади 4 миллиона гектаров требует топографической съемки по крайней мере в два раза большей, т.е. на площади 80 тысяч кв. километров. Чтобы представить себе эту величину, достаточно указать, что вся территория Швейцарии всего только 41 288 кв. километров. Одни только карты новой съемки в масштабе 1:10 000 потребовали бы площади 800 кв. метров.

Далее, Днепрострой, не считая проектирования, потребовал пяти лет, и это был мировой рекорд. Гидростанция на Волге будет приблизительно с три раза больше и должна строиться на реке по водоносности большей, чем Днепр. А тут на проект и постройку декретом дано всего пять лет!

Ясно, “великого вождя” кто-то ввел в заблуждение или он сам, не слушая никого, бухнул в колокол, не посмотрев в святцы.

На другой день я пришел к Александрову.

— Читали? — спросил он меня.

— Читал, — сказал я, — но ведь все это абсурд!

Александров развел руками:

— Начнем, все равно нам невозможно отказаться.

— Иван Гаврилович! При чем тут *нам*? Я не согласен.

— Василий Эмильевич! Вы будете моим заместителем!

Я вскочил:

— Я отказываюсь категорически!

— Не посмеете! — вскричал Александров. — Не я, так ЦК партии вас назначит!

Я ушел совершенно расстроенный. “ЦК — какая глупость, — думал я. — Я ведь не коммунист”.

Приехав домой, я встретил в дверях Верочку.

— Как?

Я обнял ее:

— Беда! Все пропало. Иван Гаврилович тащит. Ему еще, может быть, все это обойдется, но мне с моей биографией это гибель!

Заместителем главного инженера Нижневолгопроекта я был назначен — если не постановлением ЦК, то все же постановлением Совета Народных Комиссаров СССР. Протокол 17. Постановление 1415.

До сих пор судьба была милостива ко мне. Сколько раз казалось: конец, тем не менее я и мои оставались целы. При существующей обстановке, которую изменить нельзя, нужно попробовать удержаться в Ленинграде. В Москве у Александрова никакой организации не было, все вместе с Гипроводом переведено в Ленинград. Здесь в нашем распоряжении вся эта организация. Однако Александров, как и раньше, не хотел ехать в Ленинград и категорически настаивал на Москве. Вместе с тем он сообщил мне, что нам для организации аппарата даны совершенно исключительные полномочия. Мы можем снимать технический персонал из любых учреждений, невзирая на то, чем заняты эти учреждения и где они находятся — в Москве, Ленинграде, Ташкенте и т.д. Помещение для Нижневолгопроекта в Москве нам уже отведено. Александров разработал следующую схему аппарата. Наша организация должна состоять из трех отделений, каждое возглавляемое соответствующим главным инженером. Первое отделение — “Река — плотина”, второе — “Орошение Северного района”, третье — “Орошение Южного района”. Каждый из главных инженеров отделений должен вести изыскания и проектировку, получая разработанные материалы по отдельным вопросам от специальных отделов — геодезического, электротехнического, агроэкономического, геологического, инженерных сооружений и т.д.

Главным инженером отделения “Река — плотина” Александров наметил П.П. Пушкарского, Северного ирригационного — бывшего начальника Ирригационного управления в Ташкенте инженера С.П. Тромбачева и Южного — инженера Н. Коряко из Гипровода. Я согласился с его схемой, но сказал, что часть отделов придется организовать все же в Ленинграде. Александров неохотно согласился, но сказал, что я, во

всяком случае, должен переехать в Москву. Я возражал, указывая, что не имею квартиры в Москве и что я только что устроился в Ленинграде. В ответ на это он повез меня к тогдашнему наркому земледелия СССР Яковлеву, представил ему и настойчиво требовал квартиры для меня. Нарком заявил, что примет это во внимание. Ничего положительного в ближайшие дни в этом направлении не последовало. Я со своей стороны молчал и никому не напоминал.

И.Г. Александров уехал на Всемирную конференцию по высоким плотинам в Париж. Я остался один со всем этим бедламом. После отъезда Александрова меня вызвал к себе член Коллегии Наркомзема некий Рейнгольд и заявил мне, что он будет непосредственно ведать вопросами Нижневолгопроекта и я во всех случаях должен разговаривать с ним.

— Я всегда буду готов принять вас. Если мой секретарь будет противиться и не пускать, отталкивайте его в сторону, открывайте дверь и идите ко мне!

Пользуясь облегченным доступом в наркомат и отсутствием Александрова, я провел утверждение меня дополнительно к заместительству главного инженера Нижневолгопроекта начальником ленинградской конторы нашей организации. Было поставлено только условие, чтобы я каждую неделю три дня проводил в Москве. Этот компромисс, с которым Александров потом был вынужден согласиться, дал мне возможность оставаться жить в Ленинграде хотя бы теоретически и не тащить семью в Москву.

Громогласный декрет Сталина привел к тому, что все учреждения, которые могли иметь какое-нибудь касательство к проекту, начали соревноваться в своих предложениях принять участие в работах.

К нам приходили представители разных научно-исследовательских институтов Академии наук СССР, Главного геодезического управления Геологического комитета, Всесоюзного гидрологического института, гидротехнических лабораторий и т.д. С некоторыми из них мы заключили договоры. Предложения других из-за несвоевременности пришлось отклонить, несмотря на всю их готовность “заложить жен и детей”, “принести себя в жертву на алтарь отечества”. Все

это указывало на определенную и категорическую сигнализацию по партийной линии. Такая готовность отчасти могла нам помочь, но, с другой стороны, могла послужить нашей гибели. Ведь в случае неудачи наши отказы будут несомненно трактоваться как саботаж и вредительство.

Одно шло гладко: нам удалось собрать большой и хороший технический персонал. Специалистов по ирригации, набранных в Ташкенте, Андижане и других городах Средней Азии, удалось разместить в московских бюро Нижневолгопроекта, конструкторов, строителей, электриков и механиков набрать и разместить в ленинградской конторе.

И.Г. Александров получил второго заместителя, но теперь уже по административной части. Этот, как и следовало ожидать, был какой-то заслуженный коммунист. Небольшого роста, подвижный еврейчик, одетый в полувоенную форму и сверкающие лаковые сапоги, он щеголял своей военной выправкой и решительными, категорическими распоряжениями. Украшенный орденом Красного Знамени и значком ВЦИКа товарищ Оршанский, как его звали, своими манерами невольно вызывал улыбку. Несмотря на его старания и на то, что он действительно окончил Академию Генерального штаба, казалось, что все это не всерьез, что это игра на сцене какого-то провинциального актера, изображающего строгого генерала и все время впадающего в шарж.

Однако распорядительность и связи Оршанского имели и положительное значение. Мы получили четыре легковых автомобиля, три в Москве и один для меня в Ленинграде. Далее он принес и показал мне особое постановление Совнаркома, утверждающее персональные оклады Александрову и мне. Александрову — 3000 рублей в месяц, мне — 2000 рублей. Принимая во внимание, что самый большой тарифный оклад в то время был только 1000 рублей, это было неплохо. Он также принес мне и Александрову пропуски в закрытый кремлевский распределитель, указав при этом, что только мы двое из всех беспартийных получили это право.

Агроэкономический отдел подсчитал, что для принятия в эксплуатацию будущей орошенной территории потребуется доселение к существующему населению Заволжья не менее

4 миллионов человек. Своими собственными подсчетами я установил, что во время постройки потребуется значительное расширение имеющейся железнодорожной сети. Надо будет выстроить не менее 600 километров новых железных дорог. Нужны будут новые цементные заводы, так как производительность Вольского и Новороссийского заводов недостаточна. Нужны шоссейные дороги, громадный автомобильный парк и т.д. Приняв во внимание все эти несуразности, мы решили с Иваном Гавриловичем делать только максимум того, что действительно возможно, разработав соответствующий план работ.

Мы решили вести сначала сокращенные изыскания, с тем чтобы иметь возможность окончить предварительный проект к 1 октября 1933 года, а строительный проект с соответствующими изысканиями закончить к концу 1937 года. Строительство же начать только в 1938 году с окончанием через 15 лет, т.е. в 1953 году. Как же со сроком, установленным декретом "великого вождя"?.. Кизмет! Кизмет! Работать!

Раздумывая над принятым нами решением, я подумал, что наш случай напоминает анекдот о персидском шахе, которому пришла на ум идея выучить говорить своего любимого слона. Было обещано полцарства тому, кто возьмет на себя эту задачу. В случае неудачи взявшийся и не выполнивший ее должен быть посажен на кол. Никто не стал рисковать, однако нашелся один еврей. Когда его спросили, как он мог взяться за такое дело, что он — обезумел, что ли, еврей ответил: "Что такое обезумел? Я таки поставил ему срок двадцать лет!" — "Но и в двадцать лет слона нельзя выучить говорить!" — "А зачем? В двадцать лет либо шах умрет, либо слон умрет, либо я сам умру!"

Работа по принятому нами плану шла сравнительно успешно. Очень помогло проведенное мной мероприятие. Я отдал распоряжение: все технические записки, отчеты по изысканиям, геологические сводки не будут мной приниматься как законченные работы без сопровождения кратким резюме, написанным только на одной странице. Я отказывался принимать работы, если резюме было длиннее полутора страниц. Сначала мое требование вызвало бурные протесты. Одни писали резюме на трех, другие требовали не менее двадцати. Я упрямо стоял на своем. Я прекрасно знал, что писание та-

кого рода резюме заставит продумать сделанное, выловить все ошибки, подчеркнуть главное. Для меня чтение ежедневно 20—25 страниц этих кратких резюме было единственной возможностью охватить весь проект в целом, увязать расхождения и противоречия. В самом деле, как иначе мог я быть в курсе работ всех проектировщиков, число которых в Москве и Ленинграде доходило уже до трех сотен?

Вся организация Нижневолгопроекта и особенно круги, близкие к Александрову, были возбуждены новой сенсацией. Сообщалось, что Александров вновь по всей форме женится. И это в его возрасте, когда не прошло и пяти месяцев после трагической смерти Т.П. Марецкой! Все мы, принадлежавшие к кругу личных друзей Марецкой, избегали личного контакта с ним после этой трагедии. Эта новая эскапада возмутила нас еще больше.

Мы не имели ничего против новой супруги Александрова. Это была не та "дама", которая привела к трагедии. Это была наша сослуживица. Мы знали ее со времени Гипровода, т.е. уже года два. Когда она поступила к нам, она не могла не обратить на себя внимания. Ей было тогда не больше 20 лет. Писаная красавица, которой можно было залюбоваться. Стройная, "кровь с молоком", с красивыми глазами, обрамленными длинными ресницами, она воплощала собой тип популярной когда-то в начале столетия в Америке Gibson girl*. Москвичка Татьяна Николаевна Преображенская происходила из купеческой среды и была, как говорили, приемной дочерью московского городского головы. Более близкое знакомство с ней показало, что она обладает тактом и умом. Это был, несомненно, брак по расчету. Трудно себе представить, что такое создание могло влюбиться в хотя и интересного, но все же "подержанного" господина, каким был Александров (к тому же зная его славу).

Согласно нашей договоренности, я должен был три дня в неделю, от понедельника до среды, проводить в Москве. Я уезжал в половине первого ночи и приезжал соответственно в Москву или Ленинград в 10 часов утра. Практически это

---

* Девушки Гибсона (*англ.*). Гибсон — популярный в Америке начала XX века постановщик шоу.

значило, что я спал две ночи в Москве, три в Ленинграде и две в спальном вагоне курьерского поезда “Красная стрела”. Такой образ жизни продолжался без перерыва три года. В Москве у меня не было постоянного места жительства, и я находил приют на кушетке у той или другой из своих или Верочкиных теток. Неестественный ритм жизни, с одной стороны, выматывал из меня последние силы, но, с другой, принес и известные преимущества. И.Г. Александров, находившийся постоянно в Москве, взял на себя все сношения с Наркомземом, Госпланом и другими правительственными учреждениями, полностью освободив меня от этого удовольствия. Он также принял на себя все заботы о финансировании наших работ. Зато, ограничив себя лишь общими директивами, предоставил мне полную свободу в руководстве проектированием. Это очень облегчило мою работу. Притом не исключалось, что я всегда мог обратиться к Александрову за консультацией во всех случаях, когда я находил это нужным. Последнее давало мне необходимую дополнительную уверенность.

Занятый работой, я мало обращал внимания на то, что происходило в правящих сферах. А там что-то происходило. Наркома Яковлева сменил нарком-“солдат” Муралов, в свое время бывший в первом советском правительстве Главнокомандующим армией и флотом. Исчез как-то незаметно член Коллегии Наркомзема Рейнгольд, в ведении которого находился наш Нижневолгопроект. Исчез также и заместитель Александрова по административной части Оршанский. Имя Рейнгольда, правда, я потом, год или два спустя, встретил в опубликованном списке 120 “вредителей”, “шпионов” и “диверсантов”, расстрелянных по приговору НКВД. В этом списке был упомянут и другой член Коллегии НКЗ — агроном Вольф, о котором я уже упоминал.

Александров получил нового заместителя по административной части — И.А. Дорошева. Как и Оршанский, Дорошев был, по-видимому, большой персоной в партийных рядах, членом ВЦИКа. Какую он роль играл раньше, я не знал. Мне он не понравился сразу. В нем чувствовался опасный человек. Говорил он мало.

Вероятно, Дорошеву я обязан тем, что и я в Ленинграде получил партийного заместителя, или, лучше сказать, заместительницу, — некую Елену Исааковну Юносову. Более чем пол-

ная еврейка, лет сорока пяти, она, по-видимому, чувствовала себя не совсем удобно, став хотя и партийной, но все же руководительницей чисто технического предприятия. Представившись мне, Юносова заявила, что эта роль нова для нее и она рассчитывает на мое содействие и помощь. Это я, конечно, обещал. Как она представляла себе свою будущую деятельность, было для меня загадкой. Когда заместительница села за свой стол, поставленный в моем кабинете, она начала с того, что сообщила мне несколько биографических данных о себе. Они не лишены были интереса. Оказалось, что она вместе с мужем, русским финном, принадлежала к советской элите, так называемому Обществу старых большевиков и политкаторжан. Для членов этого общества выстроили по проекту Корбюзье на Троицкой площади Петроградской стороны большой жилой дом. Это был, несомненно, самый современный и комфортабельный дом в Ленинграде с обслуживанием по типу американских apartment houses*. Каковы были дореволюционные заслуги Юносова, она мне не рассказала, но упомянула, что он был рабочим, эмигрировал в Америку еще до войны. Там, в Нью-Йорке, он встретился с Юносовой и женился на ней. Она происходила из семьи еврейских эмигрантов, незадолго до того приехавших в Америку. Юносовы вернулись в советскую Россию в начале 20-х годов, совершив переезд через Тихий океан и Сибирь. Елена Исааковна захлебывалась от восторга, рассказывая мне о том впечатлении, которое на нее произвели Гавайские острова, где они почему-то останавливались.

Услышав ее эпопею, я обратился к ней по-английски, чем привел женщину в немалое смущение. Оказывается, в Нью-Йорке она дома и на работе говорила только на жаргоне или по-русски. Когда я поинтересовался ее образованием, смущение Юносовой увеличилось еще более. Густо покраснев, она сказала, что окончила только начальную школу где-то в России. В Америке работала белошвейкой на фабрике белья. Я не решился спрашивать дальше, умеет ли она грамотно писать. Да и к чему? Если по заявлению коммунистического пророка Ленина всякая кухарка может управлять государством, то почему белошвейка не может замещать главного инженера технического учреждения?

---

* Многоквартирных домов (*англ.*).

Когда мы вели это интересное собеседование, ко мне пришел начальник гидромеханического отдела Н.Н. Попов и принес свою только что законченную и переписанную на машинке работу. Я взял один экземпляр и положил в портфель, чтобы на свободе дома просмотреть его. Попов вышел, а Юносова вдруг неожиданно заявила:

— Василий Эмильевич! Я хочу поскорее войти в курс дела. Дайте мне один экземпляр. Я тоже хочу просмотреть его дома.

Как я мог отказать своей заместительнице в такой просьбе! Внутренне улыбаясь, но сохраняя серьезную мину, я передал ей эту работу — "Гидродинамический расчет потока воды в аванкамере гидростанции".

На следующий день Юносова вернула ее без комментариев. Я тоже ничего не сказал. Однако гидродинамический расчет потока, без сомнения, способствовал плавному ходу проектирования в Нижневолгопроекте. Товарищ Юносова больше не пыталась совать свой нос в технические вопросы. Она нашла себе широкое поле деятельности, проверяя расход мыла в уборных, заботясь о чистоте полотенец, проверяя списки опоздавших на работу и т.д.

В общем, я не могу жаловаться на Юносову. Она не причинила мне никаких неприятностей за все время нашего совместного пребывания в Нижневолгопроекте, и несомненно, старалась быть полезной. Но случай с работой по гидродинамике был даром Божьим для нас. Юносова прониклась священным трепетом пред мудростью инженеров, которые могут писать, казалось, и на знакомом языке такие непонятные вещи. Ее обращение с ними было после этого всегда проникнуто глубоким почтением.

Мой верный фактотум Шестигранович откуда-то узнал и сообщил мне некоторые интересные подробности о супруге Юносовой. Старый и, очевидно, заслуженный большевик получил в соответствии со своими заслугами после возвращения из Америки почетное и влиятельное место председателя Исполнительного комитета Псковского края. Такие районные советские сатрапы обладали в первое время после революции большими полномочиями и пользовались значительной самостоятельностью и независимостью от Центра. История умалчивает о других достижениях Юносова; одно, правда, стало все

больше бросаться в глаза всем посещавшим Псковскую область. Это были успехи, которые там делал Всевобуч. На советском диалекте Всевобуч означает “Всеобщее военное обучение”. В самом деле, здесь с некоторого времени на всех площадях и улицах все начало маршировать, топать и перестраиваться. Оказывается, Юносов решил завоевать и положить к ногам ничего не подозревавшего большевицкого правительства в Москве граничащую Эстонию. Либо опасаясь возможной неудачи, либо по каким другим соображениям центральное правительство поспешило убрать Юносова с его поста. Он был назначен и состоял теперь директором Ленинградской граммофонной фабрики.

— Василий Эмильевич! Вас там кто-то ожидает и хочет говорить с вами, — заявила Юносова, выходя мне навстречу из дверей нашего кабинета.

В кабинете у окна стоял высокий блондин. Фигура его показалась мне знакомой. Он повернулся, и я взглянул на его лицо.

— Александр Михайлович! — вскричал я в изумлении.

— Да, это я, — ответил он.

Мы пожали друг другу руки. Я усадил его в кресло.

— Меня освободили, — продолжал он, — теперь я ищу работу здесь, в Ленинграде.

Это был А.М. Кузнецов, когда-то член Президиума Госплана УССР. Последний раз мы виделись — это было в Москве, — когда он пришел ко мне на квартиру перед своим арестом.

Кузнецов сказал, что будет рад получить какое угодно место по специальности инженера-электрика. В это время все руководящие должности в Нижневолгопроекте были уже замещены. Максимум, что я мог ему предложить в Ленинграде, — это место старшего инженера в одном из проектных отделов. Все же я сказал ему, что поеду в Москву и буду просить Александрова назначить Кузнецова хотя бы заместителем начальника электротехнического отдела. Кузнецов заявил мне, что уже говорил в Москве с Александровым и тот встретил его весьма неприязненно. Кроме того, прибавил он, место инженера-проектировщика — это как раз то, что он ищет.

Я поместил его в Ленинградское бюро насосных станций, сговорившись с начальником Евментьевым, что он поручит Кузнецову руководство проектировкой электромеханической части этих станций. Я не скрыл от Евментьева, что Кузнецов был когда-то моим начальником, и указал, каким широким кругозором и знанием энергетики он обладает. Моя пропаганда помогла. Наши молодые инженеры показывали по отношению к Кузнецову всегда потом большое уважение и внимание. Кузнецов быстро ознакомился с делом и своей работой, способностями и инициативой принес большую пользу делу.

Ведение проектирования в двух городах очень осложняло работу. Несмотря на то что я регулярно проводил три дня в неделю в Москве, часто бывало, что из-за моего отсутствия происходили задержки при решении того или другого вопроса. Я обратился к Александрову с просьбой пригласить мне в Москве помощника. Он согласился. Здесь я сделал большую ошибку. Я взял на это место человека, которого мне подсунули и моральная физиономия которого была мне совсем неизвестна. Это был инженер П.С. Бирин. Его мне рекомендовали как большого специалиста по проектированию и строительству ирригационных систем в Средней Азии. Так как такой специалист был для меня особенно желателен, я перестал колебаться.

После того как Бирина зачислили, я заметил, что он быстро установил тесный контакт с так называемой советской общественностью, с месткомом, с “активистами”. Последствия не заставили себя долго ждать.

Приехав, как всегда, из Ленинграда, я увидел в вестибюле и коридорах плакаты, возвещавшие, что в один из ближайших дней вечером состоится расширенное производственное совещание. На повестке стоял доклад помощника главного инженера тов. Бирина “Проектные решения Нижневолгопроекта”. Я не придал сначала этому особого значения. Производственные совещания принадлежали к советской рутине, никого не интересовали и только напрасно утомляли служащих. Однако вскоре ко мне явились председатель месткома и секретарь партячейки и заявили, что мое присутствие на совещании обязательно, тем более что акаде-

мик Александров заявил, что он на совещании быть не может. Я вздохнул и дал свое согласие. Меня удивило, что Бирин не нашел нужным предварительно сообщить о своем намерении сделать такой доклад и посоветоваться со мной.

Войдя в день совещания в большой зал, я увидел, что он переполнен. Среди присутствующих я заметил ряд лиц, не принадлежавших к персоналу Нижневолгопроекта, в том числе профессора Замарина, знакомого мне по гидротехническому факультету Тимирязевской академии и всегда обращавшего на себя внимание своим низкопоклонством перед советскими властями. Что меня особенно поразило — это сообщение, что председательствовать на заседании будет сам нарком земледелия СССР Муралов. Мне стало ясно, что предстоит нечто большее, чем производственное совещание. То, что последовало, подтвердило мои заключения. Муралов открыл заседание и огласил порядок дня: доклад Бирина, мои дополнения или возражения и затем обсуждение затронутых вопросов.

Доклад Бирина, против ожидания, совершенно не касался вопросов его специальности — ирригации, а был сконцентрирован на критике разработанных нами конструкций Волжского узла сооружений, главным образом бетонной плотины. Демонстрируя наши чертежи, Бирин указывал, что принятые нами решения ничем не отличаются от типов, применяемых в заграничной практике, главным образом в Соединенных Штатах Америки. В то же время грандиозность Нижневолгопроекта требует отказа от “традиционных”, по существу “реакционных” решений и принятия новых, “революционных” методов и конструкций. Тут он развернул свои чертежи. По предложению Бирина, Волжская плотина должна представлять собой не что другое, как во много раз увеличенный железобетонный консольный перепад, обычно применяемый на ирригационных каналах.

Мне было нетрудно, возражая, указать на ряд положений, делающих предложения Бирина не только нецелесообразными, но и невыполнимыми. Но по поведению присутствующей публики, по перешептываниям, по отворачиванию лиц в сторону при встрече с моим взглядом я понял, что дело тут не просто в технической дискуссии, а в заранее подготовленной кампании с целью изобличения нас, т.е. Александрова и меня, во “вредительстве”.

Следующим выступил профессор Замарин. Он начал ораторствовать в том духе, что после Великой Октябрьской революции разрушены все препоны, препятствовавшие раньше развитию прогресса и техники. Новые решения проблем стоят теперь на очереди. Преступно навязывать “архаические и реакционные” решения и закрывать дорогу новым блестящим идеям. Теперь, когда наша страна, ведомая твердой рукой нашего великого и дорогого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина, стала на путь и т.д. и т.д.

После речи Замарина нарком Муралов предложил желающим высказаться. Многие переглядывались, но не решались и молчали, как вдруг вперед протолкнулся Борис Августович Мацман, инженер из волжских немцев-колонистов. Он славился своей блестящей математической эрудицией и рядом интересных работ по теоретической гидравлике. Имея два диплома — инженера-гидротехника и ученого-агронома, он работал по ирригации в Средней Азии. Я был очень рад, когда смог привлечь его в наше учреждение. Его область проектировки была далека от обсуждаемого вопроса, и он мог свободно молчать. Однако не сделал этого. Зная, что рискует головой, Борис Августович резко и беспощадно разделал предложения Бирина и Замарина. При этом он не стеснялся в квалификации, говоря о передергивании, мошенничестве и безграмотности. Все собрание замерло, когда он закончил. Никого больше не нашлось, кто бы последовал его смелому примеру.

Муралов повторил свое предложение высказываться еще раз и вдруг сказал:

— Принимая во внимание важность обсуждаемых вопросов, мы пригласили сюда авторитетную иностранную экспертизу, консультирующую теперь в Наркомате тяжелой промышленности. Это крупнейшая итальянская фирма “Амадео” из Милана. Их представитель, доктор Клаудио Марчелло, обещал к сегодняшнему дню просмотреть проект плотины и дать свое заключение. Доктор Марчелло, прошу вас.

Д-р Марчелло говорил через переводчика. Речь его была коротка, но отчетлива и определенна. Он заявил, что наш проект плотины разработан исключительно хорошо и убедительно и вполне отвечает современным достижениям в области крупного гидротехнического строительства. Предложе-

ния Бирина и Замарина нелепы, абсурдны и практически невыполнимы. Заканчивая, он обратился к Муралову:

— Вы недавно арестовали инженеров английской фирмы “Виккерс”, обвинив их во вредительской консультации. Если бы мы одобрили предложение Бирина, то вы имели бы полное право арестовать нас!

Это неожиданное выступление, с его категоричностью и определенностью, огорошило всех, и больше всего заговорщиков. Я, уже готовый к худшему, был поражен. Муралову не оставалось ничего более, как закрыть заседание, заявив, что вопрос теперь совершенно ясен.

Таков был неожиданный провал организованной втихомолку кампании. Я не сомневался, что инициатива принадлежала Дорошеву. На другой день И.Г. Александров предложил Бирину впредь не появляться в Нижневолгопроекте. Больше я не встречал этого субъекта.

Позорный провал, который потерпел Бирин, заставил притихнуть на время темные силы “советской общественности”. В их ряды было внесено смятение и разочарование в принятой тактике. Попытки “разоблачить” нас, разыграв роль спасителей отечества, не удались. Силы эти, несомненно, знали, что сроки, поставленные декретом Сталина, невыполнимы. Поэтому не все еще потеряно, надо искать другие пути. Пока им не оставалось ничего другого, как проявлением показной ревности и лояльности маскировать свою прежнюю подрывную работу.

Такая обстановка дала мне возможность сконцентрировать усилия на том, чтобы полностью закончить схематический проект к 1 октября 1933 года, как мы и намечали с Александровым. К этому времени надо было увязать и привести к одному знаменателю все стороны громадного проекта.

Напрягая силы, мотаясь между Москвой и Ленинградом, мне удалось ликвидировать все неувязки и согласовать все решения. Практически уже к августу проект был закончен.

Материалы к проекту включали свыше тысячи листов чертежей и чуть ли не сто килограммов пояснительных записок и расчетов. Все это должно было быть представлено в десяти экземплярах в уже назначенную Правительственную

экспертизу. Кроме того, мы решили представить сводную пояснительную записку в виде типографски напечатанной книги, объемом в 250 страниц в числе 5 тысяч экземпляров, и альбом избранных чертежей, отпечатанных в уменьшенном масштабе с сопровождающим пояснительным текстом.

Выполнив почти невозможную задачу составления этого проекта в девять месяцев, мы чуть не провалились на не предусмотренной раньше мелочи. Мы не могли найти ни одной типографии, ни достать бумаги для печатания книги и альбома. В самом деле, наш проект ведь не был предусмотрен пятилетним планом. Как известно, при плановом социалистическом хозяйстве выполнение чего-нибудь, даже предусмотренного этим планом, натыкается, как правило, на всевозможные "узкие места" и "дефициты". Что же было нам делать с "внеплановым" заданием? Ряд моих официальных попыток во всех местах и направлениях окончился неудачей. Я был в отчаянии.

Вдруг ко мне явился А.Т. Акопджанянц.

— Я слышал, что нет бумаги и типографии не берутся? Дайте мне десять дней отпуска или лучше командировки, и я все устрою!

Что мне оставалось делать? Я дал ему командировку почему-то в Гатчину и еще куда-то, куда он хотел. Шестигранович исчез. Через десять дней он вернулся. Мы получили бумагу, и типография нашлась! Пути планового советского хозяйства неисповедимы. Что бы было с ним, если бы не существовало таких чудотворцев, как Шестигранович!

1 октября 1933 года, несмотря на все препятствия и осложнения, предварительный проект был завершен, все материалы оформлены, отпечатаны и сданы в Правительственную экспертизу. Я вздохнул с облегчением. Просто не верилось в успех. До последней минуты я ждал какого-нибудь подвоха. И в самом деле, такая попытка сорвать окончание проекта в последний момент была сделана. В августе, как раз в то время, когда весь штат лихорадочно работал и по вечерам, и по ночам, не считаясь с выходными днями, в Нижневолгопроект была назначена ревизия так называемой Рабоче-крестьянской ревизии. Ревизоры копались во всех отделах, проверяли оправ-

дательные документы, требовали всевозможных разъяснений, совершенно измучив и без того утомленный персонал.

И эта ревизия прошла без каких-либо неприятных последствий для нас. Ревизоры не могли ни к чему придраться. Была ли эта ревизия вызвана совершенно необычной величиной расходов на проектно-исследовательские расходы, произведенные нами за прошедший год и достигшие 17 миллионов рублей, или сыграли роль какие-то другие причины? Тогда я не знал этого. Теперь, много лет спустя, я думаю, что тут отразилась борьба партийных сил. Сталин захватил власть, но еще не успел окончательно расправиться со своими конкурентами. Те со своей стороны еще не потеряли надежду свернуть ему голову. Сталин своим декретом о Нижневолгопроекте, назначив абсолютно невыполнимый срок окончания строительства — в пять лет, сделал явную глупость. Изобличение его в этой глупости могло быть на пользу его противникам; отсюда, вероятно, эти течения и брожения в "советской общественности", которые не давали нам покоя.

Проектом, переданным в Правительственную экспертизу, мы определили стоимость его осуществления в 12 миллиардов рублей, а окончание всех строительных работ через 15 лет после их начала, т.е. к концу 1952 года. Эти сроки мало походили на то, что было в голове "великого вождя", когда он писал декрет. Наша судьба зависела теперь от заключения Правительственной экспертизы.

Председателем экспертизы был назначен академик Б.Е. Веденеев, только что освободившийся от руководства строительством Днепростроя. В число членов экспертизы вошли почти все наиболее выдающиеся специалисты из Ученого комитета Наркомата путей сообщения, Центрального электротехнического совета, Главного геодезического управления, Геологического комитета, научно-исследовательских институтов Академии наук, Ученого комитета Наркомата сельского хозяйства и т.д.

Работы экспертизы шли очень медленно и потребовали больше полутора лет, т.е. больше, чем потребовалось для составления проекта. Однако защита мной проекта в комиссиях и на пленуме экспертизы действовала на меня скорее

освежающе и поднимала настроение, так как экспертами в громадном большинстве оказались действительно знающие и авторитетные люди, многих из которых я знал, а с некоторыми был в дружеских отношениях. Здесь я слушал аргументы и критику, опирающиеся на знание, логику и здравый смысл, а не набившие оскомину цитаты из мудрецов коммунизма.

Все же я заметил, что на часть экспертов, связанных с трестом Гидроэлектропроект и с некоторыми институтами Академии наук, производится давление со стороны некоторых партийных кругов, побуждающих их к враждебной критике. Я увидел также, куда намечается главный удар. Это было нарушение нашим проектом баланса Каспийского моря и ущерб, наносимый рыбному хозяйству плотиной на Волге.

Положение с Каспийским морем было таково. Как известно, пополнение воды, испаряющейся с его поверхности, происходит только за счет стока впадающих в него рек. Каспийское море не имеет никакой связи с Мировым океаном. В речном стоке Волга дает 80 процентов воды, компенсирующей испарение. Для орошения Заволжья мы должны были выкачивать насосными станциями из Волги ежегодно 20 кубических километров. Такое уменьшение стока нарушало равновесие между стоком и испарением. Следствием должно стать понижение уровня моря. Это понижение могло бы остановиться только тогда, когда испарение с уменьшающейся площади зеркала воды стало бы отвечать уменьшенному притоку.

Вопрос Каспийского моря занимал нас весьма серьезно. Мы собрали все данные по испарению и притоку, организовали необходимые исследовательские экспедиции и работы. Произведенными нами работами и расчетами мы могли доказать, что даже при отсутствии каких-либо компенсирующих мероприятий падение уровня воды будет идти медленно и достигнет лишь 50 сантиметров через 60 лет. Однако это не все. Мы нашли возможность уменьшить испарение с поверхности Каспийского моря и этим восстановить баланс.

Каспийское море имеет один большой залив Кара-Богаз. Площадь его достигает 18 тысяч кв. километров. Залив соединяется с морем только узким проливом, всего в несколько сотен метров шириной. Залив окружает безводная, не дающая стока пустыня. Надо сказать, что название Кара-Богаз по-туркменски означает “черная пасть”. Туземцы на-

звали так залив потому, что заметили: вода идет всегда из моря в залив и никогда в обратном направлении. Залив глотает воду и не отдает ее назад. Если оградить залив от моря, перегородив узкий пролив земляной плотиной — что при малой глубине и ширине не представляет никаких технических затруднений, — можно отрезать от Каспийского моря большую площадь испарения. Как показали наши измерения и расчеты, это полностью компенсировало бы уменьшение волжского стока из-за забора воды на орошение Заволжья.

Не меньше беспокоило строительство Камышинской плотины, которая принесет ущерб знаменитому волжскому рыбному хозяйству. Александров неоднократно и категорически предупреждал еще до организации Нижневолгопроекта, что строительство плотин на Волге не может быть осуществлено без вреда для рыбного хозяйства, что никакие рыбоходы и рыбные лифты не спасут от вымирания некоторые виды ценных рыб. Он со своей стороны обещал только разработать некоторые компенсирующие мероприятия, уменьшающие этот ущерб. Таковым могло бы быть разведение других сортов рыб, образ жизни которых отвечает озерному режиму выше плотин. Вопрос этот и был проработан нашими ихтиологами совместно с участием Научно-исследовательского института рыбного хозяйства Академии наук.

К моменту, когда работы Правительственной экспертизы подходили к концу, партийные круги, стоявшие в оппозиции к проекту, по-видимому, оправились от разочарований, понесенных в связи с провалом Бирина и окончанием предварительного проекта в срок, и решили снова перейти в наступление. Атаку на Нижневолгопроект и его руководителей решили вести теперь не в лоб, а предпринять обходное движение и ударить с фланга там, где нападения не ожидали. Неожиданно и в очень короткий срок решено было организовать специальную сессию Академии наук СССР на тему “Производительные силы Волжского бассейна и Каспийского моря”. В организации этой сессии принял энергичное участие старый антагонист И.Г. Александрова, всегда очень ревниво относившийся к его успехам, Г.М. Кржижановский, теперь председатель Академии.

По довольным физиономиям и усмешечкам некоторых

сикофантов Дорошева и его самого можно было догадаться, что подготовка проведена весьма основательно. Предполагалось, что некоторые обсуждения и постановления в Академии наук смогут смутить и испугать независимых членов Правительственной экспертизы.

За несколько дней да начала сессии Александров вызвал меня во внеурочное время в Москву.

— Вот что, друг мой, — заявил он. — Вы ведь хотели бы взглянуть на Днепрострой? Давно там не были. Посмотрите, что там Винтер с товарищами напортили. Поезжайте туда, посмотрите все внимательно, не торопитесь. Я сейчас выпишу вам служебную командировку.

Я уехал за день-два до начала сессии. Пробыл на Днепрострое больше недели.

Когда вернулся в Ленинград, Верочка встретила меня в дверях со словами:

— В чем дело? Если бы ты только знал, что тут без тебя было! Не только телефон звонил беспрерывно — требовали тебя, но два раза присылали курьера с запиской от самого Кржижановского. Тебя звали на заседание в Академию наук. Что там было?

Оказалось, что приглашенный на сессию академик Александров сказался больным. Никакие вызовы не действовали. Сессия по Волге — и без главного “подсудимого”. Невозможно! Если не Александров, то давай сюда хоть его заместителя. Того тоже нет! Уехал и неизвестно, когда вернется!

Так как критиковать было нечего, то цель сессии не была достигнута. Мы миновали еще один кризис.

Бесконечные закулисные интриги, мотание из Ленинграда в Москву, бессонные ночи утомили меня безгранично. И к чему все это? Я прекрасно понимал, как знали и все мы, что малейшая ошибка может привести к гибели. Никакие прошлые успехи все равно не спасут. Личной жизни у меня совсем не было. Даже маленькое удовольствие жить в дорогом сердцу городе — бывшем Петербурге — весьма относительно. Вырвав свободный часок, проходя по гранитным набережным Невы, я меньше наслаждался синеватым силуэтом Петропавловской крепости, четко очерченным на пылающем закатом небе, с горечью и досадой думая, что уже завтра я снова должен быть в ненавистной советской Москве.

Обсуждение и принятие на пленуме экспертизы предложенных в комиссиях резолюций показало, что все наши решения были полностью и без поправок приняты и одобрены. Мало того, эксперты сочли нужным отметить и подчеркнуть высокое качество представленных проектных материалов.

После защиты проекта приказом по Наркомзему мне была объявлена "особая благодарность" за проявленные "труд и эрудицию" по составлению и защите проекта. Вместе с тем премировали месячным окладом и дополнительным месячным отпуском. Сверх того, меня назначили членом Технико-экономического совета Госплана СССР по комплексным водохозяйственным проблемам, членом Национальной комиссии по высоким плотинам, входящей в состав Всемирной энергетической конференции.

Казалось, более полного успеха я не мог желать. Радовало ли меня это? Нет, тысячу раз нет! Я знал, что советские успехи непрочны. Какой-нибудь поворот в "генеральной линии партии", какая-нибудь смена близких к власти лиц — и прежний успех может привести к гибели. К тому же из-за этой работы я чувствовал, что нужен дома. Я больше, чем когда-либо, мечтал уйти, как мы говорили, "в кусты", на незаметную работу, где можно было более или менее располагать собой. Я жалел, что забросил свою академическую преподавательскую работу, после того как попал в Нижневолгопроект.

К моменту сдачи предварительного проекта в Правительственную экспертизу, т.е. к концу 1933 года, весь аппарат Нижневолгопроекта был охвачен партийным контролем. Представителями советского "ока государева" являлись в первую очередь заместитель главного инженера по административной части И.А. Дорошев, моя заместительница в Ленинграде Е.И. Юносова, личный секретарь И.Г. Александрова Освальд Бауер и секретарь партийной ячейки П.И. Шабанский. Кроме этого имелись — правда, немногочисленные — коммунисты среди технического персонала и целый сонм добровольных и вынужденных сексотов (секретных сотрудников). Среди них были некоторые, в природе которых никто не сомневался благодаря их предыдущей славе; среди них

профессор Н.Н. Джунковский, которого шепотом называли “кавказский Рамзин”.

На первый взгляд самым опасным из них был Дорошев. Член ВЦИКа, он занимал высокое место в партийной иерархии. По происхождению был сыном донского казака и матери-еврейки. В свое время он учился в Петербургском психоневрологическом институте — учреждении, известном своими крайне левыми тенденциями. Все это Дорошев сам как-то рассказал мне. Показывая на шрам на щеке, он сказал:

— Свои донцы нагайкой в 1905 году мне вклеили!

Будучи официально одним из ближайших сотрудников Александрова, он не имел почти никакого контакта с ним. Со мной он тоже разговаривал считанные разы. Вместе с тем нельзя было не заметить его весьма большой активности. Проходя мимо его кабинета, я всегда замечал наличие большого количества посетителей, либо ожидающих очереди, либо входящих и уходящих.

В Москве я чаще всего видел О. Бауера. У меня был общий с И.Г. Александровым кабинет. Так как последний приходил в управление Нижневолгопроекта не чаще двух-трех раз в неделю, да и то лишь на пару часов, я сидел обычно в кабинете один, и Бауер, обслуживая меня, был практически больше мой секретарь, чем Александрова. Какие контрольные функции по отношению ко мне он выполнял, я не знаю. Бауэр находился в приемной и поэтому слышать, что говорилось в кабинете, не мог. Одно ясно: он мог видеть и знать, кто меня посещает. За все время лишь два посещения причинили мне некоторое беспокойство.

Проходя через приемную в кабинет, я заметил, что в ней сидит какой-то молодой человек. Через минуту Бауер доложил, что молодой человек хочет разговаривать со мной. Я согласился принять его. Это был сын доктора Телятника из Екатеринодара. Прошло 14 лет, как я его видел десятилетним мальчиком. Как я ни рад был увидеть кого-нибудь из этой милой семьи, все же я встревожился. Особенно когда узнал, что он услышал обо мне от своего родственника, инженера Павлинова, заведующего Московским бюро насосных станций. Таким образом, в Нижневолгопроекте оказались люди, знавшие, что я был добровольцем в Белой армии. Однако за все время, пока мы были вместе в одном учреждении, Павлинов ни зву-

ком, ни движением не дал понять, что он знал мое опасное прошлое, и, по-видимому, никому об этом не проболтался. В противном случае ни я, ни Александров не уцелели бы, принимая во внимание все интриги, которые плелись против нас.

Второе посещение, которое меня взволновало, произошло так. У меня сидел, не помню по какому случаю, Шабанский. Не то он просил отпуск, не то разговор шел о его окладе.

В кабинет вдруг зашел Бауер с визитной карточкой в руках.

— Василий Эмильевич, там пришел иностранец, хочет говорить с вами.

Я взял карточку и внутренне обомлел, прочитав: “Конрад Беррец. АЭГ-директор, Берлин”.

Овладев собою, внешне спокойно, я положил карточку на стол и сказал:

— Видите, я занят. Попросите подождать.

Шабанский, услышав слово “иностранец”, решил остаться и медлил. Прошло минут двадцать, Шабанский все медлил. Наконец он замолчал. Я тоже молча ждал. Он нехотя встал и собирался уйти.

Вновь появился Бауер:

— Можно просить?

— Пожалуйста, — ответил я, и Беррец вошел.

Он, слава Богу, шел медленно, и медливший у двери Бауер, на которого я взглянул, нахмурив брови, вынужден был закрыть за собой дверь.

Беррец подошел и, поздоровавшись, обратился ко мне по-русски:

— Скажите, пожалуйста, не знали ли вы Эмиля Францевича Спроге?

— Конечно, знаю — это мой отец. Но я знаю и вас, господин Беррец. Может быть, и вы помните меня. Я был тогда студент-путеец!

Беррец был, как и отец, раньше директором АЭГ в Харькове, но не в отделении, а на заводе. Он подробно расспросил меня о моих родителях, живы ли они, как живут и что делают. Я рассказал ему все.

Уходя, Беррец сказал, что попытается навестить моих родителей в Ясной Поляне под Харьковом, если получит разрешение проехать туда. Последними его словами были:

— Я здесь остановился в гостинице “Метрополь”, 41.

Как только Беррец ушел, снова появился Бауер и спросил меня, был ли этот иностранец американцем. Такая шитая белыми нитками провокация казалась слишком наивной. Ведь Беррец сидел в приемной вместе с Бауером не меньше 40 минут, и, безусловно, они разговаривали. Я сказал Бауеру, что посетитель — немец, директор АЭГ и что эта фирма заинтересована в возможности поставки нам гидрогенераторов.

Беррец сказал, что наткнулся на мою фамилию в опубликованной книжке “Ирригация Заволжья” и это побудило его искать меня. Отдать Беррецу обратный визит в гостинице я не решился. Контакт с иностранцами был слишком опасен. Уже посещение самого Берреца заставляло меня беспокоиться. Кто знает, о чем говорил он с Бауером. Понимал ли Беррец опасность нашего положения? Я надеялся, что это было так.

Я всегда чувствовал себя неловко, не посетив Берреца в “Метрополе”. Прошло много лет, и случилось много такого, о чем я раньше и думать не мог. Я попал в Берлин в 1943 году. Поступил на службу в АЭГ. Первое, что я сделал, — это попытался разыскать Берреца и отдать ему запоздалый ответный визит. Не удалось. Во время войны Беррец был в Риге главноуполномоченным по управлению всеми электротехническим заводами, находящимися там. Прошло еще несколько лет после войны. Я снова думал встретить Берреца в центральном управлении АЭГ. То, что я узнал там, потрясло меня до глубины души. Беррец попал в Восточную зону Германии, был арестован Советами и повешен как “шпион”!

Было начало марта 1934 года. Я приехал в Москву. Войдя в свой кабинет, положил тяжелый портфель на стол, отодвинул кресло и сел. Предстоял тяжелый день. Мысли перескакивали от одного вопроса к другому. Выбрать самое первоочередное и главное было трудно. Надо взять себя в руки и сосредоточиться.

На очереди стояли: оценка новых данных по геологии, полученных в результате пробивки пробной штольни на правом берегу Волги, увязка поливных графиков с графиками воз-

можной энергоотдачи в маловодные годы, новый порядок опускания кессонов в основание плотины и другие вопросы.

Вместо этого мысли все время возвращались к моему последнему пребыванию в Ленинграде. Школьные затруднения с сыном. Травля, которую пытается организовать против нас домком, почуявший в нас “бывших”. Последний раз, когда я был в домашнем комитете, получая хлебные карточки, они держали себя особенно нахально. Разговаривая решительным и резким тоном, я давал понять, что выпады и интриги меня мало беспокоят. Однако я знал, что с моей стороны это был только bluff*, и чувствовал себя неуверенно и тревожно. Кто знает, что они разнюхали и придумали. Парадоксы советской жизни! По служебной линии — все возможные советские блага. Большой — “персональный”! — оклад, снабжение из кремлевского закрытого распределителя в дополнение к академическому пайку, автомобиль с шофером в Москве и Ленинграде. Дома у себя — необходимость считаться с неблаговолением домкома, какого-то бывшего конюха или лакея. Правда, и на службе не совсем безоблачно. Нельзя не заметить, что Дорошев и Джунковский постоянно бегают друг к другу и внезапно замолкают, когда невзначай зайдешь к ним в комнату. Несомненно, организуется повторение биринской истории. Ведь какая заслуга это была бы для Дорошева по партийной линии — изобличить во вредительстве такого замаскированного вредителя, как академик Александров!

Однако довольно! Если я упущу из рук техническое руководство, все пойдет прахом, запутавшись и разъехавшись в разные стороны. Итак, за дело. Я взял телефонную трубку и решил вызвать сначала заведующего геологическим отделом профессора Можарского.

В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в комнату вошел, вернее сказать влетел, возбужденный Шабанский, секретарь комячейки, болгарский коммунист.

— Василий Эмильевич, — вскричал он, — собирайте немедленно все материалы по Ольшанскому и Домашкинскому оросительным участкам. Вы сейчас поедете вместе с наркомом Мураловым в Контрольную комиссию партии. Муралов

---

* Блеф, обман (*англ.*).

должен дать объяснение, почему задерживается ирригационное строительство в Заволжье. Вам придется давать технические обоснования и разъяснения. Мы едем втроем. Я зайду за вами через двадцать минут. Будьте готовы.

Я начал собирать и совать в портфель сметы, генеральный план, протоколы технических совещаний, главные чертежи сооружений. Руки у меня невольно дрожали. Что я им скажу? Что меня спросят? Ведь я знаю их обычное: “Нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять!” Не помогут никакие факты, ни логика, ни здравый смысл. Будут искать только жертву, на которую можно свалить ответственность.

Полгода назад мне пришлось ехать в Кремль, потому что Александров был болен. Обошлось, слава Богу, благополучно. Теперь он в Лондоне, на Всемирной энергетической конференции. Мне положительно не везет. В то время как Александров со своим апломбом и знанием общей экономики мог бы еще отделаться общими местами, я, просто инженер, могу только аргументировать, указывая, что поставленные сроки были всегда невыполнимы. Такие мотивировки отскочат, как мяч от каменной стены. Сегодняшнее совещание будет, вероятно, началом конца.

Когда мы вышли с Шабанским из наркомата, автомобиль с Мураловым уже отъезжал. Мы сели в свой и поехали. По дороге Шабанский, явно возбужденный, начал пояснять мне, какую высокую роль в партии играет Контрольная комиссия. То, что он говорил, только усиливало мою тревогу.

— Председатель комиссии теперь товарищ Ежов, — сказал он, — вот мы сейчас его увидим. Да вы знаете, что это за человек? Его слово определяет все! Он самый близкий человек к Иосифу Виссарионовичу. Тот без его совета и шагу не делает!

Возбуждение Шабанского было понятно. Такой визит для него — шаг вперед в его партийной карьере. Я спросил, едем ли мы в Кремль. Я не знал, где находится это учреждение, и побаивался: не на Лубянке ли?

— Нет, Контрольная комиссия в Китай-городе, — заявил Шабанский.

Действительно, мы подъехали к большому дому на углу Варварки сейчас же за воротами. Раньше это были торговые

помещения большой оптовой фирмы. Витрины нижнего этажа были закрыты железными шторами. Мы остановились у подъезда. Через стеклянную дверь я увидел в вестибюле военные формы. Муралов открыл дверь, мы вошли за ним. Началась процедура проверки документов. Я показал свой наркоматовский пропуск и паспорт. Документы просматривали весьма тщательно и долго. Вернув их, охранник прощупал меня с боков и прошелся руками по груди. Я обратил внимание, что и Муралов не избежал этого "массажа". За этим последовал телефонный запрос, и наконец нас подвели в сопровождении того же охранника к лифту, где нас принял другой. Поднявшись на несколько этажей, мы вышли в коридор, и снова — охранник. Коридор, в который выходили справа и слева закрытые двери, был пуст. Пол в нем устилал весьма толстый и мягкий ковер. Ноги тонули в нем, и шагов не было совершенно слышно. Тишина и безлюдье в этом большом здании действовали подавляюще. Наконец охранник подвел нас к двери, и мы вошли в большую комнату. Тут никого не было, стоял один письменный стол, диван и несколько кресел. Из этой комнаты дверь вела в соседнюю. Дверь была открыта, и из-за нее доносились голоса. Я обратил внимание, что дверь была очень толстая, напоминала сейфовую и обита чем-то вроде матраса. Муралов вошел, мы последовали за ним.

Моим глазам открылась следующая картина. В комнате находилось семь-восемь человек. Среди них одна женщина. Посередине стоял плюгавенький человек, очевидно, Ежов. Он был одет в обычную партийную "форму": френч, брюки галифе, высокие сапоги. Обращала на себя внимание его вульгарная физиономия с курносым носом. Вокруг Ежова, подобострастно внимая, стояли все остальные. Муралов поздоровался с Ежовым. На меня и Шабанского никто не обратил внимания. Мы встали во втором ряду. Ежов возобновил прерванное повествование. Он описывал свой, по-видимому, недавний визит в Вену. В качестве кого он там был, неизвестно. В газетах об этом ничего не писалось.

— Так вот, товарищи, австрияки поставили шуцмана против моего дома, прямо против окна, — рассказывал он, — каждый раз, как я выходил из дома, шуцман становился во фронт и козырял мне. Ей-богу, не вру, товарищи!

Окружавшие угодливо загоготали.

— Я взял свой “лейку” и сфотографировал его рожу!

Дальнейшее объяснение Ежова шло дальше в том же роде. Какие, мол, дураки эти австрияки с их дипломатическими церемониями; как он был одет — что “твой барон”. Все это хвастливое повествование пересыпалось нецензурными выражениями и матерщиной. Эти украшения речи встречались довольным хохотом аудитории. Особо зычно хохотала женщина. Кто была эта черноволосая, с монгольскими чертами лица высокопоставленная советская “дама”, я так и не узнал. Как ни интересно было слушать из первоисточника правдивую историю путешествия и жизни за границей советского магната, я начал чувствовать себя не совсем удобно. Едва ли Ежов стал бы так ораторствовать, если бы знал, что тут присутствует посторонний.

Вдруг Ежов сказал:

— Сижу я дома, товарищи, как вдруг узнаю, что Дольфуса нацисты пришибли. Мать честная! Хватаю телефон и звоню нашему послу. (Он назвал фамилию.) Знаешь ли ты, говорю, что только что произошло? Нет, говорит, ничего не знаю. Ах ты, сукин сын, говорю, какой же ты чекист (следует виртуозная ругательная тирада), зачем тебя сюда как посла посылают, когда ты последний узна шь?! Дольфуса убили! Да, Дольфуса!

Услышав это, я почувствовал, что дальше медлить нельзя. Мое присутствие здесь может кончиться очень плохо. В самом деле, такая авторитетная и определенная квалификация советских дипломатов едва ли предназначалась для широкой огласки. Если они спохватятся, что тут присутствовал посторонний, то не постесняются его и “ликвидировать”.

Я шепнул Шабанскому:

— Слушайте, товарищ Шабанский, я лучше пойду в соседнюю комнату и посижу там.

Шабанский, тоже встревоженный, согласился:

— Идите, Василий Эмильевич, идите лучше.

Я вышел и потихоньку закрыл дверь.

Через полчаса Шабанский вышел и сказал:

— Поезжайте домой. Вопрос ирригации Заволжья решили сегодня не обсуждать. Муралов вас отпускает.

Я уехал. Еще некоторое время я опасался последствий, но все обошлось благополучно. С Шабанским я больше о бывшем не говорил, и он сам, по-видимому, избегал этой темы.

Скоро И.Г. Александров вернулся из Лондона, и опасность еще раз быть вызванным в Контрольную комиссию партии для меня миновала.

Наши проектные и изыскательные работы после благополучного окончания экспертизы шли более или менее нормально. Некоторая тревога все же господствовала у нас по поводу тех проектов оросительных систем, которые должны были орошаться не волжской водой, а за счет стока местных небольших рек. Общая площадь таких систем достигала 330 тысяч гектаров, и они могли быть введены в эксплуатацию еще до постройки Волжской плотины и гидростанции. Мы уже закончили детальные проекты, опирающиеся на Домашкинское и Ольшанское водохранилища, и приступили к их постройке. Водоудержательные плотины этих водохранилищ по своей величине не имели прецедентов в русской практике, но вся возможная площадь орошения достигала лишь 70 тысяч гектаров. Правда, не готовность проектов, а недостаточность кредитов, отпускаемых Наркомземом, ограничивала площадь орошения. Это должно было нас несколько успокоить. Но, как я уже говорил, что значит логика и здравый смысл в условиях советской действительности! В темной и беспощадной борьбе, ведущейся в недрах партии, всегда могло случиться, что кому-нибудь было бы выгодно объявить нас "вредителями" или "саботажниками". Полного спокойствия в советской жизни никто и никогда не мог иметь.

Все же, пользуясь относительным затишьем, я решил снова попробовать уговорить Александрова если не совсем отпустить меня из Нижневолгопроекта, то по крайней мере освободить от вечного шатания между Москвой и Ленинградом, оставив за мной только ленинградское отделение. Для этого мне нужно было подготовить себе смену в Москве. После истории с Бириным это было нелегко, но помог случай. Меня неожиданно посетил М.М. Гришин.

Эта встреча обрадовала меня безгранично. Мы вспомнили старые времена, старых знакомых, старую путейскую солидарность петербургских и московских студентов и профессоров, нашедших такой сердечный прием в Донском казачьем политехническом институте. Даже пережитые лишения, тяго-

ты и страхи, казалось, покрылись пленкой романтизма. В самом деле, в те времена, несмотря на советское господство, люди все еще оставались людьми, а не стали, как теперь, лишенными иллюзий, запуганными и послушными советскими автоматами.

Помимо руководства разными северокавказскими проектами Гришин вел научную и педагогическую работу в Донском политехническом институте, где он теперь был профессором кафедры гидротехники и деканом гидротехнического факультета. Он сказал мне, что ему предложили кафедру в Москве и что он принципиально согласился, но раздумывает, так как ему не хочется ограничиваться только академической работой.

— Михаил Михайлович! — вскричал я. — Мне кажется, что тут я смогу вам помочь, если вы сами не будете ничего иметь против как мой бывший начальник.

Я рассказал ему о своих планах закрепиться в Ленинграде или уйти из Нижневолгопроекта и предложил место помощника главного инженера. Он согласился. Я был уверен, что Александров не откажется его взять. И не ошибся в своих расчетах. Поколебавшись немного и возложив всю ответственность за приглашение Гришина на меня, он согласился. Более близкое знакомство с Гришиным убедило его окончательно, что принятое решение было правильно. Я со своей стороны знал, что в лице Гришина получил не только друга, но и действительного помощника, с которым мог разделить и работу, и ответственность.

Приехав в конце ноября 1934 года в Москву, я узнал, что И.Г. Александров тяжело заболел и его отвезли в Кремлевскую больницу. Я навестил его там. Вид Ивана Гавриловича произвел на меня самое тяжелое впечатление. Высокий лоб, глубоко ввалившиеся глаза, бледная кожа лица, туго обтягивающая нижнюю челюсть, — все это жутко напоминало мертвую голову.

Александров не проявил никакого интереса к служебным делам, и я оставил эту тему. Он немного оживился, когда я передал ему пару принесенных детективов на английском языке, которые мне удалось раздобыть у букинистов на Литейном проспекте в Ленинграде.

О положении дел в московском отделении Нижневолгопроекта я узнал от Гришина. Болезнь Александрова, как это можно было видеть по ряду признаков, привела к оживлению деятельности в партийных кругах. У Дорошева участились заседания ячейки и “активистов”. Среди последних по-прежнему главную роль играл Джунковский. Он дневал и ночевал в кабинете у Дорошева. Последний сделал, раз или два, попытку “позондировать” Гришина в смысле его лояльности по отношению к Александрову и ко мне, но не получил желаемого отклика.

Было ясно: готовится новая атака, но куда будет нанесен удар, никто не знал.

Напряженная атмосфера в Нижневолгопроекте внезапно еще более сгустилась в связи с общим политическим положением в стране. В начале декабря в Ленинграде был неожиданно убит ленинградский советский проконсул Киров. Возбуждение в советских и партийных кругах достигло апогея. Никто ничего не понимал. Ходили самые дикие и невероятные слухи. Массовые аресты и исчезновения происходили и в обычных, и в совсем неожиданных кругах. Страх охватил все советское общество без исключения. Уходя на службу, никто не знал, вернется ли домой; ложась спать — доспит ли до утра.

Шла последняя неделя перед Новым годом. Я был в Ленинграде. Придя утром на службу, я нашел у себя на столе телеграмму, адресованную мне лично. Не веря своим глазам, прочитал:

“Распоряжением наркома земледелия СССР т. Муралова ленинградская контора Нижневолгопроекта закрывается с 1 января 1935 года. Предлагается Вам немедленно принять все необходимые меры к ликвидации. Ваш доклад о мерах, принятых в порядке исполнения распоряжения Наркомата, представить мне не позже 5 января.

Зам. Нач. НВП Дорошев”.

Так вот какой трюк был подготовлен и организован “активистами” под предводительством Дорошева! Я не сомневался, что сам начальник и главный инженер Нижневолгопроекта академик Александров, так же как и я, не подозревал о

готовившемся. В самом деле, как я позже узнал, он находился почти без сознания и ему сделали уже вливание крови. Расчет был либо на его смерть, либо на инвалидность. Но какая наглость! Все же я был официально и в согласии с постановлением Совнаркома СССР заместителем главного инженера. Ни разу, однако, Дорошев не намекнул мне о своем намерении, не спросил моего мнения, не предупредил меня, хотя бы по телефону, о намечавшемся. У меня сложилось впечатление, что даже ленинградская партийная ячейка ничего не знала о планировавшемся. Удивление Юносовой казалось искренним. Не могла она и другие здешние коммунисты быть такими хорошими актерами. Вероятно, дорошевская шайка и им не доверяла.

У меня создалось невыносимое положение. Я должен был теперь переезжать в Москву. Снова расставаться с Ленинградом, тащить с собой семью, опять искать квартиру. Даже служебное положение едва ли помогло бы получить что-то отвечающее ленинградским условиям. Жилищная нужда в Москве была ужасна. Да и к чему все это? Дорошев и компания, несомненно, найдут способы свернуть мне шею в самом непродолжительном времени.

Я сидел в своем московском кабинете, когда туда вошел Дорошев. Мы поздоровались.

— Ну что же, готовитесь к переезду? — спросил он меня, насмешливо улыбаясь.

— Нет, решил просить об освобождении меня от должности. Я не хочу переезжать в Москву.

По выражению лица Дорошева я увидел, что он этого не ожидал. Он пристально посмотрел на меня, по-видимому, что-то обдумывая.

— Ну что ж, — сказал он, — пишите заявление на имя наркома. Посмотрим, что выйдет!

Я написал заявление, передал его Дорошеву. Вместе с тем я думал: как может меня освободить нарком? Ведь я был назначен на должность постановлением Совнаркома СССР. Если даже мой уход в интересах дорошевской компании, как они смогут это сделать? Может быть, вместо освобождения от должности мне предъявят какие-нибудь обвинения и просто “ликвидируют”, как и ленинградское отделение?..

Я все время сидел как на иголках. Дорошев заходил пару раз ко мне, позванивал ключами в кармане, ехидно улыбался и говорил:

— Нервничаете, не так ли? Нервничаете?

Был уже конец января. Снова пришел Дорошев. Не говоря ни слова, он положил мне на стол Приказ 669 Наркомата земледелия СССР от 29 января 1935 года. Там значилось:

“§ 1. Помощника главного инженера Нижневолгопроекта инженера Спроге, Василия Эмильевича, освободить от занимаемой должности согласно личной просьбе”.

Сердце встрепенулось. Я вздохнул с облегчением. В этот момент я был благодарен даже Дорошеву. Свалился с плеч этот не дающий забвения и отдыха кошмар непосильной борьбы с темными силами, интригующими около громадного проекта, руководство которым уже само по себе требовало напряжения всех сил.

Было ли наименование меня в приказе “помощником”, а не “заместителем” случайностью или способом обойти мое назначение Совнаркомом — не знаю. Так или иначе, меня отпустили.

Глава 11

• СНОВА В ЛЕНИНГРАДЕ. АЛЕКСАНДРОВ УМИРАЕТ. “БОЛЬШАЯ ВОЛГА”

На другой день после того, как Дорошев принес мне приказ Наркомзема об освобождении меня от должности, я пошел в управление передать дела своему помощнику М.М. Гришину. При моих не только дружеских, но сердечных отношениях с ним я знал, что это будет простой и легкой формальностью. Так же мало меня беспокоило, что я стал теперь безработным. Я не сомневался, что найду себе место, и притом в Ленинграде. Единственное, что меня тревожило, — это как я сообщу о своем уходе Александрову и как он воспримет это.

Сев за стол, я только протянул руку к телефону, собираясь вызвать к себе Гришина, как в кабинет вошел Бауер и подал мне конверт, адресованный на мое имя. Это было письмо Правления треста Гидроэлектропроект. Мне предлагали место главного инженера и заместителя директора ленинградского отделения Гидроэлектропроекта. Просили немедленно сообщить принципиальное согласие и выехать для окончательных переговоров в Ленинград, к директору товарищу Лисовскому.

Казалось, все устраивалось как нельзя лучше. Снова вместе с семьей в Петербурге, куда я все время стремился и откуда меня все время вырывала судьба. Конец кочевой жизни между двух городов, конец ночевкам у родственников на кушетке! Снова я смогу, встав утром, выглянуть в окно и увидеть шпиль Петропавловской крепости и бродить по вечерам вдоль гранитных набережных всегда полноводной Невы. По воскресеньям любоваться в Эрмитаже портретами Ван Дейка или гулять с детьми в парке, любуясь фонтанами.

Я пошел в Кремлевскую больницу к И.Г. Александрову. Перед дверью его комнаты, прежде чем постучать, я на момент задержался. Сердце билось. Я волновался. Что я скажу ему? Знает ли он уже о происшедшем? Мне было особенно неприятно, что я ушел из Нижневолгопроекта в то время, когда он лежал больным. Правда, закрытие ленинградского отделения дало мне для этого достаточный повод и мотив. Толчок, так сказать, был извне. Но внутреннее чувство говорило, что это не совсем так. Я занимался подготовкой своего ухода, пригласив для этого в качестве помощника М.М. Гришина. Такая подготовка была уже некоторым проявлением нелояльности. Однако, в конце концов, я имел право поставить свои интересы на первое место, тем более что они были также интересами моей семьи. Ведь Александров не посчитался со мной, когда я просил оставить меня в покое и не тащить в Нижневолгопроект. Его упрямство и эгоизм погубили Татьяну Петровну Марецкую, хотя было время, когда он был готов боготворить ее тень. Что толку, что после ее смерти угрызения совести почти убили его в короткое время. Не прошло и полугода, как он попытался начать свою жизнь вновь, как будто ничего не случилось.

"Не надо давать воли своему сердцу. Оно поболит, поболит и забудет, — говорил он, — человек живет только один раз. Надо слушать, что говорит голова!" Так будет и со мной, думал я. Все же то, что я знал природу этого человека лучше, чем кто-либо другой, делало мою задачу тем труднее.

Во-первых, я не мог забыть, что он всегда дарил меня полным и неограниченным доверием. В советское время это было более чем необычно. Во-вторых, в своих личных отношениях ко мне он иногда неожиданно проявлял теплоту, которой я никогда не замечал в отношении к другим его старым и близким сотрудникам, например к В.М. Малышеву. Последний разрабатывал под его руководством проблему ангарских гидростанций. Будучи сам весьма способным и трудолюбивым инженером, Малышев преклонялся перед, как он говорил, "гением" Александрова и был предан ему душой и телом. Александров принимал это поклонение как должное и платил ему в лучшем случае лишь снисходительной и даже иронической благодарностью. Тут не было и тени тепла. С другой стороны, я, высоко ценя Александрова, никогда

его не идеализировал и знал его недостатки. Мы часто не сходились во взглядах, спорили и обменивались резкими репликами. Тем не менее его расположение ко мне оставалось неизменно дружественным.

Постучав и открыв дверь палаты, я увидел, что Александров, одетый в свой шикарный шелковый халат, стоит и глядит в окно. На мое приветствие он почти не отозвался. Я начал свою защитную речь. Иван Гаврилович повернулся. Хмурил брови и прерывал меня сердитыми возражениями. Я напомнил историю моего назначения в Нижневолгопроект, указывал, что проект прошел уже через все препятствия и в дальнейшем он может полностью положиться на М.М. Гришина. Разговор продолжался долго, и наконец я замолчал. Александров стоял нахмурившись. Вдруг он слегка улыбнулся, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Ну, черт с вами. Ничего не поделаешь!

Мы расстались друзьями. У меня свалился камень с сердца.

Ленинградское отделение треста Гидроэлектропроект помещалось рядом с Михайловским манежем, в громадном шести этажном доме, выходившем на две улицы. В этом доме внизу помещался самый большой ленинградский кинотеатр, все остальные этажи раньше занимались различными увеселительными заведениями. Теперь все здание, кроме кино, занимал трест с его многочисленным штатом.

Задачей треста было ведение изысканий и составление проектов использования водной энергии, начиная от предварительных схем и кончая рабочими чертежами сооружений. Производством строительных работ занимался другой трест того же Наркомата тяжелой промышленности — Гидроэлектрострой, тоже помещавшийся в Ленинграде.

Район деятельности ленинградского отделения, в котором наш трест располагал монопольными правами, был весьма обширен. Он включал Ленинградскую область, Карело-Мурманский край, Урал, Западную Сибирь и Казахстан, Закавказье. В числе разрабатывавшихся проектов можно упомянуть проект первой в России мощной подземной, высеченной в скале гидростанции “Нива III”, проект высокой арочной плотины

“Храм” на Кавказе, проекты использования реки Иртыш, генеральные схемы использования рек Карело-Мурманского края и Урала.

Все обещало интересную работу. Я горячо взялся за дело. В первую очередь я познакомился с главными инженерами бюро отдельных проектов. Бóльшая часть из них была мне знакома. Мы встречались неоднократно раньше при разных экспертизах, в Совете по комплексным водохозяйственным проблемам Госплана СССР, в Центральном электротехническом совете и т.д. Меня очень обрадовало, что председателем технического совета треста был И.О. Москвитинов. С профессором Москвитиновым у меня сложились очень хорошие отношения еще со времен американской экспертизы Днепростроя. Меньше обрадовало то, что в числе сотрудников треста оказался А.И. Мельников. Он, однако, занимал теперь весьма скромный пост в отделе отчуждений. Очевидно, положение его влиятельного шурина Малютина, бывшего наркома РКИ, пошатнулось.

В Гидроэлектропроекте я увидел, что советизация этого учреждения продвинулась гораздо дальше вперед, чем это было у нас в Нижневолгопроекте. Правда, и здесь пока все главные инженеры бюро были беспартийные, однако коммунистическая “фильтрация” все же чувствовалась значительно сильнее. Наиболее ярко она проявлялась не в персонале, а в “плановости”. В тресте организовали огромный плановый отдел. Функции этого отдела заключались в планировании работы самого треста, наблюдениях за выполнением плана, составлении отчетов и диаграмм и, наконец, в составлении “норм”.

Всякий руководящий инженер, естественно, ведет работу по известному плану и следит за его выполнением. Но это не то, что подразумевается под “социалистическим планированием”. Это планирование должно предусмотреть будущую работу на годы вперед, расценить ее детально в деньгах и во времени. Для проектно-изыскательской организации это является совершенно невозможным. Надо бы, например, заранее не только знать, что на месте будущей плотины бурением будет найдено на допустимой глубине прочное скальное основание, но и — в дополнение к этому — сколько для этого потребуется погонных метров бурения и в каких породах.

В плановых отделах, занятых такой непроизводительной работой, планы составлялись особыми специалистами — плановиками, продуктом новых специальных высших учебных заведений — плановых институтов. Эти институты выпускали специалистов-плановиков по отдельным отраслям хозяйства. Так, были плановики по металлургии, плановики по водной энергетике и т.д. Естественно, что такие специалисты, напичканные до отказа марксизмом-ленинизмом, диалектическим материализмом и прочими мудростями, ничего не понимали в специфической сфере их специализации. Последнее обстоятельство казалось спасительным, так как давало им возможность найти modus vivendi с инженерами. Необходимой предпосылкой должно было быть, что плановик не потерял еще совсем крупинку здравого смысла и не был слишком упрям.

Большим достижением планового отдела считалось составление им совместно с привлеченными инженерами "Норм на проектно-изыскательские работы". Эти "Нормы" определяли для каждого технического задания потребное количество часов работы инженеров, техников, чертежников и материалов с точностью до третьего знака после запятой и менялись в зависимости от величины, материала сооружения и геологических условий. Расчет по этим "Нормам" был полным абсурдом, так как предусматривал предварительное знание искомого решения. "Нормы" выпустили в четырех больших томах, получивших у инженеров ироническое наименование "талмуда".

Предполагалось, что вся работа технического персонала ведется по этим "Нормам". Каждый сотрудник получал наряд, составленный в согласии с ними. Теоретически каждый руководитель должен был выписывать наряды всем своим подчиненным. Затем наряд проверялся плановым отделом и поступал на утверждение главного инженера треста. Руководители, загруженные и без того работой, не могли заниматься выпиской нарядов. Практически процедура сводилась к следующему. Руководитель вызывал своего сотрудника и просил его самого составить себе наряд, скажем на составление эскизного проекта железобетонного мостика пролетом в десять метров. Сотрудник удалялся, брал "талмуд" и через день-два приносил наряд руководителю. Со-

гласно наряду, выходило, что сотрудник должен получить за этот проект 528 рублей 3 копейки. Руководитель хватался за голову и говорил:

— Слушайте, что вы, ошалели? Красная цена этому 250 рублей. Да по смете у меня на это удовольствие всего-навсего 350 рублей. Переделайте, пожалуйста!

Сотрудник удалялся и приносил потом наряд на 298 рублей 15 копеек, также твердо обоснованный "Нормами". Наряд шел в дальнейшее плавание. Плановый отдел никогда не решался, боясь попасть впросак, изменить его больше чем на пару рублей.

Работа проектировщика, в общем, работа творческая, и попытка всадить ее в "Нормы" так же бессмысленна, как и попытка нормировать писательское или поэтическое творчество. Это похоже на то, как если бы Пушкину сказали: "Товарищ Пушкин! Напишите поэму "Медный всадник". Число строк — 450. Число печатных знаков — 450 тысяч. Стих — ямбический. Допускается расход не больше 2 тысяч ятей и твердых знаков. Срок — 88 дней 6 часов!"

Венцом работы планового отдела были квартальные и годовые отчеты. Диаграммы и кривые всех цветов. Переплеты с золотым тиснением. И конечно, перевыполнение плана. Небольшое — 3—4 процента. Больше — рискованно. Меньше — недовыполнение! Упаси Господи — это равносильно самоубийству!

Моему несоциалистическому мозгу всегда было непонятно, как может допускаться при плановом хозяйстве перевыполнение плана. Что же, это перевыполнение плана приделать пятым колесом к телеге? Откуда при повсеместном перевыполнении планов в советском хозяйстве бывают "узкие места" и "дефицитные" товары?

Сейчас же после моего утверждения главным инженером Гидроэлектропроекта ко мне стали приходить бывшие сотрудники закрытой ленинградской конторы Нижневолгопроекта с просьбой зачислить их в какое-нибудь из наших бюро. Места у нас всегда находились, но мне удалось устроить очень немногих. Теоретически наем технического персонала был моей прерогативой, но на самом деле это было со-

вершенно не так. Я писал на прошении: “Зачислить в такой-то отдел”. Прошение направлялось для оформления в так называемый личный отдел. Оттуда мне часто сообщали, что зачисление невозможно. Было бы тщетно пытаться узнать причину. Ясно одно: советская неблагонадежность. Кое-что я раз узнал — это была расшифровка одной из формулировок, вносимых в трудовую книжку освобождаемых от работы сотрудников. Беда, если в книжку вносилась такая запись: “Уволен за невозможностью использования”. Слова эти имели зловещий смысл. Куда бы ни приходил с этой книжкой ищущий место, он всюду получал вежливый отказ:

— К сожалению, обстоятельства изменились. Вакансий нет... Может быть, в дальнейшем...

Значение этой условной формулы было известно всем чекистам, заведующим “личными отделами”. Безработный бегал из одного учреждения в другое. Напрасно! Вскоре от выходного двухнедельного пособия не оставалось ничего. Всему свету ведь известно, что безработица — типичное явление капиталистического мира. В Советском Союзе ее нет! Поэтому нет и речи о пособии безработным. Потерявшие работу распродают свое имущество, обычно жалкий домашний скарб. Потом они быстро исчезают, либо погибая от истощения, либо узнают, что с такой формулировкой их все же могут взять на работу, но в отдаленных или климатически нездоровых районах, таких, как Средняя Азия или Заполярье. Они уезжают туда, и, таким образом, “случайная” безработица ликвидируется в Советском Союзе быстро и элегантно.

Положение сокращенных сотрудников Нижневолгопроекта утяжелилось тем, что это были первые месяцы после убийства Кирова. НКВД искал жертвы и опасался быть обвиненным в недостатке бдительности, а многие из моих инженеров, как назло, оказались отпрысками “антисоциальных” элементов, т.е. детьми дворян, поповичами, сыновьями купцов и даже — о ужас! — царских генералов.

Типичным случаем можно считать положение инженера П.А. Шевцова. Мы были с ним коллеги по Московскому институту инженеров путей сообщения, были знакомы домами. Он — сын известного царского генерала инженерных войск, сделавшего свою карьеру в Средней Азии. Шевцов был очень мягкий человек, большой любитель музыки, пре-

красно играл на рояле и мечтал о консерватории. Он стал инженером, выполняя волю строгого отца.

Бесплодно обивая пороги всех возможных технических учреждений, он в полном отчаянии пришел к нам домой. Рассказав о своих мытарствах, он сказал:

— Я хочу обратиться к маршалу Тухачевскому. Ведь мы с ним вместе учились и окончили Первый кадетский корпус в Петербурге. Мы очень дружили и часто музицировали вместе. Он хорошо играл на скрипке. Правда, мы с тех пор не виделись.

Услышав о намерении Шевцова, я начал уговаривать его не делать этого. Кто знает, будет ли Тухачевский рад встретить старого товарища, который раньше знал его как образцового кадета и монархиста. Напомнил ему, что ходили слухи, будто другим старым товарищам Тухачевского, офицерам Семеновского полка, не поздоровилось. Говорили, что все они расстреляны. Шевцов в конце концов согласился со мной и отказался от своего намерения.

Кто мог, однако, сказать мне тогда, что опасность контакта с Тухачевским угрожала Шевцову совсем с другой стороны! Не прошло и года, как Тухачевский оказался "контрреволюционером", "шпионом", "врагом народа" и был расстрелян.

Шевцову пришлось бросить свою квартиру в Ленинграде и взять место где-то в Туркестане.

Случай с Тухачевским, поразивший советское население, не был, однако, исключением. Другие, если и не такие яркие, то достаточно влиятельные представители правящей клики сходили один за другим с большевицкого экрана. Иногда это происходило незаметно. Они снимались с места, и только ближайшее окружение знало об этом. Иногда в газетах сообщалось о переводе на новую, обычно малозначительную должность в целях "усиления активности" в этом секторе народного хозяйства. Часто население связывало исчезновение со стен грандиозных портретов и ругательные комментарии в газетах с крушением того или другого деятеля.

Так, я узнал как-то о конце карьеры расстрелянного потом наркома земледелия СССР солдата Муралова. Вскоре был снят с должности в Нижневолгопроекте и И.А. Дорошев. Его сослали в Сибирь и, по слухам, тоже расстреляли. Да простит мне Бог — я почувствовал определенное облегчение.

Острие террора вдруг обратилось в сторону так называемых бывших. Сейчас же после убийства Кирова был опубликован список расстрелянных из этих кругов, содержавший больше сотни имен. Вслед за тем в Ленинграде последовала новая акция — массовое выселение. Здесь эти “бывшие” были особенно многочисленны (в основном родственники людей, игравших в прежнем, императорском Петербурге ту или иную видную роль). Теперь большей частью это были безобидные, запуганные люди, ведущие скромную жизнь и уже довольные тем, что уцелели. Среди них много старушек, вдов бывших чиновников и администраторов. Одно объединяло их: они носили всем раньше знакомые имена.

Один за другим они начали получать из НКВД приказы в 48 часов ликвидировать свое имущество и явиться с ручным багажом на вокзал для посадки в специальные поезда. Такие поезда отходили каждый день. Выселяемых везли в Казахстан и другие отдаленные места. Там их просто ссаживали на какой-нибудь станции, предоставляя самим заботиться о подыскании себе жилья. Даже лагерей не было для них приготовлено. Число выселенных, как говорили, доходило до нескольких сотен тысяч. В течение двух месяцев даже характер лиц, встречаемых на улицах Ленинграда, резко изменился. Казалось, в Ленинграде поселилась какая-то новая раса. Лица стали грубее, выражение их стало менее одухотворенным. В газетах о выселении не сообщалось ни слова.

Н.В. Мокржицкая, наша хорошая знакомая, мать моей бывшей секретарши в Гипроводе Е.М. Мокржицкой, попала в число жертв и была выслана вместе с сыном. Эта же участь постигла и Наталью Кирилловну Нарышкину, одно время дававшую уроки английского языка моей дочери. Можно себе представить положение этих людей, большей частью беспомощных стариков, оказавшихся вдруг зимой (февраль месяц) где-то на улице в незнакомом Акмолинске, как это было с Мокржицкими, без крова, без знакомых. Они с трудом нашли себе приют в грязном чулане у какого-то сострадательного киргиза. Другим и это не удавалось. Последствия не заставили себя долго ждать. Большинство выселенных погибли от болезней и холода.

Мной было в свое время упомянуто, что знакомством с семьей Мокржицких я обязан Людмиле Ильиничне Баршевой,

которую я устроил, по просьбе Семенова-Тян-Шанского, чертежницей в Гипровод. Эта очень красивая молодая дама была женой писателя Баршева. Не прошло и года, как они развелись, и Людмила Ильинична, так сказать, мимоходом скрутив голову одному из наших молодых инженеров, стала предметом внимания и страсти известного сталинского подхалима, советского "графа" А. Толстого. Баршев совсем исчез с горизонта и в скором времени попал в ссылку. Увлечение Толстого не знало границ. Он не только посвятил ей свое последнее произведение "Пиноккио", но и, приняв энергичные меры, развелся со своей женой и женился с соблюдением всех формальностей на Баршевой.

Гипровод, теперь Нижневолгопроект, потерял чертежницу. Однако новая "графиня" не оборвала своих дружеских отношений с Е.М. Мокржицкой, изредка приглашала ее к себе и даже иногда посещала ее с мужем. Встретив раз или два Толстых у Мокржицких и слушая рассказы о том, чтó Мокржицкая видела и кого встречала у них в доме, я получил представление о жизни той части беспринципной интеллигенции, которая с большим эффектом может быть использована для пропаганды большевизма среди "передового" общества, особенно за границей.

Большая вилла-особняк в Царском Селе, стоявшая в обширном, хорошо возделанном саду со стрижеными газонами, была предоставлена в пользование Толстым. Вилла имела 14 комнат, не считая служб. Лакей, повар, шофер, горничная и садовник принадлежали к постоянному составу прислуги. Имелось три автомобиля, причем "эмкой" пользовалась только прислуга, ездившая за покупками в Ленинград. Сами "господа" пользовались бьюиком. Как-то, встретив случайно Людмилу Ильиничну, выходившую из автомобиля на Невском, я обратил внимание на ее котиковую шубку и большие бриллиантовые серьги. Но не только внешний комфорт и роскошь, но и времяпровождение этой публики казались невероятными. Пьяные оргии были в порядке дня. Перепившись почти до потери сознания, компания шла в сад и зарывала там бутылки с шампанским, с тем чтобы, вспомнив о них в следующий раз, пойти в сад "искать там грибы", т.е. торчащие из земли пробки.

Как высоко Сталин ценил преданную "пропагандистскую работу" Толстого, показывает то, что "вождь" счел возможным

выпускать его вместе с Людмилой Ильиничной за границу. Они ездили в Испанию и Англию. Пикантно было то, что Толстой, рассказывая, как его принимал какой-то лорд в своем замке, возмущался, что Людмила Ильинична, будучи "графиней", была посажена ниже какой-то эмигрантской баронессы.

Мне пришла на память Людмила Ильинична потому, что она, побуждаемая просьбами своей подруги Мокржицкой, потребовала от своего мужа Толстого, чтобы он принял меры к возвращению старушки Н.В. Мокржицкой из ссылки. Он в то время находился на вершине фавора у своего "хозяина". Толстой был вынужден сдаться. Вмешательство его имело успех. Н.В. Мокржицкая возвратилась из ссылки, пробыв там почти год. Сына ее, однако, не вернули.

Несмотря на все жизненные тревоги, моя работа в тресте была интересна и захватила меня полностью. Я почти не чувствовал усталости. Здесь имелся ряд больших и новых для русских условий проектов. Только один проект мне очень не понравился, вызвав у меня опасения особого порядка. Это был проект Кондопожской гидроэлектростанции. Станция находилась уже в постройке, и мы снабжали строительство рабочими чертежами. Технически гидростанция не представляла ничего особенного. Не было никаких особых трудностей — ни геологических, ни конструктивных. Не вызывали тревоги и сроки. Однако у станции было одно свойство, более чем неприятное. Она находилась в пограничной полосе с Финляндией. Поэтому все связанное с ней "засекречивалось". Доступ в помещения треста, где разрабатывался этот проект, шел через "секретный отдел". Все инженеры и техники, работавшие в этом отделе, были "засекречены", т.е. особо проверены и, как говорилось, "допущены к секретной переписке". Узнав об этом, я взволновался. До сих пор я получал на просмотр и утверждение чертежи и записки по этой станции в своем кабинете. После моей подписи они снабжались штемпелем "секретно" или "совершенно секретно" и становились, таким образом, для меня недоступными или доступными только с разрешения начальника "секретного отдела". Ясно, что такое положение не могло долго продолжаться. До сих пор от засекречивания меня спасало то, что я был только заместителем засекреченного

главного инженера, академика Александрова. Но что же будет теперь при наличии целого засекреченного бюро? Нет сомнения, меня не оставят в покое!

Я не ошибся. Вскоре мне принесли особую анкету и предложили заполнить ее в трех экземплярах. Я был в отчаянии. Анкета эта оказалась еще хуже той, которая требовалась для заграничных командировок. Заполнить ее я не только не хотел, но и не мог. Отказаться — еще опаснее. Я медлил и тянул время, пока наконец начальник "секретного отдела" не припер меня к стене. Тут я решился на следующий гамбит. Я сказал:

— Слушайте, товарищ! Поймите вы наконец, что я не имею права просить о допущении меня к секретной переписке. Ведь у меня жена — бывшая иностранка. Все ее родственники живут за границей. Пишут нам. Как я могу запретить ей переписку с матерью? Как я могу остановить заграничных родственников от писания нам?

Меня оставили в покое. Надолго ли? Во всяком случае, я подорвал свою карьеру, как это и обнаружилось через год.

Нужно сказать несколько слов о "секретных отделах". Они к этому времени стали неотъемлемой частью каждого советского учреждения, чем бы те ни занимались. Если в работе самого учреждения и не было ничего секретного, то все же секретными оказывались "личные дела" сотрудников. В эти "дела" заносилось все, что было известно о работниках, все написанные ими анкеты и заявления, все сделанные на них доносы и т.д. Не было учреждений, где такие отделы не существовали бы. Устраивались "секретные отделы" все очень похоже друг на друга. Где-нибудь в коридоре можно было всегда найти обшитую сталью дверь с маленьким (размером 20×30 сантиметров) окошком, тоже всегда закрытым. Рядом находилась кнопка электрического звонка. Незасекреченный сотрудник, которому, однако, после телефонных переговоров с "секретным отделом" разрешили работать с засекреченным материалом, звонил, нажав кнопку. Окошко отворялось, следовали переговоры, предъявление удостоверений. Наконец отворялась дверь, и сотрудника впускали в первую рабочую комнату. Тут он мог работать над нужными материалами, которые приносились из дальних помещений "секретного отдела". В эти помещения никто, кроме доверенных чекистов, не допускался.

Несмотря на то что я добился исполнения своего желания и жил теперь снова вместе с семьей в Ленинграде, я не чувствовал желаемого удовлетворения. Все казалось неустойчивым. Какую роль тут играл непрекращающийся террор, хотя волны его проходили мимо нас, какую — досадные, раздражающие мелочи советского бытия, сказать трудно. Все же, кажется, постоянное повторение последних стояло на первом месте. При наличии известной доли фатализма человек может даже и к террору привыкнуть. Но прелести советского быта не дают себя забыть. То после широко разрекламированного снижения цен совершенно исчезает масло, то у детей рвутся ботинки и их можно достать, только простояв всю ночь в очереди до открытия магазина, то домком отказывает жене в выдаче какой-нибудь из постоянно требующихся справок! Только тот, кто имел удовольствие быть гражданином социалистического государства, знает, как многочисленны и многообразны эти досадные мелочи и как они отравляют жизнь. Даже прогулка вдоль гранитных набережных, когда

...Не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса...

чем-нибудь постоянно напоминала, что это Ленинград, а не старый Петербург. Кроме того, какое-то внутреннее чувство говорило мне, что красная Москва только на время выпустила меня из своих когтей.

Советская ложь, жестокости и злодеяния делали иногда совершенно невозможным терпеть без ропота. Даже никогда не оставляющий советского обывателя страх за своих близких, за себя не мог сдержать его неосторожных реплик. Часто это проходило без последствий, потому что услышавший думал так же, как и сболтнувший, но иногда это стоило пяти, если не больше лет ссылки. К счастью, почти каждый имел двух-трех человек, с которыми мог говорить без опасений. Этим объяснялось то обстоятельство, что антисоветские анекдоты разносились по всей России с быстротой молнии.

После того как Шевцовы были вынуждены покинуть Ленинград, единственными людьми, с которыми мы поддерживали близкий контакт, остались Елизавета Михайловна Мокржицкая и ее матушка, вернувшаяся из ссылки.

В советской прессе часто можно было читать о контрреволюционных “антисоветских гадах”, собирающихся где-то, чтобы “злобно шипеть” и “брызгать ядовитой пеной”, осуждая горячо любимого “великого вождя” и его сподвижников. Действительно, без этого жизнь была бы совершенно невозможной. Встретившись на улице, мы говорили:

— Заходите вечерком к нам. Пошипим немножко!

Тем для “шипения” всегда было достаточно. По большей части это сообщения о провокациях, о случаях невероятнейшего подхалимства, о судьбе погибающих в лагерях. Мы обменивались, конечно, и самыми последними анекдотами. Их всегда бывало достаточно. Сегодня, например, моя дочь Нелли, которая училась в шестом классе 1-й “образцовой” школы на Петроградской стороне, располагавшейся в помещении бывшего лицея, принесла новую, сочиненную учениками школы вариацию пушкинского “Лукоморья”:

У Лукоморья дуб давно срубили,
Златую цепь в “Торгсин” снесли,
Кота в котлеты изрубили,
Русалку паспорта лишили,
А лешего сослали в Соловки!

“Торгсином” назывались специальные магазины, в которых иностранцы, работающие в Советском Союзе, могли покупать на валюту — доллары, фунты и т.д. — все уже давно исчезнувшее с советского рынка. Сначала эти магазины, так же как и закрытые распределители, были недоступны простым советским гражданам. Потом властям пришла в голову блестящая идея использовать “Торгсин” для выкачивания остатков золота из населения. До этого советские “золотоискатели” применяли методы довольно примитивные. Время от времени НКВД устраивал ночные налеты и собирал в своих подвалах лиц, обычно несколько десятков человек, подозреваемых в том, что они имеют и скрывают драгоценности и золото. Обычно это бывали бывшие купцы, “нэпманы” и им подобные. Все эти несчастные запирались в подвалах в одну комнату, набитую так, что люди, плотно прижатые друг к другу, могли только стоять. Постепенно духота и жара становились ужасными. Через двое-трое суток группа “созревала”. Многие были готовы открыть свои тайники, если они существовали, лишь бы их выпустили. Что ждало тех, у кото-

рых тайников не было? Вероятно, то же, что и упрямцев, — они не возвращались домой. Постепенно, однако, доходность этих операций становилась все меньше. Большие запасы были либо выкачаны, либо безнадежно пропали, не известные никому. Упрямое население держалось крепко и не желало сдавать свои последние обручальные кольца и бабушкины сережки. "Торгсин" решил эту проблему. Было объявлено, что теперь все могут покупать там, но только на золото. Золотые вещи сдавались в магазин, тут же разбивались молотом, взвешивались, и продававший получал соответствующие "боны" в золотых рублях и копейках. На эти "боны" можно было купить не только все продукты, начиная от муки и сахара, но и такие вещи, о которых уже давно забыли: деликатесы, иностранные вина и даже граммофонные пластинки запрещенного тогда джаза. Особый успех "Торгсин" имел на Украине, где во время искусственно устроенного Сталиным голода, в начале 30-х годов, с целью принудить крестьян идти в колхозы погибла одна пятая всего населения. Только в "Торгсинах" можно было тогда достать муку и все съедобное. Все, у кого сохранилась хоть одна золотая запонка, снесли ее в "Торгсин". Золото было полностью выкачано из населения.

Как мне сообщили из Москвы, И.Г. Александров вышел из больницы и снова взял в руки бразды правления Нижневолгопроектом. Увы, ненадолго. К зиме он вернулся в больницу. Как говорили, он был болен особо острой формой белокровия.

Январь 1936-го. Прошло немногим больше года после моего назначения главным инженером ленинградского отделения Гидроэлектропроекта, и мои опасения относительно непрочности бытия в Ленинграде оправдались. Наш Наркомат тяжелой промышленности решил слить оба треста — Гидроэлектропроект и Гидроэлектрострой — в одно учреждение под названием Гидроэнергопроект. На место главного инженера был назначен не я, а главный инженер бывшего Гидроэлектростроя П.П. Лаупманн. В новом тресте я получил только одно из бюро, а именно бюро Западной Сибири и Казахстана. Такое снижение ранга было явным следствием моего отказа от засекречивания и само по себе могло только отвечать моим

желаниям. Советская карьера меня тяготила. Как бы я хотел быть только анонимным проектировщиком! Теперь, став главным инженером не треста, а только бюро, я мог больше внимания уделять чисто технической, конструктивной стороне. К тому же моей задачей было проектирование двух больших гидроэлектрических станций на Иртыше — Уч-Каменогорской и Бухтарминской, каждая из которых по величине не меньше Днепростроя. Беда была не в этом, а в том, что мое бюро просуществовало только три месяца — кредиты неожиданно закрыли. Правление треста зачислило меня в так называемый резерв треста с сохранением моего жалованья. Мне предложили при этом взять на себя временное руководство работами отдела производства работ бюро "Большая Волга". Проект Большой Волги предусматривал постройку Куйбышевской плотины гидроэлектростанции на Волге в пределах Самарской Луки. Надо сказать, что проект этот рассматривался одновременно с Нижневолгопроектом Правительственной экспертизой, но провалился и был возвращен для доработки. Правление треста дало мне понять, что в мои обязанности входит также консультирование главного инженера "Большой Волги" профессора Чаплыгина (однофамилец выдающегося математика и механика профессора С.А. Чаплыгина).

Снова выходило, что я должен вернуться в Москву. С тяжелым сердцем я согласился с предложением треста. Другого выхода не было.

В то время, когда я ликвидировал дела бюро Западной Сибири и Казахстана, пришла телеграмма, извещающая меня, что И.Г. Александров скончался. Хотя уже давно стало ясно, что дни Александрова сочтены, все же это известие было тяжелым ударом для меня. Я немедленно выехал в Москву. "Известия" и "Правда" поместили на первых страницах большие портреты и напечатали некрологи, отмечающие заслуги Ивана Гавриловича, пионера крупного энергостроительства, выдающегося инженера и ученого.

Опасность быть изобличенным как "вредитель" и "враг народа" миновала навсегда.

В тот самый день, когда Александров умирал, его молодая жена Татьяна Николаевна дала жизнь двум дочкам-близ-

нецам. Таким образом, его вдова осталась с тремя маленькими детьми на руках — от Татьяны Петровны он имел уже трехлетнего сына. Положение ее облегчалось тем, что ей назначили “персональную” пенсию и оставили квартиру, превышавшую обычные советские нормы площади.

Правление и московское отделение треста Гидроэнергопроект помещалось в Лефортове, занимая целый десятиэтажный дом, выстроенный по проекту Корбюзье. Постройка этого дома имела место еще до того времени, когда академик Жолтовский начал давать Сталину уроки архитектуры. Будучи страстным поклонником классицизма, он сумел посеять зерна преклонения перед идеалами классической красоты на этой чуждой всякой эстетике почве. Выросло на этой почве совсем не то, что ожидал высококультурный профессор. После знаменитого совещания архитекторов на площадке снесенного храма Христа Спасителя, когда Сталин разделал “конструктивистов”, возглавляемых братьями Весниными, все в СССР и потом в покоренных странах начало строиться, пародируя классицизм. Воздвигались громады, представляющие собой выполненные в большом масштабе свадебные английские торты, изукрашенные ненужными портиками, колоннами и фронтонами. “Классические” станции Московского метрополитена, стоимость которых, как известно, в два раза превосходила стоимость самих участков линий, отделывались мрамором и украшались наивной скульптурой, конкурируя с кафешантанами старой Москвы.

Дом Гидроэнергопроекта был тоже архитектурным эксцессом, характерным, однако, для досталинской эпохи большевизма. Тогда для старых большевиков, фанатиков-революционеров из “просвещенной” интеллигенции, единственным критерием ценности был “прогрессизм” и игнорирование традиций. Результатом этого и стала передача проекта самому революционному из архитекторов; при этом не учитывалось, был ли он знаком с климатом и условиями советской жизни. Этот десятиэтажный дом не имел ни одной лестницы. Их заменяли “патерностеры” и плавно поднимающаяся из вестибюля винтовая рампа. Две стороны дома не имели стен, вместо них — сплошное стекло. На каждом этаже отсутствовали внутренние перегородки. По идее автора, их должны были

заменять передвижные ширмы-щиты. Как представлял их себе автор, не знаю. В советской практике их заменяли разного рода и разной величины шкафы, в лучшем случае пучившиеся фанерные переборки. Хождение по спиральной рампе было сопряжено с опасностью. Торопящиеся люди постоянно поскальзывались. Были случаи перелома рук и ног. Правда, по этой рампе можно было в случае надобности въехать снизу на десятый этаж. Однако за год моего пребывания в этом чуде архитектурного искусства такой надобности не случилось. Вход в вестибюль не имел порога или ступеньки. Был устроен, как это говорится на нашем строительном языке, "заподлицо" с тротуаром. Это, пожалуй, удобно: нельзя споткнуться. К сожалению, лежавший на тротуаре снег таял, и вода беспрепятственно текла в вестибюль. В таких случаях в вестибюле клались кирпичи и на них доски. Хуже всего то, что охлаждение стеклянных стен зимой было так сильно, что не только сотрудники, находившиеся около них непосредственно, постоянно простужались, но и сидящие более отдаленно не были гарантированы от этого. Потоки холодного воздуха и сквозняки циркулировали по всему помещению.

Так или иначе, мне нужно было устраиваться в Москве. Сначала я ютился у родственников, пользуясь московским радушием и гостеприимством. Потом Т.Н. Александрова, уехавшая с детьми на дачу, предложила мне воспользоваться ее квартирой. Осенью, вернувшись с дачи, она сдала мне одну из комнат, чему я был очень рад. Теперь поездки в Ленинград были очень осложнены. Все же я не хотел требовать от треста новой квартиры в Москве, не теряя надежды вернуться в Ленинград. Почти каждый второй день звонил по телефону домой. Из дома я мало слышал успокоительного. Напряженная политическая атмосфера требовала взаимной поддержки, совета. Говорить по телефону по важным вопросам можно было только языком Эзопа. Верочка, которая по моему совету после закрытия Нижневолгопроекта вновь взяла работу в библиотеке Академии наук как библиотекарь и библиограф, не могла все время оставаться дома. Дети в школах, как назло, попадали в разные смены. Один вечером, другой утром. Семейная жизнь была, таким образом, полностью разрушена.

Среди сотрудников бюро “Большая Волга” я нашел ряд знакомых. Больше всего меня радовала, хотя, с другой стороны, и огорчила, встреча с Андреем Вячеславовичем Заорским. Радовала — потому что он был не только старый знакомый, но и человек, которого я глубоко уважал. Огорчило то, что крупный инженер, когда-то начальник работ по строительству Мурманской железной дороги, занимал не то место, которое ему надлежало. Он не только не имел руководящего поста, но и был подчинен непосредственно одному молодому инженеру из коммунистов. Этот технически малограмотный болван позволял себе всевозможные выпады по адресу Заорского — человека, которого даже мизинца он не стоил. Он пользовался тем, что Заорский, очень вдумчивый и точный человек, не говорил ничего, не взвесив. Обдумывал каждое слово и говорил медленно. Это расценивалось как ненаходчивость и даже глупость, а не как сдержанность и корректность. Возмущенный, я как-то отчитал этого молодчика и приобрел таким образом непримиримого врага, сделавшего мне потом много мелких пакостей. Так как и Заорский, и этот инженер были оба в моем отделе, я пошел к главному инженеру Чаплыгину и выразил свое удивление подобной расстановкой сил. Я настаивал, чтобы Заорский получил место, соответствующее его знаниям и опыту, и наткнулся если не на сопротивление, то на увиливание. Чаплыгин не отказывал, но и не давал конкретных обещаний. Мое положение, как временно прикомандированного, не позволяло мне ставить категорические требования. Единственное, что мне оставалось, — это трактовать Заорского как своего ближайшего помощника и заместителя.

Волна сталинского террора не затихала. Всем принесли под расписку повестку с приглашением на экстренное общее собрание служащих для доклада председателя Правления и директора треста профессора В.А. Чичинадзе. Темой доклада было общее политическое положение. Чичинадзе, инженер-электрик, принадлежал к числу тех более или менее солидных инженеров, в то время еще малочисленных, которые связали свою судьбу с коммунистами. Как видно из его фамилии, он был грузин, бывший социал-демократ. Теперь как полноправный член партии он стоял на пути большой карьеры.

Доклад его, сопровождавшийся истерическими выпадами и стучанием кулаком по пульту, содержал обвинения в адрес ряда лиц, еще недавно превозносившихся как ближайшие соратники “вождя мировой революции” Ленина. Они клеймились как гнусные “агенты капитализма”, “шпионы”, “диверсанты”, пробравшиеся в ряды партии, чтобы творить свое “грязное дело”. Как они могли творить свои “грязные дела” так долго — об этом не было сказано ничего, но много говорилось о безграничной благодарности органам государственной безопасности, разоблачившим это “гнездо ядовитых гадов”. В заключение доклада Чичинадзе предложил принять резолюцию, просившую партию и правительство “...расстрелять, как бешеных собак, этих шпионов и вредителей...”. Резолюцию поставили на голосование и приняли единогласно. Среди многих сотен присутствовавших не нашлось никого, кто бы осмелился рискнуть своей головой и судьбой своей семьи, чтобы хотя бы воздержаться, не говоря уже о том, голосовать ли против резолюции.

Я вышел из зала. Тошнота подступала к горлу. Кругом видел бледные лица. Никто не отваживался взглянуть другому в глаза. Казалось, что кто-то выкупал всех нас в помоях. Чувство омерзения к себе и всему окружающему подавляло все.

Не прошло и десяти дней, как снова назначили общее собрание служащих с обязательным присутствием всех. Тема та же, докладчик — заместитель Чичинадзе. То же требование к “партии и правительству”. Только теперь “гнусным диверсантом” и “шпионом”, подлежавшим уничтожению, был не кто другой, как Чичинадзе!

На столе у себя я нашел письмо, адрес написан четким, мелким, знакомым мне почерком Заорского. Я вскрыл конверт и прочитал следующее:

“Дорогой Василий Эмильевич!

До самой последней минуты моей жизни я буду помнить о Вас как о чутком и дорогом человеке.

Ваш А. Заорский”.

Письмо взволновало и удивило меня. Что такое? Заорский недавно говорил мне, что ему предлагают место начальника работ по постройке железной дороги на Камчатке, что он ведет переговоры. Я со своей стороны радовался за него и рекомендовал принять это предложение, зная по собственно-

му опыту, что только пребывание в отдаленных от Москвы местах помогает забыть, хоть на время, мерзость состояния советского раба. Но ничего окончательного Заорский мне не говорил. Почему он попрощался письмом? Я узнал, что письмо оставил сам Заорский перед уходом домой со службы. Сегодня его не было на работе. Недоумевая, я занялся текущими вопросами.

Войдя через час или полтора в зал, где сидели проектировщики, я увидел группы, что-то оживленно обсуждавшие. Оказывается, только что пришло сообщение из дома Заорского: сегодня рано утром Андрей Вячеславович покончил с собой, выстрелив из охотничьего ружья себе в рот.

Несмотря на все волнения, работа моя шла вперед. Удалось повернуть на правильный путь проектировку метода производства работ и пропусков волжской воды во время строительства. Правильность моих решений была подтверждена на нашей большой модели в Ленинградском научно-исследовательском институте гидротехники в Лесном. Наблюдение за этими опытами дало мне возможность чаще ездить в Ленинград и навещать семью. Моя миссия в Москве подходила к концу. Я ожидал новых предложений от треста, надеясь снова вернуться в Ленинград.

Глава 12

ХАРЬКОВ И “БОЛЬШОЙ ДНЕПР”. СТАРЫЕ И НОВЫЕ ВСТРЕЧИ. ОПЯТЬ ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ. ВОЙНА. МЫ ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ СОВЕТОВ

Правление треста предложило мне место главного инженера украинского отделения Гидроэнергопроекта. С одной стороны, это значило расстаться навсегда с мечтой вернуться снова в Ленинград, с другой — давало возможность жить вместе с семьей. Оставаться далее в “резерве треста” в качестве консультанта по “Большая Волга” тоже мало привлекательно. Главный инженер бюро “Большой Волги” профессор Чаплыгин был слабый и нерешительный человек. Легко соглашаясь с моими предложениями, он, однако, был исключительно неустойчив в своих решениях. Его ничего не стоило сбить с толку всяким вздором, если это только приходило со стороны так называемых активистов. Не пользуясь авторитетом, Чаплыгин боялся этой публики ужасно (вполне вероятно, для этого имелись основания). Сам инженер путей сообщения, он был сыном бывшего начальника Московского округа путей сообщения. Весьма возможно, что его семья пострадала во время революции. Все же я не мог ему простить, что он ничего не сделал, чтобы защитить А.В. Заорского от травли.

Мои колебания не уменьшились, когда я узнал, почему освободилось место главного инженера в Харькове. До сих пор это место занимал пресловутый Могилко. Потерпев фиаско со своими интригами в Днепрострое, он, пользуясь партийными связями, добился назначения в харьковское отделение треста. Встретив там сопротивление своим обычно фантастическим идеям, он поднял ужасную склоку с обвинениями своих противников во вредительстве. В результате там был

создан полный хаос, и правление треста, по-видимому, обрадовалось, когда Могилко получил предложение занять место главного инженера Североморского пути — проекта, находящегося в ведении НКВД.

Раздираемый сомнениями и опасениями, я решил поехать в Харьков и ознакомиться там, на месте, с положением.

В Харькове я встретился со стоявшим во главе треста партийным директором А.В. Волковым и временно исполняющим должность главного инженера Р.П. Носовым. Последний был молодой инженер-коммунист, окончивший недавно Ленинградский политехнический институт.

Главными проектами, разрабатывавшимися в украинском отделении, были: “Большой Днепр” — схема полного использования Днепра и его притоков, технические, т.е. детальные, проекты Кременчугской и Каховской гидроэлектростанций на Днепре, проект индустриального водоснабжения Донецкого бассейна, проекты гидроэлектростанций на Северном Донце и ряд других. Район монополии харьковского отделения охватывал всю Украину и Белую Россию.

Меня очень обрадовало, что среди руководящего персонала отдельных бюро оказались инженеры, которые были студентами, когда я работал ассистентом и лектором на инженерно-агрономическом факультете Харьковского института сельского хозяйства и инженерно-архитектурном факультете Харьковского технологического института. Они приходили ко мне один за другим, напоминали о том времени и выражали свое удовольствие работать со мной. Это очень ободрило. Также и разговор с Носовым, который трестом намечался моим заместителем, произвел хорошее впечатление. Несмотря на свою партийность, Носов показался мне дельным, скромным и приличным человеком.

В общем, я склонялся принять предложенное место. Но решил поставить тут свое условие. Побудило меня к этому опасение, что меня снова будут преследовать с засекречиванием. Я сказал Носову, что согласен, но только при условии, что он, как партийный, будет главным инженером, а я — его заместителем по технической части. Это, мол, освободит меня от административных забот и даст возможность углубить тех-

ническое руководство. Носов был удивлен и никак не хотел соглашаться, указывая на свою молодость и неопытность. Я уперся категорически и сказал, что поставлю это требование Правлению в Москве.

Правление треста согласилось на мое условие, и я вернулся в Харьков для организации переезда из Ленинграда. Мне очень повезло с квартирой. На мои публикации об обмене отозвался некий украинский писатель с фамилией, украинское происхождение которой вызывало некоторое сомнение. Его звали Ярема Айзеншток. Он предложил мне свои три комнаты в большой четырехкомнатной квартире в доме писателей, расположенном в нагорном районе города. Домом писателей оказалось большое пятиэтажное здание с шестью подъездами. В нем размещалось, таким образом, 60 квартир. Каждая имела кухню, ванную и службы. Во всех квартирах были большие балконы с выходом из эркера. Центральное отопление, солярий на крыше, мраморные лестницы, обширный декоративный цветник и даже, как мы потом смеялись, "дырка для лифта". Лифт так и остался несмонтированным. Все это представляло верх комфорта, который в то время можно было видеть в стране торжествующего пролетариата. Дом выстроен в конце 20-х годов, теоретически в порядке жилищного кооператива. Я говорю "теоретически", так как впоследствии узнал, что членские взносы в кооператив были ничтожны, квартиры и членство стали прерогативами "знатных людей" Советского Союза и предоставлялись в распоряжение в порядке особой милости за заслуги перед властью. Дом также служил в целях пропаганды — демонстрировался иностранным делегациям, которым показывали, как комфортабельно в Советском Союзе проживают "инженеры человеческих душ". Какие были заслуги на поприще литературы у этих писателей, мне неизвестно. Дом заселили во время свирепствовавшей тогда советской украинизации, а мое знакомство с советской литературой, и притом украинской, было, признаюсь, более чем скудно. Мне сообщили потом, что тут жили не только писатели, но и художники, режиссеры и другие служители искусств.

Айзеншток готов был обменять свою квартиру в этом доме на мою, гораздо более скромную, в Ленинграде. Он страшно торопился с обменом, предлагая весьма выгодные для меня

условия. Он передавал все свои права на квартиру в доме писателей, включая право на уплаченный им пай, обменивая их на мои права на ленинградскую квартиру в национализированном доме. Была, правда, одна зацепка в этом обмене: моя квартира абсолютно изолирована, в то время как Айзенштоку принадлежали только три комнаты. В четвертой проживал еще какой-то писатель, находившийся в отъезде. Своего будущего сожителя я совсем не видел и не знал. Это меня сильно смущало, но Айзеншток торопил и нажимал. Наконец я согласился, так как других предложений не было, а мне тоже хотелось покончить с этим делом. Вскоре я узнал, что писатель, живший в четвертой комнате, не вернется. Управление дома предоставило всю квартиру в мое исключительное пользование. Почему все дела с квартирой так удачно складывались в мою пользу, почему исчез писатель из четвертой комнаты, почему так торопился Айзеншток, мы узнали позже, когда моя семья переехала из Ленинграда и мы ближе познакомились с господствовавшей в доме обстановкой.

Наладив дело с квартирой, я решил навестить К.Г. Шпельти. После нашей неожиданной встречи в лифте "Европейской" в Ленинграде мы больше не виделись. Вскоре после нашей встречи он был освобожден и назначен главным инженером треста Трубосталь, объединяющего все трубопрокатные заводы в СССР. Правление треста помещалось теперь в Харькове. Несколько руководящих сотрудников треста получили квартиры в нововыстроенном доме на Сумской улице. Придя туда, я увидел, что этот дом по своей солидности так же мало, как и дом писателей, напоминал обычные советские многоквартирные казармы. Дом явно предназначался для советской элиты.

Я позвонил. Дверь мне открыла старушка, Амалия Ксаверьевна, мать Шпельти. Оказалось, что и сам Шпельти и его жена тоже дома. Радость от встречи была обоюдная. Я рассказал, что переезжаю в Харьков, что уже снял квартиру и ожидаю приезда Верочки с детьми. Шпельти поведал о своих переживаниях после ареста. Ночные бесконечные допросы. Пытки ярким светом. Угрозы и избиения. Ужас заключения с уголовными.

Показывая потом свою квартиру, он обратил мое внимание на солидную обстановку:

— Смотрите, Василий Эмильевич, тут нет ни одной моей вещи, все поставил НКВД.

В такой же квартире, напротив Шпельти, жило его начальство, партийный директор Николаевский. Это близкое соседство было малоприятно, но позволяло бросить взгляд на образ жизни влиятельных советских “боссов”.

Описывая переговоры с моим трестом, я упомянул о своих стараниях добиться назначения не главным инженером, но только его заместителем по технической части, чтобы избежать засекречивания. На это Шпельти мне сказал:

— Зачем вы это делаете? Я подписываю все такие анкеты. Какая тут разница?

Я напомнил ему последний абзац этих анкет, где значилось следующее: “...я, нижеподписавшийся, принимаю на себя обязательство... и отвечать за все это во внесудебном порядке”. Такое обязательство давало юридически полное право расправы органам НКВД со своими жертвами.

Шпельти только пожал плечами:

— О каких юридических правах и нормах можно говорить в Советском Союзе?

Со своей стороны он тоже был прав. Но я все же думал: не спасала ли до сих пор меня моя сугубая осторожность в отношениях с большевиками и постоянная готовность отказаться ради нее от разных возможных привилегий? Это не значило, что у меня тоже не было честолюбия. Когда мне угрожало потерять то, на что я имел полное право рассчитывать, я всегда бесстрастно взвешивал уходящие возможности и связанные с ними опасности. В Советах всегда всякий успех был связан с риском. При этом у меня желание не совать голову в огонь всегда побеждало. К.Г. Шпельти — человек другой формации, избалованный успехами еще в царское время.

Кроме Шпельти мне удалось разыскать и других старых харьковских знакомых. Наиболее близкими друзьями стали тогда и таковыми же остались теперь Тамара Максимилиановна и Владимир Николаевич Копцевы. Со слезами на глазах Копцев жал мне руку и обнимал. Мы рассказали друг другу пережитое. Его как-то раз арестовали, продержали недели две в подвале ГПУ, но потом неожиданно выпустили,

даже не подвергнув допросу. Сейчас он работал оценщиком в ломбарде. Тамара служила бухгалтером в банке.

Инженерная компания, собиравшаяся раньше у нас на Мороховецкой, понесла более тяжелый урон. С.П. Говоров выстроил в Западной Украине на одном из притоков Днестра плотину. Не имевший прецедента катастрофический паводок разрушил водослив и плотину. Говоров был арестован, обвинен во вредительстве и диверсантской деятельности. Сначала где-то пропадал, потом его обнаружили работающим на постройке канала Москва — Волга. Там Говоров стоял перед освобождением, но на руководимом им участке произошла катастрофа, и он снова был деградирован в штрафные.

Н.Н. Липенский, спроектировавший и проведший переустройство Харьковского железнодорожного узла, в награду за свои старания был также обвинен во вредительстве, арестован и исчез из виду на несколько лет. Вскоре после моего переезда в Харьков его освободили, и он вернулся из ссылки. Трудно было узнать прежнего энергичного и полного инициативы инженера в том человеке, который пришел ко мне. Передо мной предстало какое-то запуганное, вздрагивающее при каждом шорохе существо. Услышав неожиданно обращение к себе, он вскакивал, как на пружине.

В это время я имел частное поручение от Харьковского исполкома — экспертизу и сравнение двух конкурирующих проектов харьковских водохранилищ, Даниловского и Рагозянского. Это дало мне возможность устроить Липенского своим помощником без особых затруднений и дать ему хоть на короткий срок возможность заработка. Видя его состояние, я не спрашивал о пережитом. Сам он, по-видимому, не хотел говорить об этом.

Своей работой в украинском отделении Гидроэнергопроекта я был доволен. Главный инженер Р.П. Носов ничем не стеснял моей инициативы по техническим вопросам и полностью освободил меня от административных и хозяйственных вопросов — положение почти идеальное, что вполне отвечало моим желаниям. В то же время работы были интересны. Схема “Большого Днепра” требовала производства обширных гидрологических, геологических и топографических изысканий

и съемок и проектирования целого каскада больших гидроэлектростанций. Две из них, Кременчугская и Каховская, проектировались детально, так как имелся в виду немедленный приступ к строительству после окончания проекта.

Вторым весьма серьезным и ответственным проектом был проект индустриального водоснабжения Донбасса. Донецкий бассейн с его большой индустрией страдал от маловодья, находясь в районе чрезвычайно малого стока. Вопрос осложнялся еще и тем, что промышленные предприятия своими сточными, отработанными водами окончательно отравляли небольшие речки и ручьи. Решение искалось по линии устройства водохранилищ, регулирующих сток и задерживающих весной талые воды. Проект предусматривал производство не только геологических изысканий, но и химических анализов и выявление методов очистки воды. Последнее очень осложняло проект, так как здесь мы невольно могли вступить в конфликт с традиционной практикой производства в чуждых нам, гидротехникам, областях промышленности.

Другие проекты, такие, как гидростанции на Северном Донце, Рагозянское водохранилище на реке Уда, не представляли особых трудностей и не вызывали опасений. Из приведенного перечисления видно, что работы для технического руководства было достаточно. Очень облегчало эту работу то, что у меня сразу установились хорошие отношения с главными инженерами отдельных бюро.

Я был в городе. На углу Сумской улицы неожиданно встретил Шпельти.

Он остановил меня:

— Василий Эмильевич, есть у вас несколько минут? Пойдемте в Университетский сад. Посидим там вместе минутку.

Мы пошли в сад, снова получивший свое старое название. Еще неделю-две тому назад это был Сад Постышева. По дороге я обратил внимание на прекрасное пальто Шпельти из хорошего английского материала и спросил его, где ему удалось достать такое.

Он махнул рукой:

— От НКВД, от кого же иначе?

Когда мы сели на скамейку, он помолчал немного, повернулся ко мне и сказал:

— Если меня еще раз арестуют, я этого больше не выдержу. Вы знаете, я не слабый человек, но всему есть границы.

Я посмотрел на него и подумал, что побудило его к такому признанию. Я не стал его, однако, спрашивать об этом. Мы снова помолчали. Шпельти обратил мое внимание на теплую погоду, спросил, когда я ожидаю приезда своих, просил меня заходить. Мы встали, распрощались и пошли в свои учреждения.

Через несколько дней я зашел к Шпельти. Константина Гавриловича не было дома, но Антонина Николаевна сказала:

— Не уходите, пожалуйста, останьтесь. Костя только что звонил из Таганрога, сказал, что прилетит непременно к обеду. Поедем тогда на аэродром встречать его. Выпьем пока кофе.

Я согласился. Антонина Николаевна рассказывала мне об их жизни, о том, что у Константина Гавриловича практически нет и минуты времени для себя и семьи. Даже свободные часы отравлены тем, что они живут в одном доме с коммунистическим начальством. Невозможно постоянно отказываться от их приглашений и приходится ходить к ним. Она рассказала, что как-то они попали прямо на оргию. Стол ломился от яств. Зернистая икра стояла ведрами, заграничное шампанское, ликеры... Николаевский, который посадил ее рядом с собой, спросил:

— Антонина Николаевна, я ведь знаю, что вы бывали раньше при Дворе. (Она действительно была раньше фрейлиной.) Ну, скажите по правде, где угощение шикарнее — у нас теперь или у ваших великих князей?

Антонина Николаевна сказала, что, нет сомнения, угощение у них богаче и лучше, чем у великих князей. Этим она доставила полное удовлетворение хозяину.

Вскоре появился шофер, приехавший на большом бьюике, и мы поехали на аэродром, встретили там Шпельти и вернулись к обеду.

Наконец приехала из Ленинграда Верочка и пришли вещи. Для устройства квартиры требовались багеты для гардин, гвозди и другие мелочи, о которых раньше никто не думал. Но в

социалистическом государстве всякая мелочь превращалась в непреодолимое препятствие. Мой переезд из Ленинграда не предусматривался сталинским пятилетним планом. В лавках, торгующих скобяным товаром, не было ни гвоздей, ни винтов. Правда, мне каждый день говорили:

— Извините, товарищ, сегодня гвоздей нет, зайдите завтра.

Но это была только предписанная формула. Гвоздей не было ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц. Меня научили пойти в воскресенье на "толкучку", на базар. Гвозди там можно купить поштучно, на выбор, по пять копеек за штуку. Гвозди, несомненно, краденые. Но я благословлял этих смелых "предпринимателей". Без них жизнь при плановом хозяйстве была бы совершенно невозможной. Гардинные багеты мне удалось достать в антикварном магазине, где продавались всякие "пережитки" буржуазного строя. Полное фиаско я потерпел с разбитым умывальником, находящимся в ванной комнате. Раздобыть его в Харькове оказалось невозможно. Только через два года я увидел случайно в витрине магазина умывальник, правда, не из фаянса, а из бетона, под мрамор. Возликовав, я купил его немедленно. Мне пришлось тащить эту тяжелейшую штуку на руках до трамвая. О доставке на дом в Советском Союзе забыли давно. Такси казались неуловимыми. Ждать, пока я организую доставку силами треста, было нельзя — такой "раритет" мог исчезнуть, схваченный кем-либо другим.

Загадка нашего успешного обмена квартирами с Айзенштоком скоро стала мне понятной. Не проходило и ночи, чтобы наш дом не посещал черный "ворон". Сначала слышался шум мотора, потом тяжелые шаги по лестнице, хлопанье дверями, иногда крик. Мы вскакивали с постели, выглядывали из-за гардин. Слушали, не идут ли к нам. Общее направление кампании указывало в сторону украинских коммунистов и их присных. Наш дом был переполнен этой публикой. Мне стало теперь понятно, почему так рвался и спешил в Ленинград Айзеншток и куда делся писатель из четвертой комнаты в нашей квартире.

Как-то рано утром, только еще начало светать, мы услышали стук в дверь и звонки. Я побежал открывать.

На пороге стояла бледная и растрепанная Антонина Николаевна.

— Сегодня ночью забрали Костю! — сообщила она.

Я вспомнил наш разговор в Университетском саду. Больше мы ничего не слышали о К.Г. Шпельти. Его жену и мать сейчас же выбросили на улицу. С большим трудом им удалось найти комнату, скорее чулан под лестницей, где-то на окраине города. Старушка мать страдала недолго и умерла вскоре после переезда. Антонина Николаевна дожила до занятия города немцами, но тоже умерла, не перенеся лишений и голода дней осады.

Жизнь шла своим чередом. Несмотря на благополучный ход работ в тресте и хорошие отношения, там тоже встречались проблемы, решение которых могло бы поставить в тупик самого Соломона. Как-то раз во время командировки Носова, когда мне пришлось заниматься и административно-хозяйственными вопросами, оказалось, что наши буровые работы должны остановиться из-за отсутствия бензина. Все талоны на бензин были израсходованы, и по плану мы могли получить их только в следующем месяце. Дело осложнялось тем, что трест принял не предусмотренные раньше работы от военного ведомства. Не выполнить эти работы — “саботаж”. Надо как-то достать бензин. Я пошел к директору Волкову. Он вызвал весьма важное лицо в советских предприятиях — агента по снабжению. Последовал следующий диалог:

Волков. Слушай, надо достать во что бы то ни стало!

Агент. Достать можно. Есть в одном тресте. Но дайте мне стальной трос. Иначе не дадут!

Волков. Как же мы можем дать трос? Он в инвентаре. Кража социалистического имущества. Что ж ты, не знаешь? Смертная казнь за это!

Агент. Как угодно. Не будет троса — не будет бензина!

Положение казалось безвыходным. Что делать? Волков, боясь принять на себя всю ответственность за решение, собрал так называемый треугольник. Под этим названием подразумевалась комиссия из трех лиц: директора, секретаря комячейки и представителя месткома, т.е. профессионального союза. После многочасового обсуждения выяснилось, что

стальных тросов у нас достаточно, но продавать их все же нельзя. Вот если бы они были старые и изношенные, то их можно было бы списать в расход. Идея! Созывается “квалификационная комиссия” (опять с представителями ячейки и месткома). Комиссия признает один (новый) трос изношенным. Теперь его можно продать! Трос продали, бензин получили, и все снова пошло своим чередом.

Геолого-географический факультет Харьковского университета предложил мне взять чтение лекций по курсу гидрологии при кафедре физической географии. Кроме того, я должен был вести также курс гидравлики для студентов, специализирующихся по гидрологии. Я охотно согласился, так как хотел возобновить свою научно-педагогическую деятельность в высшей школе. Я мог легко это сделать “по совместительству”. Мало есть порядков и вещей в Советском Союзе, которые можно хвалить, но одно весьма разумно. Инженеры, работающие в индустрии, имеют право на шесть свободных часов в неделю для преподавательской работы в высшей школе. Это не только увеличивает возможный преподавательский штат, но и сближает преподавание с запросами практики.

Верочка тоже нашла себе службу в качестве заведующей библиотекой Института экспериментальной медицины.

Служба Верочки в библиотеке, как это ни странно, могла иногда нас ориентировать немного вперед относительно грядущих политических событий. Все библиотеки получали регулярно, каждый месяц, от органов НКВД списки книг, подлежащих изъятию. В этом списке упоминались также и портреты “вождей народа”, впавших в немилость. Как-то раз Верочка сообщила мне, что в это число попал и шурин А.И. Мельникова, бывший нарком РКИ Малютин. Я с трудом мог представить последствия этого события для семьи Мельникова, и главным образом для его очаровательной супруги. То, что произошло, превзошло ожидания и приобрело черты греческой трагедии. Подробности я узнал потом. Оказывается, незадолго до падения Малютина Мельникова разбил паралич. Он лежал пластом в кровати. Мария Павловна бросила его без всякого ухода. Его близкий друг, агроном Бельков,

когда-то тоже работавший на Днепрострое, посылал каждый день свою прислугу, чтобы помыть и накормить Мельникова. В это время вдруг стало известно о расстреле Малютина. Прислуга Белькова, как обыкновенно, пришла утром, долго звонила у входа, пока дверь не открыл сам Мельников, умудрившийся как-то сползти с кровати и добраться до входа. Прислуга с трудом дотащила и уложила его на кровать. Занявшись уборкой, она пошла в другую комнату, хотела притворить дверь, но вдруг с диким воплем выбежала в переднюю и на лестницу: за дверью висела на крюке Мария Павловна!

Меня очень удивлял Р.П. Носов. Уже в первый год моей работы в украинском отделении я не мог не заметить, что этот коммунист резко отличался от своих собратьев. Прежде всего, он был инженер не только по имени, но и по существу. Как специалист он развивался на моих глазах, приобретая опыт и знания. Работоспособность его просто поражала. Его обращение с техническим персоналом было всегда корректным и внимательным. Хотя, выступая как руководящий коммунист на производственных совещаниях, он никогда ничего не говорил того, что шло бы вразрез с руководящей линией партии, все же я не мог с уверенностью сказать, что он и думает так же. Впрочем, может быть, он так и думал. Придерживаясь своей тактики, я избегал личных отношений с коммунистами и потому не вел с ним никаких других разговоров, кроме служебных. Вместе с тем я не мог не заметить, как на одном производственном совещании он с необычной для него резкостью разделал “активистов”, в порядке “бдительности” поднявших склоку с ложными обвинениями некоторых лиц из геологического отдела, не сумевших доказать свои обвинения и позорно провалившихся. У меня сложилось убеждение: коммунист или не коммунист, Носов был, безусловно, порядочный человек.

Войдя раз в мой кабинет, Носов сказал:

— Вам придется в ближайшие две-три недели заниматься и моими вопросами. Дело в том, что партия посылает меня на Кавказ. Там на Н-ском строительстве открыто вредительство. Мне поручили расследовать все дело и выявить виновных.

Мы распрощались, он уехал. Работы было много. Я был занят с утра до вечера и не заметил, как прошло время. Я сидел, читая геологические отчеты, как вдруг дверь открылась, вошел Носов, подошел ко мне, пожал руку и сказал, наклонившись ко мне:

— Может, голова у меня слетит, Василий Эмильевич, но я нашел, что там никакого вредительства не было! — Сказав это, он как-то смешался, секунду помедлил, повернулся и быстрыми шагами пошел в свой кабинет, не прибавив ни слова.

Почему он пошел ко мне, а не к кому другому поделиться? Мы были совсем чужие люди, разной среды. Он это знал. Или, может быть, он пошел ко мне именно потому, что знал?

С территории изысканий для проекта Кременчугской гидроэлектростанции вернулась изыскательская группа экономистов, исследовавшая на месте размеры необходимых отчуждений и переселений из полосы будущих затоплений.

Надо сказать, что затопления во всех проектах реконструкции Днепра и Волги были всегда грандиозны и требовали переселения сотен тысяч человек. Эти цифры во всякой другой стране сделали бы строительство этих плотин экономически невозможным либо заставили бы переделать планы в более скромных масштабах. Ведь нужно было бы почти полностью компенсировать все потери населения. В Советском Союзе это вызывало мало забот. О действительной компенсации никто и не думал, но все же потери было необходимо установить. До производства обследования на месте число ликвидируемых крестьянских дворов и душ, подлежавших переселению, определили по данным, опубликованным в так называемых “Статистических сборниках”. Теперь нашей экспедиции предстояло привезти новые, исправленные фактические данные.

Доклад руководителя экспедиции был почему-то поставлен не у меня или Носова, а у директора Гидроэнергопроекта Волкова. Меня, однако, пригласили. В начале заседания Волков заявил, что доклад не подлежит оглашению, и предупредил нас о последствиях нарушения этого условия.

То, что было сообщено докладчиком, сделало понятным желание скрыть новые данные о численности населения: чис-

ло душ и дворов на территории будущего затопления уменьшилось более чем в два раза. Вымерли и исчезли целые деревни после сталинской коллективизации 1932—1933 годов.

Придя на службу, я заметил необычную беготню и хлопанье дверями у кабинета Волкова. Не успел я сесть, как ко мне пришел взволнованный Волков и заявил, что нам только что сообщили, что Н.С. Хрущев, назначенный после ликвидации Постышева и Любченко Генеральным секретарем Коммунистической партии Украины, собирается посетить сегодня наш трест. Он особо интересуется проектом индустриального водоснабжения Донбасса. Так как Р.П. Носов сейчас в Москве, в командировке, он просит меня лично заняться подготовкой доклада.

Я вызвал инженера Булаха, руководителя бюро, попросил его подготовить и развесить нужные чертежи в кабинете Волкова. Сговорился с ним об объеме и содержании доклада, который ему придется делать. Булах ушел, и я стал ждать дальнейшего развития событий, выглядывая по временам из окна своего кабинета на улицу. Через некоторое время к Дому проектов, где помещался наш трест, подъехала вереница автомобилей ЗИС, из которых вышли какие-то люди. Я приготовился, однако прошло пять, десять минут, наконец, полчаса, час — и ничего не последовало. Только часа через два подъехали снова три-четыре ЗИСа, и через несколько минут ко мне вошел Волков и пригласил к себе в кабинет.

Там стояла толстая фигура с яйцеобразной головой. Волков представил меня как главного инженера.

Хрущев протянул мне свою пухлую, потную лапу и сказал:

— Здравствуйте, здравствуйте! Ну-ка, покажите, покажите, что вы тут делаете. Ха-ха! — Он оглянулся вокруг, подмигнул и захихикал.

— Товарищ Хрущев, — сказал я, — инженер Булах ведет этот проект, он сообщит вам все необходимые данные.

— Ну-ну, валяйте, — обратился Хрущев к Булаху.

Булах начал свой обстоятельный доклад. Он очень увлекался геологией, которая в этом проекте действительно играла большую роль, но по лицу Хрущева я видел, что он ровно

ничего не понимает. Я шепнул Булаху, чтобы он сократил эту часть.

Булах попытался продолжить:

— На этой реке мы выстроим водохранилище...

Тут Хрущев, сидевший выпятив губы, вдруг внезапно оживился, вскочил и перебил Булаха:

— На реке! Да какая это река! Это даже не речка! Ручеек! Да тут летом совсем никакой воды нет! Когда я пацаном был, то бегал по этой речке без штанов! — Он обвел взглядом всех и захохотал: — Речка! Ха-ха! Ха-ха-ха!

Я объяснил Хрущеву, что мы собираем весной сток, главным образом талых вод. Что мы изучили этот сток весьма старательно и точно рассчитали, на какое количество воды твердо можем положиться. Указал ему на примеры уже выстроенных в Донбассе водохранилищ и результаты их эксплуатации. Хрущев кивал головой, по-видимому, поняв. Когда Булах закончил, я спросил Хрущева, есть ли у него вопросы. Он заявил, что все понятно, поблагодарил нас и удалился. Я пошел в свой кабинет.

Мне рассказывали потом, что первые приехавшие автомобили привезли охранников. Их расставили во всех коридорах. Все двери комнат, выходивших в коридоры, были заперты, и никого из сотрудников все это время из них не выпускали, даже в уборную.

Несмотря на то что я вместе с Днепростроем, “Большой Волгой” и “Большим Днепром” попал, так сказать, на передовую линию фронта “великих строек” коммунизма, судьба была до сих пор милостива ко мне. Мои коллеги инженеры исчезали один за другим в застенках и лагерях НКВД; я пока оставался цел. Мне было ясно, что такое положение не может продолжаться до бесконечности. Когда-нибудь вытяну и я черный шар в советской лотерее жизни. Единственное, что возможно, — это уменьшить шанс грозящей опасности, т.е. попытаться переключиться на более безопасную работу. Таковой для инженеров была научно-исследовательская или научно-педагогическая работа в высшей школе. Свой контакт с высшей школой я прервал только во время моей работы в Нижневолгопроекте. Теперь я снова был лектором по гидро-

логии в Харьковском университете. Заведование солидными проектно-исследовательскими организациями с их большим гидрометрическим, гидрогеологическим штатом и оборудованием давало мне громадные возможности для сбора и использования новых, прежде неизвестных материалов по гидрологии. Хотя конструкции и гидравлика по-прежнему интересовали меня в первую очередь, гидрология стала моей второй специальностью.

Моя практическая работа по гидрологии совпадала как раз с периодом бурного развития этой дисциплины, особенно в Соединенных Штатах и России. До начала 20-х годов гидрология была уделом естественников и натуралистов, составляя отдел физической географии. Изучение круговорота воды в природе, речных систем и стока носило описательный характер. Гидрология сводилась к гидрографии. Развитие передачи энергии на расстояние путем высоковольтных линий привело к интенсивному строительству гидроэлектростанций. Это явилось мощным фактором, способствовавшим дальнейшему развитию гидрологии. Инженеры не могли удовлетвориться тем, что им давала описательная гидрология. Для обоснования своих энергетических расчетов они нуждались в точных цифровых данных. Того же требовали и крупные гидротехнические сооружения. Инженеры сами стали заниматься гидрологией. Вторжение в эту область новых исследователей, вооруженных всем арсеналом технических и математических методов, с диаграммами, графиками, номограммами, математической статистикой и теорией вероятностей, привело к полной революции в этой области наук. К инженерам перешла руководящая роль.

Осенью 1939 года геолого-географический факультет внес в ученый совет Университета предложение присудить мне ученое звание профессора по кафедре гидрологии. Доклад аттестационной комиссии, цитировавшей отзывы и мои опубликованные и неопубликованные работы по исследованию речных систем Днепра, Южного Буга, Волги, Дона, Урала, Нарына, Чирчика и по исследованию баланса Каспийского моря, казалось, произвел большое впечатление. Особый интерес вызвал баланс стока и испарения Каспийского моря. Результат превзошел мои ожидания. Предложение факультета при закрытой баллотировке было принято сорока двумя голосами из сорока пяти, при трех воздержавшихся.

Такой результат обрадовал меня чрезвычайно. Это давало возможность уйти с производства и переключиться на научную деятельность. Последовавшее вскоре после этого избрание меня членом ученого совета Института энергетики украинской Академии наук в Киеве подкрепляло эту возможность. Надо было ждать удачного момента.

Копцевы пригласили нас как-то провести вместе "вечерок". Владимир Николаевич был очень оживлен. Угощал своими, собственного производства наливками, шутил и веселился. Мы расстались поздно вечером. Перед уходом Верочка дала Копцеву наш паспорт и квитанцию и просила его взять из ломбарда заложенную ею брошку — как служащий ломбарда он мог сделать это легко. Обычно подобное удовольствие требовало стояния в очереди с раннего утра в течение нескольких часов. Надо сказать, что ломбард в советской жизни был единственным источником, позволявшим отрегулировать часто днями и неделями запаздывающую выплату жалованья или неожиданно удавшуюся покупку пальто для себя или ботинок для детей. Жалованья едва хватало до конца месяца. Держать свои сбережения, если даже таковые были, в сберегательной кассе при непрерывно падающей стоимости советского рубля было бы большой наивностью.

Прежде чем лечь спать, мы вспоминали приятно проведенный вечер. Казалось, можно забыть на время советскую действительность! Ненадолго, однако. Рано утром повторилось буквально то же, что и со Шпельти. Мы были, как тогда, разбужены Тамарой. Ночью к ним нагрянул НКВД. Перерыли всю квартиру. Распарывали подушки и матрасы. Пока все это совершалось, Тамара заметила, что Володя, рядом с которым стоял солдат-чекист, мигая и ворочая глазами, что-то ей сигнализирует. Она поняла, что он показывает на место, где лежал наш паспорт. Тамаре удалось его спрятать. Благодаря этому наше близкое знакомство не бросилось в глаза чекистам.

Бедный Володя! Даже в такой момент он не растерялся и не забыл своих друзей! Судьба его печальна. Он был сослан, заключен в концентрационный лагерь и умер во время войны.

С начала 1939 года началось что-то необычное, отражение чего можно было заметить на страницах советской прессы. Исчезла постоянная и систематическая ругань по адресу фашистов, главным образом немецких. Но не только это. Верочка сообщила мне, что регулярно получаемые библиотекой от НКВД списки литературы, подлежащей изъятию, приняли новый характер. Изъятию теперь подлежали книги, ругающие германских фашистов и антисемитов!

Вскоре все стало ясно. В августе, хохоча и улыбаясь, Молотов и Риббентроп подписали союзнический договор. За этим последовало согласованное нападение с двух сторон на Польшу. В конце ноября СССР со всей своей мощью набросился на маленькую Финляндию. Первоначальная попытка "закидать шапками" увенчалась позорным поражением. Однако силы были слишком неравны. В марте следующего года Финляндию задавили советские массы.

Еще до конца Финляндской войны мой сын Олег, студент, был мобилизован. Мы опасались, что он попадет на Финский фронт. Война с Финляндией окончилась, но его не отпустили и направили в Киевское артиллерийское училище.

Боже мой, только подумать! Мой сын станет теперь кадровым советским офицером!

Меня вызвали в военный комиссариат. После медицинского осмотра подвергли подробному допросу в аттестационной комиссии. Предварительно пришлось писать на память пространную анкету, не имея копий предыдущих. В военную книжку внесли какие-то номера и буквы, обозначающие военную специальность и ранг. Когда я спросил, что это означает, мне сказали, что род войск — инженерные, ранг — полковник. Я пробовал протестовать, указывая, что я никогда ни в какой армии не служил.

Мне заявили:

— Ничего, товарищ, мы вас вызовем и научим.

Я ушел расстроенный. Одно утешение: я имел так называемую броню от треста. Олег продолжал оставаться в Киевском артиллерийском училище. О демобилизации не было и речи. Красная паутина запутывала нас все больше и больше. Раньше еще можно было сохранять иллюзию нахождения в

изоляции, в области аполитичной техники. Теперь это становилось все труднее и труднее. Каждый день я ожидал предложения “засекретиться”, от чего отказывался уже два раза. Это стоило мне потери Ленинграда и привело к вынужденному переезду в Харьков. Долго так продолжаться не могло. Один раз все поднимется снова, и все прорвется наружу.

Неожиданно умер начальник нашего электротехнического отдела. Мы безуспешно искали ему замену.

Как-то раз Волков, вернувшись из командировки на Кавказ, сказал мне:

— Мне повезло: я нашел хорошую замену. Это очень опытный инженер. Он проектировал электрическую часть нескольких гидростанций на Кавказе. Сам он из Харькова, хочет сюда вернуться и согласен перейти к нам.

Я выразил свое удовольствие, а Волков прибавил:

— Он, знаете, к тому же партийный!

Мне не оставалось ничего другого, как выразить свое дополнительное удовольствие и спросить, кто же это такой, как его фамилия.

— Ах, у него такая армянская фамилия. Хармардарьян!

Хармардарьян? Хармардарьян! Это имя ударило меня, как обухом по голове. Инженер-технолог Хармардарьян из Харькова. Это не мог быть никто иной! Я услышал это имя первый раз в Киеве в 1919 году. Я был добровольцем в Белой армии. Пройдя с музыкой по городу, наша рота тогда расположилась для фотографической съемки группой на лестнице Царского сада. Впереди решили посадить пулеметчиков.

Кто-то закричал:

— Эй, Хармардарьян, тащи свой пулемет сюда!

Вольноопределяющийся Хармардарьян, студент-технолог, последовал этому призыву и сел впереди внизу лестницы. Тогда — студент и белогвардеец, теперь — инженер и коммунист! Не было сомнения, что это тот же самый человек!

Придя домой, я рассказал Верочке о своих тревогах. Будучи коммунистом, Хармардарьян, безусловно, донесет на меня, хотя бы из желания спасти свою собственную голову. Но, может быть, он не знает или забыл мою фамилию? За двадцать лет наша наружность, несомненно, сильно изменилась.

Не попробовать ли изменить ее еще больше? Я не носил усов. Заведу усы. Ходил без очков. Надену их. Так я и сделал. Друзья удивлялись, что за странная фантазия. Уговаривали сбрить усы, где перемешивались темные и рыжие волосы с седыми. Я сопротивлялся. Так прошло больше месяца.

Однажды я собрался с духом и пошел к Волкову:

— Что же это такое с Хармардарьяном? Мне необходим опытный электрик!

— Сам ничего не понимаю, — сказал мне Волков. — Ведь он приехал вчера, как обещал. Был у меня и вдруг отказался. Сказал, что решил остаться на Кавказе. Так неожиданно, не предупредив письменно. Зачем он вообще приезжал? Только что хотел вам сообщить, что надо искать другого.

У меня свалилась гора с плеч. Перемена решения и отказ Хармардарьяна можно было объяснить следующим. У меня была общая с Волковым приемная, в которой сидела секретарша. Из приемной одна дверь вела в кабинет Волкова, другая в мой. На моей двери была дощечка: "Зам. глав. инженера В.Э. Спроге". Прочитав мое имя, Хармардарьян испугался, как и я, возможных разоблачений и почел за благо исчезнуть.

Свои трехцветные усы я сбрил. "Улучшившееся" зрение позволило снять и очки.

Покоя я, однако, не получил. Только немного успокоился после случая с Хармардарьяном, как последовал иной, не менее опасный удар. Ко мне пришел начальник "секретного отдела" и предложил прочитать и расписаться в прочтении следующей бумаги. Это был приказ правления треста в Москве. Наверху значилось: "Совершенно секретно". Текст гласил:

"Настоящим предлагается Зам. главного инженера украинского отделения треста Гидроэнергопроект В.Э. Спроге заполнить в трех экземплярах анкеты о допущении к секретной переписке и в 7-дневный срок представить их секретному отделу треста".

Это был конец со всеми неизбежными последствиями. Мои прежние отговорки, что у меня жена иностранка, не помогут. Надо предпринимать какие-то новые и решительные меры. Но какие? Подумав, взвесив все "за" и "против", я написал прошение об отставке. Мотивировал пошатнувшимся здоровьем, перегрузкой. Указал, что моя работа профессором геолого-географического факультета Университета не дает мне воз-

можности выполнять в полном объеме работу в тресте. Я написал, что в крайнем случае согласен остаться в тресте консультантом по совместительству. Моей основной работой теперь является научно-преподавательская в Университете и Институте энергетики Академии наук УССР в Киеве.

Когда я подал заявление Волкову, он вскочил в изумлении:

— Что это? Вы это серьезно?

Я подтвердил.

— Может быть, тут что-то другое? — спросил он меня вдруг.

— Нет, только то, что я написал.

— Я должен сначала запросить Москву, согласовать там, — заявил Волков.

Я сидел, как на горячих углях, ожидая скорее не ответа из Москвы, а визита черного "ворона" ночью. Прошло две недели, и, к моему удивлению и облегчению, правление в Москве согласилось оставить меня консультантом на половинном окладе. Конечно, такое сокращение заработка было тяжело, но голова стоит дороже. Да и вообще, мы в Советском Союзе привыкли, что установленное жалованье в течение года могло уменьшиться чуть ли не наполовину в силу падения покупательной способности рубля, ничем не компенсируемой. Как-нибудь проживем.

Непрерывные тревоги и волнения этого года, казалось, находили свое отражение и в погоде. Вместо нормального перехода от весны к лету, постепенного потепления, наоборот, холодало. Порывы ледяного ветра рвали крыши. 1 Мая выпал снег. Согнанные на "добровольную" демонстрацию трудящиеся с нетерпением ожидали проверки "активистами" списков служащих. После проверки и пуска в ход колонны была надежда незаметно исчезнуть и уйти домой.

В отличие от прежних демонстраций полностью отсутствовали какие-нибудь транспаранты или лозунги с руганью по адресу фашистов. Ни намека на то, что могло бы оскорбить новых союзников.

Вскоре после 1 Мая я приехал в Киев навестить Олега, которого мы не видели уже больше года. Была суббота. Я пошел в артиллерийское училище. Олега отпустили на короткое время переговорить со мной. Мы обнялись. Он возмужал

и окреп. Сказал, что с занятиями справляется хорошо. Особое удовольствие ему доставляет верховая езда.

Я передал через него просьбу к начальству отпустить сына на целый день завтра, в воскресенье. Сообщил ему номер моей комнаты в гостинице “Европейская”.

Я сидел у себя в номере и нервничал: отпустят ли Олега? Вдруг я услышал тяжелые шаги и звяканье шпор в коридоре. Это был он. Его отпустили на целый день. Теперь мы сможем поговорить откровенно, без соглядателей. Я решил организовать этот вечер к полному удовольствию Олега. После того как я передал ему благословение и поцелуи тоскующей о нем Верочки, он рассказал мне о своей жизни в училище. Сообщение было крайне интересно и до некоторой степени давало ключ к понимаю будущих событий.

Олег сказал:

— Прежде всего имей в виду, папа, что по крайней мере треть моих товарищей по училищу так же ненавидит сталинистов и их прихвостней, как и я. Ни в каком случае нельзя считать, что больше трети преданы им. И это либо по глупости, либо из-за карьеры. Те, что посередине, малокультурные или легкомысленные люди, которые никогда ни над чем не задумывались. Успехи их в учении отвечают их умственному развитию. Над самыми простыми расчетами они потеют, глаза лезут у них на лоб.

В общем, мои отношения с товарищами и начальством хорошие. Но вот что интересно. Ты читаешь теперь в газетах об исторической дружбе русского и германского народов, о подвохах и подкопах англосаксонских капиталистов и плутократов. Все это маскарад! Вот уже несколько месяцев, как все изменилось. Наши политические комиссары насвистывают нас на немцев. Это явная подготовка к войне с Германией. Например, такой факт. До сих пор моя вторая военная специальность была — английский переводчик. Теперь, несмотря на то что мой немецкий много хуже английского, меня сделали немецким переводчиком.

В таких разговорах мы провели день. Погода немного смилостивилась. Мы гуляли в Царском саду. Обедали в лучшем ресторане.

Поздно вечером мы расстались. Боже мой! Не думал я тогда, что вижу моего сына последний раз в жизни. В последние дни войны он был убит на фронте.

Вернувшись в Харьков, я занялся подготовкой доклада на конференции по изучению производительных сил Харьковской области. Конференция должна была состояться 21—22 июня. Мой доклад “Водные ресурсы” поставили на вечер 21-го.

В начале июня я получил распоряжение правления треста из Москвы выехать к 10 июня в Минск по вызову белорусского Госплана в качестве консультанта треста по вопросам регулирования стока и устройства водохранилищ на территории Пинских болот. Другим консультантом ехал из Москвы инженер Угинчус. Последнего я знал хорошо. Мы занимались вместе раньше водоснабжением Магнитогорского комбината.

За несколько дней до отъезда я послал нашего агента для поручений взять мне билет в спальном вагоне до Минска. Отдавая билет, агент сказал:

— Ну и трудно же было достать билет!

— В чем дело? Почему? — спросил я с удивлением.

Агент нагнулся ко мне и сказал шепотом:

— Да все пассажирские поезда, идущие теперь на запад, полны военных, солдат и офицеров. В каждом поезде оставлен только один вагон для штатских, и то только для таких, у кого такие же командировки, как и у вас.

Вспомнив, что́ говорил Олег, мне стало ясно, что Советы потихоньку подготавливают нападение на “милого” союзника.

Минск — самый западный город, который я когда-либо видел. Несмотря на грязь и запущенность, меня очень заинтересовала старая его часть. Узкие, высокие дома с фронтонами были живописны и выдавали свое западноевропейское происхождение. Госплан помещался в новом советском здании. Перед ним — высокая каменная платформа, на краю которой, на нелепо выдвинутом и свешивающемся вперед каменном кубе, стояла большая фигура Ленина с поднятой рукой. Неустойчивость композиции бросалась в глаза. Думаю,

многим наведывалась мысль о том, что хорошо бы накинуть этому советскому кумиру петлю на шею и свалить его вниз. Но я и подумать не мог, что не пройдет и двух недель — и такое "святотатственное" желание осуществится.

Мы встретились с Угинчусом, рассмотрели материалы, сделали Госплану доклад и сговорились встретиться еще раз в Москве для окончательной формулировки наших заключений.

Утром 21-го я снова был в Харькове. Поздно вечером состоялся мой доклад на конференции. Совершенно усталый, я вернулся домой, лег спать и заснул тяжелым сном.

Было 22 июня 1941 года. Воскресенье. Рано утром, в 7 часов, я проснулся и сейчас же, как всегда, включил радио. В это время я всегда мог слушать на короткой волне лондонское Би-би-си. То, что я услышал, заставило меня броситься будить еще спящих Верочку и Нелли. Лондон сообщил, что сегодня ночью германские войска перешли границу и вторглись на территорию СССР.

Я переключил радио на советские станции — обычная, набившая оскомину программа: доярки, перевыполнившие план, хоровое пение красноармейского ансамбля, поющего о стране, "где так вольно дышит человек". Пока я вертел ручку настройки приемника, тщетно думая услышать советские сообщения о войне, Верочка взяла наши облигации советского займа и побежала в дежурную сберегательную кассу их заложить. Продажа, как известно, в Советах не допускалась. Эта операция ей удалась. Никто ничего не знал. На улицах было спокойно.

В 12 часов дня последовали обычные главные советские "Новости". Опять ничего! Но ведь я ясно и отчетливо слышал о войне из Лондона! Позже, после часа пополудни, передача была прервана обращением Председателя Совета Народных Комиссаров В.М. Молотова. Только тогда впервые русский народ услышал о войне.

На следующий день последовало заранее возвещенное обращение самогó "великого вождя" народа И.В. Сталина. В этот раз все имеющие радио сидели за приемниками. Это было первое выступление Сталина по радио. Никто из нас

никогда не слышал его голоса. Естественно, мы ждали его выступления, взволнованные и напряженные. То, что мы услышали, нас не разочаровало, но совсем по другой причине.

Первое, что мы услышали, было:

— Буль-буль, буль-буль, буль-буль... Буль-буль! — Это Сталин наливал из графина воду в стакан непосредственно перед микрофоном.

Дальше последовало:

— Бы-ратья, сэ... сэстры... Буль-буль...

Сталин говорил с ярко, до карикатурности выраженным кавказским акцентом. Первые его слова можно было понять, но, чем дальше, тем непонятнее становилась его речь.

Реакция на сообщение "вождя" была всюду одинакова. На вопрос:

— Слышали ли вы речь товарища Сталина?

Отвечали обычно:

— Слышал, а вы?

Следовало подтверждение, сопровождаемое иногда подмигиванием, в зависимости от того, с кем велся разговор. Дальнейшие комментарии не требовались. Да они были бы и опасны.

После того, что мне говорил Олег, и того, что я видел по дороге в Минск, стало ясно, что один из "милых друзей" успел опередить другого.

Мы получили письмо от Олега. Он сообщил, что его произвели в лейтенанты, несмотря на то что до окончания курса ему оставалось еще два месяца. Он находится сейчас в конной артиллерии, участвовал уже несколько раз в боях. Писал о том, что у него шинель прострелена в нескольких местах, хотя он сам вышел без царапины. Формально тон писем был победоносный, но мы, по отдельным словам и выражениям, прекрасно понимали, что нам хотел сообщить сын.

Дальнейшими следствиями начала военных действий были: собрания служащих, негодующие речи и резолюции, принимаемые "единогласно", введение удлиненного рабочего дня согласно "единодушного требования всех трудящихся". Затем следовала запись еще не призванных в "добровольный" Всевобуч. Топанье на всех площадях добровольцев, вооружен-

ных деревяшками. Победные реляции в газетах о викториях над “коварным” врагом. Отобрание у населения всех радиоприемников. Ловля “шпионов”.

В Гидроэнергопроекте пришлось из-за мобилизации многих инженеров закрыть несколько отдельных бюро. Наконец последовало то, чего можно было ожидать как неизбежного. Волков сообщил мне, что трест вынужден освободить меня от должности главного консультанта. Итак, я стал безработным, получив жалованье только за месяц вперед. Правда, у меня оставался еще Университет, но мой заработок там ограничен количеством часов и практических работ со студентами; это было немного. В другое время я бы очень встревожился, но все происходящее носило характер какой-то нереальности и воспринималось как-то пассивно. Даже погода и та, казалось, забыла считаться со временем. В мае — снег! Холод и непрерывные дожди, начавшиеся в июне, продолжались весь июль, и ничто не показывало, что август будет лучше.

Каждый день я ходил по всем строительным организациям в поисках работы. Напрасно! Везде было то же самое — сокращение. К тому же найти место бывшему главному инженеру труднее, чем просто проектировщику. Таких обычно ищут, они не обивают пороги.

В тресте Стальмонтаж, к моей радости, оказался Б.К. Викторов. Он не меньше меня обрадовался встрече. Однако и тут не было никакой возможности получить работу.

— Мы свертываем работы, Василий Эмильевич! — сказал он мне. — В противном случае вы сами знаете, как бы я был рад получить вас.

Он расспросил меня о работе и о прожитом с тех пор, как мы с ним расстались после Днепростроя. Он сам вернулся в Харьков с Тихоокеанского побережья, где вел строительство подземных бункеров для подводных лодок.

— Смотрите, — он раскрыл рот и показал мне, что у него совсем не было передних зубов, ни нижних, ни верхних. — Вот что я заработал — цинга!

Хотя Викторов в Стальмонтаже занимал пост партийного директора, упоминание про цингу едва ли было указанием на занимаемый им высокий пост на Тихоокеанском побе-

режье. Скорее, это был намек на не совсем добровольное пребывание там. Я не стал его расспрашивать, боясь поставить в неловкое положение. Мы пожали друг другу руки и расстались.

Несмотря на замаскированные сообщения с фронта, с каждым днем становилось яснее, что советские войска несут поражение за поражением и немцы продолжают неуклонно продвигаться вперед.

Был конец июля, когда мне позвонил на квартиру Р.П. Носов. Он просил зайти в трест для переговоров. Недоумевая, в чем дело, я пошел. Оказалось, что трест решил предложить мне старое место зам. главного инженера на прежних условиях, т.е. с полным окладом. Я согласился, выговорив, однако, условие, что буду формально числиться в тресте по совместительству при основной службе в Университете. На это было дано согласие. Таким образом, я неожиданно выиграл свой гамбит: остался на прежнем месте и устранил угрозу "засекречивания". Что заставило трест пойти на такое соглашение? Не знаю. Недоумеваю до сегодняшнего дня. Я не был знаком с Носовым домами, однако совместная работа убедила меня, что, несмотря на наличие партийного билета, он весьма порядочный человек и расположен ко мне. Но он не был все же свободен в своих решениях. Мое зачисление на старое место должно было быть предварительно согласовано с Правлением в Москве, если даже не быть предложенным им. Как бы то ни было, это устроило меня, уже хотя бы потому, что я снова получил броню, т.е. освобождение от возможного призыва в армию.

Увиденное в тресте удивило меня еще больше. Фактически техническая работа была полностью остановлена. Весь персонал посажен на приведение в порядок технических материалов, съемок, планов и пояснительных записок, составление описей и регистрацию их.

Сегодня город представлял странную картину. Все улицы были переполнены военными в форме НКВД. Шли слухи: Киев занят. Это был киевский НКВД.

Работа в тресте получила новый уклон. Началась неприкрытая подготовка к эвакуации. Материалы паковали в ящики.

Развитие событий шло ускоренным темпом. По слухам, была занята Полтава. На город делала налеты немецкая авиация. В тресте наступила новая фаза работ. Материалы перестали паковать в ящики. Вместо этого во дворе нашего харьковского “небоскреба”, Дома проектов, разложили костры и весь персонал поставили на, как ее шутя называли, “рваческую” работу.

Ко мне пришла старушка, домашняя работница у моих хороших знакомых, и просила дать ей какой-нибудь старый мужской костюм. Когда я спросил ее, для чего он ей понадобился, она сказала:

— Прибежал из армии мой племянник. Он бежит навстречу немцам. Говорит: надо спасать урожай. Немцы дают землю. Ему нужно штатское.

Мы получили письмо от Олега. Он писал откуда-то из окрестностей Таганрога. В письме, среди прочего, было написано: “Умоляю вас ни при каких условиях не менять вашего адреса”.

Это надо было понимать как просьбу не эвакуироваться.

Верочка вдруг получила требование явиться на рытье окопов. Только путем больших усилий и немалой дозы bluff’а мне удалось спасти ее от этого. При ее слабом сердце этот призыв стал бы для жены смертным приговором.

В тресте начали составлять списки сотрудников на эвакуацию. Р.П. Носова уже не было — вскоре после моего назначения его мобилизовали. Он, оказывается, числился военным комиссаром высокого ранга. Когда партийный секретарь Копелев, ведший списки по эвакуации, спросил меня, почему я до сих пор не записался, я ответил, что я здесь, в тресте, по совместительству и эвакуируюсь с Университетом. В Университете же заявил, что еду с трестом. В обоих местах вполне удовлетворились моим ответом. Наоборот, почувствовали, по-видимому, облегчение: одним конкурентом меньше.

Вскоре в Гидроэнергопроекте не осталось совсем никого из партийных. Уехал и Волков, и секретарь партийной ячейки. Исчезли и другие рядовые коммунисты. Опасность принудительной эвакуации, казалось, отпала. В городе, однако, циркулировали слухи, что при окончательном отходе коммунисты уводят с собой всех мужчин. Подсчитав пропускную способность ведущих на восток дорог, даже при условии движения по ним сплошных колонн, я убедился, что это невозможно. Для выполнения такой операции потребовалось бы 15—20 таких дорог, а их не было. Оставалась, однако, опасность персонального увода. Чтобы избежать этого, я заявил домовому управлению, что уезжаю в командировку. Сам же вечером ушел из дома и устроился у моего друга, доцента Щеткина. У него в доме тоже не знали о новом квартиранте. Когда немецкие войска подошли к предместью Харькова, Холодной Горе, я вышел из тайника и, придя поздно ночью домой, остался там.

На другой день, осторожно выглядывая из-за гардин, мы увидели, что на углу, напротив нашего дома, партизаны вырыли траншею и устроили пулеметное гнездо. В городе были слышны взрывы и догорали бушевавшие всю ночь пожары. Выглянув в окно после полудня, мы увидели, что партизаны исчезли. Траншея опустела.

Неужели освобождение от более чем двадцатилетнего рабства и тирании возможно и близко? С бьющимися сердцами мы выглядывали из окна. Вдруг — что это? По улице бежал верблюд. Верблюд в Харькове? Это из зоологического сада, конечно! Наши наблюдения прервали звон и стук в парадную дверь. Первая мысль: партизаны! Что делать? К стуку присоединились голоса:

— Открывайте! Открывайте! Город занят немцами!

Это были Щеткины. Мы выбежали, обнимая и целуя их, радостно возбужденные.

Так закончился советский период нашей жизни. Только тот, кто испытал гнет и ужас коммунистического ига, может понять, что означало освобождение от него.

Но, увы, мы ошиблись. Это не был конец нашим злоключениям. За освобождением от большевиков последовало горь-

кое разочарование в самих “освободителях”. Новые “коричневые” злодейства сменили прежние “красные”. Даже ужас угрожавшей нам голодной смерти в осажденном Харькове бледнеет перед тем, что творило “коричневое” управление.

За этим последовали потери близких и дорогих, всего имущества, болезненные разлуки, авантюрное бегство, бомбы и пожары в Берлине.

Наконец новое освобождение и опять “подвиги” — теперь уже рузвельтовских “освободителей”, не ведающих, что творят. Принудительная “репатриация” беженцев от советского террора назад, к их рабовладельцам, выдача на расправу большевикам освобожденных Балтийских стран и Польши... Слава Богу, что это продолжалось только короткое время и глаза у “освободителей” открылись!

Все это тоже вопиет к небу, но, как сказал Киплинг: “This is another story” — “Это уже другая история”.

СОДЕРЖАНИЕ

Э.Б.Кригер-Войновский
ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА
Воспоминания, впечатления, мысли о революции
1925

Предисловие 7
Очерки личной деятельности 9
Железные дороги России 30
Развитие железнодорожной сети 43
Роль железных дорог в войне и 45
революции 51
Главнейшие железнодорожные деятели 66
Железнодорожное хозяйство — казенное и 70
частное 80
Местные правительственные учреждения 100
Государственная власть в России перед революцией 123
Причины падения России . . . . . .
Роль Государственной думы . . . . . .

Э.В. Спроге
ЗАПИСКИ ИНЖЕНЕРА 133

Предисловие 136
Глава 1.
Студенты. Революция 203
Глава 2.
В калейдоскопе 1918 года 215
Глава 3.
Крымское интермеццо 233

Глава 4.
Снова в Харькове. Добровольческая армия 257
Глава 5.
Новороссийск и плен 285
Глава 6.
Новочеркасск. Борьба за существование. Волго-Дон 296
Глава 7.
Снова в Харькове. Госплан Украины 314
Глава 8.
Днепрострой 382
Глава 9.
С Днепра, через Среднюю Азию и Ленинград, на Волгу 430
Глава 10.
Нижневолгопроект 463
Глава 11.
Снова в Ленинграде. Александров умирает. “Большая Волга” .
Глава 12.
Харьков и “Большой Днепр”. Старые и новые встречи. Опять засекречивание. Война. Мы освобождаемся от Советов 484